

21124

группа

33P

Ш 88

Проф. В. М. ШТЕЙН

**ОЧЕРКИ РАЗВИТИЯ
РУССКОЙ
ОБЩЕСТВЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
МЫСЛИ
XIX—XX ВЕКОВ**



**ИЗДАТЕЛЬСТВО
ЛЕНИНГРАДСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
ОРДЕНА ЛЕНИНА УНИВЕРСИТЕТА
ЛЕНИНГРАД
1948**

33:9(47)

Проф. В. М. ШТЕЙН

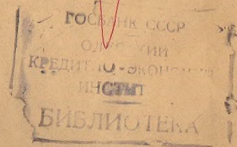
докум

ОЧЕРКИ РАЗВИТИЯ
РУССКОЙ
ОБЩЕСТВЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
МЫСЛИ
XIX—XX ВЕКОВ

1953

1950

21124



ИЗДАТЕЛЬСТВО
ЛЕНИНГРАДСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
ОРДЕНА ЛЕНИНА УНИВЕРСИТЕТА
ЛЕНИНГРАД
1948

«Мы думаем, что для русских социалистов особенно необходима самостоятельная разработка теории Маркса, ибо эта теория дает лишь общие руководящие положения, которые применяются в частности к Англии иначе, чем к Франции, к Франции иначе, чем к Германии, к Германии иначе, чем к России».

[В. И. Ленин. Наша программа (статья для № 3 «Рабочей газеты»), Соч., т. II, изд. 3, стр. 492].

«Было бы смешно требовать, чтобы классики марксизма выработали для нас готовые решения на все и всякие теоретические вопросы, которые могут возникнуть в каждой отдельной стране спустя 50—100 лет, с тем, чтобы мы, потомки классиков марксизма, имели возможность спокойно дежать на печке и жевать готовые решения».

[И. В. Сталин. Отчетный доклад на XVIII съезде партии. Вопросы ленинизма. Изд. II, 1939, стр. 603].

ГЛАВА ПЕРВАЯ

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ

Начиная с середины XIX в. выдающиеся русские люди не раз отмечали с великой скорбью отсутствие в России самостоятельной экономической мысли и подчеркивали компилятивный характер нашей отечественной политической экономии, обусловленный отсталостью хозяйственного развития нашей страны. Так, еще А. И. Герцен жаловался на засилие в русской жизни «русских немцев и немецких русских» и говорил об «ученых друзьях наших западных доктринеров, донашивающих старое платье с плеч политической экономии».¹

С другой стороны, предприимчивый немецкий барон Гакстгаузен, стремившийся приписать себе честь «открытия» русской общины, иронизировал в предисловии к своему труду, изданному впервые по-немецки в 1847 г., по поводу того, что «образованное сословие» в нашем отечестве утратило «всякое понимание сельских народных учреждений». Русская литература привыкла, согласно развязным уверениям Гакстгаузена, изображать народный быт «по Вальтеру Скотту и Ирвингу». Он называет целую плеяду более или менее ученых немцев: Шлецера, Эверса, Георга, Шторха и особенно Реуца, которые якобы были воспита-

¹ А. И. Герцен. Русские немцы и немецкие русские. Соч., т. VI, 1905, стр. 286.

телями молодых русских ученых и вдохнули в них любовь к изучению народных учреждений.¹

Академику В. Безобразову представлялось, что ученые труды по политической экономии, связанные с Россией, написаны «чужеземными и иностранными литераторами» вроде Шторха, Гакстгаузена, Тенгоборского. Эти сочинения часто «составляют... гораздо более собственность западно-европейской литературы, чем нашей». Он приходит к неутешительному выводу, что «за немногими светлыми исключениями, наша экономическая литература во всей своей совокупности была не более, как ряд заимствований из иностранных литератур».²

Известную самобытность Безобразов усматривает у таких наших экономистов, как Посошков в XVIII в. и Канкрин в XIX в., но и им он не придает значения во «всемирном развитии науки». Если смитианские тенденции проникли в область нашего законодательства при Сперанском, то их проводниками явились два находившихся в служебных отношениях к Сперанскому иностранца-экономиста — Вадугинский и Вирст, почитанные в европейских экономических сочинениях. К ним прибавили харьковского профессора Якоба, выписанного из Галле, образовав тем самым комиссию по реформе наших финансов. В результате, «парадоксы Адама Смита были в истории наших финансов таким же случайным метеором, как в конце XVIII ст. некоторые законодательные меры, вынесенные Екатериной Великой приезжими французскими физиократами школы Кенэ».

Г. В. Плеханов, выдающийся заслуги которого в качестве одного из пионеров марксистской истории общественной мысли в России хорошо известны, высказался в таком же духе, разбираясь в историческом значении замечательного писателя, обаяние которого он испытал на самом себе, — Н. Г. Чернышевского. Беда нашего великого просветителя, по мнению Г. В. Плеханова, заключалась в том, что по условиям эпохи он не сумел дойти до восприятия научного социализма Маркса. «Чернышевский даже не подозревал этого нового научного движения, начавшегося еще с половины сороковых годов. Это было большим несчастьем для него, а вместе с ним и для всей русской литературы. Но это несчастье было неотвратимо по самым условиям нашей общественной жизни. Оно являлось следствием нашей общественной отсталости. Русская литература, вообще говоря, всегда относилась к западным литературам, как ученик к учителю».³

¹ Бар. Август Гакстгаузен. Исследования внутренних отношений народной жизни и в особенности сельских учреждений России, т. I, М., 1870, стр. XVII.

² В. П. Безобразов. О влиянии экономической науки на государственную жизнь в современной Европе. М., 1867, стр. 28—29.

³ Г. В. Плеханов. Из статей о Чернышевском. Соч., т. VI, 1925, стр. 409—412.

В отношении первой половины XIX в. на тех же позициях стоит и современный автор И. Г. Блюмин, объявивший нашу политическую экономии этого периода «иностранной наукой, импортированной с Запада». Первые профессора политической экономии, по его словам, были у нас «немцы, которые читали лекции на немецком языке, по немецким учебникам, в духе немецкой камералистики». Лишь впоследствии эта камералистическая струя была заглушена в нашей политической экономии смитианством. Но иностранные влияния остались все же господствующими.

Выписки подобного рода можно было бы без труда умножить. Но в этом нет надобности. Мнение об отсутствии самобытности в русской политической экономии стало избитой, штампованной истиной. Оно ни в ком не вызвало сомнений.

Однако это не мешало ему быть в корне неправильным, глубоко несправедливым. Комплиментным духом действительно была проникнута по общему правилу (да и то далеко не вся) официальная экономическая мысль, выросшая в университетах и Академии Наук. Для значительной части ученых трудов, возникавших в этой интеллектуальной атмосфере, было характерно то бесстрастное ученое коллекционирование теорий и соглашательское примирение противоположных научных принципов, о котором с таким неподражаемым остроумием написал Маркс в «Теориях прибавочной стоимости». По словам Маркса, развитие вульгарной политической экономии в Европе завершается профессорской формой, приступающей к делу «исторически» и с мудрой умеренностью собирающей «лучшее». При этой форме «все системы обездушены; во всех системах отломано острие; и они мирно уживаются в коллекционной тетради. Пыл апологетики здесь умеряется ученостью, которая благосклонно смотрит вниз на превращения экономических мыслителей и лишь в виде курьезов позволяет им плавать в своей умеренной разнице».¹ У нас это бесстрастное перебирание и сопоставление чужих идей лишь отражало далекие капиталистические порядки. В теоретических упражнениях подобного рода часто воплощалась игра ума, не более. Россия еще не выросла тогда до капитализма. В ней проявлялись лишь первые зародыши новой формации. Но русским либералам, мечтающим о капитализме, импортировала более совершенная экономическая система, изученная по иностранным книжкам, и многие из наших ученых, козиряя в своих лекциях экономическими теориями английской классической школы, лишь стремились продемонстрировать свой либерализм. А когда на Западе классическая политическая экономия сменялась вульгарной апологетикой, русские экономисты из академической среды стали с прежним усердием пропагандировать и это

¹ И. Г. Блюмин. Очерки экономической мысли в России в первой половине XIX века. М., 1940, стр. 44. (См. справедливую критику этой книги в № 7—8 «Большевика» за 1944 г.).

² К. Маркс. Теория прибавочной стоимости, т. III, 1932, стр. 367.

«новое» течение иностранной экономической мысли. В блещущей искорками тонкого остроумия и бичующей сатиры рецензии Н. Г. Чернышевского на книгу Молиари «Курс политической экономии» рассказывается один из поучительных эпизодов, характеризующих пресмыкание русских академических ученых перед любой заезжей «знаменитостью». Бельгийский экономист Молиари, согласно рассказу Чернышевского, являлся «неисповедимыми судьбами» просвещать нас. По словам Чернышевского, «наши петербургские экономисты (читатель, может быть, не знает, что у нас есть знаменитые экономисты; но мы уверяем его, что они есть) пришли в радостное волнение и устроили торжественный обед, на котором гость сиял, как свеча, а наши доморожденные знаменитости экономической науки увивались около этой свечи, как мотыльки, несмотря на свои почтенные лета и фигуры. Молиари держал себя перед своими петербургскими поклонниками с приветливостью и утомлял выражать удивление великим успехам русского просвещения. Благоклонно обещался он сообщить всей Европе, что у нас есть люди, не лишенные известной образованности; а люди, которых он находил не лишенными известной образованности, передавали нам по секрету, что он произвел на них впечатление фата и отчасти шарлатана». Таковы были уродливые формы преклонения перед западно-европейской ученостью, тормозившего развитие нашей академической политической экономии.

Однако живую, самобытную экономическую мысль периода, предшествовавшего крестьянской реформе, следует искать не в университетских стенах. Среди энтузиастов Вольного экономического общества, в записках либеральных помещиков, критиковавших те или иные стороны крепостного хозяйства, в острой полемике передовых журналов стало проявляться самостоятельное теоретическое творчество в русской политической экономии этой эпохи. На смену первому поколению дворян-экономистов, страдавших ограниченностью кругозора, приходил разночинiec, ищущий законченного экономического мировоззрения. После крестьянской реформы 1861 г., породившей в русской общественно-экономической жизни столько противоречий, начался новый мощный подъем научной мысли. Экономические споры приобрели особенную остроту благодаря тому, что они были оплодотворены революционным движением. В конце века экономические вопросы стали глубоко волновать и писателей революционного подполья, дискуссии перебросились в эмиграцию. В 80-х годах появились и сразу завоевал неземные позиции пролетарский социализм. Русская политическая экономия приобщила себе, несмотря на все препятствия со стороны властей (особенно цензуры), прямую столбовую дорожку, на которой великими вехами идейного развития высаты

такие имена, как Чернышевский, Плеханов, Ленин, Сталин. Развитие экономической мысли не шло непосредственно по прямой линии. Оно протекало в исканиях и борьбе, обусловленных диалектическими противоречиями. Рост теории шел резкими скачками. Но несмотря на эти «зигзаги развития» он все же в конце концов привел к тому, что великая честь восприятия классического наследства Маркса — Энгельса и возведения его на высшую ступень пала на долю русских классиков марксизма — Ленина и Сталина.

Было бы непосильной задачей для одной научной работы пытаться выяснить генезис, хотя бы основных теоретических идей наших классиков. Дореволюционная русская политическая экономия (особенно в период, непосредственно предшествовавший крестьянской реформе и сразу после нее) проявила значительную самостоятельность при анализе особенностей земельных отношений в России. Она сыграла существенную роль в деле подготовки учения В. И. Ленина о двух путях развития капитализма в сельском хозяйстве. Антикрепостническая тенденция, которой так глубоко и основательно была пропитана наша экономическая литература XIX столетия, определила в значительной мере лицо русской политической экономии. Одной из важнейших ее заслуг явилось как раз то, что исходящая от нее конкретная критика крепостнического строя подготовила В. И. Ленину материал исключительной ценности. Было бы, конечно, неправильно всю самобытность русской экономической мысли рассматриваемого периода целиком сводить к изучению аграрного строя. В настоящей работе будут отчасти освещены и другие темы, при анализе которых русским экономистам удалось сделать существенный шаг вперед. Но в центре внимания будут все же оставаться те идеологические течения, которые в той или иной мере подготовили возможность появления замечательного ленинского учения о двух путях.

К моменту смерти Маркса, в 1883 г., величественное здание построенной им политической экономии было вчерне закончено, но не все ее разделы были разработаны с одинаковой полнотой. Маркс сам писал в 1872 г. Н. Ф. Даниэльсону о том, что во II томе «Капитала», в отделе о земельной собственности, он «намерен заняться очень подробно русской ее формой». ¹ Маркс начал изучать с 1869 г. — отчасти именно с этой целью — русский язык, ² и именно с этого времени определяется, как известно, огромный ин-

¹ Маркс и Энгельс. Соч., т. XXVI, стр. 306.

² «Я нашел нужным прийтись за русский язык, потому что при изучении аграрного вопроса необходимо изучить по первоисточникам русские отрывки о земельной собственности» (Маркс и Энгельс. Соч., т. XXVI, стр. 58—59, цит. по проф. В. Шульгин. К. Маркс и Ф. Энгельс и передача общественная и научная мысль России 70—80-х годов. Историк-марксист, № 4, 1944, стр. 29; см. также: Маркс и Энгельс. Соч., т. XXVI, стр. 32).

¹ Н. Г. Чернышевский. Полн. собр. соч., т. VI, изд. М. Н. Чернышевского, СПб., стр. 339.

терес с его стороны к русским делам.¹ Маркс и Энгельс настолько овладели русским языком, что почти постоянно читали на нем, а Энгельс подписывал даже одно из своих писем П. Л. Лаврову: «Энгельс, Федор Федорыч» (по-русски).² Маркс с пылливой жаждой следил за литературой по аграрному строю России, получал от своих русских друзей немало редких официальных изданий, не поступавших в общую продажу, монографий и журнальных статей,³ и к концу жизни собрал ценнейшую библиотеку по русским земельным отношениям, которую впоследствии Энгельс счел справедливым переслать П. Л. Лаврову.⁴ Однако смерть, прервавшая жизнь гениальнейшего из ученых, не дала ему возможности осуществить свой замысел в отношении изучения земельного строя России. В письме к Н. Ф. Даниэльсону от 3 июня 1885 г. Энгельс, сообщая своему корреспонденту о содержании III тома «Капитала», который он тогда готовил к печати, отмечает, что рукопись была написана еще в 1864—1866 гг., «т. е. еще до того времени, как автор благодаря Вашей любезности так основательно познакомился с аграрным строем Вашей страны; в настоящее время я работаю над главой о земельной ренте и до сих пор не встретил упоминания о русских условиях».⁵ Действительно стоит прочитать III том «Капитала», чтобы убедиться в том, что намерение Маркса проанализировать русские земельные отношения не нашло отражения в дошедшем до нас тексте работы. 37-я глава этого тома прямо начинается с заявления, что «анализ земельной собственности в ее различных исторических формах лежит за пределами этой работы». Маркс исходит от предположения, что земледелие «подчинено капиталистическим способам производства». В разрезе марковского исследования, «фермер производит пшеницу и т. д. точно так же, как фабрикант пряжу или машины».⁶ Правда, в главе о генезисе капиталистической ренты Маркс дает поистине замечательную характеристику исторических форм ренты, предшествовавших капиталистическому производству. Но этот гениальный набросок не мог полностью заменить того всестороннего рассмотрения иных, помимо капиталистических, типов земель-

ных отношений, в которое Маркс предполагал включить русский аграрный строй в качестве одного из важнейших элементов.

В предисловии к III тому Энгельс особенно ярко подчеркивает значение, которое придавал Маркс изучению русских аграрных отношений. Рассказав о работах, предпринятых его великим другом в 70-х годах в целях изучения русских земельных отношений, Энгельс, делает следующее, исключительно важное для нас, русских марксистов, разъяснение: «При разнообразии форм землевладения и эксплуатации сельскохозяйственных производителей в России в отделе о земельной ренте Россия должна была играть такую же роль, какую играла Англия в первой книге, при исследовании промышленного наемного труда. К сожалению, ему не удалось осуществление этого плана».¹

В этой выдержке особенно ценно указание на то, что Маркс выбрал Россию из всех других стран потому, что в ней он усматривал исключительное разнообразие форм землевладения и землепользования, которое должно быть учтено при теоретическом изучении земельной ренты. Конечно, Маркс рассматривает в «Капитале» и создает свои теории на основе анализа экономических категорий наиболее развитого, передового капиталистического хозяйства, а формы, переходные от феодализма к капитализму, изучает лишь как частный, усложненный случай проявления общих законов. Однако русские аграрные отношения представлялись ему несомненно замечательным примером этих переходных форм, заслуживающим специального изучения. Ощущение известной незавершенности марковской работы над нашими земельными отношениями сквозит и в письме Энгельса Даниэльсону от 19 февраля 1887 г., где сказано: «Я думаю, Вы хорошо сделаете, показав читающей публике Вашей страны, как применить теорию автора (т. е. Маркса. — В. Ш.) к их собственным условиям. Но, быть может, Вам лучше полагать, как Вы сами пишете, пока вся работа не выйдет полностью. Глава о земельной ренте, хотя и написана им до того, как он изучал экономические условия России, и в ней нет упоминания о них, будет Вам, тем не менее, крайне необходима».² Отсюда видно, что Энгельс видел в главах о земельной ренте в III томе теоретическую базу, на которой следует строить дальнейший самостоятельный анализ русских земельных отношений. Для этого нужна была, конечно, голова покрепче той, которая сидела на плечах Даниэльсона. Эта задача оказалась под силу только гению Ленина и Сталина, а предшествующий период исканий, начавшийся еще с середины XIX в., оказался все же удачным прологом, оказавшим огромное содействие теоретическому обоснованию русских аграрных отношений.

Когда Маркс рассматривает в «Капитале» земельную ренту, он

¹ Об этом см. интересный материал у Е. м. Ярославского (К. Маркс и революционное народничество, 1933, стр. 76 и сл.) и статью Б. Николаевского (Русские книги в библиотеке К. Маркса и Ф. Энгельса [материалы для изучения их отношения к России]. Архив К. Маркса и Ф. Энгельса, книга четвертая, 1929, стр. 356).

² Маркс и Энгельс. Соч., т. XXVII, стр. 453.

³ Там же, стр. 348.

⁴ Маркс и Энгельс. Соч., т. XXVII, стр. 470.

⁵ Согласно рассказу М. Ковалева, «Даниэльсон и я посылали ему, что могли, а его жена, озабоченная скорейшим окончанием всего сочинения, шутя грозила мне, что перестанет давать мне барашку котлету, если я буду мешать ее мужу своими присылками поставит давно ожидаемую точку». О войне, которую вел против русских книг жена Маркса и Ф. Энгельс, сообщали также супруги Лафарг.

⁶ Маркс. Капитал, т. III, 1936, стр. 542.

¹ Маркс. Капитал, Предисловие, стр. 9.

² Маркс и Энгельс. Соч., т. XXVII, стр. 623.

всегда исходит, вслед за английскими классиками, из анализа наиболее развитых форм капитализма в сельском хозяйстве, существовавших в Англии. Маркс считал несомненным, что «капиталистическое производство началось в Англии одновременно в промышленности и земледелии».¹ Разбирая учение о ренте Рикардо и Родбертуса, Маркс резко противопоставляет английские отношения «померанским», ограничивавшим кругозор Родбертуса. Нигде в мире, показывает Маркс, капитализм не рвал так решительно с традициями в земледелии, не подчинял себе земельных отношений, делая их адекватными капиталистическим условиям, как именно в Англии. В этом смысле Англия была самой революционной страной в мире. Она перекроила отношения в земледелии так, чтобы сделать приложение капитала наиболее выгодным. Таким образом классическая теория земельной ренты исходит от предпосылки, что на небольшой территории бесспорно хозяйничает капитал, приспособляя к своим нуждам производственные отношения в земледелии. Английским теоретическим построениям противостоят «померанские воззрения», которые «сулят о развитых отношениях, исходя от исторической более низкой, еще не адекватной формы». Представляется ясным, что ограничиться теорией, исследующей только аграрный строй Англии, политическая экономия не может. При постановке проблем теоретической экономики огромный интерес представляет также анализ путей перерастания отношений *земельной собственности из феодальных в капиталистические*. При этом основной вопрос заключается в оценке этих способов перерастания под углом зрения развития производительных сил и народного благосостояния. Недаром, обсуждая аграрную программу с-д. в первой русской революции, Ленин подчеркивал: «Во имя интересов развития производительных сил (этого высшего критерия общественного прогресса) мы должны поддерживать не буржуазную эволюцию помещичьего типа, а буржуазную эволюцию крестьянского типа».² В этих строках угол зрения, под которым марксистская наука должна изучать перерастание аграрных отношений от феодализма к капитализму, подчеркнут с особенной рельефностью: высшим критерием является развитие *производительных сил*. Что Маркс считал целесообразным анализировать не только наиболее совершенные (при капитализме) английские аграрные отношения, видно также из следующего его высказывания в «Теории прибавочной стоимости»: «Теперь следовало бы развить: 1. переход от феодального земледелия к другой, коммерческой земельной ренте, регулируемой капиталистическим производством; 2. как возникает земельная рента в странах, подобных Соединенным Штатам, где земля первоначально не являлась частной собственностью и, по крайней мере формально, с самого

начала господствует буржуазный способ производства; 3. азиатские формы землевладения, продолжающие еще существовать. Все это сюда не относится».¹

Нельзя не подчеркнуть, что изучение аграрных отношений, показывающих пути перерастания от феодализма к капитализму, является необходимой предпосылкой для выяснения революционных возможностей крестьянства, а мы теперь знаем, что в единственной стране, где до сего времени произошла победоносная социалистическая революция, участие в ней крестьянства на стороне пролетариата оказалось одним из важнейших моментов, обличивших победу рабочего класса. Маркс мечтал именно о такой возможности для Германии. Он писал Энгельсу в 1856 г.: «Дело в Германии будет зависеть от возможности поддержать крестьянскую революцию вторым изданием крестьянской войны». Но, как замечено в «Кратком курсе истории ВКП(б)», «эти гениальные мысли Маркса не получили потом своего развития в трудах Маркса и Энгельса, а теоретики II Интернационала приняли все меры к тому, чтобы похоронить их в гроб и предать забвению. На долю Ленина выпала задача — вытащить на свет забытые полки Маркса и восстановить их полностью».² Это напоминание «Краткого курса» перекликается с приведенными выше замечаниями Маркса о необходимости тщательного изучения русских аграрных отношений.

До развития капитализма в России, когда грудающиеся классы в нашей стране были представлены преимущественно крестьянством, наиболее прогрессивной идеологией, естественно, должна была стать идеология революционного крестьянства, созданная просветителями. Ее сила заключалась в ее острой антикрестьянской направленности. Она сплывала массы на борьбу против феодализма. Конечно, многие идеи, вошедшие в арсенал этой идеологии, на весах современности совершенно потеряли прежнее значение. Но история экономической мысли должна остерегаться модернизации, и, прежде всего, ей надлежит оценивать общественные идеологии по их влиянию на экономическую и политическую жизнь своего времени.

Начиная с середины XIX в., русская экономическая мысль выдвигает на первый план нашей отечественной истории трудовой крестьянский коллектив — сельскую общину и артель — и хочет подчинить экономическое развитие русского общества интересам крестьянства. Это придает нашей политической экономии указанного периода своеобразный колорит, столь отличный от западноевропейской науки. Там не было самоотверженных борцов за крестьянскую идеологию. Правда, на ум может прийти имя Сисмонди.

¹ Маркс. Теория прибавочной стоимости, т. II, ч. I, 1932, стр. 146.

² В. И. Ленин. Аграрная программа с-д. в первой русской революции. Соч., т. XI, стр. 352.

¹ Маркс. Теория прибавочной стоимости, т. II, ч. I, стр. 140.

² История Всесоюзной Коммунистической партии (большевиков). Краткий курс, 1938, стр. 71—72.

Но система экономической мысли у Сисмонди обнаруживает совсем другую классовую природу, чем общинная теория А. И. Герцена и Н. Г. Чернышевского. В. И. Ленин блестяще доказал, что взгляды Сисмонди были первоисточником позднейшего народничества.¹ Классовая позиция у Сисмонди и у наших отечественных сисмондистов была одна и та же: она ярко отражает стяжательство, мелко-собственнический эгоизм, боязнь прогресса, столь характерные для крестьянина-собственника, у которого весь круг его интересов ограничен его связью с землей и перспективами накопления за счет «матушки-кормилицы». Именно к Сисмонди восходят своими корнями идеология *кулачества*. Сисмонди — реакционер по самому своему натуре. Он хочет повернуть колесо истории назад. Крестьянину-собственнику чуждо сознание связи с коллективом, так как оно противоречит основному принципу его жизни: «норови в карман». Наша крестьянская политическая экономия, давшая наиболее яркого представителя в лице Н. Г. Чернышевского, представляет полярную противоположность сисмондизму. Для нее опорой является революционное крестьянство, стремящееся преобразовать мир на справедливых началах, ради расцвета производительных сил, во имя общего равенства.

Нашу крестьянскую политическую экономию рассматривают нередко с предубеждением, видя в ней продукт исторической отсталости России. Поводом для такой оценки является известная фраза В. И. Ленина о том, что Чернышевский «мечтал о переходе к социализму через старую, полуфеодальную, крестьянскую общину». Но Ленин едва ли хотел перелать этими словами самую сущность мировоззрения Герцена и Чернышевского. В глазах Ленина, как мы постараемся сейчас доказать, эти замечательные русские мыслители и революционеры были прежде всего просветителями, а потом уже сторонниками крестьянского социализма. Вера в спасительную силу общины для России не связана организационными нитями с основным ядром их взглядов, которое Ленин определил, как просветительство. Крестьянская община отнюдь не занимает центрального места в мировоззрении Герцена или тем более Чернышевского. Только славянофилы в 40—60-х годах были безоговорочными и восторженными поклонниками общинного быта. Герцен воспринял славянофильскую теорию общины, скрепя сердце, лишь после того, как в течение ряда лет высказывал сомнения в ее социальных преимуществах. Для Чернышевского она была лишь одним из вариантов осуществления социализма. Учение об общине является даже до некоторой степени внешним придатком к мировоззрению наших великих просветителей. В частности, исторические концепции Чернышевского, представляя непосредственное продолжение воззрений В. Г. Белинского по этому

¹ См. статью В. И. Ленина «К характеристике экономического романтизма» (Соч., т. II, стр. 9 и сл.).

вопросу, совершенно не вяжутся с славянофильской теорией общины. И мы сразу же можем объяснить, зачем понадобилось Герцену и Чернышевскому в известный момент времени прибегнуть к рецепции общинной теории. Эта их позиция определилась в 50-х годах, в период размежевания общественных сил вокруг вопроса о крестьянской реформе. Для славянофилов, бывших влиятельной политической группировкой, община была идеальным замкнутым мирком, живущим на началах внутренней свободы. Поэтому для них живой и омерой крестьянской реформы являлось положение, что земель нужно наделить не отдельного крестьянина, а общину. Так как именно община была для них идеалом общественного устройства, то они были готовы отстаивать максимальное расширение общинного земледелия. Учитывая эти мотивы, Герцен и Чернышевский хотели использовать расположение славянофилов к общине для того, чтобы добиваться в союзе с ними наивозможно выгодных условий освобождения крестьян с землею. Они всецело восприняли тезис о том, что земля должна раздаваться общинам, а не отдельным земледельцам, и отстаивали максимальные нормы наделения. Так образовался блок большой силы, в котором соединились пропаганда влиятельных в «сферах» славянофилов с мощным набатом лондонского «Колокола», имевшим огромный резонанс в России, и с пламенной агитацией «Современника», через который воздействовал на революционную молодежь Чернышевский. Это, конечно, отнюдь не значит, что восприятие учения об общине было со стороны Герцена или Чернышевского чем-то вроде политического притворства. Они искренне верили в те годы в жизнеспособность общины и присущие ей зачатки социалистического строя. Но они подходили к общине, в отличие от славянофилов, рационалистически, а не эмоционально. Община не была для них иконой или фетишем. Она была лишь пунктом политической программы.

Вопрос о том месте, которое занимала община в мировоззрении Герцена и Чернышевского, сводится, в сущности, к проблеме соотношения просветительства и крестьянского социализма у обоих великих русских мыслителей. Герцен и Чернышевский были поистине гигантами мысли. Они стояли в центре развития общественной идеологии своего времени. В иных частях их мировоззрения могли существовать известные внутренние недомолочки, но в целом Герцен и Чернышевский оставались монолитными. Нужно признать, что эта цельность создавалась именно просветительскими началами их мировоззрения, а отнюдь не крестьянским социализмом. Община была связующим звеном между мировоззрением Герцена и Чернышевского, с одной стороны, и народнической доктриной, с другой, за которое особенно цеплялись позднейшие народники. Но мы искажали бы учение Герцена и Чернышевского, если бы вздумали провозгласить общинную теорию краеугольным камнем их мировоззрения.

Сложность разбираемой проблемы заключается в том, что просветительство и народничество представляют собой две противоположные позиции в истории развития русской идеологии. Ленин решительно отказался от наследства народников, с которыми вел жесточайшую идейную борьбу, и столь же определенно принял наследство просветителей. Между тем, в мировоззрении крупнейших просветителей — Герцена и Чернышевского, — как только что сказано, именно крестьянский социализм был тем элементом, который дал позднейшим народникам основание притязать на то, что Герцен и Чернышевский являются родоначальниками народничества. Такой замечательный истолкователь истории борьбы между марксизмом и народничеством, как покойный акад. Е. М. Ярославский, явственно показывает, что в этом вопросе скрыто известное противоречие. Он отводит просветителям видное место в истории русской общественной мысли *до* народничества и резко противопоставляет идеологию обоих течений друг другу. Одно из важнейших разногласий между ними заключалось в «их отношении к вопросу о путях развития капитализма. Просветители поставили вопрос о *неизбежности* развития капитализма в России. Народники объявили капитализм упадком, регрессом, шагом назад». ¹ Но все же Ем. Ярославский признает, что «Герцена сближает с народниками и ставит его в положение родоначальника народничества его отношение к крестьянской общине, его теория крестьянского социализма». ²

Таким образом Герцена приходится как-будто признать одновременно и великим просветителем и родоначальником народничества. Не менее сложно дело с Чернышевским. «Революционный демократ, Чернышевский в то же время был и утопическим социалистом, и та роль, которую он отводил крестьянской общине, дала основание народникам 70-х и 80-х годов, во многих отношениях шагнувшим назад от просветителей, считать и Чернышевского родоначальником народничества». ³

Нет ли в этих суждениях одного из лучших знатоков истории нашего революционного движения противоречия? Имеем ли мы право противопоставлять просветительство народничеству и в то же время считать просветителей Герцена и Чернышевского в той или иной мере предтечами народничества? Нет, конечно, — покойный Е. М. Ярославский нисколько не ошибался. Ленин оценивал те или иные течения общественной мысли, прежде всего, по их революционному содержанию и эффекту. Мы увидим впоследствии, что и Маркс подходил к русским революционерам с этой же меркой, и для него народничество на известном этапе революционного движения в России было прогрессивным явлением. Ленин различал, как известно, две стадии в народничестве: старое и новое

народничество. Старое народничество, несмотря на то, что оно было в корне ошибочным учением с точки зрения марксистской теории, было замечательным эпизодом революционного движения, и поэтому Ленин не отказывался от признания преемственности между этим крылом народников и позднейшими «учениками», т. е. марксистами. Говоря о том, что «роль передового боя может выполнять только партия, руководимая передовой теорией», В. И. Ленин предлагает своим читателям, чтобы конкретизировать это положение, вспомнить «о таких предшественниках русской социал-демократии, как Герцен, Белинский. Чернышевский и блестящая плеяда революционеров 70-х годов». ¹ Эта блестящая плеяда революционеров, которых Ленин не задумывается поставить рядом с Герценом и Чернышевским, как раз и представляла собой старых народников, бывших поистине замечательными революционерами. В своей работе «Что делать?», вышедшей впервые в 1902 г., тов. Ленин отмечал перспективу превращения русского пролетариата в авангард международного рабочего движения, если бы ему удалось разрешить величайшую революционную задачу свержения самодержавия. При этом В. И. Ленин замечает, что это почетное звание было уже заслужено «нашими предшественниками, революционерами 70-х годов». ² Интересно попутно отметить, что не об отсталости нашей говорит В. И. Ленин в этих своих высказываниях, а именно о передовой роли и в теории и в революционной практике. Далее Ленин без колебаний называет революционеров 70-х годов «нашими предшественниками». Сила русских революционеров 70-х годов как раз заключалась в их отягощенной первой попытке взять штурмом русское самодержавие. В работе «Экономическое содержание народничества» В. И. Ленин указывает, что «под старыми народниками я разумею не тех, кто двигал, например, „Отеч. Зап.“, а тех именно, кто „шел в народ“». ³ Старые народники были великими революционерами, как сказано, несмотря на свои идеологические заблуждения. У революционеров 70-х годов было законченное мировоззрение, заключавшееся в идеализация «кустоев», что было вполне понятно в условиях, когда капитализм только еще успел восторжествовать в России. «Вера в особый уклад, в общинный строй русской жизни; отсюда — вера в возможность крестьянской социалистической революции — вот что одушевляло их, поднимало десятки и сотни людей на героическую борьбу с правительством. И вы не сможете упрекнуть социал-демократов в том, чтобы они не умели ценить громадной исторической заслуги этих лучших людей своего времени, не

¹ В. И. Ленин. Что делать? Наболевшие вопросы нашего движения. Соч., т. IV, стр. 381.

² В. И. Ленин. Что делать? Соч., т. IV, стр. 382.

³ В. И. Ленин. Экономическое содержание народничества и критика его в книге г. Струве. Соч., т. I, стр. 272 (примеч.).

¹ Ем. Ярославский. Разбор народничества. 1937, стр. 20.

² Там же, стр. 17.

³ Там же, стр. 19.

умели глубоко уважать их памяти». ¹ Именно эта теория, обладавшая при самом своем возникновении, в своем первоначальном виде, «достаточной стройностью», и была стимулом, заставлявшим этих лучших людей своего времени идти в народ. Исходя от представления об особом укладе народной жизни, она верила в коммунистические «инстинкты» общинного крестьянина и потому видела в крестьянине прямого борца за социализм. ² Отсюда необходимость для социалистов отодвинуть политику в сторону и нести пропаганду в деревню. В результате, пришлось на практике «убедиться в наивности представления о коммунистических инстинктах мужика». ³ Иллюзии разлетелись в прах. «От стройной доктрины народничества с детской верой в „общину“ остались одни лохмотья». ⁴ Народничество стало вырождаться и превратилось в пошлый менщанский радикализм.

Но на первых порах, таким образом, народничество было законченной революционной доктриной, которая, несмотря на свою ошибочность, смогла разбудить народ (но меньше всего крестьянство, как таковое). Просветители были предшественниками этих народников. Именно от просветителей получили революционеры 70-х годов в виде готового оружия и веру в общинный уклад и мечту о крестьянской социалистической революции. Субъективно это было несомненно так, но все же объективно не это учение было основой мировоззрения просветителей. Тов. Ярославский правильно указывает вслед за Лениным, что просветители раньше всего исходили от анализа условий развития русской экономики. В этой области для них вырисовывалась важнейшая задача борьбы всеми силами против крепостного права, тормозившего рост производительных сил и порождавшего бесконечное количество всяких форм притеснения и угнетения.

Стремление к европеизации России Ленин беспорочно считал более важным элементом мировоззрения просветителей, чем веру в общину. Восхваление общины как предпосылки социализма вообще не было обязательной чертой идеологии просветительства. Недаром, например, у наиболее раннего его представителя, В. Г. Белинского, мы вовсе не находим его следов.

Отсутствие глубокой связи между просветительством и восхвалением общинного начала настолько несомненно, что В. И. Ленин предпочел даже иллюстрировать тип просветителя 60-х годов на примере Скалдина, бывшего враждебным общине. Ленин ожидал возражения, что «либеральный консерватор» Скалдин не характерен для просветительства именно своим отрицательным отношением к общине. «Но дело тут вовсе не в одной общине, — замечает

Ленин. — Дело в общих всем просветителям воззрениях». ¹ Отсюда ясно, что для Ленина община не является воззрением, общим всем просветителям, и, следовательно, не может считаться основой их мировоззрения. В письме к Потресову от 26 января 1899 г. Ленин объясняет, что типичным просветителем по тону был бы Чернышевский, но избрать этого типичного писателя 60-х годов было неудобно по цензурным соображениям. ²

Таким образом просветительство и народничество были совершенно обособившимися течениями мысли, и ядро идеологии каждого из них выработалось самостоятельно и во многом в резком разноречии друг с другом. Народничество появилось значительно позднее. Правда, как подчеркивает В. И. Ленин, зародыши, начатки народничества существовали и раньше 60-х годов: в 40-х годах и даже в предшествующую эпоху. Он ссылается в этом вопросе на «Русскую фабрику» Туган-Барановского. Но, тем не менее, как указывает Ленин, основное содержание просветительства «не имеет ничего общего с народничеством, т. е. по существу воззрений между ними нет общего, они ставят разные вопросы». ³ Кажется, трудно сказать яснее.

Таким образом окончательный вывод все же может быть сформулирован в следующих словах. Учение о крестьянской общине было воспринято у Герцена и Чернышевского славными революционерами 70-х годов. Для них оно было центральным звеном их идеологии. Но сами Герцен и Чернышевский не были энтузиастами общины. Вера в общину сравнительно мало вязалась с их мировоззрением.

Хотя Герцен и Чернышевский были утопическими социалистами, но в их учениях нам дороги явные черты перехода к новому мировоззрению. Можно выразить эти черты в трех основных положениях: 1) наши великие просветители, критически преодолев Гегеля и восприняв от него, как и Маркс, диалектический метод, избрали в качестве философской основы своей научной системы материализм; 2) будучи утопическими социалистами, Герцен и особенно Чернышевский отбрасывали фантастические элементы этого социализма и стремились найти для социализма реальную почву в уже существующих учреждениях, в частности, в артели и общине, 3) усвоив идею непрерывного становления исторического процесса, они считали капитализм переходящей стадией общественного развития. Поэтому, когда мы называем великих просветителей утопическими социалистами, не следует понимать это чрезмерно упрощенно. У Плеханова находим удачное замечание: «Когда сошли со сцены Добролюбов и Чернышевский, передовая русская общественная мысль покинула на довольно продол-

¹ В. И. Ленин. Что такое «друзья народа»? Соч., т. I, стр. 164.

² Там же, стр. 174.

³ Там же, стр. 175.

⁴ В. И. Ленин. Экономическое содержание народничества. Соч., т. I, стр. 272.

¹ В. И. Ленин. От какого наследства мы отказываемся? Соч., т. II, стр. 314 (примеч.).

² В. И. Ленин. Соч., т. II, стр. 630.

³ В. И. Ленин. Соч., т. 340.

² Проф. Штейн—170

жительное время и с огромным вредом для себя тот путь, который вел от Гегеля к Марксу.¹ Путь от Гегеля к Марксу — действительно нельзя определить ту позицию, которую занимали лучшие русские мыслители той эпохи. Душой этой позиции, ее сокровенной сущностью было стремление преодолеть утопизм и подняться к вершинам науки. Энгельс объясняет, что для утопистов социализм представляет «выражение абсолютной истины, разума, справедливости, и стоит только его открыть, чтобы он собственной силой скорил весь мир». Утопический социализм представляет собой идеал, изобетаемый «из головы». В своем химически чистом виде он существовал у Сен-Симона, Фурье, отчасти Оуэна. Утопический социализм этого типа лучше всего передает своеобразную духовную атмосферу 20-х и 30-х годов на Западе. Но дальнейшему его сохранению воспрепятствовали громадные успехи исторического знания. Утопический социализм сохраняется, правда, и позднее, но он переплетается теперь с мелкобуржуазным социализмом, который ищет путей осуществления социалистических идеалов через кооперацию и производственную ассоциацию. Достаточно приступить к созданию ячеек подобного рода собственными силами и вбить таким способом в капиталистическое общество первый клин, пропитав его социалистическими началами, чтобы капитализм начал сдавать свои позиции и, в конце концов, рухнул. Вера в ассоциацию становится всеобщей. Она ярко окрашивает всю социалистическую литературу того времени. Разумеется, эти наивно-детские с современной точки зрения построения должны восприниматься в исторической рамке. До появления монопольной концепции Маркса социалисты судорожно хватались за соломинку ассоциации, налегая при ее помощи приблизиться к социализму. Если социалисты пытались брести к своему идеалу в сумерках, пока ослепительный прожектор марксова учения не осветил им дорогу, то они все же *блели*, а не стояли на месте. И хотя Россия была отсталой в экономическом отношении страной, но и она участвовала в этом походе к вратам царства будущего, причем она шла не в задних, а в передних рядах.

Глашателем этого русского социализма, стоящего на путях от Гегеля к Марксу, был прежде всего Чернышевский. Его экономические теории являются замечательной вехой на пути самостоятельного развития русской экономической мысли, пытавшейся революционными силами. Он был центральной фигурой русской политической экономики в до-марксовский период. В дальнейшем изложении будет сделана попытка показать, что Чернышевского было бы неправильно рассматривать только как представителя революционно-демократического крестьянства. У него уже частично переброшен мостик к пролетар-

ской политической экономики. Это показывает, что Чернышевский занимает исключительное место в развитии русской экономической мысли, и поэтому вопрос об идейной подготовке его экономического мировоззрения является одной из наиболее увлекательных и важных задач для историка русской политической экономики.

Первое направление общественно-экономической мысли, к которому в известной степени генетически восходят взгляды Чернышевского, — это реформаторство начала XIX в. Реформаторы стремились внести в русскую политическую жизнь новые начала ограничения правительственного произвола, осуществления правовой устойчивости, личной свободы. Осторожно, но настойчиво они вели подполье под крепостное право. Глубокий интерес Чернышевского к реформам Сперанского показывает, какое значение он придавал реформаторству начала XIX столетия. Но накануне крестьянской реформы ему было уже в достаточной мере ясно, насколько бесплодными должны были оказаться покушения против крепостнического режима при полном отсутствии социальных сил, на которые они могли бы опереться.

Наша экономическая литература 40—60-х годов прошлого века, непосредственно подготовившая появление Чернышевского, изучена очень мало. Между тем, она отличается исключительным богатством содержания. Основная ее черта заключается в том, что она насыщена антикрепостническими идеями. До сих пор не осознано, что в ней сливаются два разных направления, хотя оба они и оказали большое влияние на формирование экономических взглядов Чернышевского. Первое из них — это славянофильство. Принадлежащее славянофильам учение об общине зародилось еще в конце 30-х годов, но его экономическая сторона разрабатывалась в 50-х годах. Для Чернышевского славянофилы были, конечно, временными и далеко не надежными союзниками. Его связь с славянофилами в области экономической теории ограничивалась, по существу, именно только концепциями общинного земледелия и быта.

Вторым течением указанного периода, подготовившим Чернышевского, были просветители-экономисты. Их в нашей литературе почти игнорировали как самостоятельное направление экономической мысли, и поэтому придется сказать о них поподробнее. В экономическом мировоззрении Чернышевского потому и выделяется столь одностороннее его учение об общине, что не сумели понять его духовной связи с другими течениями экономической мысли предшествующей эпохи, несмотря на то, что в сокровищнице оставленного Чернышевским литературного наследия имеется немало указаний на этих его предшественников. Сороковые годы были для русской экономической мысли временем дружной весны, замечательного творческого подъема. Конечно, это отнюдь не означает, что наша экономическая мысль только родилась в эти годы. Она отмечена печатью самобытности, начиная

¹ Г. В. Плеханов. История русской общественной мысли в XIX веке. Соч., т. XXIII, стр. 259.

с XVII в. Но именно в 40-х годах, в связи с назревающей потребностью в отмене крепостного права, зарождается новое замечательное направление экономической мысли, которое можно назвать просветительской политической экономией и которое оказало глубокое влияние на Чернышевского. Оно возникает на фоне увлечения западно-европейскими утопическими социалистами, особенно фурьеризмом, но вскоре приобретает яркие национальные черты, так как его пафос, самое сокровенное, основное содержание сводится к критике крепостнической системы. Конечно, и это течение лишь оказало известное влияние на Чернышевского: он далеко ушел вперед и по сравнению с экономистами этого направления. Чернышевский отличается от своих предшественников прежде всего непреклонным, революционно-демократическим духом, который нарастал у его предшественников лишь с большой постепенностью. Важнейшей чертой, роднящей Чернышевского с просветителями-экономистами предшествующей эпохи, является антикрепостническая направленность мысли. И так как в эти годы отношение к крепостному праву было решающим моментом, то генетическая связь между просветителями-экономистами 40-х и 50-х годов у Чернышевского едва ли в ком может вызвать сомнение. Таким образом экономическое учение Чернышевского своими корнями уходит в тот период, когда сложились экономические взгляды русских реформаторов начала XIX в. и когда в просветительстве обособилось самостоятельное экономическое направление. К рассмотрению этих течений мы теперь и перейдем.

ГЛАВА ВТОРАЯ

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ РУССКИХ РЕФОРМАТОРОВ НАЧАЛА XIX ВЕКА

«Русским реформатором» назвал М. М. Сперанского Чернышевский. Но Сперанский не был одинок. Вокруг него была сосредоточена и с ним была связана целая группа людей, проникнутых тем же реформаторским пылом. У них было свое законченное экономическое мировоззрение, которое нам и хотелось бы здесь охарактеризовать. Среди писателей, объединенных реформаторским настроением этой эпохи, нужно прежде всего назвать, наряду со Сперанским, М. А. Балуговянского, Н. С. Мордвинова, Н. И. Тургенева, К. И. Арсеньева, графа Валериана Стройновского и др.¹ Казалось бы, трудно всех их подвести под одну скобку: уж очень различна идеология перечисленных государственных деятелей. И все же сейчас, по прошествии более чем столетия, наука вправе рассматривать их экономические взгляды совместно не только потому, что их объединяла склонность к реформаторству (такое объединение было бы слишком академичным), но еще и потому, что все они имели непосредственное отношение к реформам Александра царствования. Те замечательные суждения, какие эти экономисты сумели выдвинуть при практическом разрешении проблем: ликвидации крепостничества, денежной реформы, промышленного протекционизма и, наконец, при анализе перспектив экономического развития России свидетельствуют о том, что наша общественно-экономическая мысль в самом начале XIX века совершила грандиозный скачок и сразу поднялась на высокую ступень, рядом с передовыми идеологиями других государств. И это тем более поразительно, что наша академическая политическая экономия как раз в начале столетия делала лишь первые робкие шаги, которые, как известно, являются самыми трудными, а с другой стороны, чисто русская экономическая мысль должна была пробивать себе дорогу в атмосфере, густо насыщенной иностранными влияниями, которые создавали предрасположение к чужеземной идеологической монополии в этой научной области. С более конкретной характери-

¹ Из названных лиц только один Н. И. Тургенев был в открытой оппозиции к Сперанскому как реформатору, но и он, как увидим, сочувствовал основному направлению реформ.

стики этой обстановки, в которой зародилась и выросла экономическая мысль наших реформаторов alexандровской эпохи, и придется начать.

Годом официального рождения политической экономии в нашей стране нужно признать 1803-й, когда она, наряду со статистикой, получила кафедру в Академии Наук. До XIX века предпосылки для широкого развития самостоятельной экономической мысли у нас не было. При культурном подъеме и росте научного творчества в период правления Елизаветы Петровны и Екатерины II русский национальный гений проявился с огромной силой в области литературы, точных наук, отчасти истории. Политической экономии у нас почти не было. Замечательные творения Кржижанки, Посошкова, Радичева оставались под спудом. Как ни различна была судьба этих людей, все они подверглись правительственным преследованиям. Их труды не могли создать научной традиции. Август Шлецер рассказывает в своей автобиографии: «Чего можно было ожидать в этом отношении в России в промежуток от смерти Петра I до Екатерины II? За несколько лет до меня в русскую академическую книжную лавку... зашел один английский путешественник и спросил русских книг о русской юстиции, финансах, торговле... «Господи помилуй! Кто станет печатать такие вещи?» — отвечал ему фактор и перекрестился.¹ Но новый либеральный дух начинает вояряться в конце XVIII века. Политическую экономию насаждают сверху. В известных записках Н. И. Греча сообщается о ближайших сподвижниках Александра I в его молодые годы: Строганове, Новосильове, Чарторыйском, что они «занимались с ним изучением политической экономии, и плоды трудов своих печатали в «С.-Петербургском Журнале».² Увлечение политической экономией в придворных сферах передавалось и в аристократические круги, превращая ее в модную науку. Занятия политической экономией начинают приобретать характер известной принудительности. Так, 26 ноября 1809 г. Ал. Ива. Тургенев в письме брату Николаю сообщает о том, что «теперь от всех требуют знания Полит. экономии».³ Александр I кладет начало традиции приглашения крупнейших специалистов для преподавания политической экономии великим князьям. Эта традиция сохраняется вплоть до начала XX века: известная книга С. Ю. Вите представляет собой «Конспект лекций о пародном и государственном хозяйстве», читавшихся Михаилу Александровичу в 1900—1902 гг. Когда М. А. Балугьянскому было поручено преподавание юриспруденции и политической экономии великим князьям Николаю и Михаилу Павловичам (преподавание про-

должалось с 1813 по 1817 гг., т. е. целых 4 года), императрица Мария Федоровна всегда присутствовала на его лекциях. Биограф Балугьянского, Баранов, рассказывает о том, как однажды Мария Федоровна сделала выговор молодым князьям, опоздавшим на занятия. Николай Павлович стал оправдываться тем, что опоздание составило лишь 5 минут. Императрица тогда заметила: «Не забываете, сын мой, что в пять минут можно лишиться целой империи».⁴

Со слов Семейского мы знаем, что Пестель, братья Муравьевы-Апостолы, кн. С. Трубецкой, кн. Илья Долгоруков, Ф. Глинка, Никита Муравьев и бр. Шиповы слушали в 1816 г. курс политической экономии у проф. Германа, для чего сделали складчину.⁵ На квартире Рыльева устраивались беседы по политической экономии с проф. Усовым. Вместо попок и казарменных бесед «о прелестях женских», все чаще стали разлаживать «суждения о политической экономии Сея».⁶ Н. И. Тургенев, который еще в университетские годы мечтал о том, чтобы пропагандировать экономическую науку, правда, не стал профессором, но собирал вокруг себя молодежь и читал им лекции по политической экономии.

Эта жажда экономических знаний, овладевшая обществом, была причиной необыкновенных успехов экономической теории. Сначала, правда, лекции читались по-немецки. Однако проходило лишь несколько лет, и положение радикально меняется. Н. И. Тургенев рассказывает брату Александру забавный эпизод, как один из его гёттингенских профессоров Геерен был очень удивлен, узнав, что в России читаются лекции на русском языке. «Ist es erlaubt russisch zu lesen?» — спросил он. Н. И. Тургенев по этому поводу в досаде восклицал: «Трудно или и не возможно вообразить себе вопрос смешнее этого, тем более от человека, который, как видно, хорошо знает Русскую историю и Статистику».⁷ Брат отвечает: «Скажи ему, что не только что позволено читать по Русски, но что уже с 1803-го года это приказано и поставлено в обязанность профессорам, даже иностранцам, из которых многие уже читают по Русски: а в злешнем Педагогическом Институте⁸ иначе и не преподают ни одной лекции, как на Рус. Языке и Политическая Экономика преподается теперь на Рус.»⁹ Но, конечно, приказывать читать лекции на русском языке было легче, чем продолжать долгого самостоятельному творчеству в области экономической науки. Еще в 1812 г. переводчик Сарториус, казанский

¹ «Михаил Андреевич Балугьянский». Биографический очерк. СПб., 1882, стр. 11.

² Семейский. Политические и общественные идеи декабристов. 1909, стр. 204.

³ Блюмин. Назв. соч., стр. 199.

⁴ Архив бр. Тургеневых. Вып. I, СПб., 1911, стр. 371.

⁵ Впоследствии Петербургский университет.

⁶ Архив бр. Тургеневых. Вып. II, стр. 397.

¹ В. С. Иконников, Август Людвиг Шлецер. Историко-биографический очерк. Киев, 1911, стр. 14.

² Н. И. Греч. Записки о моей жизни. Academia, 1930, стр. 205.

³ Архив бр. Тургеневых. Вып. 2-й, СПб., 1911, стр. 404.

профессор Кондырев, сопроводил свой перевод предисловием и примечаниями, показывающими, насколько незрелой была еще в эти годы наша экономическая мысль. Потребность в появлении сарториусова перевода он объясняет тем, что обширность труда А. Смита мешала ему быть «удобовразумительным». Вульгарный переклад Сарториуса, повидимому, более подходил для того, чтобы «вести его в употребление при Академическом чтении». В приложенном к переводу «вззрению на словесность Государственного Хозяйства» Кондырев говорит о «Российской словесности Политической Экономии» следующее: «Словесность Политической Экономии на Российском языке у нас малозначительна; мы имеем одни переводы, но и тех не весьма в достаточном количестве. При сем можно только заметить, что вход в наш круг учености Политическая Экономия имела, как из самых даже переводов видно, в царствование Александра I». ¹ Эта краткость срока со времени «входа в круг учености» неизбежно приводила к несамостоятельности преподавания. На первых порах профессора нередко читали лекции по чужим книжкам. Иностранный учебник брался за образец для преподавания, и за ним следовали почти дословно. Известно, например, что когда К. И. Арсеньев обвинил в том, что он проявлял в лекциях вольномыслие, то этот корифей нашей статистической науки первой половины XIX века хотел оправдаться тем, что он «теорию статистики преподавал по печатной книге Профессора Германа, изданной в 1807 году от Главного Правления Училищ и одобренной Правительством». ² Подобным же образом, по словам А. И. Тургенева, «по Сарториусовой книге здесь, в Педагогическом Институте преподает Балудьянский; но он не знает хорошо по-Русски». ³

Даже Мордвинов, один из наиболее оригинальных экономистов того времени, не избежал обвинений подобного рода, шедших к тому же из лагеря его друзей. Н. И. Тургенев пишет брату: «Ты, я думаю, читал некоторые брошюры Морав[ина]. Но он гораздо лучше говорит в Совете, нежели пишет. Ганиль его герой, любимый автор. Он уверен, что он сам, [Мордвинов], пашет для России совершенно то, что Ганиль для Франции». ⁴ Если вспомнить, что Маркс видел в Ганиле лишь представителя «реставрированной меркантильной системы», ⁵ т. е. человека, отстаивающего от своей эпохи, по крайней мере, на целое столетие, неизбежно приходится отнестись к указаниям Тургенева о преклонении Мордвинова перед Ганилем с известной дозой скептицизма.

¹ Г. Сарториус. Начальные основания народного богатства и государственного хозяйства, следуя теории Адама Смита, Казань, 1812, стр. 244.

² «Дело о С.-Петербургском Университете в 1821 г.» в «Чтениях в общест-
ве истории и древностей Российских при Московском Университете», 1866,
вып. 3-я, стр. 91.

³ Архив бр. Тургеневых. Вып. II, стр. 404.

⁴ Декабрист Н. И. Тургенев. Письма, 1811—1821, 1936, стр. 244.

⁵ Маркс и Энгельс. Соч., т. XVII, стр. 69, 91.

Интересно, что современная наука адресует Тургеневу тот самый упрек, который делался им самим по адресу Балудьянского: «в настоящее время можно считать установленным, — писал 20 лет тому назад Шебуний, — что имевшая в свое время успех и доставившая автору известность книга Н. И. Тургенева представляет собой переработку слушанных им в Гёттингене финансовых лекций проф. Сарториуса. Если, таким образом, научное значение книги ничтожно, то общественное ее значение несомненно». ¹ Не следует придавать большого значения этим попрекам по поводу позаимствования из иностранных источников. Гораздо важнее отметить два обстоятельства. Во-первых, потребовалось всего четверть века, чтобы даже академическая политическая экономия стала на ноги и начала приобретать самостоятельный характер. Через 29 лет после Кондырева профессор того же Казанского Университета, Иван Горлов, мог с полным правом заявить: «...народное хозяйство в России давно преподается с кафедр и понятия о нем были весьма распространены в университетах, если не в литературе». ² Во-вторых, в эту эпоху не менее, чем в другие периоды XIX столетия, внеакадемическая экономическая мысль далеко опережает по своей глубине уровень университетского преподавания. Настоятельная практическая потребность требовала разработки ряда народно-хозяйственных проблем. То были именно вопросы реформы.

Остановимся теперь на вопросе о характере иностранных идеологических влияний. В своей объемистой монографии по истории политической экономии в Германии Вильгельм «Фуксидль» Рошер, над которым умел потешаться с такой ядовитой иронией Маркс, отметил существование мнимой «немецко-русской школы» политической экономии и наиболее крупными представителями этой школы он считал Шторха и Канкриня. Рошер утверждал, что в «немецко-русской школе» духовная инициатива принадлежала немцам. ³ Эта рошеровская «концепция» явно изображает действительность в кривом зеркале. Нельзя, конечно, отрицать стремления немцев в период царствования Александра I взять на себя миссию развития русской экономической науки. Нужно, однако, вспомнить, что, прежде всего, немецкая экономическая ученость не могла дать больше того, чем сама имела, а это было очень немного: немецкие экономисты начала XIX века способны были в лучшем случае лишь перепевать чужие мотивы. Эмигрировавшие (временно или навсегда) в Россию немецкие ученые в те годы невольно сами становились поклонниками русской культуры, особенно после победы России в Отечественной войне, поднявшей мировой авторитет России до небывалой вы-

¹ А. Шебуний. «Н. И. Тургенев», ГИЗ, 1925, стр. 54.

² Иван Горлов. Теория финансов. Казань, 1841. Предисловие.

³ W. Roscher. Geschichte der National-Oekonomie in Deutschland. München, 1874, стр. 790—791.

соты; они подчинялись обаянию своей новой родины, начинали «бодеть» ее проблемами. Достаточно здесь напомнить старика Августа Шлеера, большого поклонника русской старины, к которому русские студенты в Гёттингене приходили на пасху «христосоваться»,¹ или «вещего Штейна, породой германца, душой — царственного деятеля той эпохи, которого Александр I начал в заместители Сперанского после падения последнего. С первых же лет правления Александра I, и особенно в период наполеоновского господства в Пруссии, там происходит знаменательный перелом: «наполеоновское иго над Германией послужило для нее началом освободительного движения».² В России началось такое же движение. Однако в нем руководящая роль выпала на долю русских, а не немецких реформаторов. Россия в эти годы выступала в ореоле освободителя Европы, и немецкие патриоты, направившиеся в Россию после Иенского поражения и войны 1807 г., чтобы сражаться за свою национальную свободу, приходили не учить Россию, а учиться у нее. Характерно при этом, что поставщиком прогрессивно настроенных ученых и, в частности, экономистов являлся именно Гёттингенский университет, бывший в самой Германии рассадником идеологии просветительства в духе французской предреволюционной эпохи. История Гёттингена является поэтому бельмом на глазу для современных реакционных немецких ученых. Так превозносил реакционеромантика Адама Мюллера, издатель избранных произведений последнего, Яков Бакса, противоположает Мюллеру гёттингенских ученых, которых он изображает духовными мешанами, доморощенными гробкопателями, не сумевшими преодолеть в себе тлеющих начал эпохи просветительства.⁴ До Октябрьской революции Вишнякер написал книгу, в которой пытался вывести из Гёттингена все русское либеральное движение начала XIX века. Тогда же критика обнаружила всю односортность этой точки зрения. Однако доля истины в вишнякеровских взглядах была: русская общественно-экономическая мысль первых десятилетий XIX столетия поглощала и осваивала шедшие из Германии экономические идеи главным образом постольку, поскольку в них была именно гёттингенская завскаса. Недаром Пушкин вложил в Лейского «гёттингенскую душу». Россия не подчинялась пассивно немецкой науке, а предъявляла к ней свои требования. Когда немецкие иммигранты проповедовали священную вражду против крепостничества, провозглашали требование свободы личности, как первой предпосылки развития производительных

сил, и настаивали на правовых гарантиях, необходимых для устойчивости хозяйственных отношений, они попадали в тон нашей общественно-экономической мысли, и только в таком случае к ним охотно прислушивались. Такова была, например, судьба Якоба, написавшего превосходную книгу о преимуществах вольного труда над крепостным. Даже у Шторха, в котором Рошер хочет видеть главу «немецко-русской школы», нетрудно разглядеть как бы два лица: когда он обращался к общетеоретическим вопросам и выступал перед Европой, он был, наряду с Сэем, лишь одним из наиболее известных представителей того убогого течения экономической мысли, которое получило имя вульгарной школы. Но когда его одолевали чисто русские экономические вопросы в роде изысканий крепостничества или бумажно-денежной разрухи, он не отставал от гёттингенских реформаторов. Недаром в предисловии к его 6-тому «Курсу», изданному по-французски и не пропущенному русской цензурой, он с подъемом говорит о признании экономиста-теоретика: «Политическая экономия затрагивает иногда довольно шекотливые вопросы. Я бы изменил доверию, которого был удостоен, если бы представлял моим высоким ученикам эти вопросы в свете, отличном от света истины и разума... Если всякий писатель должен защищать истину и человечество, то в особенности этот долг лежит на воспитателе, обращающем свою речь к великим князьям, мнение которых столь сильно влияет на судьбу народов. Совесть моя свидетельствует, что я исполнил священный долг, вытекавший из возложенной на меня обязанности, хотя употребил при этом все усилия относиться с уважением к общественным учреждениям моей страны. Предавая гласности мои лекции, я сознавал необходимость еще большей осторожности: потому что много хорошего, высказанного моим ученикам на лекциях, не соответствовало печати. В стране монархической и у народа, сильно преданного своим обычаям, писатель должен быть осматрительным, если не хочет повредить делу разума, вместо того, чтобы быть ему полезным. Однако эта осматрительность не заставляла меня отказываться от независимости моих мнений: иначе я бы не обнаружил моего сочинения».¹

Иностранцы, приезжавшие в Россию в начале XIX века, видели в Шторхе главу русской политической экономии и с удовольствием отменяли либерализм его суждений. Так, известный поклонник Бентама, собиратель его литературного наследства Джон Боулинг, прибывший в Петербург зимой 1819 г., рассказывает о своей беседе со Шторхом (он ошибочно называет его Horch, the political economist). По его словам, Шторх жаловался на невозможность заниматься научными исследованиями при

¹ Генрих Шторх. Курс политической экономии или изложение начал, обуславливающих народное благоденствие. Том первый, СПб., 1881, стр. IV.

¹ В. С. Иконников, А. Л. Шлеер, стр. 66.

² Декабрист Н. И. Тургенев. Письма, 1811—1821, стр. 39.

³ А. Н. Пыпин. Общественное движение в России при Александре I, изд. 5-е, П., 1918, стр. 135.

⁴ Adam Müller. Ausgewählte Abhandlungen. Jena, 1921, стр. 126.

деспотическом правительстве. «Вам дозволено ходить, где хотите», — сказал собеседнику Шторх, — а нас сквали в детской колыбели».¹

Н. М. Карамзин, приехавший в 1816 г. в Петербург для представления царю своей «Истории», познакомился лично со Шторхом и писал жене: «Вчера перед обедом провел я два часа с любезным Шторхом à discuter sur l'affranchissement des paysans (обсуждая вопрос об освобождении крестьян)».²

И все же первые шаги академической политической экономии, при естественном отсутствии своих кадров в то время, легко могли быть поставлены приезжими немецкими учеными под свой контроль. Шлепер (младший) и Шторх лишь оспаривали друг у друга право на первенство в этом влиянии. Очень любопытен в этом отношении выпад, содержащийся во II издании труда Христиана Шлепера — «Начальные основания государственного хозяйства». Автор хочет «защитить себя против дерзких рассуждений, которым пристрастие и невежество не Россия, но полуученых Немцев подвергали иногда самые лучшие мои предприятия». Шлепера приводит в негодование то, что «некоторый Автор, писавший в России о Государственном Хозяйстве десять лет после меня и, ежели действительно не лучше меня, по крайней мере в больших томах и на лучшей бумаге напечатавший свое сочинение, совсем не упоминает о моей книге и присваивает себе услугу первого сочинения сего рода в России, хотя впрочем я мог бы доказать ему, что он знал мое сочинение весьма хорошо, и тому назад шестнадцать лет учился сам из оного первым началом Государственного Хозяйства».³ Можно почти не сомневаться в том, что в качестве «полуученого» немца в этой филиппике фигурирует сам академик Шторх! Однако эта распря за право перворства в русской политической экономии, за монополию вещания экономических истин между Шлепером и Шторхом, окончилась довольно неожиданно. Русские реформаторы начала XIX века обошлись почти без немецкого наследства! Шлепер и Шторх спасались перед Балугьянским и Сперанским! Минимум теоретической выучки наши реформаторы начала XIX века, пожалуй, заимствовали главным образом у немцев, но то была, конечно, английская классическая буржуазная доктрина.

¹ John Bowring. Autobiographical Recollections, edited by L. B. Bowring. London, 1897, стр. 121—122. Пользуясь случаем, чтобы паразитировать искреннюю признательность проф. М. П. Алексеену, обратившему мое внимание на копию с соответствующих страниц книги Боурина, которой нет в ленинградских книгохранилищах.

² Письма Н. М. Карамзина к И. И. Дмитриеву, СПб., 1866, стр. 099—0100 прилож.

³ Шлепер. Начальные основания государственного хозяйства. Часть первая, содержащая народное хозяйство или науку о народном богатстве, II изд. М., 1821, предисловие.

Но затем русские ученики быстро превзошли своих немецких учителей и проявили такую самостоятельность в теоретических построениях, необходимых для практического разрешения вопросов промышленности, сельского хозяйства, денежного обращения, что приходится только удивляться.

Изучить историю этого умственного движения удобнее всего хронологически, — начиная с М. А. Балугьянского. В анналах истории русской экономической мысли для Михаила Андреевича Балугьянского не нашлось почетного места. Он вошел в Пантеон русской науки с небрежной рекомендацией, написанной ему наспех В. В. Святловским, труды которого отнюдь не отличались монументальностью. В своем более раннем, дореволюционном сочинении по истории русской политической экономии Святловский вспоминает о Балугьянском среди популяризаторов Адама Смита в России и говорит: «после Гереншванда Смита излагал проф. Михаил Андреевич Балугьянский. Это был европейски образованный экономист, известный, впрочем, более как талантливый сотрудник Сперанского».¹ Далее сообщается о том, что Балугьянский напечатал первый на русском языке очерк истории экономических учений: «Изображение различных хозяйственных систем». Этот очерк был помещен в издававшемся акад. Германом с 1806 по 1808 гг. «Статистическом журнале». Основным его содержанием было изложение «Теории» Адама Смита». По словам Святловского, учения меркантилистов, физиократов и Смита изложены в этой работе «прекрасно и последовательно». Позднее, после революции, Святловский почти дословно воспроизвел свою прежнюю характеристику Балугьянского, подчеркнув еще более определенно, что он «пропагандировал» учение Смита и назвал его «популярным профессором». Изложение хозяйственных систем в германовском журнале на этот раз названо «толковыми».² Эти суждения В. В. Святловского предопределили научную репутацию Балугьянского. Когда читаешь позднейшие отзывы о нем, трудно отделаться от впечатления, что их авторы слепо доверились Святловскому и даже не потрудились заглянуть в «Статистический журнал», чтобы непосредственно познакомиться с «популярной» смитовой учения. Так, проф. Е. И. Тарасов, упомянув о книге Гереншванда, «напитанной духом Ад. Смита», затем замечает: «Писал о «Теории Адама Смита» и проф. Балугьянский в «Статистическом журнале» (1808)».⁴ Повторяет своими словами Святловского и И. Г. Блюмин, добавляя: «См-

¹ В. Святловский. К истории политической экономии и статистики в России. Сборник статей, СПб., 1906, стр. 49.

² Через «фигу».

³ Проф. В. В. Святловский. История экономических идей в России. Т. I, СПб., 1923, стр. 129.

⁴ Проф. Е. И. Тарасов. Декабрист Н. И. Тургенев в Александровскую эпоху. Исследование по неизвестным документам. Известия Самарского Государственного Университета, вып. 4, 1923, стр. 251.

пяти Балугьянского всецело на стороне великого шотландца.¹ Наконец, все ту же штампованную фразу: «О «феории» Смита писал профессор Балугьянский в «Статистическом журнале» за 1808 г.» находим у проф. К. А. Пажитнова в его новейшей работе о декабристах.²

Во имя восстановления истины приходится, прежде всего, сделать следующие разъяснения. «Статистический журнал» всего вышло 4 книжки, с 1806 по 1808 гг., и в каждой из них имеется по статье Балугьянского. Первые три статьи носят общее название: «Национальное богатство. Изображение различных хозяйственных систем». Это и есть та статья, которую имеют в виду современные авторы. Она напечатана в 1806—1807 гг., а не в 1808 г. и название ее выписано В. В. Святловским и др. не совсем точно. Отметим также, что автор статьи назван «Михайлой Балудьянским», и обозначены следующие его титулы: доктор прав, профессор политической экономии при санкт-петербургском педагогическом институте, редактор при комиссии о составлении законов по части политической экономии и финансов.³ Вызвавший у нас наибольший интерес раздел статьи помещен в первой части второго тома журнала (за 1807 г.) и назван так: «О национальном богатстве. Теория Адама Смита». Транскрипция «феория» имеется только в статье 1806 г. Едва ли инициатива такой транскрипции исходила от самого М. А. Балугьянского. Том, в котором она напечатана, открывается статьей самого редактора, акад. К. Германа: «Феория статистики». Первая страница журнала так и пестрит этим словечком: «феория», тогда как в напечатанном перед статьей редакционным изложением программы журнала говорится «теория». Балугьянский тут, очевидно, не при чем, — все равно как он едва ли повинен в том, что в третьей книжке, в оглавлении, статьи теоретического характера обозначены: «Теоретические пьесы», тогда как в следующей, последней книжке журнала они названы «статьи теоретические». Это были, повидимому, чудачества самого Германа или кого-нибудь из его приближенных. Четвертая статья М. А. Балугьянского в «Статистическом журнале» имеет название: «О разделении и обороте богатства». В ней особо выделен раздел: «Об ассигнационных банках и кредитных бумагах».⁴

Все эти замечания могут показаться человеку с широкими взглядами мелкими придирами педанта. Существо дела, конечно, не в них. Несравненно важнее то, что М. А. Балугьянский попал в историю русских экономических идей как автор единственной

печатной работы, в которой он лишь посвящал русскую читающую публику в тонкости смитовской системы. Это мнение остается пока непоколебленным независимо от того, начал ли он печататься в 1806 или 1808 г., выступил в свет одну или несколько статей, назвал учение Смита теорией или «феорией». Однако это впадение о скудости литературного наследства Балугьянского интересно сопоставить с тем, что он сам сообщил министру финансов Гурьеву, подводя итоги своей деятельности за 1804—1816 гг. (в записке от 22 ноября 1816 г.). Балугьянский напоминает о том, что им составлен «обширный теоретический труд в 8-ми томах, по политической экономии и финансам», написан для комиссии составления законов «проект разных финансовых мероприятий, принятый с некоторыми изменениями в 1810 г., представлено большое число записок о монетной системе, банках, финансовом управлении европейских стран, налогах». Особо Балугьянский выделяет свои работы по министерству финансов, сообщая о неустанных трудах своих «для того финансового проекта, который вы желали иметь изготовленным ко времени благополучного возвращения императора с театра военных действий. Могу положительно сказать, что в течение трех летленно и ношно посвящено было все время мое на выполнение таковой работы. Плодом означенных трудов моих были, во-первых, записка, поднесенная вами императору в 1814 г., с изложением нового финансового плана, который удостоился вполне высочайшего одобрения. После того, мною поданы были вам проекты образования кредитных учреждений, банков и вообще все то, что вам угодно было верить разработке моей».¹

Как понять этот разрыв между свидетельством самого автора о проделанной им чудовищной теоретической и практической работе, которое едва ли можно заподозрить в лживости, поскольку оно направлялось к непосредственному начальнику Балугьянского, хорошо знакомому с его научной и ведомственной продукцией, и исключительной скудостью того, что из этого наследства досталось потомкам? Грешным делом, естественная мысль, которая рождается у всякого, такого: вероятно, суд истории был справедлив, когда он дал возможность многочисленным манускриптам Балугьянского спокойно сгнить или погибнуть в архивах, а может быть, и сейчас мирно покоиться под густым налетом пыли! Пишущий эти строки сам придерживался такой точки зрения, когда печтаяно наткнулся, разбираясь в архиве Академии Наук в Ленинграде в бумагах покойного акад. К. И. Арсеньева, на три тетрадки, на которых красовалась надпись: «Система Михаила Балугьянского. Лекции из политической экономии». Сразу возникает сомнение: какая может быть система у человека, который был только популяризатором Адама Смита?

¹ Михаил Андреевич Балугьянский. Статс-секретарь, сенатор, тайный советник (1769—1847). Биографический очерк. СПб., 1882, стр. 13—14.

¹ И. Г. Блюмин. Очерки экономической мысли в России в первой половине XIX века. 1940, стр. 51.

² Проф. К. А. Пажитнов. Экономические воззрения декабристов. 1945, стр. 14.

³ «Статистический журнал», т. I, ч. I, 1806, стр. 45.

⁴ «Статистический журнал», т. II, ч. II, 1808, стр. 2.

Однако по мере углубления в изучение одной из тетрадок, которая относится специально к экономике нашей родины, начинаешь понимать, почему на тетрадках была такая надпись.

«Записка» Балу́гьянского замечательна тем, что он пытается в ней соотнести обсуждение блестящих перспектив экономического развития России с проектом полной реформы ее общественного и правового строя. Однако прежде чем мы перейдем к рассмотрению экономических взглядов Балу́гьянского, необходимо сказать несколько слов о самом авторе.

Балу́гьянский был родом из Венгрии, по он, как отмечают его биографы, по национальности был карпато-руси́н или «иностранный славянин». Он попал в Россию в 1804 г. вместе с другими представителями той же национальности — Кукольников и Лодием, причем их приезд был связан со стремлением русского правительства пополнить недостаток в профессорах, особенно по политическим наукам, не из числа немцев, а за счет более близких нам по духу иностранных славян. Как пишет Баранов: «имея в виду искать профессоров из тех народностей, которым язык наш, по племенному родству, не совсем чужд, положено было избрать их из среды наших родичей, славян германских». ¹ Прожив несколько десятков лет в нашем отечестве и приняв в 30-х годах русское подданство, Балу́гьянский, по свидетельству его дочери баронессы Мелем, настолько сроднился с Россией, что «стал считать ее своим новым отечеством». ² Балу́гьянский был выписан в Россию уже в то время, когда признавался талантливым молодым экономистом, занимав кафедру политической экономии в Вене. Способствовавший его приезду в Россию, придворный врач Орлай, сам карпато-руси́н, который до того как стать медиком обучался вместе с Сперанским в Александров-Невской семинарии, рекомендовал его Сперанскому. ³

Наряду с занятиями политической экономией Балу́гьянский обратился и к практической деятельности по финансам. Как рассказывает биограф Сперанского барон Корф, Балу́гьянскому была поручена работа о средствах к лучшему устройству наших финансов. Вместе с другими двумя экономистами — Вирстом и Якоби — он составил финансовый план, для обсуждения которого был организован особый комитет. Однако, как сообщает Корф, совокупный их труд не удовлетворил Сперанского, и он «предпочел обратиться к тем идеям, которые были изложены в прежней работе Балу́гьянского. Последний, человек добрый, рыцарь благородства, полный усердия и очень ученый, но вовсе не практик», написал, вследствие того, обширный записку на Французском языке, которую Сперанский переложил на Русский, но в

другой форме и со многими переменами и дополнениями. В этом виде записка была потом рассматриваема и обсуждаема, в домашних совещаниях, за обедами у графа Северина Потоцкого (тогда еще сенатора, а с 1-го января 1810 года назначенного членом государственного совета), в которых, сверх Сперанского, участвовал только адмирал Николай Семенович Мордвинов, Кочубей, Кампенаузен и Балу́гьянский. ⁴ Между тем этот знаменитый финансовый план 1809 г., создавший целую литературу и неоднократно обсуждавшийся в научной печати, известен под именем плана Сперанского!

В биографии Сперанского, написанной Середониным, также подчеркивается, что план всеобщего государственного образования, составленный Сперанским, в значительной мере опирался на подготовительные работы, проделанные Балу́гьянским. По словам Середонина, эта «работа Балу́гьянского... имела влияние на план Сперанского, хотя, конечно, он значительно изменил ее». ⁵ Проводя параллель между работами Балу́гьянского и Сперанского, Середонин указывает целый ряд пунктов, в которых, повидимому, Сперанский целиком опирался на Балу́гьянского. Что же касается непосредственно финансового плана, то, по мнению Середонина, Сперанскому принадлежит только переработка записки, составленной все тем же Балу́гьянским. Середонин прямо называет его планом Балу́гьянского — Сперанского и указывает следующие его основы: «План Балу́гьянского — Сперанского в главных чертах своих сводился: 1) к изъятию из обращения ассигнаций, для чего должен был образоваться капитал погашения; 2) к твердому устройству монетной системы; 3) к установлению равновесия между расходами и доходами, — это все предметы государственного хозяйства; в области народного хозяйства прежде всего развитие торговли». ⁶

После отставки Сперанского Балу́гьянский не потерял своего прежнего влияния в министерстве финансов и именно ему, повидимому, принадлежит составление нового финансового плана, в настоящее время не сохранившегося. Выше приведены были уже слова самого Балу́гьянского о том, что он представил такой план в 1814 г. По словам А. Гурьева, в марте 1816 г. министр финансов Гурьев представил Александру I доклад о положении финансов и получил повеление подготовить общий план финансов. Месяц спустя этот план был уже представлен. В этом плане министр возвращался к началам некогда отвергнутого им плана Сперанского. ⁷ И неудивительно, так как это был не столько план

¹ Корф. Назв. соч., стр. 192—193.

² С. М. Середонин. Граф М. М. Сперанский. Очерк государственной деятельности. СПб., 1909, стр. 17.

³ Там же, стр. 81.

⁴ А. Гурьев. Денежное обращение в России в XIX столетии. Исторический очерк, СПб., 1903, стр. 70.

⁵ Проф. Штейн—170

¹ Баранов. Назв. соч., стр. 4.

² М. А. Балу́гьянский. (Записка его дочери, баронессы М. М. Мелем). «Русский архив», 1885, книга 3-я, стр. 416.

³ Корф. Жизнь графа Сперанского. Том первый, СПб., 1861, стр. 191—192.

Сперанского, сколько план Балугьянского, а план 1814—1815 гг. составлялся опять-таки не министром финансов Гурьевым, а тем же Балугьянским.

Интересно также отметить, что в своей известной записке о монетном обращении, сочиненной в конце 30-х годов, сам Сперанский писал: «В 1815 г. составлен был новый план финансов. Основные начала его были те же, как и в 1810 г., но они усовершенствованы и расширены. Одною из главных частей сего плана было не только остановить дальнейший выпуск ассигнаций, но и привести их в равенство с серебром». Таким образом неясной остается лишь дата составления второго финансового плана (1814—1815—1816), но наличие такого плана, составленного Балугьянским, не может быть оспорено.

Во всех этих трудах Балугьянского, имевших огромное значение в истории нашего отечества, имя его опущено только вследствие того, что автор отличался, по всеобщему свидетельству, исключительной скромностью, списавшей ему всеобщую любовь. Единственным исключением был Н. И. Тургенев, относившийся к Балугьянскому резко отрицательно.

В известном труде Н. И. Тургенева «Россия и русские» последний, сообщая о своем назначении секретарем Ученого комитета, вспоминает: «Главным членом этого комитета был профессор политической экономии, служивший сильнейшим орудием министра при всех его нововведениях, часто столь роковых для интересов казны». Далее, возвращаясь, повидимому, к деятельности Балугьянского, он пишет: «Другой член работал без устали над кучей проектов; его шарлатанство с самого начала чрезвычайно не понравилось мне, я при всяком случае давал ему это почувствовать».²

Балугьянский во всяком случае заслуживает место непосредственно рядом со Сперанским по свидетельству его дочери: «Михаил Михайлович не мыслим без Михаила Андреевича, Михаил Михайлович мог и должен был быть замечательным человеком и государственным деятелем в России, а Михаил Андреевич мог быть тем же и в других государствах».³

Как уже отмечалось, литературное наследство Балугьянского до сих пор остается совершенно не использованным. Мы имеем здесь возможность передать содержание только его записки об экономическом развитии России. Записка эта представляет, как сказано, третью тетрадь материалов, найденных нами в бумагах, оставшихся после Арсеньева. На тетрадке имеется следующая надпись: «Система Михаила Балугьянского. Тетрадь третья, показывающая применение политико-экономических его начал к Рос-

сии. Что должна сделать Россия в государственном хозяйстве и управлении для своего истинного и величайшего благоденствия». В этой рукописи Балугьянский фигурирует в качестве редактора по вопросам политической экономии II отделения комиссии составления законов. Свой план переустройства России он и предлагает комиссии на рассмотрение, сводя его к десяти основным пунктам, которые будут воспроизведены ниже.

Весь план пронизан двумя важнейшими идеями: необходимо освобождения крестьян от крепостной зависимости и поощрению плодотворности максимального накопления капиталов для будущего России. Россию Балугьянский представляет как страну с преобладанием сельскохозяйственного промысла. Он пишет: «Россия должна быть в самой высочайшей степени земледельческим государством. Того требует ее местоположение, ее климат, качество земной почвы и дух ее народа. Сие предположение не исключает мануфактур и торговли». По его представлению, широкое развитие мануфактур произойдет само по себе при установлении свободной промышленности и накоплении капиталов. Балугьянский смело выступает с пророчеством, что Россия «должна иметь некогда 300 млн. жителей, основать деревню на деревню, город на городе, неизмеримые равнины обратить в плодородные поля, все дороги, реки, каналы завалить провозимыми товарами». Стремясь к этой цели, «правительство должно иметь единственную мысль: накопление капиталов». Правда, Балугьянский пробует сам возразить себе, что при относительно большом населении Европейской России доведение числа ее жителей до 300 млн. как будто представляется химерою, особенно при ее климате. Однако он опровергает это сомнение следующими словами: «Положим 75 тыс. кв. миль годных для земледелия, то, полагая по 3000 на кв. милю, будет 225 миллионов. В Англии 4500 чел. на кв. милю. А если еще хорошие законы? Посему 300 млн. жителей не есть химера». Таким образом Балугьянский не сомневается в том, что перед Россией открывается блестящее будущее.

Замечательно при этом, что Балугьянский настаивает на ничтожном значении климата для судьбы государства. По его словам, «... предвзвешивая только один климат, человек может иметь такое влияние, которого человек не в силах преодолеть, своими трудами. Великобритания, Германия, самая Россия — живой пример. Разве под 60° нельзя достигнуть такого образования, как под 40°, разве из болотных Голландии нельзя иметь такой деятельности, как на прекрасных равнинах Италии?»

Одна из наиболее интересных идей Балугьянского в отношении русской экономики заключается в его стремлении к ожив-

¹ Записка о монетном обращении графа Сперанского с замечаниями графа Канкрин. СПб., 1895, стр. 12—13.

² Николай Тургенев. Россия и русские. М., 1915, стр. 95.

³ Медем. Назв. статья, «Русский архив», 1895, кн. 3, стр. 430—431.

¹ Архив Ленинградского отделения Академии Наук СССР. Бумаги, оставшиеся после академика К. И. Арсеньева, т. II.

лению отсталых районов, чтобы включить их в систему широкого географического разделения труда. Балугьянский рисует грандиозную картину усиления внутренних связей в пределах России при развитии транспорта. Обитатели бассейнов Печоры, Оби и Лены вступают в оживленный товарообмен с южными губерниями, причем Балугьянский смело отвергает мысль о том, что северным районам нечего дать в обмен губерниям, более выгодно расположенным. Он напоминает о том, что в недрах земли их таится сокровища, удивляющие столь же важным потребностям южных губерний, как, скажем, производимый последними хлеб. Взаимный обмен между различными частями России должен вызвать «такое благоденствие, какого Германия, Великобритания и Голландия никогда и не воображали себе возможным».

Экономическое призвание России Балугьянский видит именно в этом усилении внутренней, а отнюдь не внешней торговли. Он категорически заявляет: «внешняя торговля останется вечно постороннею целью России». Последняя должна стать «могущественной державой на суше, а никогда повелительницею на море» и не должна придавать существенного значения внешнему товарообмену. Правда, она должна повелевать Черным и Каспийским морями, но это лишь потому, что торговлю с южными иностранными государствами Балугьянский ставит несравненно выше, чем торговлю по Балтийскому морю. По словам Балугьянского, «предпочитая внешние сношения, Россия унижается в своем достоинстве и делается колонией прочих европейских наций». Особенно это относится к ее попыткам усилить торговлю на Балтийском море для того, чтобы продавать дешевле свои товары Англии, Испании и Франции. Отсюда видно, как хорошо понимал Балугьянский опасность, которую грозит России односторонняя экономическая ориентация на более развитые в народно-хозяйственном отношении западно-европейские державы. Он предпочитал, что при усиленном внедрении иностранных экономических влияний не исключена возможность превращения России в страну колониального типа и хотел предохранить ее от такой участи усиленным развитием экономических связей в южном направлении.

По мнению Балугьянского «физическое местоположение благоприятствует России к вывозу избытков южных краев. Правда, там нет столь богатых земель, как на востоке. Но Азия и Левант, Италия и Марсель (а особенно если бы лучшую часть сих земель изоргнуть из пуч варваров, которые, на позор просвещенного света, около 300 лет свирепствуют уже в Европе) суть такие страны, которые представляют еще гораздо больший или по крайней мере подобный нынешнему торг. — торг, кого Россия не в состоянии закупить на все произведения своей промышленности».

Мы уже отметили, что с точки зрения Балугьянского нет надобности проводить специальные мероприятия, поощряющие развитие промышленности. Он считал, что Россия сама по себе имеет настолько благоприятные предпосылки для промышленного развития, что никаких искусственных, стимулирующих мер принимать не стоит. По его словам, главные мануфактуры в России находятся в деревнях, лежащих по Волге и Оке. Это распространение мануфактур в глубинных районах нашей страны казалось ему доказательством того, что в России, как в Америке, промышленность может достигнуть цветущего состояния без специального покровительства («без всяких распоряжений»). Однако важнейшим препятствием для развития мануфактур он считал то, что на многих фабриках работают приписные, или лучше сказать крепостные, крестьяне. Ему представлялось, что таким способом мануфактуры искусственно развиваются за счет земледелия. Другими словами: усиленное развитие мануфактур есть «следствие рабства». Отмечая, что в других странах мануфактуры обыкновенно заводятся в городах, Балугьянский относился все же с величайшим сомнением к идее предоставления особых привилегий городским фабрикам.

Центральным вопросом всего построения Балугьянского является все же несомненно вопрос об отмене крепостного права. Он не рисковал высказать эту идею в категорической форме, а подходил к ней с некоторой осторожностью, скрывая ее под мыслью о необходимости предоставления непосредственному производителю полной личной свободы. Балугьянский признавал, правда, что будто бы освобождение непосредственного производителя от крепостной зависимости может быть отчасти заменено усиленным накоплением капиталов (в смысле достижения известного уровня производительности труда). Но он отмечал все же, что «рабство простого народа имеет другие следствия: оно имеет влияние на нравственный характер народов, на его счастье, на накопление капиталов во всех классах граждан, а следовательно, через противодействие имеет влияние также на финансы, на могущество и благоденствие государства. Посему истребление рабства составляет одно из благих намерений правительства. Доколь оно не будет истреблено, дотоль мы не можем достигнуть благоденствия».

Уже сказано, что Балугьянский придавал огромное значение накоплению капиталов. Он признавал, что в России капиталов слишком мало по сравнению с огромными пространствами русской империи. Откуда же должны быть заимствованы эти капиталы? Поскольку для Балугьянского Россия должна в основном остаться сельскохозяйственной страной, естественно, его больше всего интересовало накопление капиталов в сельском хозяйстве. Но если физиократы думали, что развитие крупного производства в земледелии достижимо только за счет капиталов, притекающих

и земледелие извне, то замечательной чертой построения Балу-гьянского являлось именно то, что он проповедывал накопление капиталов в крестьянских руках. Для объяснения своей точки зрения он обращается к рассмотрению господствующих в земледелии систем хозяйства. Он различает «малое» и «великое» земледелие. По его словам, великое земледелие производится или самим владельцем или посредством «откупа» (этот термин означал у него аренду земли). Под малым земледелием он разумеет систему, при которой государственные поместья разделены между земледельцами мелкими участками или частные поместья при восстановлении свободы отданы или проданы крестьянам в собственность.

Однако Балугьянский сомневается в том, чтобы благосостояние России можно было целиком построить на мелком крестьянском хозяйстве. С его точки зрения, малое земледелие в стране непременно должно сочетаться с крупным. Однако вопрос о насаждении крупного хозяйства упирается в тот же недостаток капиталов. Решение, которое предлагается Балугьянским, сводится к тому, что сперва нужно сделать народ свободным, а потом уже произвести накопление капитала у крестьян. Этими капиталами крестьянин должен возделывать владельческие поместья. Балугьянский называет такой способ ведения хозяйства «системой откупа» и подчеркивает, что «крестьяне сделаются откупщиками и станут производить земледелие в господских поместьях, как фабриканты и купцы свой промысел».

Для разъяснения этих мыслей Балугьянского полезно сравнить высказанные суждения с тем, что было им напечатано в «Статистическом журнале» о системе физикозаторов. Такое сопоставление дает нам возможность лишний раз убедиться в том, что цитируемая нами записка действительно принадлежит перу Балугьянского, так как полная аналогия в направлении мыслей в обоих произведениях не подлежит никакому сомнению. Нужно признать, что в своей печатной работе Балугьянский переделывает по-своему смысл физикозаторской системы, толкуя ее так, чтобы она сходилась с его собственными идеями. Так, говоря об обработке земли через отдачу ее на откуп, Балугьянский замечает: «В сем случае помещик есть только хозяин, а возделывание земли своей предоставляет одному какому-либо крестьянину (с семейством), который собственный свой капитал полагает на возделывание».¹

Таким образом, по Балугьянскому, наиболее выгодная система земледелия заключается в предоставлении земли в аренду крестьянам, обладающим достаточным капиталом, чтобы обрабатывать ее на основах крупного производства. Эта идея является несравненно более прогрессивной, чем модные в начале XIX века

проекты освобождения крестьян без земли и организации крупных арендаторских хозяйств на английский манер, с участием крупного фермерского капитала. Проповедь крестьянского накопления, как залога экономического процветания России, навсегда останется замечательной заслугой Балугьянского. Сравнивая систему «откупа» с господствовавшей в то время во Франции системой полоников или, как их называет Балугьянский, «мызников», он находит, что сельское хозяйство во Франции было гораздо хуже, нежели в Англии.

Таким образом можно считать доказанным, что для Балугьянского решение аграрного вопроса в России заключается не только в освобождении крестьян, но также в придании им значения костяка русского земледелия посредством накопления в их руках капиталов, необходимых для обработки земли. В своей печатной работе он прямо замечает: «И так откупщики составляют важнейший класс в гражданском обществе. Правительство обязано иметь особенное попечение о его благоденствии».¹ Отступая от физикозаторов, Балугьянский приписывает им деление чистой прибыли (*produit net*) на 3 части, получаемые помещиком, откупщиком и государством. Таким образом Балугьянский контрабандой вводит в число классов, притязавших на участие в чистом продукте, в отличие от физикозаторов, крестьян-арендаторов. Он прямо замечает: «другая часть чистой прибыли остается за откупщиком и служит надежным приращением народного имущества».

Изложив таким образом в записке свой идеал русского земледелия, Балугьянский восклицает: «Если такое состояние не изображает общего благоденствия, если неизмеримое пространство Империи не может чрез то наполниться бесчисленными миллионами щастливых обитателей и Россия сделаться первейшею в свете, то нет иного средства достигнуть сих целей. Она останется тем, чем были бесчисленные другие государства; по временам сильною и страшною, а иногда слабою, малозначащею; идеалом возможно щастливой благоденствующей нации она не будет никогда. Такого состояния нельзя вынудить, нельзя предписать законами. Оно есть следствие рачительного наблюдения наших оснований».

Для характеристики взглядов, изложенных в записке Балугьянского, следует еще отметить решительную его ненависть ко всем формам государственного хозяйства. Балугьянский является безусловным сторонником ликвидации государственной собственности и передачи ее для эксплуатации в руки частных лиц. Он твердо убежден в том, что все формы государственного хозяйства являются не рациональными. В связи с этими его взглядами следует также отметить исключительное его недоверие к системе

¹ «Статистический журнал». Том первый, часть вторая, 1806, стр. 40.

¹ «Статистический журнал». Том первый, часть вторая, 1806, стр. 50.

государственного кредита. Очевидно, боясь того, что государство, заимствующее у частных капиталистов средства, даст капиталам непроизводительное применение, Балугьянский категорически настаивает на том, что частое использование кредита государством приводит его к краю пропасти. В России эта перспектива является не столь грозной лишь потому, что в нашей стране богатства еще не успели сконцентрироваться в руках купцов и фабрикантов, как на западе. В этом великое преимущество России. Западные государства чрезмерно увлекаются коммерческой системой, основанной на предпочтении торговле, Россия же должна противопоставить этой системе свободу промышленности, которая приведет к торжеству земледелия. При этих условиях Россия станет сильнее всех западно-европейских государств и даже по развитию промышленности будет далеко опережать их. По его словам «при восстановлении общей свободы промышленности, нельзя предполагать, чтобы Россия не могла когда-либо достигнуть такого состояния, чтобы быть единственной в свете наций и в отношении фабрик».

После всех приведенных рассуждений Балугьянский обращается к комиссии составления законов с вопросом: «принимает ли Россия основанием своего правления следующие правила:

I. Главное основание государственного хозяйства в России есть свобода промышленности (приписано: свобода лиц и собственности).

II. Ограничение сей свободы происходит из оснований безопасности, из политики. Коммерческая политика в России неизвестна.

III. Правительство почитает за самое лучшее средство к спешествованию народного богатства усовершенствование гражданского, уголовного и полицейского законодательства. К положительным средствам относится только такие заведения, без коих промышленность совершенно не могла бы производиться.

IV. Хотя государство не делает предпочтения ни одной отрасли промышленности, однакож и не забывает притом, что в его положении земледелие должно всегда оставаться главною отраслью промышленности.

V. Российское правительство удостоверено в том, что деньги, кредит и банковые ассигнации не имеют производительной силы, что богатство состоит только в меновой ценности накопленных произведений.

VI. Оно уверено, что всякое публичное потребление и расход бывает бесплоден.

VII. Россия не делает государственных долгов. Для пополнения же наших экстраординарных расходов довольствуется сокращением и экстраординарными податями.

VIII. Российское правительство не забывает того, что государство не может производить ни земледелия, ни мануфактур,

ни торговли, не причиняя тем убытка для народной промышленности и для самых финансов.

Всякое поместье, лес, фабрика, торговля, кою правительство удерживает за собою, удерживается только в отношении безопасности.

IX. Государственные доходы состоят из откупа, платимого наследственными откупщиками государственных поместьев, и из податей. Все прочие источники доходов мало помалу предостают частной промышленности.

X. Подати по основаниям государственного хозяйства собираются только из чистых народных доходов, а не разлагаются по отношениям т. наз. коммерческой политики».

В примечании к записке Балугьянского констатируется, что десять правил редактора были приняты комиссией и теперь остается только ожидать приведения этой системы в действие. Таково это замечательное произведение Балугьянского, несомненно оказавшее огромное влияние на современников в качестве одного из стимулов реформаторской деятельности этого периода.

Было бы неправильным делать заключение из нашего изложения, что Сперанский лишь шел по стопам Балугьянского, пользуясь его эрудицией и реформаторскими способностями для построения своих планов. Сперанский стал экономистом в процессе проведения им реформ. Без Балугьянского ему пришлось бы строить на пустом месте. Работы Балугьянского были законченными экономическими произведениями. Но все же для Сперанского они были лишь материалом, из которого он возводил новое здание. Несомненно, только гению самого Сперанского мы обязаны той грандиозной наметкой государственных преобразований, которые связываются с его именем. Сущность реформ Сперанского усматривали лишь в стремлении к коренному преобразованию политического строя России. Однако стоит внимательно вчитаться в литературные произведения Сперанского, чтобы убедиться в наличии у него также вполне законченной экономической концепции. Точнее говоря, известные экономические предположения молчаливо принимались Сперанским, когда он пытался начертать основы будущей политической реформы. Суть их заключалась в создании устойчивых экономических взаимоотношений свободных граждан, действующих в условиях правового строя. Не трудно понять, что эти предположения были в то время естественными условиями развития капитализма в нашей стране.

В нашем распоряжении имеются два замечательных отзыва о деятельности Сперанского: один написан Чернышевским, другой принадлежит перу Николая Тургенева. Чернышевский относится к несравненно большему соучастнику к реформаторской деятельности Сперанского, чем Тургенев. Наш великий критик

не скрывает, что в его статье «были и будут страницы, которые иной назовет панегириком Сперанскому», несмотря на то, что в действительности он был «далек от восхищения его реформаторской деятельностью».¹ Это мнимое противоречие объясняется тем, что сущность намеченных Сперанским реформ была по духу Чернышевскому, но он прекрасно понимал недостаточность средств, бывших в распоряжении Сперанского, для осуществления задуманных преобразований. Чернышевский видит в Сперанском «мечтателя», отличающегося притом удивительным благородством. По его словам, «ни на одного из русских государственных людей не клеветали столько, как на него; а по разбору фактов он оказывается человеком очень редкого природного благородства».² Для Чернышевского было ясно, что в основе плана Сперанского лежал колоссальный замысел и что он намечал эти грандиозные преобразования отнюдь не ради карьеры. Отвергая утверждение о том, что Сперанский был честолюбив, Чернышевский прямо пишет: «Он хотел великой исторической деятельности, он хотел заслужить славу в потопстве государственных преобразованиями».³ Сперанский никогда не принадлежал к «домашним людям у государя», он «не заискивал придворного веса» и «держался вдали от высшего света». По мнению Чернышевского, «только человек с таким высоким понятием о достаточности делового значения для прочного положения во главе государственных дел мог быть серьезным реформатором».⁴ Сперанский прекрасно понимал, каковы масштабы затеянного им дела и все же «думал провозгласить реформу в полном составе ее за один прием».⁵ Он сам говорил, что «у нас все надо бы переделать». Рассматривая существо проектировавшейся реформы, Чернышевский охотно сравнивал ее с коренной ломкой, произведенной французской революцией. «...он (Сперанский — В. Ш.) действительно был отчасти приверженцем той политической системы, которая преобразовала Францию, которая провозгласила равноправность всех граждан и отменяла средневековое устройство».⁶

Однако, сравнивая одновременно проект Сперанского с японскими кодексом, Чернышевский гениально замечает, что Сперанский «не хотел замечать разницу сил, которыми надлежало ввести свое уложение, от тех сил, которыми введены были новые гражданские законы во Франции».⁷ Другими словами: у Сперанского не было социальной базы, на которую он мог бы опереться.

свои проекты. В сущности он хотел проводить их через Александра I, и в этом была коренная слабость его реформаторской политики. Поэтому-то Чернышевский и замечает: «Сперанского называли его враги революционером. Характеристика, взятая нами из книги барона Корфа, показывает, что этот отзвук врагов Сперанского не был совершенно бесосновательной клеветой». Однако, вместе с тем, он замечает: «смешно называть Сперанского революционером по размеру средств, какими он думал пользоваться для исполнения своих проектов. Он был русский сановник и, конечно, никогда не приходила ему в голову мысль прибегнуть к замыслам или мерам, не согласным с законными приемами или обязанностями его официального положения».¹ При таком расхождении целей и средств «необходимо должна была развиться катастрофа».² Реформаторские труды Сперанского должны были «кастаться бесцельными и безвредными листами и тетрадами писанной бумаги».³ Сперанский был «сломан жизнью».⁴

Тургенев, относившийся к Сперанскому почти так же неблагоприятно, как и к Балуговскому, все же должен был признать, что Сперанский был «одним из самых передовых людей своей эпохи, не только в России, но и во всей континентальной Европе».⁵ Тургенев признавал, что беспристрастно написанная история России должна будет окружить имя Сперанского «некоторым почетом». Для него было ясно, что реформы Сперанского должны были «привести Россию к правовому строю, к конституционной и представительной форме правления». Однако, наряду с Чернышевским, и он отмечал, что Сперанский не учитывал необходимость приобрести социальную основу для проведения своих реформ. Он «слишком верил во всемогущество приказов, бумажных циркуляров и во всеисие формы».⁶

Главным дефектом его проектов было непонимание необходимости начать реформы с уничтожения рабства. Сперанский, по словам Тургенева, как будто желал обойти этот факт, он открыто нападал на некоторые финансовые институты, связанные с рабством, например на подушную подать. Таким образом при всей глубокой разнице подхода к Сперанскому у Тургенева и Чернышевского оба эти автора сходились в том, что грандиозность замысла Сперанского явнее подчеркивает беспочвенность его проектов при отсутствии социальной базы. Поэтому-то и необходимо раньше всего остановиться на отношении Сперанского к крестьянскому вопросу.

¹ Н. Г. Чернышевский. Соч., т. VIII, стр. 301.

² Там же, стр. 298.

³ Там же, стр. 317.

⁴ Там же, стр. 295.

⁵ Там же, стр. 301.

⁶ Там же, стр. 300.

⁷ Там же, стр. 306.

¹ Н. Г. Чернышевский. Соч., т. VIII, стр. 301.

² Там же, стр. 307.

³ Там же, стр. 303.

⁴ Там же, стр. 317.

⁵ Тургенев. Россия и русские, стр. 382.

⁶ Там же, стр. 384.

В дошедшей до нас литературе по крестьянскому вопросу александровской эпохи до декабристов вообще не было ни одной смелой попытки радикальной ликвидации крепостничества. Нам известны две вспышки общественного интереса к крестьянству при Александре I, и в обоих случаях этот интерес подогревался правительственной инициативой. В первые годы царствования, в период розовых мечтаний самого царя об улучшении участи наиболее многочисленного класса его подданных, «реформы» ограничивались нерешительными полумерами. Дальше известного закона 1803 г. о свободных хлебопашцах дело не пошло. Затем после 1815 г. особенно расцветает литература «записок» по крестьянскому вопросу, но она явственно отражает возросшую нерешительность Александра в деле освобождения крестьян и предлагает рецепты, от которых так и разит социальной гомеопатией.

Проф. Тарасов в свое время указывал, что помимо записок и проекта самого Сперанского (1809 г.) и многих мнений, присланных в Вольное Экономическое Общество, ему было известно до 25 записок по крестьянскому вопросу.¹ Выберем из их числа те, которые наиболее характерны для тогдашних настроений вершителей судеб нашего государства. Так, П. Д. Киселев, борющийся впоследствии за наиболее либеральное решение крестьянского вопроса и сделавший немало для облегчения положения государственных крестьян, представил Александру I 27 августа 1816 г. записку: «О постепенном уничтожении рабства в России», в которой обосновывалась «желательность» распространения в государстве нашего законной независимости на крепостных владельцев». В записке Киселева выдвигаются среди других три меры, приобретшие популярность в те годы: 1) разрешение не-дворянам приобретать земли, но с тем, чтобы отношения крестьян к новым владельцам были определены законами, 2) освобождение крестьян, работающих на фабриках и заводах и 3) допущение выкупа крестьян по установленной правительством цене.² Скорее карикатурой, чем подлинным проектом освобождения крестьян было мнение Е. Ф. Канкриня, состоявшего в то время генерал-интендантом армии. Эта записка, написанная в 1818 г., вся пропитанная благонамеренной осторожностью, намечала ряд правительственных действий, которые должны были завершиться освобождением крестьян лишь чрез 30 лет, т. е. к 1850 г.³ Даже Аракчеев получил от царя поручение «начертать проект об освобождении крестьян из крепостной зависимости, с тем, чтобы проект сей не заключал в себе никаких мер, стеснительных для помещиков». Аракчеев счел возможным ограничиться предложением ежегод-

ного ассигнования из казны 5 миллионов руб. на покупку крестьян с землею у помещиков, с согласия последних.⁴

Приходится также отметить, как мало подлинного реформаторства мы находим в известной записке Н. И. Тургенева, поданной им, по инициативе графа Милорадовича, государю вскоре после вступления Тургенева в тайное общество в 1819 г. Дневники Тургенева ярко вскрывают перед нами картину душевных страданий Тургенева, вызывавшихся существованием рабства в России. Он всегда был горячим «эмансипатором». И, тем не менее, в своей записке 1819 г. он не рискует высказаться за немедленное освобождение крестьян. Вся система мероприятий рассчитана Тургеневым на 25 лет, по пятилетиям. Большая роль отводится дворянам, добровольно освободившим крестьян и возведенным за это в достоинство «перов»⁵. Тургенев был также участником так называемой записки генерал-адъютантов, составленной по инициативе таких высокопоставленных лиц, как граф Воронцов и князь Меншиков и заключавшей нечто вроде «декларации», в которой подписавшие ее обязались совершенно освободить своих крестьян». Тургенев высказывает предположение, что на отрицательное настроение Александра в отношении этой записки повлиял «крик старух». Царь спросил у подписавших записку: «Для чего вам соединяться?» и посоветовал каждому «работать самому для себя» и представить отдельные проекты министру внутренних дел. Этих ледяных слов, констатирует Тургенев, было достаточно, чтобы заставить подписавших отказаться от их плана. Тургенев слышал, что «генерал-адъютанты, подписавшие декларацию, встречали некоторое время при дворе очень холодный прием».⁶

Вклад, сделанный в эту литературу записок по крестьянскому делу Балузьянским, был, повидимому, очень солидным, но его труд, к сожалению, не дошел до нас. Лишь из биографии Баранова мы узнаем, что Балузьянский составил «проектную меморию» по этому вопросу. «Труд этот состоял из четырех довольно обильных рукописных томов» и был представлен министру финансов Гурьеву за целых полвека до освобождения крестьян. «В этой мемории, кроме исторического изложения крепостного права в России и в иностранных государствах с древнейших времен, был описан порядок отмены оного в Европе и разработан проект освобождения крестьян для нашего отечества, с устройством сельского населения на началах свободного труда».⁷ По рассказу дочери Балузьянского, работа была выполнена по личному поручению Александра I. Впоследствии министр финансов

¹ Е. И. Тарасов. Декабрист Н. И. Тургенев в александровскую эпоху. Извещения Самарского Гос. Университета, вып. 4, 1923, стр. 283.

² А. Г. Заблудский. Десятоцкий. Граф. П. Д. Киселев и его время. т. II, стр. 203—204.

³ «Русский архив», 1865, стр. 542 и сл.

⁴ И. С. Блях. Фигурки России XIX столетия. СПб., 1882, т. I, стр. 143.

⁵ «Декабрист Н. И. Тургенев». Письма 1811—1821, стр. 23.

⁶ А. А. Корнилов. Очерки по истории общественного движения и крестьянского дела в России. СПб., 1905, стр. 38.

⁷ Баранов. Наиз. соч., стр. 22.

Княжевич, который имел возможность познакомиться лишь с первыми двумя томами работы, усиленно разыскивал остальную рукопись, а граф Нессельроде, читавший эти первые два тома, находил, что они «отлично выработаны» и поэтому необходимо непременно найти остальную часть мемуаров. Клоков, один из ближайших сподвижников Киселева в министерстве государственных имуществ, рекомендованный туда Балугьянским, рассказал впоследствии баронессе Медем: «После многих прений, разборов и раздоров мы все-таки, наконец, приняли в руководство проект вашего отца».¹

Таков был общественный фон, на котором пришлось выступить М. М. Сперанскому с его планом государственных преобразований. Для него было фатально, что он не сумел подняться выше уровня только что обрисованных придворных настроений по крестьянскому вопросу. И, тем не менее, всякий, кто внимательно ознакомится с этим планом, должен почувствовать в его основе известную концепцию социально-экономического развития России. Результатом происходящих изменений должно быть установление свободного состояния. Однако в представлении Сперанского эти сдвиги должны явиться следствием не реформаторских усилий, а стихийного перерождения общественного строя. Недалеко он причислял «законы публичной экономики» к тем, которые «по существу своему должны изменяться по изменению обстоятельств».² Сперанский был идеалистом чистой воды. Это развитие рассматривается им в плоскости движения общественного разума. В общем развитии последнего «государство наше состоит во второй эпохе феодальной системы, то есть в эпохе самодержавия, и, без сомнения, имеет прямое направление к свободе».³ Естественной предпосылкой для политической свободы является рост торговли и наук. Петр Великий «отверз двери» свободе косвенно именно поощрением просвещения и коммерции. Сделав этот первый шаг, трудно удержаться от второго. «Какое, впрочем, противоречие: желать наук, коммерции и промышленности и не допускать самых естественных их последствий; желать, чтобы разум был свободен, а воля в цепях... Нет в истории примера, чтобы народ просвещенный и коммерческий мог долго в рабстве оставаться».⁴ Сперанский прямо признает, что существующая в его время в России система правления «несовместенна уже более состоянием общественного духа». Он видит признаки «препятствия и скуки», вызываемых отсталыми учреждениями. «Неужели дороговизне сахара и кофе можно в самом деле приписать начало сих неудовольствий? Уменьшилась ли от них роскошь?

Обеднел ли в самом деле народ?.. Все вещи остались в прежнем почти положении, а между тем дух народный страждет в беспокоествии».¹ И для всей системы мышления Сперанского характерно, что он категорически отрицает возможность «частных исправлений» для восстановления общественного спокойствия. Начинать нужно с установления «твердых государственных законов» — это азбука общественной жизни для Сперанского. Он восклицает: «К чему законы, распределяющие собственность между частными людьми, когда собственность сия ни в каком предположении не имеет твердого основания?» Для понимания последующего особенно важны следующие строки Сперанского: «Жалуются на запутанность финансов. Но как устроить финансы там, где нет общего доверия, где нет публичного установления, порядок их охраняющего?»²

Позднейшая, написанная Сперанским, записка «О крепостных людях» показывает, что в его сознании план государственного преобразования и установление твердого правопорядка неразрывно сочетаются с «постепенным переходом из крепостного в свободное состояние». Время течет, и в результате экономического развития рабство становится и менее жестоким и, вместе с тем, «менее необходимым». Сперанский подкрепляет свою мысль чисто экономической аргументацией: «по мере (роста? В. Ш.) населения возмывается цена на земли, умножается количество рук, умеряется цена вольных работ и работы принужденные теряют свое преимущество».³ Тут у Сперанского (правда, в очень осторожной форме) высказана идея о растущем преимуществе вольного труда над крепостным по мере развития общественного хозяйства.

Из сказанного можно, казалось бы, заключить, что Сперанский является горячим сторонником зарождающегося капиталистического строя. Однако его рассуждения об аграрных порядках заставляют внести в эту характеристику существенное ограничение. Сперанский выступает в качестве проповедника системы мелкой крестьянской собственности, и эти его мысли отчасти сходятся с идеалами Балугьянского. Сперанский не одобряет системы обработки земли при помощи наемных рабочих, при которой «крестьяне не имеют твердой оседлости». В России такая система обработки земли невозможна по обширности ее пространства и «по малости населения». По мнению Сперанского, «участь крестьянина, отправляющего повинности по закону и имеющего в возмездие свой участок земли, несравненно выгоднее, нежели положение бобылей, каковы суть все рабочие люди

¹ План государственного преобразования графа М. М. Сперанского. М., 1905, стр. 29.

² Там же, стр. 28.

³ Там же, стр. 310.

¹ «Русский архив», 1885, книга 3, стр. 428.

² План государственного преобразования графа М. М. Сперанского. М., 1905, стр. 3.

³ Там же, стр. 25.

⁴ Там же, стр. 19.

в Англии, во Франции и в Соединенных Штатах». ¹ Однако, вместе с тем, Сперанский далек от идеала самодовления деревни. Наоборот, его симпатии — на стороне развития промышленности в городах. Традиция русских помещиков содержать в своих домах целые «толпы праздных служителей» вызывает у него не только нравственное негодование, но и экономическую критику: при этой системе «каждый помещик все ему нужно и даже прихотливое хотя худо, хотя и нестроено и убыточно, но производит у себя дома и даже пускает в продажу». От такого «рассеяния ремесел по деревням города наши остаются пусты». ² Таким образом Сперанский показывает, как крепостное право все больше и больше становится тормозом общественного развития.

Однако в рассуждениях Сперанского о «плане государственного преобразования» встречаются и отзывы отживших «камеральных» воззрений на экономические задачи государства. Он, правда, сам жестоко критикует существовавший в его время порядок распределения административных функций и указывает, что «сошь, фабрики и полиция мало имеют общего». ³ Но кончает он все же тем, что поручает полиции наблюдать за продовольствием, собирать сведения о всякого рода запасах, добиваться уменьшения торговых цен на предметы первой необходимости» и т. д. ⁴

Особое место следует отвести финансовым работам Сперанского. Они до сих пор рассматривались и всячески превозносились специалистами по денежному обращению, бюджету и т. д., но совершенно выпадали при изложении истории русской общественно-экономической мысли. Получался своеобразный парадокс: «Опыт о теории налогов» Тургенева или «Некоторые соображения по предмету мануфактур в России и о тарифе» адмирала Мордвинова признавались, несмотря на то, что эти книги были посвящены экономическим проблемам прикладного характера, политико-экономическими сочинениями; а Сперанский не вошел в историю русской экономической мысли, хотя, как будет показано в дальнейшем, именно он хотел поставить свою финансовую деятельность на службу решению общеэкономических задач. Интереснее всего показать социально-экономическую сущность финансовых реформ Сперанского на примере его настойчивой борьбы за ликвидацию бумажной валюты. Ассигнации для него — лишь символ народно-хозяйственного хаоса, порождаемого произволом и неустойчивостью самодержавного правления. Позднее, как увидим, Заблоцкому-Десятовскому удалось с удивительной яркостью вскрыть явны крепостнического хозяйства на таком, казалось бы, частном хозяйственном процессе, как образование хлебных цен

¹ План государственного преобразования графа М. М. Сперанского. М., 1905, стр. 59.

² Там же, стр. 307.

³ Там же, стр. 96.

⁴ Там же, стр. 137.

в России. Сперанский и бывший его непосредственным сподвижником в этом деле Мордвинов избрали бумажные деньги как убедительную иллюстрацию губительных последствий феодального режима. Едва ли можно почувствовать острее это единообразие отживающей феодальной идеологии и осторожно прокладывающего путь к своему торжеству капиталистического мировоззрения, чем на примере полемики вокруг финансовой реформы 1809—1810 гг. Это единообразие олицетворяется в спорах Сперанского с Карамзиным. Недаром А. Н. Пыпин усмотрел в них «два противоположные полюса тогдашних понятий». ¹

Россия не пережила при Александре I такого бумажно-денежного потопа, как Франция в период выпуска ассигнатов, но она стремительно шла к катастрофе. Незадолго до Отечественной войны рубль падал до пятой части своей номинальной стоимости. Позднее Армфельдом и Розенкампом была сделана попытка скопировать из Франции «территориальные мандаты», т. е. бумажные деньги, обеспеченные земельной собственностью, которые оказались особенно губительными для французского государственного хозяйства. Эта готовность правительства легкомысленно идти на всякого рода бумажно-денежные эксперименты, могущие увлечь в пропасть, была порождением психологии властителей, привыкших легко получать и тратить деньги. Бумажная валюта лучше всего устраивает носителей абсолютной власти. Она свободна от контроля. Она представляет источник, не имеющий видимых пределов. Она не знает правовых гарантий. Наоборот, металлическая валюта с самого начала заключает в себе элементы ограничения и не сулит возможности легкого обогащения. Поэтому восстановление металлического обращения после господства бумажных денег означает торжество законности над беспорядком, устойчивой экономики над хаосом. Накануне Великой Октябрьской революции, в период бумажно-денежного хозяйства в России, обусловленного первой мировой войной, М. И. Туган-Барановский рекомендовал возврат к золоту по тем же мотивам. «Размен кредитных билетов на металл, — писал он, — является как бы некоторой финансовой конституцией, ограничением прав министра финансов, который в противном случае становится самодержавным повелителем в области денежного обращения. Поэтому, с политической точки зрения, нельзя не сочувствовать возобновлению размена». ² Эти слова кстати вспомнить, чтобы лучше всего понять основную идею финансового плана Сперанского: он именно боролся против того, чтобы министр финансов был «самодержавным повелителем в области денежного обращения» и хотел ограничить его «финансовой конституцией».

Было не правильно думать, что торжество взглядов Сперанского

¹ Пыпин. Общественное движение в России при Александре I, стр. 193.
² М. И. Туган-Барановский. Бумажные деньги и металл. П., 1917, стр. 157.

4 Проф. Штейн—170

ранского было кратковременным эпизодом в истории наших финансов. Нередко утверждают, что на смену Сперанскому вскоре явился Гурьев, а затем Канкрин. Но у Гурьева и Канкриня не было своего финансового мировоззрения. Они были лишь последователями доктрины Сперанского. Н. Х. Бунге, который сам был одним из крупнейших финансовых деятелей второй половины XIX века, писал: «Канкрин довел дело своих предшественников до конца, не касаясь оснований однажды принятой системы денежного обращения... Канкрину недоставало широкого государственного взгляда на общественное хозяйство и веры в будущность России». ¹ Кстати будет также напомнить слова о нем Кауфмана: «...он в усиленном виде страдал болезнью своей эпохи, страхом всякой, сколько-нибудь чувствительной перемены...» ² Сам Канкрин, ознакомившись с известной запиской Сперанского о монетном обращении, заявил, что «первая часть его сочинения весьма замечательна и по теории и по фактам; и я уверен, что она изменит образ мыслей у некоторых во многом». ³ Но если сочинения Сперанского могли «изменить образ мыслей» у недостаточно грамотных финансистов его времени, то его построение денежной теории было монолитным и не подвергалось воздействию времени. По свидетельству И. С. Блиоха «...с начала своей деятельности и до самого конца ее Сперанский оставался верен себе и не изменил однажды избранному пути. Целью его было — создать управление стройное, крепкое, но окруженное надзором и гласностью, сдержанное в пределах уважением общественных интересов и независимым устройством местных учреждений». ⁴

Основой для изложения финансовой теории Сперанского должны служить его знаменитый финансовый план 1809 г.; та же теория в сжатом и обогащенном 30-летним опытом борьбе за финансовую реформу виде изложена в записке о монетном обращении. Сперанский, прежде всего, проповедует бюджетное равновесие и считает, что «главное расстройство в финансах — есть несообразность расходов с приходами». ⁵ Но ликвидировать это несоответствие нельзя посредством финансового магии. Нельзя верить тем, кто предлагает «способы легкие». Подобные планы — «явный обман, влекущий государство в погибель». Нужно помнить, что «все великие предприятия совершаются трудом, твердостью и терпением». ⁶ Этим суровым предостережением начинал

¹ Адольф Вагнер. Русские бумажные деньги. Перевод Бунге с дополнениями и примечаниями переводчика. Киев, 1871, стр. 128.

² И. И. Кауфман. Из истории бумажных денег в России. СПб., 1909, стр. 57.

³ Сперанский. Записка о монетном обращении, стр. 2.

⁴ Блиох. Назв. соч., стр. 125.

⁵ План финансов М. М. Сперанского. Сборник русского исторического общества, т. 45, СПб., 1885, стр. 4.

⁶ Там же, стр. 3.

Сперанский изложение своего финансового плана. В таком же строгом духе трудовой теории богатства выдержано и его рассуждение «о деньгах вообще» в записке о монетном обращении: «Богатство государства образуется и возрастает трудом. Труд возрастает и расширяется посредством свободного обращения его произведений. Произведения труда обращаются посредством мены. Мена совершается редко натурой, а большей частью посредством денег». ¹ Нормальными деньгами являлись только деньги металлические. С ними неразрывно связаны «истинные кредитные деньги», разменные на металл. Иная природа — у ассигнаций. «Ассигнации суть бумаги, основанные на предположениях. Не имея никакой собственной достоверности, они суть не что иное, как сокрытые долги». Сперанский очень убедительно доказывает, что «выпуск ассигнаций есть совершенно неопределяемый налог, потаенно налагаемый». Этот налог страшен неуравновешенностью. Он больше тяготит бедных, чем богатых, поражая с особенной силой «класс людей недостаточных». Он наносит промышленности существенный вред. Он ежегодно уменьшает сумму общественного капитала. Неумеренные выпуски ассигнаций задерживают развитие производительных сил: «капиталисты не хотят отваживать своих капиталов, а потому предприимчивость труда ослабевает и некоторые ветви ее совсем остаются без удобрения». ² Поразительно, что Сперанский в начале XIX века уже так ясно понимал закономерности, связанные с бумажно-денежной эмиссией. Он не был принципиальным врагом бумажных денег. Очень тонко он отмечал их полезное действие на раннем этапе выпусков: «первые опыты везде были удачны... везде они оживляли и расширяли частную промышленность, но сие продолжалось недолго, а именно только дотоле, доколе не стояли в соразмерности с действительной монетой. Как же скоро они переступали сей предел, то польза их умалаялась и, наконец, они обращались решительно в убыток». ³

Еще ярче изображает Сперанский смену «благотворных действий» ассигнаций в начале их выпуска вредными последствиями в период падения в своей «Записке о монетном обращении». Ассигнационная система ввиду начала «ускоряла движения торговые, содействовала промышленности; не рождала новых богатств (ибо от бумаг никто не богатеет), но, поощряя труд, спешествовала к скорейшему расширению богатств естественных». Но ассигнация при своем упадке «расстраивает все части внутреннего хозяйства, все цены приводят в неистовность и ежедневную переменчивость; все денежные договоры становятся гадательными; одни выигрывают без труда, другие проигрывают

¹ Сперанский. Записка о монетном обращении, стр. 5.

² «План финансов Сперанского», стр. 38—40.

³ Сперанский. Записка, стр. 15.

без причины; никакой труд, никакое предприятие не обеспечено твердым и надежным расчетом». ¹ Эта характеристика расстроенного бумажной валютой хозяйства, столь типичного для периода разложения феодализма, сделана поистине мастерской рукой.

Однако, когда зло уже свершилось, как это было в годы проведения Сперанским финансовой реформы, как покончить с экономическим хаосом, вызванным денежным расстройством? Для Сперанского ответ ясен. Нужно немедленно перестроить финансовую систему так, чтобы прекратить выпуск ассигнаций, принять всю выпущенную их сумму государственным долгом, создать предпосылки для возрождения металлического обращения и признать серебряную единицу основой денежной системы.

Специалисты критиковали Сперанского за то, что он хотел вернуть рублю прежнюю покупательную силу и с этой целью проектировал изъятие ассигнаций за счет средств, вырученных от продажи государственных имуществ и от внутренних займов. Так, известный историк нашей валюты И. И. Кауфман говорит о «безграничной вере» Сперанского и об его «утопическом стремлении» поднять ассигнацию до их нарицательного достоинства. ² Но все же это — лишь деталь плана Сперанского. Основное заключалось в открытом признании ассигнаций государственным долгом, а не деньгами (что было откровением не только для рядового обывателя, но и для многих правительственных деятелей) и в переходе к серебряному обращению и счету на серебро. Мы увидим, что как раз по этим обоим существеннейшим пунктам Карамзин дал бой Сперанскому. Старая Россия ответила здесь на новаторство великого реформатора угрюмым отрицанием.

Первое положение Сперанский излагает в своем плане следующими красноречивыми словами: «Когда государство имело несчастье ввергнуть себя в ложную систему ассигнаций и, сильным налогом обложив все капиталы без различия, расстроило монетную и кредитную свою систему, то первый шаг перекожедения от сего хаоса к твердому порядку есть, — признать всю массу ассигнаций государственным долгом». ³ В манифесте 2 февраля 1810 г. эта позиция Сперанского нашла последовательное выражение. Манифест, в частности, объявлял: 1) все находящиеся в обращении ассигнации признаются действительным государственным долгом, обеспеченным «на всех богатствах империи», 2) новый выпуск ассигнаций пресекается. ⁴ Как указывает Кауфман, признание ассигнаций государственным долгом было «актом величайшей мудрости». ⁵ Сперанский оказался «избранныком,

призванным совершить великое дело: спасение страны от банкротства». ¹

Возврат к металлическому обращению и к счету на серебро также был одним из устоев реформы Сперанского. Иногда указывают, что признание серебряного рубля последовало в 1810 г., но уже через 2 года правительство вынуждено было признать необходимость сохранения ассигнационной валюты. Однако Сперанский сам прекрасно разъяснил причину этой кажущейся несоответственности. Несомненно, что в манифесте 1810 г. серебряный рубль «провозглашен был монетной единицей». Авторы манифеста не предвидели Отечественной войны 1812 г., спутавшей все карты в отношении денежной реформы. Раз стали неизбежными новые выпуски ассигнаций, «налжало помышлять о том, как возратить или усилить к ним доверие. В сем то намерений в 1812 году объявлено было, что все платежи по долгам, даже и на серебре основанным, могут быть уплачиваемы ассигнациями по курсу». Таким образом, согласно указаниям самого Сперанского, «коренным» для него правилом было признание серебряного рубля «действительной монетной единицей». Временное отступление было обусловлено «военной необходимостью». ² Ассигнационный рубль, по словам Кауфмана, «глубоко проник в понятия и нравы всех классов населения», и всякий иной счет привился туго. Но в этом меньше всего можно винить Сперанского. Он всегда и теоретически, и практически стоял за металлическое обращение в сочетании с размытыми кредитными деньгами и стремился к осуществлению этого идеала с исключительной настойчивостью.

Замечательным восполнением взглядов Сперанского на бумажную валюту и ее последствия для народного хозяйства является записка на ту же тему Н. С. Мордвинова, написанная им в 1816 г. Возможно даже, что Мордвинову принадлежит приоритет в высказывании по этому вопросу. Сперанский в начале своей деятельности был плохо знаком с финансами. Помимо Балуганского, его учителем, несомненно, был Мордвинов, выступавший активно в качестве экономиста с начала XIX века и бывший соавтором финансового плана 1809 г. Его записка 1816 г. отличается не только удивительной логикой, но и страстностью изложения. Она представляет собой выдающееся литературное произведение.

По словам Мордвинова, «излишество бумажной монеты породило скудость и всеобщее томление». ³ Для него бумажно-денежное расстройство представляет «язву, родившуюся в сердце», ко-

¹ Сперанский. Записка, стр. 19.

² И. И. Кауфман. Из истории бумажных денег в России. СПб., 1909, стр. 26.

³ Финансовый план М. М. Сперанского, стр. 51.

⁴ Корф. Назв. соч., стр. 199.

⁵ Кауфман. Назв. соч., стр. 26.

¹ Кауфман. Назв. соч., стр. 24.

² Сперанский. Записка, стр. 18—19.

³ «Мнение адмирала Мордвинова о вредных последствиях для казны в частных имуществ от ошибочных способов управления государственным казначейством». Чтения в обществе истории и древностей, 1859, книга 4, раздел «Смесь», стр. 68.

торая проникает всюду, гноит все тело государства, вызывает гление. Известны его слова: «рубль есть достоиние каждого, богатого и бедного, и малейшая часть, отытая от него, преобразуета в похищение великое... При упадке монеты рошчет воин, негодует гражданин, лихоимствует судья, охладевает верность, ослабевают взаимные услуги и пособия, благочиние, мир и добродетель уступают место разврату, порокам и буйным страстям». В своем экономическом анализе последствий бумажной валюты Мордвинов раньше всего подчеркивает, что упадок денег способен вызвать иссушение «повсеместных источников богатства». В его изображении, «расстройству монеты утомляют и ослабляет всякий промысел, всякий труд, всякое предприятие, затрудняет торговлю, останавливает умножение богатств, преграждает путь к вышним ступеням устройству и благосостояния». Правительство одновременно и само беднеет и становится разрушителем народного благосостояния. Показывая, как новые выпуски бумажных денег ведут к «умалению цены всего прежде выпущенного количества оных», Мордвинов объясняет неизбежность роста выпусков в геометрической прогрессии. Он готов даже французскую революцию вывести из краха системы ассигнатов. Более того: «все известные революции последовали от расстройтва финансов... В сем положении Государства все подданные заодно негодуют, рошчат и восстают единодушно... Единая монета, можно сказать, соединит всех мысли, чувствования, желания и права, колько бы различны они ни были».¹

Писавший почти одновременно с Мордвиновым по этому вопросу, Н. И. Тургенев обнаруживает по сравнению с ним гораздо больше благосклонности к бумажно-денежному хозяйству. Взгляд Тургенева на бумажные деньги обычно считается отражением экономических убеждений Штейна, который был в глазах Тургенева первейшим авторитетом по всем экономическим вопросам. Если это так, тем интереснее, что взгляды, выработавшиеся у нас вполне самобытно, под воздействием самой экономической жизни, так радикально осуждают бумажную валюту! Правда, и Тургенев провозглашает принцип: «век бумажных денег прошел для теории, — и прошел безвозвратно. Век кредита наступает для всей Европы».² С этими словами трудно, однако, примирить его мнение, будто бумажные деньги производят не только пагубные, но и «чуждые» действия. Аргументация в защиту этого положения ограничивается лишь ссылкой на то, что французская ре-

¹ Мнение адмирала Мордвинова о вредных последствиях для казны и частных ищущих от ошибочных мер управления государственным казначейством. Ценция в обществе истории и древностей, 1859, книга 4, раздел «Смесь», стр. 60.

² Там же, стр. 62.

³ Там же, стр. 66.

⁴ Там же, стр. 63.

⁵ Николай Тургенев. Опыт теории налогов. Второе издание, СПб., 1819, стр. 326.

волюция содержала на бумажные деньги «бесчисленные полки, защищавшие отечество и делавшие завоевания». То, что Северная Америка пострадала больше других стран от бедствий бумажных денег, не помешало солдатам драться за свободу: «свобода была для них дороже кредита». Наконец, одно из чудес, производимых бумажными деньгами», состояло в том, что «Австрия выставила в поле 400.000 воинов и сие по большей части посредством бумажных денег».¹ Конечно, этот актив бумажных денег выглядит довольно скудным, если сопоставить его с глубоким анализом расстройтва хозяйства под влиянием инфляции, приводимым Сперанским и Мордвиновым.

Наиболее опасного противника своих финансовых теорий Сперанский встретил в лице Н. М. Карамзина. Излишне подчеркивать, что Карамзин не был экономистом. Скорее стоит обратить внимание на то, что он далеко не был чужд интереса к экономике и внимательно следил за экономическими теориями своего века. Так, в письме к И. И. Дмитриеву от 6 июня 1817 г. он пишет: «Тут я видел Н. Н. Новосильцова: как он постарел! И все еще говорит об Адаме Смита... Новосильцев еще орел в сравнении с другими; благороден душою, не лакей и знает Адама Смита!»² В другом письме (от 8 апреля 1818 г.) он спрашивает у Дмитриева по поводу 4-томного исследования Стройновского «Всеобщая экономия народов»: «В каком смысле «хаживаешь ты книгу Стройновского примечания достойную? Вчера Автор прислал ее ко мне: загляну. Он экономист, как слышу, и шиплет Шторха».³ В письме от 28 ноября 1818 г. Карамзин спрашивает своего корреспондента, видел ли он книгу о налогах Н. И. Тургенева? «Он страшный либералист, по доброй, хотя иногда и косо смотрит на меня, потому что я отъявляю себя не-либералистом».⁴

Известная записка «О древней и новой России» появилась в момент наибольшего подъема финансового реформаторства Сперанского. Карамзин сознательно отвергает самые основы финансового плана 1809 г. Все его рассуждения приобретают прямой оттенок апологетики существующих экономических порядков. Карамзин относится скептически к экономическим теориям своего времени. В книгах современных ему ученых «о нынешнем хозяйственном состоянии России» Карамзин находит «более мудрований, нежели ясных понятий». Он не видит большого зла в дороговизне, вызываемой инфляцией (этого термина у Карамзина, конечно, нет). Вель с умножением расходов прибавились и доходы. Выпуски ассигнаций были неизбежны. Поэтому, «когда сделалось неминуемое зло, то надобно размыслить

¹ Николай Тургенев. Опыт теории налогов. Второе издание, СПб., 1819, стр. 324.

² Письма Н. М. Карамзина к И. И. Дмитриеву. СПб., 1866, стр. 214—215.

³ Там же, стр. 236.

⁴ Там же, стр. 253.

и взять меры в тишине, не охат, не бить в набат, от чего зло увеличивается. Пусть министры будут искренни перед лицом одного монарха, а не перед народом; сохрани боже, если они будут следовать иному правилу: обманывать государя и скрывать всякую истину народу.¹ В этой связи особое негодование вызывает у Карамзина объявление ассигнаций государственным долгом. Что сказать о купце, который торжественно объявляет, что надавал непомерное количество векселей? Объявив ассигнации государственным долгом, мы только подорвали доверие к ним. «...вопреки манифесту, ассигнации и теперь остаются у нас деньгами, ибо иных не имеем; но купцы иноземные, купцы гораздо ученейшие России в языке и в признаках государственного банкротства, усомнились иметь дела с нами; курс упал, более и более, уменьшая цену Российских произведений для иноземцев и возвышая оную для нас самих».²

Карамзин решительно протестует, далее, против массовых изъятий ассигнаций из обращения. По его мнению, «великие перемены опасны. Вдруг уменьшить количество бумажек также вредно, как вдруг умножить». Цены уже так выросли, что «открывается нечаянность: большая нужда в деньгах, т. е. в ассигнациях!» Ассигнаций не стало меньше, но недостаток в них обусловлен дороговизной. Если изъять из оборота ассигнаций миллионов на двести, произойдет «страшный недостаток в деньгах». Нечего ожидать, что сразу наступит дешевизна. «Нет, первые продавцы не скоро уступят вам вещь за половину бывшей ее цены, но сделается остановка в торговле и в платежах».³

Серебро, по мнению Карамзина, остается у нас товаром, а не деньгами. Падение ассигнаций в отношении серебра обусловлено отчасти и тем, что серебро вздорожало, как товар. Причины дороговизны серебра являются расходование больших его количеств на содержание иностранных армий и на контрабандную покупку иноземных товаров. «Хотите ли уронить цену серебра? Не выменивайте его для армий, уймите запрещенную торговлю, которая вся производится на звонкую монету... Теперь дороговизна благородных металлов убыточна не для народа, а для казны и богатых людей, имеющих нужду в иноземных товарах, коих цена возвышается по цене серебра».⁴

Интересно, что Карамзин продолжал упорно стоять на тех же позициях и после удаления Сперанского. В 1817 г. он иронизирует в письме к Дмитриеву: «Уверяют, что наши финансы скоро процветут, и через 4 года рубль бумажный обратится в се-

ребряный. Аминь — буди, буди! Тогда Гурьев прославится не менее Сюлли и Кольберта. Настанет, если не золотой, то по крайней мере серебряный век».¹

Думается, в предыдущем изложении достаточно показано столкновение двух мировоззрений: Сперанский апеллирует к доверию народа для подкрепления валюты, Карамзин допускает обращение только к государю. Сперанский хочет ликвидировать бумажную валюту, Карамзин прочит ей неопределенно длительное существование. Сперанский стремится изгнать из народного хозяйства тлетворный дух неустойчивости, порожденный феодальными приемами финансового хозяйства, Карамзин чурается всяких перемен. Сперанский осторожно подкапывается под крепостнические порядки, для Карамзина они — необходимая основа спокойствия и благосостояния в государстве. Короче говоря, название записки Карамзина лучше всего передает суть, конфликта, раздиравшего общественно-экономическую мысль: то было столкновение древней и новой России!

Тройка Балуягский—Сперанский—Мордвинов представляла собой как бы мозг реформаторской группы начала XIX столетия. Тесно примыкал к этим людям и К. И. Арсеньев. Своими научными убеждениями он обязан Балуягскому. В дневниках, оставившаяся на годах учения в Педагогическом институте, Арсеньев называет для лекций Балуягского «светлым праздником» для учащихся: «его одушевленные и умные чтения слушаемы были с безмолвным вниманием; самые отвлеченные умозрения о капитале, о потреблении, о банках, о кредите несколько не утомляли сил, напротив возбуждали самый высокий интерес и любознательность». После лекций Балуягского учащиеся «безумолжно говорили о содержании его лекций, рассуждали, спорили и научались».² Было уже отмечено, что тиражи с изложением «системы Балуягского» найдены в бумагах Арсеньева. Он преклонялся также перед личностью Сперанского. Арсеньев, работавший в 20-х годах под руководством Сперанского над составлением полного собрания и свода законов, характеризует в своих дневниках Сперанского в следующих словах: «Сперанский, по необыкновенному уму своему, принадлежит к небольшому числу таких людей, которые рождаются веками».³

Статистические труды Арсеньева пронизаны явственной социально-политической тенденцией. Недаром профессор Тарасов утверждает, что в своем «Начертании статистики Российского государства», вышедшем в 1818—1819 гг., Арсеньев высказался

¹ Корф. Назв. соч., стр. 226.

² Там же, стр. 227.

³ Там же, стр. 229.

⁴ Там же, стр. 230.

¹ Письма Карамзина к Дмитриеву, стр. 207.

² Исторические бумаги, собранные К. И. Арсеньевым, приведены в порядке и изданы академиком П. Пекарским. Сборник отделения русского языка и словесности Академии Наук, т. 9, СПб., 1872, стр. 5—6.

³ Там же, стр. 42.

по вопросу о крепостном праве «куда полнее и либеральнее, чем осторожный Тургенев».¹ Арсеньев прекрасно понимал (и старался печатным словом показать), насколько мертвым грузом, тормозящим экономическое развитие России, было крепостничество. Он смело заявляет, что «наше земледелие находится еще в изнемогающем состоянии».² Опираясь на учение А. Смита о том, что только физический труд является производительным, он имел мужество печатно объявить в крепостнической России начала XIX века дворянство и духовенство «непроизводительным классом» и, исчислив общее количество его представителей в 2 млн. человек, сделать вывод, что «непроизводительный класс относится к производящему как 1:9, или что 9 производителей содержат одного потребителя».³ Магницкий, написавший «обличительные» замечания на книгу Арсеньева, отмечает, что дворянство и духовенство оказываются у Арсеньева «трутнями, пожирающими произведения общего труда» и что в его глазах «одного праздного корыта 9 работников».⁴ Объявить всех чиновников и придворную клику «трутнями» это было, разумеется, для того времени рискованным шагом! Сокрушаясь далее по поводу наличия в нашем отечестве огромных пространств невозделанной земли, К. И. Арсеньев объяснял это прискорбное явление тем, что массы крестьян «отторгнуты» от земледелия для бесплодных занятий. Арсеньев указывал также, что в «высших домах» у нас челяди в 5—6 раз больше, чем слуг в домах других европейских наций.⁵ Наконец, Арсеньев отмечал, что «крепостность земледельцев есть также великая преграда для улучшения состояния земледелия» и воспевал «совершенную, не ограниченную ни чем, гражданскую личную свободу», как «самое верное ручейство в приумножении богатства частного и общественного».⁶ Этот гимн свободе настолько вывел из себя Магницкого, что он воскликнул: «И так, вот чего хочет г. Арсеньев: неограниченной ничем гражданской свободы, т. е. революции!»⁷

Желаю особенно подчеркнуть благоприятные условия физической среды для экономики России, развитие которой лишь задерживается социальными условиями, Арсеньев издал в 1818 г. еще особую брошюру, написанную по материалам «Начертания статистики». В этой работе Арсеньев отметил у нас «богатство материалов, пущных для всякого рода промышленности». Он, правда, не сомневался в том, что в России «земледелие должно быть

главнейшим занятием ее жителей»,¹ и что «недостаток знаний, капиталов и разделения работы, несовершенство машин еще долго будут препятствовать России сравняться с другими державами Европы, относительно мануфактурной промышленности».² Но его вера в великое будущее нашей родины была так велика, что он заканчивает свое произведение пророческими словами: «удивительно ли, ежели сей юный исполин сравнится, а может быть и превзойдет многие ныне славные державы по части промышленности, богатства и образованности?»³

Валерьян Стройновский обычно фигурирует в учебниках по истории политической экономии в качестве польского физиократа.⁴ При этом часто забывается, что он состоял на русской государственной службе, участвовал в обсуждении народно-хозяйственных вопросов тогдашней России и выступал неоднократно с реформаторскими проектами. В. И. Семевским была подробно изложена работа Стройновского «О условиях помещиков с крестьянами» 1808 г., в которой автор выступил с проектом безземельного освобождения крестьян. Стройновский высказывал надежду, что при сдаче земли крестьянам в аренду помещики благоразумно предложат им «справедливые условия».⁵ Известный реакционер Голенищев-Кутузов написал о сочинении Стройновского: «Эта книга набат, зловредная и терпима быть не могущая». Голенищев-Кутузов весьма сожалел о том, что «этогокого шельму сделали сенатором».

В капитальном труде Стройновского «Всеобщая экономия народов» есть немало красноречивых страниц, посвященных экономике России. В особой главе он говорит о «предопределении пасти и благоденствия Российской империи». Восторженно отзываясь о Стройновский о природных дарах, которыми наделена Россия. В нашей стране имеются все предпосылки для развития земледелия, рыболовства, лесоводства, горного дела: «ее богатства, так сказать, под ее ногами и зависят от ее ведения».⁶ Особенные надежды возлагает Стройновский на экономическое развитие нашего Юга, так как «Россия на всем своем Юге имеет гораздо плодороднее землю, противу оной прочей Европы». Плодородные земли Юга еще ждут своей обработки. Развитие наших южных районов тесно связывается с перспективами «Черноморского торго», которому Стройновский придает огромное значение.

¹ К. Ар. обозрение физического состояния России и выгод. от того произрастающих для народных промыслов, ныне существующих. СПб., 1818, стр. 34.

² Там же, стр. 49.

³ Там же, стр. 50.

⁴ А. Ойкен. История политической экономии до Адама Смита. СПб., 1908, стр. 425.

⁵ В. И. Семевский. Крестьянский вопрос в России в XVIII и первой половине XIX века. Том I, СПб., 1888, стр. 298.

⁶ «Всеобщая экономия народов» сочинения Валерьяна Стройновского из Стройновского графа. Часть III, СПб., 1817, стр. 620.

¹ Тарасов. Наив. соч., стр. 299.

² К. Арсеньев. Начертание статистики российского государства. Часть I, СПб., 1818, стр. 64.

³ Исторические бумаги, собранные Арсеньевым, стр. 70.

⁴ Арсеньев. Начертание статистики, т. I, стр. 104.

⁵ Там же, стр. 106—107.

⁶ Исторические бумаги, собранные Арсеньевым, стр. 71.

ние. Если бы Россия была «владычицей Черноморского торгу», она могла бы направлять через южные порты огромные количества хлеба. В одном только Царьграде — «миллион людности». В обмен мы могли бы дешево получать «всякие южные товары, а многие даже называемые Индийскими».¹ Освоение Юга потребовало бы, правда, несметных капиталов, но эти затраты окупятся с лихвой. Особенно важно использовать течение таких рек, как Днепр или Днестр. По словам Стройновского, «некоторые возражают Днепровскими порогами». Но в ответ им Стройновский находит поистине замечательные слова: «...промышленность и руки человека приводили в действие гораздо труднейшие предприятия. Переменяемы были направления рек, очищали оныя, делали новые безмерные и даже подземные каналы... Величайшему в Европе Российскому народу привычны и великие предприятия».² Умственный взор Стройновского видит здесь далеко вперед: он предчувствует, что для «величайшего в Европе российского народа» не страшны «возражения», представляемые Днепровскими порогами. Но ему не дано было знать, что социальной предпосылкой Днепростроя явится социалистическая революция!

Реформаторы начала XIX столетия, несомненно, в той или иной мере стремились к развитию капитализма в России. Они должны были стать поэтому сторонниками поощрения развития в нашей стране фабрик и заводов. Промышленный протекционизм превратился у нас в эти годы в одно из популярнейших требований экономического реформаторства. Изжить хозяйственную разруху, вырвать Россию из цепей нищеты можно было, по мнению многих тогдашних экономистов, путем промышленного развития страны. Но для роста фабрик и заводов нужны кадры свободных людей. Поэтому протекционизм, служащий надежнейшим средством поощрения национальной промышленности, органически вписался в реформаторскую программу. История русского протекционизма начала XIX века излагалась неоднократно. Необходимо все же сказать о ней наиболее существенное.

Еще в конце XVIII в. (в 1792 г.) А. Н. Радищев в своем «Письме о китайском торге», направленном А. Р. Воронцову и представляющем настоящий политико-экономический трактат, высказывался против широкого ввоза китайских изделий в Россию, так как «запрещение иностранных мануфактурных произведений неминуемо родит мануфактуры дома, а без того внутренние рукоделия могут прийти в запустение». Дальнейшее развитие протекционистской идеологии нашло выражение в издании перевода известного «евангелия протекционизма» — Отчета 1791 г. о пользе мануфактур американца Александра Гамильтона, появившегося у нас в 1807 г. Переводчик рассказывает, что это сочинение было

¹ «Всеобщая экономия народов», сочинения Валеряна Стржемях из Стройнова графа Стройновского. Часть III, СПб., 1817, стр. 603.

² Там же, стр. 603.

привезено из Англии по заказу министра уделных дел Д. А. Гурьева, усиленно насаждавшего в те годы казенную стеснительную промышленность. Книга Гамильтона была такой редкостью даже и в Англии, что пришлось довольствоваться рукописью. Переводчик находит, что суждения Гамильтона «во всем сообразны состоянию России». По его словам, «сходство Американских соединенных провинций с Россией является как в рассуждении пространства земель, климата и натуральных произведений, так и в рассуждении несообразного пространству населения и той младости, в которой находятся разные общепользные заведения».¹

В области протекционизма решительный сдвиг связан опять-таки с именем Сперанского: тариф 1810 г. по внешней торговле, разработанный почти одновременно с финансовым планом, «составил новую эру в движении русской промышленности». С этого времени заложено «истинное начало у нас мануфактур и фабрик».²

Однако крупнейшим идеологом протекционизма в нашей стране, несомненно, был адмирал Мордвинов. Перескажем главнейшие его аргументы в пользу таможенного покровительства промышленности: 1) при наличии у людей многообразных способностей, принуждать всех людей к одному роду работы — земледелию — значит «действовать против уставов природы»;³ 2) при ограниченности пространства земли, существует прямой лимит развитию сельского хозяйства. При таких условиях «введение разнообразных ремесл и искусств есть один из благонадежнейших способов к умножению общественного продовольствия»;⁴ 3) производительность труда в земледелии повышается благодаря использованию производимых промышленностью орудий: «земледелец без ремесленника есть производитель грубый и неупешный... по несовершенству орудий своих»;⁵ 4) «фабрикант и заводчик полезнее гораздо купца»;⁶ так как они создают широкий рынок для сырья и продовольствия; 5) народ, занимающийся одним земледелием, зависит от других держав в отношении удовлетворения первейших своих нужд; 6) если Россия будет заниматься одним земледелием, она будет осуждена на вынужденное безделье в течение нескольких месяцев, так как она является «одеждою в течение половины почти года»;⁷ 7) промышленность не оторвет от земледелия рабочих рук, так как она сможет использовать множество людей праздных или

¹ «Отчет генерал-казначея Александра Гамильтона, учиненный Американским штатам 1791 г. о пользе мануфактур, в отношении оных к торговле и земледелию». СПб., 1807, предисловие.

² Б. Я. Иох. Назв. соч., стр. 115.

³ Адмирал Мордвинов. Некоторые соображения по предмету мануфактур в России и о тарифе, по 3 изд., СПб., 1833, стр. 3.

⁴ Там же, стр. 5.

⁵ Там же, стр. 6.

⁶ Там же, стр. 7.

⁷ Там же, стр. 10.

неспособных к полевым работам; 8) Россия сможет гораздо разумнее использовать свои капиталы, из которых теперь значительная часть занята, в ущерб собственной стране, в иностранной торговле из-за пристрастия наших потребителей к чужим изделиям. С другой стороны, фабрики, раз возникнув, будут давать такую прибыль, что за счет накопления этих прибылей начнется приток новых капиталов в земледелие. Таким образом развитие промышленности устранил «насильственное направление капиталов».

Изложенная в настоящей главе история возникновения и развития экономической идеологии русских реформаторов начала XIX столетия, показывает, что периодом, когда наша общественно-экономическая мысль стала сразу освобождалась от иностранных влияний и создала ряд замечательных произведений, были годы 1809—1820. Острая разруха хозяйственной жизни стимулировала необыкновенный подъем интереса к экономической теории. Наши реформаторы показали, что они умеют решать экономические вопросы самостоятельно. В указанные годы начата экономическая критика крепостнической системы, которая была так блестяще углублена просветителями. После 1820 г. и до появления нового самостоятельного направления общественно-экономической мысли — просветительства — образуется перерыв в четверть века, в течение которого появляется лишь такое выдающееся явление, как декабризм. Мы не останавливаемся на декабризме потому, что экономические воззрения декабристов были в последнее время объектом сравнительно тщательного изучения.¹ Просветительство и явилось следующим важнейшим этапом развития нашей общественно-экономической идеологии.

¹ Преимущественно в трудах профессоров И. Г. Блюмина и К. А. Пакир-дова.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЭКОНОМИЧЕСКОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ РУССКИХ ПРОСВЕТИТЕЛЕЙ

Чтобы понять, как могло возникнуть особое экономическое направление в просветительской идеологии, нужно напомнить некоторые факты из истории просветительства. Они общеизвестны, и мы вкратце воспроизведем их здесь под тем углом зрения, который диктуется задачами настоящей работы.

Происхождение русского просветительства тесно связано с кружками 30-х и 40-х годов. Никогда еще русское общество не ощущало в себе такого могучего прилива духовных сил, как в десятилетия между наполеоновскими войнами и крестьянской реформой 1861 г. Расцвет творческой мысли обеспечил подлинный идейный взрыв, выражавшийся в юном увлечении теоретическими исканиями, в напряженных поисках философского и социально-политического мировоззрения. Поразительной свежестью мысли веет от бурных споров в кружках и салонах того времени. «Безошибочно можно сказать, что, исключая Лермонтова, в поколении людей, родившихся около 1812 года, не было ни одного сколько-нибудь выдающегося человека, который развился бы вне влияния того или другого из этих кружков».¹

Истории раскола в русской общественной идеологии, приведшего к образованию в ней славянофильского и западнического крыла, нам придется коснуться совсем бегло. Когда представители победоносной русской армии вернулись после наполеоновских походов домой, одни из них стали проявлять увлечение экономическими науками и политическими доктринами, другие (их было значительно меньше) выступили в качестве поклонников идеалистической философии. У первых преобладали мечтания о коренном переустройстве общества в духе начал, заветных французской революцией, и они, прежде всего, ополчились против крепостного права. Ярким представителем этого направления был, например, Н. И. Тургенев. Вторые, наоборот, были напуганы призраками террора 1793 г. и стремились уйти от политики в область философии.

¹ М. О. Гершензон. История молодого России. 1923, стр. 218.

фии. Группа учеников М. Г. Павлова и И. И. Давыдова, вдохновлявшаяся началами реакционной шеллингианской философии, ставила себе целью вытеснить влияние французских философов-материалистов. В 20-х годах возник кружок «любомудров» указанного философского направления. Во главе его стояли Д. В. Венигитин и В. Ф. Одоевский, а членами были в значительной части «архивные юноши» — сотрудники Московского архива министерства иностранных дел. Но вот произошло восстание декабристов. В результате этого события был, как известно, «срезан весь цвет русской интеллигенции». Сохранившиеся семена общественной мысли пришлось дальше развивать неопытным юношам, пылавшим благородным желанием сделать Россию счастливой. В эти годы, как писал в конце 50-х годов А. И. Герцен, «Россия будущего существовала исключительно между несколькими мальчиками, только что вышедшими из детства, до того ничтожными и незаметными, что им было достаточно места между ступней самодержавных ботфорт и земель — а в них было наследие 14 декабря, наследие общечеловеческой науки и чисто родной Руси. Новая жизнь эта прозябала, как трава, пытающаяся расти на губах непростынного кратера». Очагом нового движения становится первоначально Московский университет. Переменился тип русского студента. Раньше он был подобием немецкого бурша. Теперь он становится идеалистом, преисполненным высшими стремлениями. Кружки Станкевича — Белинского, с одной стороны, Герцена — Огарева, с другой, как бы продолжают старую линию раздвоения на социальных политиках и любомудров. Между ними существует сначала большое расхождение, порождающее даже временами открытую вражду. Так продолжается до конца 30-х — начала 40-х годов. В это время назревает синтез, лучшим выразителем которого является В. Г. Белинский. Именно в Белинском сочетаются в зрелый период его жизни и диалектика, полученная в наследство от идеалистической философии, и широта исторического кругозора, воспитавшаяся на почве интереса к судьбам России в послепетровскую эпоху, и зачатки социалистического мировоззрения. Каким образом Белинскому удалось сделаться центром умственных стремлений своего времени и заложить основу важнейших принципов русской общественной мысли, не будучи ни в какой мере экономистом по специальности, лучше всего показано верным учеником Белинского, Н. Г. Чернышевским, за которым мы и следуем в дальнейшем изложении.

В течение немногих лет Белинский проделал замечательный путь от Шеллинга к Гегелю и от него к Фейербаху, став материалистом. Как показано, однако, нашей новейшей литературой, представители русской классической философии не останавливались на усвоении

вспостанных философских систем, а шли дальше, творчески перерабатывая их. От старого любомудрия не осталось и следов. Новые материалистические позиции и диалектический метод властно звали к решению социальных вопросов. Особенно важно критическое преодоление Гегеля. Чернышевский показал его с замечательной ясностью. Сначала каждое слово Гегеля воспринималось как «непременная истина». Не было еще предчувствия, что доль как «непоследовательности», что он «противоречил себе на каждом шагу». Любое сочинение Гегеля зачитывалось до дыр. Но так быстро шло философское воспитание русского общества, что уже очень скоро Гегель оказался достоянием истории. «Настоящее время имеет другую философию и хорошо видит недостатки гегелевской системы». Чернышевский в таких словах обобщает главную особенность немецкой философии от Канта до Гегеля: «Общие идеи у них глубокие, плодотворные, ведические, как выводы мелки и даже пошловаты». От Гегеля сохраняется, как удачно отмечает Чернышевский, лишь «диалектический метод мышления».

Воспитавшись, таким образом, первоначально на любомудрии и проделав огромный путь к материализму, Белинский занял философскую позицию, которая превращала плодотворный синтез с кружком Герцена — Огарева. Содержание интересов этого кружка Чернышевский изображает следующим образом: «Немецкая философия мало их занимала как предмет слишком отвлеченный... В то время во Франции возникали, как противоречие бездущному и убийственному учению экономистов, новые теории национального и благосостояния». Идеи нового типа пока еще высказывались в фантастической форме. «Но под видимыми странностями и под фантастическими увлечениями скрывались в этих системах истины глубокие и благодетельные». Ясно, что Чернышевский имеет в виду распространение во французском обществе идей утопического социализма. На известном этапе развития общественной мысли неизбежно должно было выясниться, что оба направления — философские устремления Белинского и теории «национального благосостояния» Герцена и Огарева — нисколько не противоречат друг другу. Около 1840 г. назрело время объединения прогрессивных кругов. Около этого круга людей и стал Белинский. Он теперь «увидел чрезвычайную важность тех вопросов, на которые в кругу Станкевича обращали слишком мало внимания, и удержал из гегелевской системы только те убеждения, которые выдержали проверку живыми явлениями действительности». Таков теперь критерий, которому

¹ Н. Г. Чернышевский. Очерки гегелевского периода русской литературы. Соч., т. II, изд. «Современника», 1856, стр. 183.

² Там же, стр. 185.

³ Там же, стр. 189.

⁴ Там же, стр. 194.

⁵ Проф. Шенк — 170

¹ А. А. Корвин-Потто. Молодые годы Михаила Бакунина. Из истории русского романтизма. М., 1915, стр. 112.

больше всего доверяет Чернышевский: проверка живой действительностью. Кабинетный мудрец Гегель не мог «долго удержать в безусловной покорности такого пламенного, проникнутого жизненными стремлениями двадцатипятилетнего человека, как Белинский». Примечательно, что, помимо сближения с герценовским кружком, Чернышевский придает решающее значение в этом но-вообращении еще и второму обстоятельству: переезду Белинского из *Москвы в Петербург*. Мы видели, что общественная мысль России после разгрома восстания декабристов выросла в Москве. Переход движения на новый этап символически связывается Чернышевским с петербургским периодом в жизни Белинского. Именно после переезда в Петербург Белинский становится *самостоятельным мыслителем*. С того времени, когда представители нашего умственного движения самостоятельно подвергли критике гегелеву систему, они, по словам Чернышевского, уже не подчинялись никакому чуждому авторитету. Белинский и главнейшие из его сподвижников стали людьми, вполне самостоятельными в умственном отношении. В Москве было положено лишь *начало* новому движению, но в Петербурге оно достигло *высшей точки*. «Петербург, — уверяет Чернышевский, — как известно всем, пережившим идеалистический период воззрений, нимало не одобрен для сохранения таких мечтаний». Москва выносила идеализм Белинского, Петербург разбил его вдребезги. «Петербург с обычной своей готовностью услужить новому жителю всеми возможными разочарованиями, не замедлил доставить Белинскому обильные материалы для проверки благосклонных к действительности выводов гегелевской системы и внушить ему, что филистерские немецкие идеалы не имеют ровно никакого сходства с русской жизнью». Во всех этих высказываниях Чернышевского много драгоценных для нас указаний. Полет самобытного творчества у Белинского сделается возможным благодаря критическому преодолению гегелевской философии с материалистических позиций. Затем, вооружившись диалектическим методом и опираясь на материалистическую почву, Белинский порвал с «филистерскими немецкими идеалами» и обратился к французским теориям народного благосостояния, т. е. к утопическому социализму. Однако важно отметить, что Белинский мог осуществить связь философского материализма с теориями народного благосостояния лишь в общей форме. Жизнь требовала дальнейшей конкретизации просветительских учений в экономической области.

Из всего изложенного видно, что в России 40-х годов прошлого столетия «властителем дум» был Виссарион Григорьевич Белинский. Позднейшие истории литературы (например С. А. Венгеров), оглядываясь назад, на период расцвета его литературной деятельности, окрестили это время «эпохой Белинского». Чернышевский только по цензурным соображениям писал о «гоголевском периоде русской литературы». Обычно считают, что от Белинского линия

нашего просветительства непосредственно подводит к Герцену, Чернышевскому и Добролюбову. Нам представляется, однако, что при ближайшем рассмотрении истории нашего просветительства она не укладывается в эту упрощенную схему, в которой общественное течение, известное у нас под именем просветительства, исчерпывается немногочисленными величественными фигурами. Неужто, в самом деле, наши просветители были генералами без армии? Неужто их пламенная проповедь не вызвала появления целых течений общественной мысли, продолжавших их дело? Нам кажется, что с подобным взглядом не мирится не только историческая логика, но и конкретные факты идеологического развития нашей страны. В 40-х годах, еще при жизни Белинского, в просветительство обозначается существенный сдвиг, представляющий огромный интерес именно в разрезе той темы, которую мы рассматриваем на этих страницах.

Появление нового направления в русской политической экономии тесно связано с поворотом нашего просветительства от эстетики к экономике. Об этом повороте мы находим компетентное свидетельство И. С. Тургенева, который в своих «Литературных воспоминаниях» пишет: «Белинский начинал чувствовать, что наступало время сделать новый шаг — выйти из тесного круга литературной критики; политико-экономические вопросы должны были сменить вопросы эстетические, литературные, но сам он себя уже устранил и указывал на другое лицо, в котором видел своего преемника, — на В. Н. Майкова, брата поэта; к сожалению, этот талантливый молодой человек погиб в самом начале своего поприща».¹

Аналогичное заявление было сделано в «Отечественных записках» за 1848 г., где говорится о повороте литературной критики «с чисто эстетической арены» на «другие пространства». Появляется потребность рассматривать литературные произведения «с той стороны, которую они соприкасаются с общественным бытом».²

Однако приведенные свидетельства современников не нашли отклика в нашей научной литературе, которая так и не попыталась показать на деле этот поворот просветительства в сторону экономики. Это произошло в значительной мере из-за того, что Плеханов усомнился в правильности оценки событий, данной Тургеневым. В эпизоде, о котором говорит Тургенев, Плеханов увидел лишь оскорбительное для Белинского стремление дерзкого юноши поднять руку на общепризнанного главу просветительства, которого Майков легкомысленно обвинил в диктаторстве. Плеханов не нашел нужным отметить какое бы то ни было место Майкову и его соратникам на столбовой дорожке развития просветительства. Он

¹ Цит. в статье К. Арсеньева «Валериян Майков. Из истории критики 40-х годов». (Вестник Европы, 1886, № 4, стр. 780).

² Цит. у П. Сакулина. «Русская литература и социализм», ч. 1 (Ранний русский социализм), стр. 212.

сделал все, чтобы умалить его авторитет, как экономиста-теоретика. В его представлении Майков «не твердо стоит на теоретических ногах». ¹ В лице Майкова наша критика совершала «не поступательное, а попятное движение». ² По словам Плеханова, Майков умер, «не успев выйти из своего периода философских исканий». ³ Плеханов с полной уверенностью утверждает, что направление, к которому принадлежал Майков, резко разошлось с тем, по которому шла сначала мысль Белинского, потом Чернышевского и Добролюбова и, наконец, русских марксистов. ⁴

Фиксируя свое внимание на личном конфликте между Майковым и Белинским, Плеханов просмотрел самую сущность того сдвига в русской общественной мысли, о котором говорит в приведенных строках Тургенев. Речь шла не об отдельном эпизоде, а о литературном направлении, которое характеризуется появлением целой серии экономических работ в период 1841—1847 гг., определивших новое лицо русской политической экономии.

Прежде всего следует отметить, что Валериан Майков отнюдь не был одиноким. Вокруг него группировался кружок лиц, которых можно считать единомышленниками созданного им экономического направления. Дух Белинского оставался жив среди них, несмотря на попытки Майкова «отмежеваться» от столпа просветительского направления. Брат Валериана Майкова, Аполлон Николаевич Майков, сообщает о том, что когда В. Майков принял на себя ведение критического отдела в «Отечественных записках», около него «составился его кружок: Владимир Милютин, Стасов, еще человека три-четыре». ⁵ Известно также, что в семье Майковых постоянно бывали И. А. Гончаров, В. Г. Бенедиктов, И. И. Панаев, позже С. С. Дудышкин и М. П. Заблудский, братья Достоевские. ⁶

Н. Я. Данилевский, бывший в молодости ярым фурыеристом, а впоследствии ставший одним из столпов славянофильства, в своих показаниях по делу петрашевцев, в котором он выступал в качестве обвиняемого, говорит: «У Петровского познакомился я с Валерианом Майковым, много занимавшимся политической экономией. С ним имел много разговоров и споров об учении Фуры и думал со временем убедить его совершенно в истинности его и вдвоем заняться разрешением темных сторон его». ⁷

Как ни разнообразны были по своим убеждениям эти люди, их имена говорят о богатстве и идейной насыщенности той интеллектуальной атмосферы, в которой зарождалась новая русская

политическая экономия. Нельзя также не отметить, что первые даровитые представители этого направления далеко не смогли развить своих духовных сил из-за подкосившей их ранней смерти, бывшей жестоком уделом столь многих замечательных русских людей в губительной среде крепостничества. Достаточно напомнить хотя бы Пушкина, Лермонтова, Белинского, Добролюбова, Писарева, Гаршина. Россия дала миру много замечательных имен, создала множество гениальных произведений. Но русский вклад в мировую сокровищницу мысли был бы еще неизмеримо больше, если бы не приведенный синдикс, напоминающий о загубленных талантах. Русская политическая экономия середины прошлого века отдавала и свою дань крепостнической эпохе. Валериан Майков погиб, еще не дожив до 24-летнего возраста, после всего 15 месяцев литературно-политической деятельности, буквально на заре научного творчества. Как говорит его биограф К. Арсеньев, это был человек, ловивший знания «всюду на лету», и всякий, кто знал его, «чувствовал его могучее превосходство и в то же время всем было невыразимо хорошо с ним». ¹ Майков утонул, купаясь в озере, — повидимому, от апоплексического удара, последовавшего от продолжительной прогулки по солнцу. Владимир Алексеевич Милютин, другой талантливейший представитель рассматриваемого направления, застрелился в возрасте 29 лет в Емсе. ²

Стоит порыться в памяти, чтобы убедиться в том, что история политической экономии не знает замечательных трудов, появлявшихся в столь раннем возрасте. Майков и Милютин погибли до того, как сумели проявить свои творческие силы на большом поле научной работы. Но Майков и Милютин были зачинщиками целого направления. От них исходил лишь первый толчок, причем венцом развития, высшей его точкой, был Чернышевский. Однако Майков и Милютин и сами сумели внести в нашу экономическую мысль совершенно новую струю; они, в сущности, уже определили методологические особенности политической экономии, важнейшие черты которой мы попробуем обрисовать в дальнейшем изложении.

Можно перечислить ряд научных произведений, в которых на протяжении 40-х годов новое направление воплотилось ярче всего: А. П. Заблудский — «О крепостном состоянии в России» (1841), В. Майков — «Об отношении производительности к распределению богатств» (1842), Д. П. Журавский — «Об источниках и употреблении статистических сведений» (1846), Милютин — «Пролетариат и пауперизм в Англии и во Франции» (Отечественные записки, 1847), Милютин — «Мальтус и его противники»

¹ Плеханов. Виссарион Белинский и Валериан Майков. Соч., т. XXIII, стр. 233.

² Там же, стр. 243.

³ Там же, стр. 258.

⁴ Там же, стр. 258.

⁵ Сакулин. Назв. соч., стр. 227 (примеч.).

⁶ Арсеньев. Назв. статьи, стр. 781—782.

⁷ Дело петрашевцев, т. II, 1941, стр. 320.

¹ Арсеньев. Назв. соч., стр. 785.

² О гибели Милютина, под влиянием неизлечимой болезни (рака) и неудавшей любви, стоит прочитать задушевный рассказ Семенова-Тян-Шанского в I томе его «Мемуаров». (Детство и юность (1827—1855 гг.). Петроград, 1917, стр. 268—271 и 285—286).

(Современник, 1842), А. П. Заблочкий — «Причины колебания цен на хлеб в России» (Отчетные записки, 1847), Милютин — «Три статьи по поводу книги Бутовского» (Современник, 1847).

К экономистам-просветителям тесно примыкает также экономико-статистическое направление, занимавшееся особенно описанием крестьянской экономики отдельных губерний. Чернышевский особенно ценил среди этих обзоров два: составленный Д. П. Журавским и изданный губернатором Фундуклеем обзор Киевской губернии и принадлежащее перу Я. А. Соловьева описание Смоленской губернии. Эти работы не имеют самостоятельного теоретического значения. Но разработка статистического материала ведется таким образом, что дает яркую картину помещичьей эксплуатации. Статистика ставится таким путем на службу критике крепостнического хозяйства. Если мы вспомним гениальное произведение Ленина: «Развитие капитализма в России», в котором уделено столько внимания анализу статистических данных, мы поймем, что это статистическое направление через просветителей-экономистов и наряду с ними должно было сыграть роль в развитии антикрепостнических учений своего времени.

В ином свете изображает духовный уровень наших экономистов-теоретиков середины прошлого века Г. В. Плеханов. По его словам, «экономические познания не только читающей публики, но и наиболее образованных писателей сороковых годов были в высшей степени скудны. Белинский в своих статьях никогда не затрагивал экономических вопросов, а Герцен по самой своей смерти оставался при твердом убеждении, что Прудон был великий экономист.¹ В начале шестидесятых годов политическая экономия, правда, сделалась в России подлинно модной наукой, однако увлечение не могло собою заменить недостатков положительных знаний: первые попытки в области этой науки были по необходимости утопического характера.² Плеханов умудрился не заметить замечательного течения, возникшего в нашей литературе как раз в 40-х годах прошлого века и означавшего восприятие просветительством, помимо общекультурных, исторических и литературных вопросов, чисто экономической тематики.

Однако приведенные суждения Плеханова содержат в себе все же и долю истины в том отношении, что они отражают общественную атмосферу непонимания, а иногда даже прямого недоброжелательства, которую была окружена на первых порах наша политическая экономия в широких кругах общества. Недаром Чернышевский еще в 1857 г. мог написать: «...до последнего времени казалось невозможным ученому, занимавшемуся политической экономией, приобрести то горячее сочувствие всего общества, каким

¹ Ниже будет показано, что это утверждение Плеханова о преклонении Герцена перед Прудоном как экономистом ошибочно.

² Плеханов. Н. Г. Чернышевский. Соч., т. V, стр. 20.

награждались, например, труды по русской истории или по истории русской литературы.¹ Волна увлечения естественными науками в нашей стране, начавшая высоко подниматься еще с 40-х годов, мешала даже самим представителям экономического течения в просветительстве правильно оценить значение новой науки. Так, В. Милютин писал: «...дальнейшего хода науки в отношении к исследованию существа и свойств воспроизводительной силы человека должно неизбежно ожидать от успехов не политической экономии, а физиологии и естественных наук.² В другой своей работе тот же Милютин называет свое время «эпохой перелома и кризиса для большей части общественных наук и особенно для политической экономии.³ Поэтому в экономической науке появляются «следы всеобщего беспорядка и крайней разногласия.⁴ Милютину и его современникам трудно было понять, какой глубокий смысл кроется за этими внешними признаками беспорядка и разногласия. Они были не только свидетелями, но и творцами новой системы, но даже им трудно было оценить основное содержание произведенного ими переворота. Это становится возможным лишь теперь, по истечении столетней давности. Сущность прошедшего перелома можно сформулировать так: просветители рисковали открыто признать внутреннюю порочность крепостного режима и провозгласить, что здоровой жизненной основой экономики может быть только свободный физический труд крестьянина.

Было бы нелепо представлять себе дело так, что новая политическая экономия возникла как бы на пустом месте. Наоборот, период 30-х — 40-х годов отмечен у нас большим оживлением экономической мысли, находившим выражение в многочисленных спорах по вопросам экономической политики на страницах современной печати, в появлении ряда книг по экономическим вопросам. Но это была политическая экономия иного порядка. На экономических сочинениях этого направления был незримо оттиснут официальный штамп или дворянский герб. Споры происходили среди представителей господствующих классов и касались их интересов. Времена были сложные, чреватые глубокими общественными противоречиями. Хронический аграрный кризис сковывал производительные силы. Экономические связи с быстро растущей капиталистической Европой повелительно требовали приспособления нашего социального строя к условиям торговли с передовыми странами. Немногочисленные ростки капиталистической промышленности в России не могли развиваться. На этом общем мрачном фоне

¹ Н. Г. Чернышевский. По поводу речи Бабста «О некоторых условиях, способствующих умножению народного капитала». Соч., т. III, стр. 505.

² В. А. Милютин. Современник, 1847, кн. 9.

³ В. А. Милютин. Милютин и его противники. Обзор различных мнений об отношениях производительности к развитию населения (Ст. первая). Современник, 1847, № 8, стр. 129.

⁴ Там же, стр. 131.

происходит столкновение двух течений: одного — консервативного, стремящегося оставить все «по старинке», сохранить основанное на крепостном труде земледелие в качестве господствующей отрасли хозяйства, и другого — прогрессивного, ищущего средств для оплодотворения нашей экономики притоком своих и чужих капиталов, развития промышленности, железных дорог, банков, проектирующего использование протекционизма в качестве поощрительной меры для развития производительных сил. Этот конфликт ярче всего (можно даже сказать — символически) запечатлелся в столкновении двух колоритных фигур, преимущественно именно в 30-х годах. Мы имеем в виду Канкрин и Мордвинова. Канкрин, будучи даже министром финансов, оставался в сущности только «главным кассиром». К государственному хозяйству он усердно применял «копеечные приемы домашнего скопидомства»; он и на посту министра «жил совершенным Плюшкиным, ходил в солдатской шинели, курил вонючие сигары, тщательно берегал конверты от распечатанных писем и пакетов и был той веры, что „разобраться можно не столько от капитальных затрат, сколько от ежедневных мелочных расходов“».¹ Мордвинов отличался, в противоположность своему оппоненту, не только глубокими познаниями в области экономической науки и прекрасной осведомленностью относительно хозяйственного положения России, но и сердечным добродушием, безграничной любовью к отечеству и доходящей до резкости правдивостью. В одном из старых наших журналов сохранились данные о любопытном эпизоде идейной борьбы Канкрина с Мордвиновым. Мордвинов представил Николаю I проект создания 14 компаний, целью которых было развитие производительных сил нашей страны. Эти компании призваны были соединять течение рек для улучшения условий плавания в целях усиления движения по ним коммерческих грузов, строить морские и купеческие суда, эксплуатировать важнейшие минеральные ресурсы России, как, например, каменный уголь и золото, совершенствовать сельское хозяйство. Для характеристики высокого уровня понимания Мордвиновым задач хозяйственного развития России достаточно, например, привести то, что, предлагая предпринять у нас разработку каменноугольных залежей, он ссылался на пример Англии, которая посредством угля, при «20 мил. народа, производит работу как бы имела 600 мил.» Мордвинов утверждал также, что у нас открыто золотоносных россыпей такое количество, что для извлечения из них золота потребуется 5 тысяч лет, и вызвал тем пометку государя следующего содержания: «Узнать из любопытства у адмирала Мордвинова, откуда почерпнул он сведения сия о неисчерпаемых богатствах в золоте».²

Кроме того, Мордвинов затевал устройство грандиозного

«трудопоощрительного» банка для финансирования ряда общепользовательных предприятий, из числа которых назывем введение новых видов земледелия, размножение лучших пород скота, устройство фабрик, сооружение рудокопных и иных приносящих общепользовательную пользу заводов. Естественно, что в этой борьбе мнений симпатии современного исследователя — на стороне Мордвинова как представителя более прогрессивной идеологии. Но мы не можем все же забыть ни на минуту того, что Мордвинов, как и его оппонент, предполагал строить хозяйство на крепостнической базе. Вспомним бескритичный рассказ Николая Тургенева о его спорах с «почтенным адмиралом» Мордвиновым по вопросу о крепостничестве. «Для меня главной, неисчерпаемой темой было всегда освобождение крепостных», — повествует Тургенев. «Добрый адмирал не придавал должного значения огромному злу, проистекавшему от рабства». Для Мордвинова вопрос сводился к политической свободе и к ограниченному царской власти аристократией, организованной в верхнюю палату. Тургенев рассказывает, далее, о Мордвинове: «Со своей обычной мягкостью и добротой, он подтрупивал иногда над моим рвением в пользу крепостных. „В ваших глазах, — говорил он мне, — все рабы святые, а все помещики тираны“. „Почти то так“, — ответил я ему вполне серьезно».¹ Таким образом мысль Мордвинова двигалась в иной плоскости, чем у идеологов экономического просветительства.

В экономические споры того времени сплошь и рядом вмешивались высшие представители бюрократии. О типе их рассуждений по экономическим вопросам можно судить хотя бы по приводимым ниже двум выдержкам. Так, министр внутренних дел, вооружившись статистическими данными, пытается доказать, что единственной отраслью русской экономики является хлебопашество, в результате чего, в отличие от других стран, только степень урожая управляет нашими ценами, которые при этом быстро меняются и вверх и вниз. Столь быстрое изменение цен, конечно, затрудняет расчеты промышленников.² Министр государственных имуществ призывает русских экономистов «приготовиться к ожидаемому изменению хлебных законов в Англии. Для сего нужно составить разные программы и раздать их нашим экономистам. Следует разбудить наших помещиков, капиталистов и торговцев, показав им заграничные цены, указать на непростительную нашу беспечность и огромные барыши, получаемые иностранцами, которые нами управляют как индейцами».³ Конечно, научный стиль этой казенной политической экономики был в конце отличен от экономического мировоззрения просветителей. При этом даже

¹ Николай Тургенев, Россия и русские, т. I, Воспоминания из жизни М., 1915, стр. 90—91.

² Я Ст — к Тридцатые-сороковые годы. Экономический журнал, 1891, № 8—9, стр. 72.

³ Там же, стр. 74.

¹ Я С. Любопытный эпизод. Экономический журнал, 1889, № 1, стр. 46.

² Там же, стр. 57.

мордвиновское направление, со свойственными ему откровенными симпатиями к форсированному росту промышленности и банков на капиталистических началах, было обособленным течением в нашей политической экономии, отражавшей по основному своему тону в первую очередь злободневные интересы помещичьего класса. Следует подчеркнуть, что экономисты этого преобладающего направления заботились не столько о развитии производительных сил, не о производственных задачах земледелия, сколько о распределении, о сохранении за помещиками возможно большей доли народного дохода. Трудно согласиться с проф. П. И. Лященко, когда он анализирует нашу сельскохозяйственную литературу рассматриваемого периода под рубрикой: «начало предпринимательства в сельском хозяйстве в XIX веке». Он находит пол впечатлением «теории», пущенной в оборот с легкой руки Гакстгаузена, согласно которой до Отечественной войны 1812 г. русские помещики жили в Москве, но война их разорила, и они были вынуждены вернуться в свои деревни и стать сельскими предпринимателями. Как уверяет проф. П. И. Лященко, «это был первый опыт русского сельскохозяйственного предпринимательства в собственном смысле этого слова, первый опыт приложения производительного капитала в земледелии». ¹ Однако в подкрепление этого тезиса Лященко может привести лишь сведения об увлечении иностранной агрономией со стороны известной (повидимому, небольшой) группы помещиков, производивших опыты с плодоперемесным хозяйством, и вынужден, в конце концов, признать общую неудачу помещичьих попыток перестроить «экономическую структуру» в целях создания «экономически рациональной организации эксплуатации крепостного сельскохозяйственного труда». ² В действительности, русская политическая экономия рассматриваемого периода смотрела на вещи гораздо проще. Не обладая творческими способностями французских физиократов и поэтому будучи не в силах создать теоретическую систему в том же духе, русские экономисты 30-х годов сходятся с физиократами в практической программе, отстаивающей интересы земледелия.

Как отмечено Егуновым, 30-й год в нашей литературе был гранью, резко отделившей два разных периода. До этого года в экономической литературе раздавались преимущественно жалобы на дороговизну хлеба и центром, откуда они шли, был Петербург, а ярким представителем этого направления явился Фомин, автор книги «О понижении цен на сельскохозяйственные произведения в России», премированной Академией Наук. С 30-го года сцена переносится в Москву, борьба переходит на страницы московских журналов, а земледельцы, выступающие с соответ-

ствующими литературными произведениями, будучи главными обладателями хлеба, именно и отстаивают высокую цену как главнейшую задачу времени. ¹ Особенной популярностью пользовалась тогда крылатая фраза Румянцева о том, что Россия станет богатой, когда цена хлеба дойдет до 25 руб. за четверть. Большое внимание вызывают к себе также многочисленные проекты создания акционерных компаний для торговли хлебом и складочных продовольственных магазинов для урегулирования цен на хлеб. Пропагандируется также распространение ссуд под залог хлеба.

Наиболее смелые аграрные умы в крепостной России, говорит Петр Струве, «додумались тогда до идеи, легкой в основу „крупного средства“ новейших немецких аграриев, так называемого „предложения Канитца“, до идеи прямого государственного регулирования хлебной торговли в интересах сельских хозяев». ² Эти «смелые умы», разумеется, откровенно стремились использовать принадлежавшую им в государстве политическую власть, чтобы искусственно поднять хлебные цены и тем спасти себя от грозящего разорения. В этой программе воплощены элементы паразитизма, а не активного предпринимательства. За синей птицей — плодоперемесным хозяйством — могли гоняться лишь отдельные сельские хозяева. Масса же наших помещиков предпочитала наживать капиталы путем нажима на правительство. Гедаром Мордвинов в 1833 г. писал о том, что «в России нет земледельческого класса, в достойном смысле этого слова, и что помещики вовсе не занимаются сельским хозяйством, предпочитая играть в карты или разводить псарни для охоты за зайцами». ³

Перейдем теперь к более подробному рассмотрению характерных особенностей экономической идеологии просветительства. Политическая экономия просветительства сформировалась в то время, когда закат классической политической экономии в Англии стал уже свершившимся фактом и когда в теоретической экономике капиталистических стран приобрело господство пошлые, бесплодные представления вульгарного направления. Нет надобности подробно говорить об исторических заслугах английских экономистов классической школы. Они достаточно известны. Классики бескорыстно стремились к такому состоянию хозяйства, которое обеспечивало бы наибольший подъем производительных сил. Они не боялись вскрывать классовые противоречия, раздирающие капиталистическую систему. Они заботились о том, чтобы по возможности очистить капитализм от сохранившихся внутри него феодальных пятен. Они впервые четко формулировали принцип теории трудовой стоимости. Классики бесспорно были проводниками

¹ П. И. Лященко. Очерки аграрной эволюции России. 1926, стр. 103.

² Там же, стр. 113.

¹ А. Н. Егунов. О ценах на хлеб в России, вып. 1, М., 1855, стр. XI.

² Петр Струве. Крепостное хозяйство. Исследования по экономической истории России в XVIII и XIX вв. 1913, стр. 129.

³ Я. Ст.—к. Назв. статьи, стр. 62.

прогрессивных начал в экономической науке. Однако, как показано Марксом, после блестящих турниров 1820—1830 гг. наступил период окостенения экономической мысли, при котором «бескорыстные исследование уступает место сражениям наемных писак, беспристрастные научные изыскания заменяются предвзятой, угодливой апологетикой».¹ Теоретический подъем русской экономической мысли начинается в период, когда на Западе буржуазная политическая экономия обнаруживает как раз все признаки упадка и загнивания.

В социалистическом движении на Западе также происходит огромный шаг назад. Замечательные системы великих утопистов стали омертвевшими памятниками социалистической мысли, а сменявшие их эпигоны, представители мелкобуржуазного социализма, образуют «реакционные секты».² Для них характерно «фантастическое стремление» возвыситься над борьбой классов, которая начинает все громче звучать в истории. Властителями дум становятся на Западе такие сомнительные социалисты, как Лув Блан, Прудон, даже носитель реакционно-пруссацких начал Родбертус. Вновь формирующаяся русская политическая экономия стоит много выше и вулгарного направления буржуазной теории и столбов мелкобуржуазного социализма.

Попробуем отметить главнейшие черты этой русской экономической мысли, появившейся на свет в качестве ответвления просветительской идеологии и во многих отношениях резко отличающейся от классиков.

1. ГУМАНИТАРНАЯ ОСНОВА ИДЕОЛОГИИ ЭКОНОМИСТОВ-ПРОСВЕТИТЕЛЕЙ

Если на Западе политическая экономия опирается на утилитаризм как на свою общественно-философскую базу, то для русской экономической мысли характерно гуманитарно-просветительное направление.³ Известно, с какой едкой иронией говорил Маркс об утилитаризме Бентама, этого «резко-недантичного, тоскливо-болтливому орacula пошлого буржуазного рассудка XIX века». О нем же Маркс написал: «Если бы я обладал смелостью моего друга Г. Гейне, я назвал бы господина Иеремию гением буржуазной глупости».⁴ Гуманитарно-просветительские тенденции русской политической экономии 1840—1860 гг. тесно связаны с теми общими ее признаками, которые так тонко

были отмечены Лениным в его статье «От какого наследства мы отказываемся?». Известно, что Ленин подчеркнул следующие важнейшие черты наших просветителей: горячую вражду к крепостному праву и всем его порождениям, жажду всесторонней европеизации России и искреннюю уверенность в том, что отмена крепостного права и его остатков принесет с собой общее благосостояние. Основным мотивом бессорно была борьба с крепостным правом и его остатками. Интересно, что Ленин отмечал известное сходство идеологии наших просветителей и английской классической школы в том отношении, что никакого своекорыстия тогда в идеологах буржуазии не проявлялось. Напротив, и на Западе и в России они совершенно искренне верили в общее благоденствие и искренне желали его. Это отсутствие своекорыстия характерно, в частности, и для экономической идеологии просветительства.

Нравственной подпочвой этого гуманитарно-просветительского направления была глубокая эмоциональная «братская привязанность к крестьянину. Одним из наиболее передовых представителей этого образа мыслей несомненно являлся еще Николай Тургенев, который в 1855 г., оглядываясь назад на свою литературную деятельность, сказал о себе, что «класс русских крестьян всегда был главнейшим предметом моих симпатий». Тургенев восклицал далее: «да, я люблю этих славных русских крепостных крестьян, и все в них, вплоть до священной борьбы... вызывает во мне чувство почтения».¹ Говоря о своей книге «Опыт теории налогов», Тургенев сам замечает, что «никогда еще на русском языке не было напечатано о крепостном праве ничего столь же ясного и определенного».²

В таком же духе говорит о своих симпатиях к русскому крестьянству и Герцен. Он подчеркивает «умный развязный вид» великороссийского крестьянина, его мужественные красивые черты, крепкое сложение, и все это он считает доказательством того, что в нашем крестьянине таится иная сила, чем одно долготерпение и безответная выносливость. Герцен даже спасение видит в одном: если мы будем в состоянии «протянуть руку крестьянину и считать его делом своим».³ В этот период даже и умеренные либералы типа Кавелина доходили до проповеди «идеального, точно сказочного мужицкого царства», если воспользоваться выражением А. Н. Пыпина. Эти теории были построены на том, что «русский народ представляет неизвестное Европе зрелище громадного общино-земледельческого населения, составляющего огромный процент всей народной массы и должного в конце концов создать новый тип общественно-политического

¹ Маркс и Энгельс. Соч., т. XVII, стр. 13.

² Маркс и Энгельс. Соч., т. V, стр. 511.

³ История русской литературы XIX века, под редакцией Л. Н. Овсянникова-Куликовского, т. II, гл. 8; Ч. Ветерский (Вас. Е. Чехинин). Сороковые годы XIX века, стр. 97: «Западники 30—50-х годов имели право на совершенно иное воззрение. Это были русские гуманисты».

⁴ Маркс и Энгельс. Соч., т. XVII (I том «Капитала»), стр. 670.

¹ Тургенев. Россия и русские, т. I, Воспоминания изгнанника. М., 1915, стр. VII.

² Там же, стр. 70.

³ Цит. у Нестора Котляревского в «Канун освобождения», стр. 124.

строга, который разрешит сфинксову задачу современной борьбы».¹

Однако приведенные суждения о «священной бороде» мужика, его «умном и развязном» виде, о «мужичком» царстве можно было бы легко заподозрить в том, что они представляют лишь публицистическую декламацию, за которую не чувствуется подлинного стремления горой отстаивать трудовые крестьянские интересы. Гораздо определеннее в этом отношении высказывается Валерий Майков. По своему положению литературного критика он пишет, например, замечательную статью о поэзии Кольцова, которая может служить примером того, как критика литературного произведения превращается в экономическое сочинение. Подлинный мотив этой статьи — это *прославление физического труда крестьянина*. Между строк кольцовских стихов Майков вычитывает экономическое мировоззрение поэта и хочет построить на нем свою науку. Это мировоззрение — гимн крестьянскому хозяйству со всеми его повседневными заботами. Этими же свойствами поэзии Кольцова объясняется, повидимому, то, что и Чернышевский «особенно любил» из поэтов именно Кольцова.² «Как ни негодовать господам романтикам на бедного Кольцова, — пишет Майков, — когда, вместо того, чтобы гнушаться такими вещами, каковы, например, физический труд, любовь к полезной работе, деньги, выручаемые потом и терпением, он совершенно предан земледельческому промыслу, совершенно сочувствует пахарю, заботливо и любовно входит в его тяжкие нужды, радуется его прозаической радости при виде урожая, следует за ним на пашню и пр.»³ Майкова приводит в восторг «гуманизированное крестьянского быта» в кольцовских стихах. Такие произведения, как «Что ты спишь мужичок?» для него «шедевр экономической поэзии»,⁴ «воззвание страстного политико-эконома, обличенное в форму искусства». В одном из стихотворений Кольцова, по отзыву Майкова, «человек так слит с крестьянством, что, прочитав его, нельзя не почувствовать самой нежной любви к кафтану и лаптям».⁵ У Кольцова мысль вдохновляется плодами труда, какими-нибудь «снопами тяжелыми».⁶

Каждый, кто читает стихи Кольцова, проникается «каким-то жизненным началом». Между тем, думает Майков, задача художественного произведения заключается именно в том, чтобы воспитывать читателя. Разбирая роман современного ему автора Я. Г. Буткова «Петербургские вершины», Майков объявляет, что «цель беллетристического произведения — популяризирование

идей, важных для общества». Усмотрев у Буткова черты «оптимизма в политической экономии» и непонимание преданности бедности для современного общества, Майков декларирует, что в его время влияние бедности на человека признается важнейшим из общественных вопросов, причем он должен быть решен в определенном смысле: «Современная наука принимает бедность, как неодолимое препятствие к развитию человека и общества, как начало всех зол частных и общественных».¹

Поскольку, однако, нами отмечено выше утверждение Плеханова, будто Майков стоит вне общей линии развития просветительской идеологии, уместно, несколько отступая от хода изложения, разобраться в вопросе о том, какова была подлинная социально-экономическая позиция Майкова. Если верить Плеханову, предлагаемая им социальная реформа — долящая, т. е. участие рабочих в прибылях предприятия, скорее всего может быть названа «продолжением Смита». Плеханов находит, что «этим достаточно характеризуются его общественные взгляды».² Таким образом, для Плеханова Майков был смитианцем. Совсем по другому характеризуют его П. Н. Сакулин и поддерживающий мнение последнего В. Е. Евгеньев-Максимов, которые находят в статье Майкова о Кольцове взгляд на творчество этого поэта «с точки зрения фуриеризма».³ Наконец, новейший автор И. Г. Блюмин причисляет Майкова к людям «не примкнувшим к утопическому социализму», так как этот автор «считает невозможным отказаться от хозяйственных стимулов, присущих капитализму, но он в то же время не закрывает глаз на жуткую картину обнищания рабочего класса».⁴

Попробуем же самостоятельно разобраться в том, насколько близко Майков примыкает к Смигу. Майков провозглашает Англию примером «одностороннего развития в применении начал экономических» и приписывает английским классикам-экономистам стремление превратить в результате своего анализа государство в контору, а людей — в вещи и машины. «Политическая экономия утратила так характер науки, основанной на идее благосостояния, и послужила основанием монополии, аристократии богатства».⁵ Смига Майков противопоставляет Сисмонди. У Смига нет чужды мысли о справедливом распределении богатства. Что же касается Сисмонди, то он был «глубоко убежден, что политическая экономия, как и всякая другая общественная наука, должна содействовать к возвышению общего благосостояния народа, а не

¹ А. Н. Пыпин. История русской этнографии, т. II. СПб., 1891, стр. 22.

² Сообщение об этом А. А. Токсарского цит. в сборнике: «Н. Г. Чернышевский в Саратове», 1939, стр. 100.

³ Сочинения В. Н. Майкова в двух томах, т. I. Критические статьи, «Издательство А. В. Кольцова», Киев, 1901, стр. 10—11.

⁴ Там же, стр. 20.

⁵ Там же, стр. 42.

⁶ Там же, стр. 42.

¹ Сочинения В. Н. Майкова в двух томах, т. I, стр. 190.

² Г. В. Плеханов. Соч., т. XXIII, стр. 255.

³ Сакулин, Назв. соч., стр. 223; В. Евгеньев-Максимов. Из истории социалистической журналистики в России, стр. 17.

⁴ Блюмин. Назв. соч., стр. 240.

⁵ В. Майков. Назв. соч., т. II, стр. 14.

одного какого-нибудь класса». Майков обнаруживает известное расположение к сисмондизму, сочувственно цитируя его взгляд на «размножение машин, огромность капиталов и свободное соперничество», как источник бедствий, не предвиденных Смитом. Что Майков был далек от смитианства, показывает также враждебное отношение Майкова к системе неограниченной конкуренции. Он, правда, не одобряет перехода предприятий в руки государства: «Со стороны правительства нет ничего безрасуднее, как самому сделаться хозяином всех промыслов». Но тут же он прибавляет: «Захватить промышленность в свои руки и давать ей надлежащее направление — две вещи разные. Только правительство может «вывести общество из ложной колеи, которою идет оно к гибели с закрытыми глазами».²

Приведенные выдержки характеризуют классовые симпатии и экономическое мировоззрение В. Майкова. Мы видим, что он далек от Смита и скорее склоняется к позициям Сисмонди.³ Несколько слов нужно сказать также об исторических концепциях Майкова. Майков был крайним представителем западничества в нашей литературе. По правильному замечанию Александровского, только с Майкова начинается «настоящая оппозиция славянофильству». Этот писатель «своими космополитическими идеями примыкает к представителям передовой мысли в шестидесятые годы». Легко сообразить, что здесь имеется в виду главным образом Чернышевский. Даже Белинский называл учение Майкова «фантастическим космополитизмом» и критиковал его с национальной точки зрения. В русской истории для Майкова вехом развития были петровские реформы. Как и Белинский, Майков преклонялся перед самой личностью Петра. Майков приветствовал самостоятельное развитие русской мысли. По его словам, «мы вышли уже из того периода, когда нас можно было назвать рабскими последователями запада. Мы легко понимаем уже односторонности разных народов старой Европы: следовательно мысль наша требует самостоятельности». Говоря о познаниях научных теорий на Западе, Майков, повидимому, склонялся больше к французской, чем немецкой науке. Перечисляя немецкие идеологические влияния начала века, Майков, в частности, признает, что поколение 30-х годов принадлежало к «гегелистам», но это учение встретило впоследствии «довольно

сильную оппозицию в лице последователей французского практического взгляда на вещи». Главным недостатком немцев он считает то, что «они позволяют себе создавать теории, не основывая их на фактах». Любимым мыслителем-философом для Майкова был, повидимому, Огюст Конт.

Мы попытались, таким образом, восстановить подлинное научное лицо Майкова. По общим своим концепциям он тяготел больше всего к Сисмонди и Фурье. В споре славянофилов с западниками он занимал крайнюю западническую позицию. Его научное мышление формировалось в большей мере на французских, а не на немецких образцах. Синтез всех этих идей в майковском духе должен был явиться одним из важнейших этапов на пути к Чернышевскому.

В изучаемый период народные массы, их хозяйственный быт становятся объектом кропотливого повседневного изучения. Этнография подает в этом деле руку экономике. В организованном как раз в 1845 г. Русском географическом обществе проф. Н. И. Надеждин, которого Чернышевский считал учителем Белинского, уже в следующем 1846 г. выступает с программой этнографического изучения России, в основе которой лежит собрание «сведений о простом русском человеке, о народном быте коренного русского населения во всех его оттенках». В программе, в частности, обращается внимание «на те остатки быта общественного, где сила времени и других влияний не затерла следов первоначального устройства народной жизни из самой себя». Получившиеся Географическим обществом анкетные сведения отчасти имели статистико-экономический характер, и знакомство с ними привело вскоре исследователей к идее разработки народных бюджетов. Как сообщает Егунов в 1855 г., «Географическое общество наше давно уже собирает на месте разные сведения о жилище, пище, питье, одежде, образе жизни, обычаях, нравах и бюджете нашего народонаселения». На основании этих материалов Егунов должен был составить, по поручению Общества, статью о «домашнем обиходе русского простонародья в разных частях империи». Материалы бюджетных исследований были в большом почете в научном обиходе наших экономистов середины XIX в. и использовались иногда для резко обличительных выводов против экономического строя тогдашней России. В этом отношении особенно примечательна небольшая работа Д. П. Журавского, вся пронизанная гуманитарными мотивами. Интересно, прежде всего, то, что Журавский говорит о способах собирания бюджетных сведений. По его словам, «многие выдающиеся деятели не счи-

¹ В. Майков. Назв. соч., т. II, стр. 51.

² Там же, стр. 66.

³ Нельзя не отметить известное пристрастие, с которым Плеханов наклеивал этикетки на отдельных представителях истории общественной мысли в России в зависимости от своих симпатий к ним. Легко усмотреть, что эти симпатии в значительной мере определялись тем, как тот или иной мыслитель относился к Гегелю. Белинский ближе к плехановскому сердцу, чем Чернышевский или Майков, именно, по этому мотиву.

⁴ Майков. Назв. соч., т. I, стр. 26.

⁵ Майков. Назв. соч., т. II, стр. 47.

¹ Майков. Назв. соч., т. II, стр. 15.

² П. П. Семенов. История полумекеров деятельности Императорского Русского Географического Общества (1845—1895). 1896, ч. I, стр. 38—39.

³ Егунов. Назв. соч., стр. 2.

© Проф. Стевы—170

тают униительным для своего звания и достоинства лично изучать быт и нравы низших классов на деле, а не по бумагам, посещать их жилища в нечистых закоулках, видеть своими глазами, чем они питаются, как работают!¹ Журавский ссылается на известного ему «почтенного наблюдателя, с высоким образом мыслей, который, для основательного изучения быта, потребностей и склонностей крестьян, не гнушался надевать простой тулуп и гостить у них под видом проезжего купца».² Собрание сведений о домашних расходах семейств дает возможность определить «материальные средства разных классов народонаселения» и имеет не только экономический, но и нравственный интерес. Журавский говорит, в частности, о годовых бюджетах «богатейших классов, в которых иные семейства издерживают до миллиона», причем часть этих бюджетов идет «на удовлетворение суетности, честолюбия и разных неумеренных наклонностей». Сравнивая бюджеты на крайних полюсах общественного благосостояния, Журавский приходит к выводу, что «5000 семейств нашли бы себе пропитание в годовом расходе одного богатого семейства. Подобное исчисление расходов по классам и сравнение их показало бы, в какой мере одни живут за счет других».³ Итак, в руках Журавского бюджетные материалы становятся средством доказательства эксплуатации одних классов другими.

Приведенные краткие выдержки достаточно ярко характеризуют экономические взгляды Журавского. И так как он известен в нашей науке только как статистик и у нас не будет больше случая вернуться к нему и его замечательной работе в целом, скажем о нем несколько слов. В единственной серьезной монографии по истории русской статистики А. А. Кауфмана труд Журавского, правда, признается наиболее оригинальным и выдающимся трудом по теории статистики в первой половине XIX в.,⁴ но все же автор приписывает его к «описательному» направлению, господствовавшему до Кетле. Может быть, как статистик, Журавский и заслуживает такой суровой оценки (об этом должны судить статистики). Но за статистической оболочкой нетрудно разглядеть самое ценное, что заключено в труде Журавского — его социально-экономическое мировоззрение. Кстати сказать, Журавский был гуманистом не только в теории, но и на деле. С величайшей скромностью он скрывал от других свои великодушные поступки, заключавшиеся в том, что он откладывал сколько мог

из своих скудных доходов, чтобы употребить сбережения на выкуп дворовых людей.¹

Постараемся привести самое интересное из его богатой мысли книги. Призывая необходимость образования для «низших классов», Журавский подчеркивает, однако, что не менее важно образование и для их просветителей, т. е. высших классов, из которых многие представляют «натуру суровую, себялюбивую, побуждения грубые и стремительные». «У нас нет еще образованных помещиков, достойных этого звания», — находит Журавский. — Большая часть имений находится в руках посторонних людей».² Ряд красноречивых страниц Журавский посвящает картине капиталистической эксплуатации и нищеты рабочего класса в Англии, — в духе вышедшей почти одновременно известной работы Фр. Энгельса. Промышленность не дает беднякам и необходимого, потому что вся прибыль от их труда переходит к тамошним капиталистам-барышникам».³ Это «пагубное влияние капиталистов-барышников на бедные трудолюбивые классы» Журавский отмечает и у нас. Он говорит о том, как наживаются магазины больших городов и иностранные фабриканты на труде русских мастеровых, продавая их прекрасные изделия по цене в 10—20 раз дороже того, во что они им обходятся, под видом иностранных. Особенно замечательно, что Журавский приводит пример капиталистической эксплуатации и из земледельческой практики: «Богатые крестьяне, если их в селеении мало, имеют вредное влияние на прочих крестьян и не редко вовлекают их в бедность ссудами за обработку и другими сделками, в которых богатый всегда выигрывает, а бедный теряет. Здесь — источник старинной нашей кабалы, давший начало крепостному состоянию».⁴ Таким образом Журавский говорит здесь о классовом расслоении нашей деревни. По распределению поземельной собственности Журавский хочет судить о «степени процветания или упадка всех отраслей сельского хозяйства».⁵ То же распределение поземельной собственности определяет и динамику населения.⁶ Наконец, Журавский подчеркивает наличие противоположности интересов многочисленных классов сельского и городского населения. Все сказанное о Журавском рисует его как одного из ярких представителей экономической идеологии просветительства.

Звучащая в приведенных выше высказываниях Журавского о бюджетах различных классов *уравнительная тенденция* не является случайностью в нашей политической экономии. Наоборот,

¹ Д. П. Журавский. Об источниках и употреблении статистических сведений. Киев, 1846, стр. 61.

² Там же, стр. 63.

³ Там же, стр. 57 (курсив наш. — В. Ш.).

⁴ А. А. Кауфман. Статистическая наука в России. Теория и методология. 1806—1917. Историко-критический очерк. М., 1922, стр. 17.

¹ В. Семеновский. Крестьянский вопрос в России в XVIII и первой половине XIX века, т. II. СПб., 1888, стр. 479—480.

² Журавский. Назв. соч., стр. 17.

³ Там же, стр. 69.

⁴ Там же.

⁵ Там же, стр. 111.

⁶ Там же, стр. 131.

у русских экономистов дореформенного периода имущественное расслоение населения обычно рассматривается как симптом болезни народно-хозяйственного организма. Мы встречаем подобную филиппику против крайностей нищеты и роскоши еще у Фомина. По его словам, одним — «хлеба девать некуда», другим его нехватает. Не происходит ли это оттого, думает он, что «часть их дохода отдается другим без получения от них соответствующих ценностей в других видах, и таким образом происходит у одних чрезмерное накопление, у других — недостаток. Не есть ли настоящее излишество хлеба следствие несправедливого распределения народного дохода». Другими словами, происходит нарушение «справедливого договора мены», который предполагает, что «каждый за равное получил равное».¹ Выходит, следовательно, что в основе общественного неравенства лежит обмен неравных стоимостей. Эти выводы Фомина, правда, навеяны, повидимому, отчасти чтением Сисмонди. Совсем другого происхождения они у Чернышевского, который сознательно выбирает между принципами распределения у Сен-Симона и Оуэна, чтобы склониться в пользу коммунистического начала. Чернышевский возражает против сен-симонистского принципа распределения потому, что «право человека пользоваться житейскими удобствами» основывается не только на способностях, но и на том, что «желудок одинаково требует пищи». Если бы распределение происходило по способностям, «Ньютон должен получить сотни миллионов, — на что ему они? Ему довольно простого благосостояния. . . , но учитель арифметики в приходской школе, человек бедных дарований, едва сам выучившийся тройному правилу, должен быть нищим, потому что он человек очень ограниченного ума».² Таким образом принцип уравнительности у нас торжествует настолько, что Ньютон уравнивается (в тенденции) с приходским учителем, лишь бы не нарушить справедливого требования желудков на «равную пищу».

Разумеется, до тех пор, пока литература была почти всецело в руках дворянства, проповедь этой «уравнительной тенденции», которая должна была привести к росту умельного веса крестьянства в общественном доходе за счет помещиков, не могла быть особенно популярной. Энтузиастами этой идеи были лишь единичные представители дворянства, считавшие нужным пожертвовать своими классовыми привилегиями, чтобы предостеречь революцию. Можно думать, что среди сторонников крестьянской реформы 40-х и 50-х годов было два течения: одни уповали на то, что это государственное преобразование можно осуществить без ущерба для помещиков, другие готовы были принести ради

реформы известные жертвы. В архиве Всесоюзного географического общества сохранился экземпляр II тома сочинения одного из убежденнейших представителей экономического просветительства (в том смысле, какой придается этому термину в настоящем сочинении) А. П. Заблочкого: «Граф Киселев и его время», с вкладкой, на которой карандашом, повидимому, рукой автора определена особенность того направления, которого придерживались в крестьянском вопросе и П. Д. Киселев и А. П. Заблочкий, в отличие от других менее прогрессивных сторонников освобождения крестьян. По поволу переписки П. Д. Киселева с кн. Воронцовым там сказано: «Читая эту интимную переписку между двумя умнейшими и способнейшими тогдашними государственными деятелями, наблюдателями уничтожения крепостного права в России, легко видеть, насколько Киселев в этом деле стоял выше Воронцова, увлекавшегося своими симпатиями к аристократическому элементу. События, последовавшие в начале 60-х годов в западной части империи, показали, насколько был прав Киселев, утверждая необходимость для правительства приобрести расположение крестьян, хотя бы то было и с ущербом для высших классов» (разрядка наша — В. Ш.). Эти слова, которые были, нужно думать, выброшены цензурой при печатании книги Заблочкого, прекрасно характеризуют общую платформу прогрессивного дворянского лагеря в вопросах крестьянской реформы. «Уравнительная тенденция» (в той или иной мере) была естественным следствием этой позиции.

2. ИДЕЯ СМЕНЫ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ФОРМ

Тогда как экономисты классической школы исходят от представления о неизменных, непреложных законах народного хозяйства, исключаящих всякую идею развития, русская экономическая мысль 1840—1860 гг. под влиянием горячего желания добиться упразднения крепостного права и, следовательно, изменить социально-экономические отношения, опирается на идею постоянной смены хозяйственных форм. Это различие является вполне понятным. Английские классики были выразителями интересов буржуазии в тот период, когда капитализм был полнокровным, а историческая линия его развития шла вверх. Им нечего было мечтать о грядущих переменах. Иное дело в России. Наша политическая экономия выросла в удрученной, мертвящей атмосфере крепостничества и самодержавия. Она не могла примириться с «вечными законами». Ее потребностями соответствовала теория, которая показывала основные категории экономической науки не в застывшем виде, а постоянно эволюционирующими вместе с исторической обстановкой.

Ту же мысль мы можем выразить еще и по-иному. Теоретическая политическая экономия классиков была типичным продуктом

¹ А. Фомина. О понижении цен на сельскохозяйственные произведения в России, СПб., 1829, стр. 18—19.

² Н. Г. Чернышевский. Соч., т. VI, стр. 138 («Процесс Меньилов-Панского семейства»).

абстрактной мысли. Хотя в их построениях фигурируют общественные классы капиталистов, земледельцев, рабочих, но все теоретические рассуждения классиков производят такое впечатление, что их экономические категории могли бы существовать и на другой планете, помимо земли. Они часто прибегают к таким схематическим образам, как «*homo oeconomicus*», Робинсон, хозяйствующий на необитаемом острове, и т. д.

Пока в нашей политической экономии слышны были подражательные настроения, страницы трудов наших экономистов наполнялись рассуждениями о явлениях, которые почти никакой роли в русском хозяйстве не играли. Так, несмотря на свое критическое отношение к западно-европейской политической экономии, Майков или Милютин еще не могут целиком оторваться от иностранной литературной базы и дать законченный самостоятельный синтез русских экономических отношений. Поэтому для них основным сюжетом остается капиталистическое предприятие и отношения между предпринимателями и рабочими, разрабатываемые по книжной, а не жизненной канве. Чернышевский совершает решительный поворот к крестьянину. Но и у предшественников Чернышевского, как бы в виде смутного предчувствия, прозрения в будущее, проявляются попытки ввести в политическую экономическую фигуру русского крестьянина. В этом отношении особенно интересен, как мы видели, В. Майков.

Так постепенно реализм берет верх над схематизмом, и тогда на передний план в нашей политической экономии пробиваются категории крестьянского хозяйства, а главными общественными классами, занимающими внимание русских теоретиков, становятся крестьянин и помещик. Таким образом русская экономическая мысль не удовлетворяется абстрактными схемами в безвоздушном пространстве, а ищет конкретной истины. Потерпев неудачу в попытках одеть русского крестьянина в рабочую блузу английского пролетария, наши экономисты пришли, в конце-концов, к сознанию необходимости изучать крестьянина в его национальном, русском костюме. В нашей политической экономии нет Робинсонов. Ее основные категории вырастают из исторической обстановки. На них лежит печать горячих споров по жгучим вопросам общественной жизни. Поэтому в наследии просветителей-экономистов и нет (или почти нет) объемистых трактатов, которые могли бы быть сопоставлены с иностранными «*Handbüchern*» или «*Principles*». Историки политической экономии потому долгое время и не замечали в России самостоятельной мысли, что она воплощалась не в толстых томах, написанных согласно требованиям западно-европейских методологических канонов, а в журнальных статьях, в записках, имеющих иногда привкус «неделгацины», или даже в критических отзывах о литературных произведениях.

Поблизнейшим эпизодом, подтверждающим только что изло-

женную мысль, является, например, рассказанная П. П. Семеновым-Тянь-Шанским история с изъятием во время обыска у Вл. Милютина (по делу петрашевцев) известной записки А. П. Заблоцкого-Десятовского о крепостном состоянии, представляющей несомненно одно из замечательных произведений нашей экономической литературы. Записка была составлена по материалам секретной командировки для исследования отношений между помещиками и крепостными крестьянами в разных частях России. Рассказ Семенова не лишен юмора. Родственники Милютина побывали, как бы нахождение этой записки в материалах дела петрашевцев не повлекло за собой арестов многих лиц, тем более, что Николаю I записка не была еще известна. На семейном совете Милютиных было возложено на «самого осторожного и осмысленного из семейства», будущего графа и фельдмаршала Д. А. Милютина, поручение постараться получить записку обратно, чтобы она не попала в руки следственной комиссии. След привел Милютина к члену следственной комиссии князю А. Ф. Голицыну, страстному любителю редких манускриптов. Разговор с Голицыным кончился тем, что последний «спригасил Милютина в свою спальню и, открыв потайной шкаф, показал ему лежащий в одном из ящиков шкафа манускрипт со словами: „Читай я один, пока я жив — откуда оттуда не выйдет“». Такова была судьба немалого числа произведений нашей экономической литературы. Русскую экономическую мысль бюрократы разных рангов прятали по потайным шкафам. Много, вероятно, бесследно погибло.

Неудивительно при указанных условиях, что русская политическая экономия отошла от абстрактных схем классиков и предпочитала обсуждать теоретические вопросы на живом материале, почерпнутом из практики крепостного хозяйства. У наших экономистов исторический фон органически вплетался в их теоретические рассуждения. Поэтому наши просветители-экономисты были одновременно и историками, и в изложении их взглядов нельзя не отвести подобающего места их историческим концепциям.

Восприятие ими концепций философского материализма привело, в частности, к попыткам подойти материалистически к вопросам истории. Но при этом, в духе времени, они готовы были приписать своему материализму в истории (как будет показано ниже) форму *географического материализма*. Однако такое истолкование исторических процессов неизбежно приводит к фаталистическим выводам. Между тем, наши просветители жаждали в кратчайшие исторические сроки вырваться из оков, наложенных на них современной им русской действительностью. Лучшие русские люди стали социалистами, и им не терпелось открыть крат-

¹ П. П. Семенов-Тянь-Шанский. Мемуары. т. I, стр. 207.

чайший путь в царство будущего. Эта мечта не мирилась с историческим фатализмом, питавшимся теориями о предопределении влияния среды на человеческое общество. Пролетать нужную брешь в мировоззрении географического материализма можно было только при помощи *идеи скачка*. В дальнейшем изложении будет показано, в какой сложной идеологической обстановке соизревала эта внутренняя двойственность исторических взглядов русских просветителей, стремившихся сочетать представление о непреложности исторических законов с верой в то, что человек — сам творец своей истории. Предварительно покажем, однако, на конкретном примере, насколько глубоко воспринималась отдельными представителями рассматриваемого направления идея смены общественных форм, приводившая к мысли об обреченности капитализма.

Одним из наиболее ярких проявлений этого хода мыслей можно считать статью В. А. Милютин¹ о Мальтусе, в которой, в противоположность этому идеологу вульгарной школы, выдвигается идея постоянного, постепенного, бесконечного совершенствования человечества. В эту идею эволюции вкладывается глубокий социальный смысл. Милютин показывает, как рабство древнего мира, уничтожавшее в человеке все элементы человеческого достоинства, сменяется затем феодальным устройством, основанным на вассальных отношениях. Далее, в его представлении, наступает время «системы монополий и корпораций», в основе которых лежат привилегии и милостия. Но и на этом не останавливается историческое развитие. Приходит период свободы промышленности и труда, при котором производительным классам предостается «полный и неограниченный произвол» в их деятельности. Начинается новая революционная борьба за обладание производительными силами, при которой слабые приносятся в жертву сильным. Таким образом зарождается «новая феодальная аристократия, основанная на неограниченном владении капиталом над трудом». Милютин прекрасно понимает, что развитие общества, направленное к неограниченному совершенствованию человека, на этом остановиться не может. Он предвидит, что далее последует период «организации труда, основанный не на состоянии, а на единстве и солидарности интересов, со временем водворится мир и гармония там, где мы видим только непримиримую борьбу и глубокий разлад».²

Мы находим у В. А. Милютин³ также удивительно ясное понимание того, что применяемая государственной властью система экономической политики зависит от характера производственных отношений и должна, следовательно, меняться в ходе исторического развития общества. Так, система свободы промышленности

была в свое время шагом вперед, нужным для того, чтобы «сообщить промышленности энергию и жизненность, пробудить производительные способности человека и открыть им сферу для исхода и обнаружения». Однако та же система стала в настоящее время недостаточной и вредной.⁴ Она, несмотря на рост общественно-и продукции, «постоянно уменьшает участие самого многочисленного класса производителей в пользовании производимыми благами» и нарушает справедливость в системе распределения. Далее Милютин дает удивительно сильное и яркое изображение общественных бедствий, связанных с капитализмом. Вместе с умножением богатства идет процесс разорения производителей. Доля капиталистов растет за счет доли рабочих. Мелкие капиталы и небольшие предприятия гибнут в неравной борьбе. Крупная промышленность подвергается ежесекунтной опасности из-за «беспрепятственных промышленных кризисов», — следствия беспорядочной конкуренции, недостатка сбытов, обеднения потребителей и чрезмерного напряжения производительных сил. Язва пауперизма распространяется с неимоверной быстротой. Заработная плата снижается до крайнего предела, за которым рабочему остается умирать с голоду. Происходит физический, умственный и нравственный упадок рабочего класса. Женский и детский труд вытесняет в производстве мужчин. Кричащее противоречие между нищетой и роскошью как бы вызывает к немедленному уничтожению неразумных учреждений, упорчающих рабство труда под гнетом капитала». Обрисовав так удачно факты, Милютин затем переходит к окончательному выводу: «Всеобщее неудовольствие и брожение умов, беспрепятственные коалиции работников и восстания их против капиталистов — все предвещало неминуемость социального кризиса и доказывало необходимость радикального преобразования экономических отношений. Одни экономисты оставались равнодушными к тому, что занимало и мучило всех; в своем упорном оптимизме, не подпадавшим под мерку их узких теорий, они закрывали глаза при виде бедствий рабочего класса, и даже отрицали самое существование бедности».⁵ Напомним, что все это писалось в 1847 г., т. е. почти одновременно с «Манифестом коммунистической партии»!

Займемся теперь рассмотрением русской версии *географического материализма*, т. е. признания предопределяющего влияния внешней среды на человеческое общество. К жести наших просветителей нужно признать, что никто из них не доходил до тех крайних выводов в духе консерватизма, которые иногда делались западно-европейскими историками и философами. В России 50-х

¹ В. А. Милютин. Рецензия на «Опыт о народном богатстве или о началах политической экономии» А. Бутковского. Три части, статья вторая. Современник, 1847, 6-й том, стр. 21.

² В. А. Милютин. Назв. соч. Современник, 1847, 6-й том, стр. 24.

³ В. А. Милютин. Мальтус и его противники. Статья первая. Современник, 1847, № 8 (4-й том), стр. 159—164.

годов образовался мощный напор идей географического материализма. Плеханов был, повидимому, склонен приписывать это направление мысли главным образом Гегелю,¹ у которого географический материализм непосредственно вел к расовой теории. Среда определяет, согласно этой концепции, национальные свойства людей, которые затем уже диктуют со своей стороны ход истории. Образуются (под влиянием среды) расы, которые призваны повелевать, и другие расы, удел которых — подчиняться. Мы знаем, что эти гегелевские схемы дегили, по существу, в основу новейших антропологических теорий, перешедших затем в бредовые квази-научные фантазии гео-политиков. Так, Ратцель пытался обосновать необходимость крепостного права в России... суровостью климата, ограничивающего сельско-хозяйственные работы коротким сроком в году, ввиду чего неизбежна концентрация в «организованном» порядке трудовых усилий под единым руководством.

Напомним также некоторые из наиболее реакционных выводов, которые делались в Германии из теории предопределяющего влияния среды. Вулканические почвы благоприятствуют образованию сильных государств. Степи наиболее пригодны для кочевой жизни и экстенсивного хозяйства. «Принудительный ритм муссонов» превращает всю область южной и юго-восточной Азии в политическое единство колониального типа. В области господства тайфунов организация единой службы наблюдения ведет к возникновению «международного сотрудничества». Эти макровые «теории» современных гео-политиков фашистского толка восходят к Гегелю, и у нас часто даже не подозревают, насколько *зловредным* может оказаться «географический материализм», если толковать его в расовом духе. Тем важнее подчеркнуть, что нашим просветителям подобное истолкование теории среды, ведущее к отрицанию самого понятия исторического процесса, было совершенно чуждо.

Наряду с гегелевскими схемами географического материализма в ту же сторону предопределенности истории толкали и идеи Фейербаха. Фейербах игнорирует внешний для человека мир. В то же время в его построении общие антропологические черты доминируют над конкретной личностью. У него историческое, развивающееся общество заменяется отвлеченным человеком, который, по словам Энгельса, «не рожден женщиной»; он, «как из куколки», вылетает из бога монотеистических религий». К материалистическим взглядам на формирование человеческого характера вели также весьма распространенные у нас взгляды Оуэна, которые всецело вытекали из стремления воздействовать на человека методами воспитания. Оуэн также брал человека вне конкретно-

исторической среды, и в этом была его ошибка.¹ Ленин уже указал, что «старые социалисты-утописты воображали, что социализм можно построить с другими людьми, что они сначала воспитают хороших, чистеньких, прекрасно обученных людей и будут строить из них социализм». Ленин считал, что подобная позиция — это «забава кисейных барышень от социализма, но не серьезная политика». Среди других течений, влиявших на нашу идеологию середины прошлого века в духе географического материализма, были также идеи контовского позитивизма, приводившие к представлению об определенной стадильности человеческой истории, но сочетавшие их с культом великих людей. Известный отклик у нас находит, далее, кетлетизм с его опирающимся на закон больших чисел убеждением, что человеческие действия только кажутся свободными, тогда как в действительности они строго ограничены общественной закономерностью. Наконец, следует упомянуть о вульгарном материализме Бюхнера, Фохта и Моделшотта. Весь этот букет теорий давил на сознание русского ученого середины прошлого века, но, несмотря на это, наше просветительство сумело найти самобытные пути, спасшие нас от односторонностей географического материализма.

Правда, уже в 1848 г. известный академик К. М. Бэр выступил со статьей «О влиянии внешней природы на социальные отношения отдельных народов и историю человечества», в которой нетрудно почувствовать перемены гегелевских мотивов. Бэр исходит от признания «влияния местного характера страны на социальные отношения живущего в ней народа».² При односторонности местности не развивается у человека любви, «привязанности к месту», и он покорно бредет за своим стадом. «Только разнообразие местности, сближение суши и воды, гор и долин, лесов и лугов, вызывает разнообразие и в жизни обитающего на ней народа».³ Бэр категорически выдвигает положение о том, что «судьба народов определяется наперед и как бы неизбежно природою занимаемой ими местности».⁴ По его словам, человек может лишь использовать заключенные в природной среде производительные силы, но создать их, т. е. уменьшить или увеличить, ему не дано. Отсюда конечный вывод — предопределенность судьбы человечества распределением по земле природных ресурсов.

Статье Бэра очень повезло. На нее обратил прежде всего внимание историк Т. Н. Грановский, который в своей речи, со-

¹ Педагогические идеи Роберта Оуэна. Со вступительным очерком проф. А. Алексеева, М., 1940, стр. 135.

² К. Бэр. О влиянии внешней природы на социальные отношения отдельных народов и историю человечества. Карманная книжка для любителей земледелия, издаваемая от Русского географического общества. 1848, стр. 205.

³ Там же, стр. 209.

⁴ Там же, стр. 210.

¹ Плеханов, Виссарион Белинский и Валериян Майков, *Соч.*, т. XXIII, стр. 257.

державной программу целого исторического направления, попытался опереться на Бэра. Чернышевский в своей рецензии на труды Грановского назвал Бэра одним из ученых, которыми мы вправе гордиться, и указал, что его «сочинение не обратило у нас на себя того внимания, какого заслуживает». ¹ Плеханов считал ссылку Грановского на статью Бэра «очень важною». ² Эти похвалы Бэру из уст прогрессивнейших людей своего времени показывают, что реакционная сущность расовой теории стала понятной только недавно. Между тем, тот же Бэр еще в 1846 г. сделал в Географическом обществе доклад, в котором консервативная сторона его взглядов выступает с полной ясностью. Он подчеркнул, что условия местности определяют главные различия способностей народа». Отметим существенные национальные особенности народов, существующие в некоторых случаях, несмотря на тождество климата и почвы, Бэр пришел к следующему выводу: «Без сомнения, различия народов зависят от племенных врожденных особенностей и от влияния природных условий их положения». ³ Чернышевский, разумеется, никак не мог солидаризироваться с подобными теориями. Наоборот, мы находим у него замечательные по силе сарказма выпады против учения о влиянии национальных или «расовых» особенностей людей на их историю. Чернышевский жестоко высмеивает деление народов на высшие и низшие по физиологическим признакам. Он доказывает изменчивость этих признаков в связи с условиями жизни, так что сами они оказываются не определяющим, а определяемым моментом. Если, например, высшие сословия отличаются от низших большим развитием лба, «это зависит единственно от образа жизни и занятий». ⁴ Развивая эту мысль, Чернышевский аргументирует: «Ие гордятся же тем, что ваш лицевой угол больше, что скулы у вас менее выдались, — это зависит просто от того, что пережевывая приходится вам гораздо меньшее количество, гораздо менее грубых съестных материалов. Болонка вашей супруги также имеет более крутой лоб и гораздо менее развитые челюсти, нежели дворяшка». ⁵

Возвращаясь к Грановскому. Его основная мысль заключается в том, что в основе гражданской истории лежит другая, *естественная* история, определяющая все важные явления народ-

ной жизни, которую «нельзя вывести из законов разума». ¹ Историки, под влиянием успехов сравнительного земледелия, начали уже предпосылать своим трудам географические обзоры, которые, однако, не выпадают органически в изложение, а механически присоединяются к нему. Между тем, «распределение произведений природы на поверхности земного шара находится в теснейшей связи с судьбою гражданских обществ. Одно растение обуславливает иногда целый быт народа. История Ирландии была бы беспорочно иная, если бы картофель не составлял главного средства пропитания для ее жителей». ² Ссылаясь на Кетле и установленные им закономерности общественной жизни, Грановский советует в истории применять те же методы. Иначе ее нельзя будет «называть опытною наукою». ³

Более сложную историческую концепцию в духе географического материализма, но в сочетании с культом великих людей, призванных двигать историю, мы находим у Валериана Майкова. Категория «внешней необходимости» складывается у него из «климата, местности, племени и судьбы», и признание ее предопределяющего влияния на человеческую историю кажется Майкову «делом слишком младенческой или слишком изнасилованной логики». ⁴ Он противопоставляет ему учение о «двойственности большинства и горсти» или «противоположности усиления, близкого к смерти, с гигантской жизненностью, ищущего себе исхода и содержания». ⁵ В развернутой формуле, напечатанной им курсивом, Майков излагает свою концепцию в следующем виде: «Каждый народ имеет две физиономии: одна из них диаметрально противоположна другой: одна принадлежит большинству, другая — меньшинству (миноритету). Большинство народа всегда представляет собою механическую подчиненность влияниям климата, местности, племени и судьбы; меньшинство же впадает в крайность отрицания этих влияний». Повидимому, эта «крайность отрицания» неспособна все же на много изменить ход истории. Во всяком случае, «кляпленец — такой же раб северных морозов, как негр — раб южного солнца». В истории России решающую роль (наряду, правда, с татарским игом) «сыграла необозримая плоскость земли, которую мы населяем». По словам Майкова, «равнина безжизненна, особенно если она две трети года покрыта снегом. Беспреданное созерцание ее содействует к усилению потребностей и сил, к неподвижности и спокойствию. Житель равнины, настраиваясь на один лад с природой, которая его окружает, находит столько же наслаждения в дре-

¹ Н. Г. Чернышевский. Сочинения Т. Н. Грановского. Соч., т. II, стр. 412.

² Плеханов Н. Г. Чернышевский. Соч., т. V, стр. 253.

³ Академик К. М. Бэр. Об этнографических исследованиях вообще и в России в особенности. Записки Русского географического общества, кн. I в II, изд. 2, СПб., 1849, стр. 70.

⁴ Н. Г. Чернышевский. Заметки по поводу речи Бобста «О некоторых условиях, способствующих умножению народного капитала». Соч., т. III, стр. 511.

⁵ Там же, стр. 512.

¹ Сочинения Т. Н. Грановского, ч. I, 1892, стр. 18.

² Там же, стр. 13—14.

³ Там же, стр. 23.

⁴ Сочинения В. Н. Майкова, киевское издание. 1901, статья об А. В. Кольцове, стр. 54.

⁵ Сочинения В. Н. Майкова. Назв. статья, стр. 63.

моте жизненности, сколько жителей гор — в непрерывном ее об-
наружении». ¹ Таким образом «миноритет» в концепции Майкова
все же отходит на задний план, а большие исторические про-
цессы оказываются под определяющим влиянием среды.

Гораздо более тонкий и приближающийся к современным на-
шим теориям взгляд на влияние географической среды мы нахо-
дим у того самого Д. Милютина, которого мы недавно встретили
в роли «семейного дипломата», проявившего большую энергию
в розысках пропавшей рукописи. Милютин протестует против
попыток превратить человека, вместо земной поверхности, в глав-
ный предмет географии и поставить во главу угла влияние свойств
среды на судьбу народов и государств. «Делать человека зави-
сящим исключительно от влияния природы значило бы унижать
его на степень животного, движимого одним инстинктом». ² Необ-
ходимо изучать не только влияние природы на человека, но и
«действие самого человека на природу».

Мы видим, таким образом, как разнообразны были взгляды
передовых русских людей 40—60-х годов по вопросу о пред-
полагающем влиянии среды на ход исторических событий. Но
при всей пестроте этих мнений их объединяла одна прогрессив-
ная черта. Поскольку идет речь о влиянии среды, исследуется это
влияние не на отдельных лиц, а на широкие народные массы.

Одним из главнейших проявлений демократизма наших передо-
вых людей и было их стремление рассматривать общественную за-
кономерность, как массовое движение. Это сообщало им иммунитет
против расовых теорий. Именно такой смысл имели еще выска-
зывания В. Г. Белинского о том, что «жизнь народа не есть
утлая лодочка, которой каждый может давать произвольное на-
правление легким движением весла» и что нельзя «огромный лес,
разросшийся на необозримом пространстве, пересадить на другое
место и приложить к нему другого рода уход». ³ В этих двух
символических образах — глубокий исторический смысл. Дальней-
шее углубленное развитие тех же мыслей находим у Чернышев-
ского. Если история не содержит сведений «о судьбе целого
населения», то она обычно превращается в «сборник анекдотов». В
политической истории преобладает рассказ о войнах и других
«громких событиях». К ней чаще всего присоединяется лишь
«история умственной жизни, да и то только в тесном кругу не-
многочисленных классов». Между тем, «о материальных усло-
виях быта, играющих едва ли не первую роль в жизни, составля-
ющих коренную причину почти всех явлений, ... едва упоминается,
да и то самым слабым и неудовлетворительным образом, так что

лучше было бы, если б вовсе не упоминалось». ⁴ В другой своей
работе Чернышевский сравнивает ход мировых событий с тече-
нием великой реки: он «неизбежен и неотвратим». Эти события
происходят независимо от чьей-либо воли или личности. «Они
совершаются по закону столько же непреклонному, как закон
тиготения или органического возрастания». Однако Чернышев-
ский считает нужным оговориться, что «появление сильных лич-
ностей» может ускорить или замедлить исторический процесс. ⁵
Эти суждения свидетельствуют как будто об известной двой-
ственности в понимании общественной закономерности у Черны-
шевского. Ему представлялось просто невозможным остаться
при образах величественной реки или неминуемо разросшегося
деятельного леса! Ведь это значило бы отложить социализм до
греческих календ. Представление о человеческой истории как
естественно-научном процессе и признание возможности скачка
в истории стоят у величайших наших просветителей — Герцена и
Чернышевского, — так сказать, рядом друг с другом не примире-
мыми и не объединенными какой-то общей концепцией. Чтобы по-
нять это, нужно рассмотреть взгляды наших просветителей по
вопросу о судьбах исторического развития России.

С Белинского начинается важнейший перелом в истории рус-
ской общественной мысли, связанный со стремлением держать
в фокусе общественного внимания проблему исторического разви-
тия России. Правильно было замечено, что «в центре идеологи-
ческой борьбы в России в конце 30-х и в 40-х годах стоял вопрос
о путях исторического развития России и ее судьбах». ⁶ Не-
смотря на кажущуюся академичность споров по этому поводу,
в них между строк скрывались глубочайшие разногласия, про-
диктованные классовыми интересами. Исторические изыскания
Соловьева, Кавелина и других должны были показать, что в Рос-
сии начинается с Петра та же тенденция к развитию индивиду-
ализма, начал личной свободы, которая так характерна для За-
пада. Философские понятия индивидуализма и личной свободы
расшифровываются применительно к политико-экономическим
условиям, как свобода конкуренции, как политические свободы,
обеспечивающие наиболее широкое развитие производительных
сил при капитализме. Петр сделал первый шаг. За ним неизбежно
должны последовать и другие шаги. Капитализм грядет в Россию.
Для него нужно создать соответствующую правовую обстановку.
Мудрить здесь нечего. Нужно лишь следовать примеру Запада.
Таковы были скрытые пружины выступлений Соловьева и Кавели-
на. Славянофилы противопоставляли этой концепции теорию

¹ Сочинения В. Н. Майкова. Назв. статья. Спб., 1847, стр. 68.

² Д. Милютин. Первые опыты военной статистики. Спб., 1847, стр. 37.

³ Цит. у Н. Г. Чернышевского (Соч., т. II, Очерки гоголевского периода
русской литературы, стр. 259)

⁴ Н. Г. Чернышевский. Сочинения Т. Н. Грановского. Соч., т. II,
стр. 410—411.

⁵ Цит. у Плеханова (Соч., т. V, Н. Г. Чернышевский, стр. 290).

⁶ М. Исааков. Белинский. Его философские и социально-политические
взгляды. 1939, стр. 36.

господства в русской жизни издревле соборного начала, коллектива. В пределах этого коллектива нет внутренней борьбы. В нем царит мир да любовь. Личное начало можно призвать России лишь искусственно, к большому несчастью для нее. Реформы Петра шли вразрез с исконными началами русской истории и поэтому заслуживают лишь осуждения. Россия может и не следовать европейскому примеру, а пойти самостоятельным путем.

Белинский склонялся к историческим концепциям первого рода. Но нелепо было бы видеть в нем апологета капитализма. Его точка зрения состояла в том, что в России до сих пор личное начало играло слишком ничтожную роль, и потому прежде, чем искать путей в царство социализма, нужно пройти индивидуалистическую школу. России необходимо именно пережить апофеоз личности. Известны слова Белинского из письма к Боткину 4 октября 1840 г.: «Для меня теперь человеческая личность выше истории, выше общества, выше человечества. Это — мысль и дума века». Белинский был слишком тонким мыслителем, чтобы не понимать связи его пламенной проповеди личного начала с укреплением капиталистических отношений в хозяйстве. Плеханов прекрасно показал, что для Белинского отсутствие в историческом прошлом России начал завоевания, положившего на Западе основу внутренней борьбы, чему так радовались славянофилы, было причиной духовной бедности русского народа, незрелости его духа, самого по себе бесконечно зрелого. Нужно дать толчок русской истории в западно-европейском направлении, чтобы пробудить замечательные свойства русского народа. Для этого нужен новый Петр.¹ Не подлежит сомнению, что этот преобразователь должен был бы двинуть Россию ускоренными темпами по капиталистическому пути. С большой горячностью Белинский в своем письме к Анненкову от 15 февраля 1848 г. высказался против мистического верования, будто народ может сам осознать себя: «Всегда и все делалось через личность». Он же замечает, что «вся будущность Франции в руках буржуазии, всякий прогресс зависит от нее одной». Белинский категорически протестует против лозунга Бакунина: «Избави нас бог от буржуазии». Внутренний процесс гражданского развития начинается не прежде, чем «русское дворянство обратится в буржуазию».

Неизбежность господства капитализма на определенном этапе общественного развития, конечно, отнюдь не означает, что Белинский преклонялся перед буржуазией, что он приписывал ей благотворительную роль в истории человечества. К вопросу о буржуазии Белинский подходил очень трезво. Он, правда, признавал, что «буржуазия — явление не случайное, а вызванное историей, что, наконец, она имела свое великое прошлое, свою блестящую историю, оказала человечеству величайшие услуги». Но он разли-

чал буржуазию борющуюся и буржуазию торжествующую, приписывая прогрессивность только первой, противопоставляя также мелкую буржуазию крупной, будучи готов нападать на больших капиталистов, как на «чуму или холеру». Все это неоднократно высказалось в нашей литературе. Спорным является лишь вопрос в том, считал ли Белинский торжество буржуазии преходящим явлением и мирился ли он с ним лишь в качестве подготовительного этапа по отношению к социализму или взор его не проникал в будущее дальше капитализма? До сих пор иногда высказываются мнения, будто после «увлечения социализмом» Белинский перешел на мелкобуржуазные позиции и венцом его разочарований считал письмо к Анненкову 1848 г.¹ Но чаще приходится встречать более правильные суждения, согласно которым «капитализм для него — не самцель, не естественный и разумный общественный порядок, а лишь необходимая и преходящая ступень в общественном развитии».² Однако здесь нам приходится опираться главным образом лишь на мимоходом высказанные фразы. Речь может идти скорее о смутных настроениях, о классовых симпатиях, а не четко выраженном взгляде. В исторической теории Белинского всего более ценно диалектическое признание бесконечного становления. Поэтому он не мог не сознавать, что господство буржуазии является преходящим. Буржуазия была ему в нравственном отношении противна. Отсюда видно, куда должны были склоняться его симпатии. Как убежденный западник он и не думал тормозить прогресс. Наоборот, второй Петр нужен для ускорения темпов, чтобы скорее «проскочить» через капитализм.

Герцен и Чернышевский в этом вопросе представляли следующий за Белинским этап мысли. Они всецело восприняли от Белинского ясное представление о том, что капитализм является лишь определенным периодом в развитии мировой экономики. Чернышевский, например, тщательно наблюдал за признаками захвата капиталом все новых и новых сфер хозяйства. Но отношение Герцена и Чернышевского к капитализму было гораздо более определенное, чем у Белинского. Капитализм был для них душной тюрьмой. Не ускорить темпы развития этого способа производства, а сразу перескочить через него — такова была задача, над разрешением которой бились Герцен и Чернышевский. Эта постановка вопроса спасла их от географического фатализма, от которого впоследствии оказался несвободен даже Плеханов.

Мы хотели бы, в связи с нашей темой, напомнить два замечательных положения из сокровищницы идей, сосредоточенных в главе о диалектическом и историческом материализме Краткого курса истории ВКП(б). Первая мысль заключается в том, что влияние географической среды «не является определяющим влия-

¹ Г. В. Плеханов. Соч., т. XXIII, стр. 188.

¹ Б. И. Сыромятников. «Регулярное» государство Петра Первого и его идеология М., 1943, стр. 26—27.

² Иовчук. Назв. соч., стр. 134.

нием, так как изменения и развитие общества происходят несравненно быстрее, чем изменения и развитие географической среды». ¹ Вторая мысль устанавливает, что «новые, передовые идеи и теории... облегчают развитие общества, его продвижение вперед, причем они приобретают тем большее значение, чем точнее они отражают потребности развития материальной жизни общества». ² Оба эти положения в их сочетании бросают яркий свет на историю формирования просветительских взглядов середины прошлого века на общественно-экономическое развитие России, изложенную нами по необходимости крайне сжато. Когда-нибудь историки нашей общественно-экономической мысли, вероятно, разберутся гораздо детальнее в преемственности идей в этой области.

3. КРИТИКА ПРОСВЕТИТЕЛЯМИ БУРЖУАЗНОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИИ И КРЕПОСТНИЧЕСТВА

Политическая экономия наших просветителей, как уже говорилось, непосредственно выросла из литературной критики. Она сохранила явные следы своего происхождения. Недаром Маркс отметил мастерство, которое проявил Чернышевский в критике буржуазной политической экономии, в обнаружении ее банкротства. Наша литературная критика отточила свое оружие на анализе творчества русских писателей-беллетристов. Вспомним замечательные статьи Белинского, подводящие итоги достижениям нашей литературы за каждый данный год. Сначала в фокусе внимания наших критиков была только художественная литература, потом пришел черед историческим произведениям, критика экономических трудов завершила этот процесс развития. По своим устремлениям наша политическая экономия середины прошлого века как раз более всего заслуживает наименования критического направления. Величайший представитель просветительства Чернышевский был одновременно и продолжателем созданных Белинским традиций литературной критики и блестящим экономистом. Но и в самом творчестве Чернышевского как экономиста с особенной силой чувствуется бичующая острота его критики. Это, разумеется, совсем не значит, что в Чернышевском (или даже вообще в нашей политической экономии периода крестьянской реформы) критика берет верх над самобытным творчеством. Конечно, нет! Но Чернышевский сумел использовать силу своей критики для полного развенчания имевших хождение в его время экономических теорий и тем расчистил поле для собственных построений. Напомним кстати, что самый выдающийся экономист английской буржуазной классической школы Давид Рикар-

до обычно строил все свои труды на том, что в качестве отправного пункта для теоретических рассуждений избирал критику взглядов кого-либо из своих предшественников или современников. Его знаменитые «Principles of Political Economy and Taxation» целиком выросли из критики Адама Смита, Сея и Мальтуса. Вновь найденный в XX в. труд Рикардо является специальной критикой Мальтуса и так и озаглавлен: «Notes on Malthus». Сам Маркс был, в первую очередь, гениальнейшим критиком. Недаром на своем «Капитале» он начертал подзаголовок: «Критика политической экономии».

Критический дух был силен и у предшественников Чернышевского. До сих пор в нашей литературе не делалось попыток показать, что подмеченная Марксом с обычно свойственной ему гениальной интуицией черта Чернышевского — исключительная мощь критики — не является свойством одного только великого нашего просветителя, а характеризует целое направление. Чернышевский не первый научился бичевать с замечательной меткостью вулгарных экономистов Запада. Блюминим было уже отмечено, что В. А. Милотин является в этом отношении непосредственным его предшественником. ¹ У Майкова мы находим не мало высказываний, в которых дается убедительная критика буржуазных экономистов. Обобщая, можно констатировать, что Чернышевский представляет в этом отношении лишь самое замечательное звено в целой цепи экономистов, в руках которых критика была как раз самым сильным оружием.

В этой критике наших просветителей, начало которой было положено до крестьянской реформы, нужно различать две основные струи. Одна из них непосредственно обращена лицом к нашему отечеству и представляет собой критику экономических категорий крепостнического режима с целью доказать полную внутреннюю его несостоятельность. Западно-европейская политическая экономия, построенная на принципах *laissez faire* и, в частности, свободного труда и наемного контракта между трудом и капиталом, была в этом деле подспорьем нашим экономистам. Но представители русской политической экономии середины прошлого века прекрасно умели бить сразу по двум фронтам и, используя буржуазных экономистов Запада, затем с удивительной последовательностью разоблачали полную несостоятельность и тех принципов, на которых построена европейская политическая экономия, и самих порядков, теоретическим выражением которых она является. Таким образом единым взмахом критики уничтожались и крепостной режим и капиталистическая система. Обратимся непосредственно к характеристике двух только что намеченных критических течений. Здесь, конечно, не может быть и речи об исчерпывающем анализе нашей экономической литературы с рассматривае-

¹ История ВКП(б). Краткий курс, 1938, стр. 113.

² История ВКП(б). Краткий курс, 1938, стр. 111.

¹ Блюмин. Назв. соч., стр. 275—276.

мой стороны. Придется воспользоваться «выборочным методом» и сказать о наиболее выдающихся линиях этой критики.

Первым глубоким критиком крепостничества как экономической системы был Вилькинс, но сочинением, сыгравшим наибольшую роль (и по заслугам!) среди этой разоблачительной литературы, следует признать замечательную статью А. П. Заблочкиго «Причины колебаний цен на хлеб в России», вышедшую в 1847 г.

О значении этой статьи можно судить, прежде всего, по тем откликам, которые она вызвала. Недаром сам Белинский в обзоре литературы за 1847 г. написал, что статья Заблочкиго «без сомнения принадлежит к замечательнейшим явлениям нашей ученой литературы прошлого года», в письме к Анненкову называет ее «архи- и просто превосходнейшей статьей», а в письме к Боткину говорит, что «ее прочли многие, которые кроме повестей, стихов и рецензий ничего не читают и о сельском хозяйстве и торговле понятия не имеют».

Статья Заблочкиго напечатана за полтора десятилетия до отмены крепостного права, и во всем ее построении чувствуется стесненность мысли цензурными рамками. Если продумать, однако, весь ход рассуждения автора, то его критический замысел выступает с предельной рельефностью. Существуют нормальные условия и категории производства и распределения, устанавливающиеся при вольном труде. Отступление от этих условий вызывает расстройство экономической деятельности. Если хозяйство России было во времена Заблочкиго «в неустрашенном хаотическом состоянии», то причину этого он усматривал (выражая свою мысль эзоповским языком) в «нестесненном, антиэкономическом распределении производительных сил». Не ограничиваясь этим отрицательным указанием, Заблочкий формулирует и положительную программу: «Для поправки экономической организации необходимо возбудить нравственные силы производителей, дать иное направление их естественным средствам».¹

Основной экономической категорией, по которой можно судить о ненормальности строя нашей хозяйственной жизни, является, по мнению Заблочкиго, земельная рента. Проанализировав условия, при которых рента устанавливается «естественным образом, т. е. вследствие свободного соперничества между землевладельцем и предпринимателем земледельческой промышленности или крестьянином», Заблочкий затем рассматривает случай, когда рента «принимает формы обязательные для той или другой стороны. В этом случае и самая рента делается обязательной».* *Обязательная рента* и представляет главное зло, экономическую язву крепостнического режима. При этом «влияние обязательной

ренты весьма обширно, чувствуется везде, в каждом канале народного богатства». Наиболее опасна для народного хозяйственного организма та форма обязательной ренты, когда она уплачивается работой. При этой форме принудительный труд, естественно, используется в земледелии и чаще всего на производство хлеба. «Землевладелец, прежде всего, должен иметь в виду употребить обязательную работу на то, что бы то ни было, а выгоднее он не может употребить ее иначе, как на землю».¹ Это использование обязательной работы является для землевладельца, в сущности, единственно возможным, каковы бы ни были цены на хлеб. Другими словами, независимо от состояния хлебного рынка, наши помещики ежегодно высыпают на него фиксированную массу хлеба, которая может находиться в полном несоответствии со спросом. Этот внутренний порок, в сущности, неустрашим из крепостного хозяйства, так как он неразрывно связан с самым инстинктом обязательной работы. В результате «этот хлеб, составляющий произведение обязательной ренты, служит одною из начальных причин страшного колебания цен».² По словам Заблочкиго, в нормальных условиях «издержки на производство составляют то, что экономисты называют первоначальной или естественной ценою. Это есть центр тяжести, к которому тяготеют все цены».³

Иначе складывается экономика при режиме обязательной ренты. Труд является даровым. Помещик не имеет барометра целесообразного его использования в виде заработной платы. Категория издержек производства совершенно ступшевыается — «теряется всякая возможность определить итоги издержек производства».⁴ Хозяйство лишается своей устойчивости. Важнейшим показателем этого становится «страшная колеблемость» хлебных цен. Заблочкий оговаривается: колебания хлебных цен неизбежны при любом режиме. Однако колебания, происходящие в иностранных государствах, «ничто в сравнении с теми, которые замечаются у нас».⁵ Заблочкий цитирует слова известного писателя по сельскохозяйственным вопросам его времени, помещика Бунина: «У нас нет постоянной средней цены на хлеб: он или чрезвычайно дешевле, или непомерно дороже». Эти скачки хлебных цен являются симптомами экономической лихорадки — болезни, неизбежной при крепостническом хозяйстве. Они «оказывают бедственное влияние на народное благосостояние».⁶

Из этой постановки проблемы крепостнического хозяйства, которая дана Заблочким, вытекал непосредственный политико-эко-

¹ А. Заблочкий. Назв. соч., стр. 39.

² Там же.

³ Там же, стр. 19.

⁴ Там же, стр. 23.

⁵ Там же, стр. 12.

⁶ Там же, стр. 13.

¹ А. Заблочкий. Понятия колебаний цен на хлеб в России. Отечественные записки, год девятый, т. II, раздел «Домоводство, сельское хозяйство и промышленность», стр. 2.

² Там же, стр. 22.

номический интерес к такому, на первый взгляд, сухому статистическому показателю, как колеблемость хлебных цен. Еще до появления статьи Заблочного его соратник по Географическому обществу, будущий академик, статистик Веселовский опубликовал работу о ценах на хлеб в России, содержащую замечательный статистический анализ движения хлебных цен, но без той острой экономической направленности, которая так выгодно отличает статью Заблочного. В пик современной ему помещичьей литературе Веселовский показывает на большом, тщательно разработанном статистическом материале, что хлебные цены имеют общую тенденцию не падать, а возрастать. Но, говоря словами Заблочного, «после такого вывода г. Веселовский справедливо указывает на другой факт, именно, на чрезвычайную колеблемость цен и на несоразмерность продажных цен на сельскохозяйственные произведения с той стоимостью, во что эти произведения обошлись производителю». ¹ Таким образом в работах Веселовского и Заблочного установка была дана. С этого времени вопрос о колеблемости хлебных цен приобретает глубокий политический смысл. Статистика превращается в орудие критики крепостничества. Сторонников и противников сохранения крепостной кабалы можно различать по тому, каковы их позиции в статистике хлебных цен. Егунов, выступая в 1855 г., явственно обнаруживает, например, свои классовые симпатии нападением на исследователей хлебных цен, которые «с какою-то непостижимой любовью останавливались на „колебании“ этих цен». Он иронизирует над теми экономистами, которые удивлялись «громадным размерам колебания, утверждали, что подобного нигде нет и что тут то именно вся плачевная сторона нашего хозяйства». Егунов объявляет колебание цен «модным вопросом» нашей литературы, как бы сигнализируя, кому следует, о неблагоприятном состоянии этого участка идеологического фронта. По словам Егунова, колебание цен давило на нашу литературу «всей тяжестью моды, и вот почему находили колебание везде, даже там, где ему не быть нельзя», «а вот почему распоряжались самыми фактами со всею деспотичностью моды». В конце-концов Егунов рекомендует равняться по известному «казенному» экономисту своей эпохи Тенгоборскому, который «в последнее время... высказал светлую мысль, что желание уравнивать наши цены на хлеб есть мечта никогда несбыточная». ² Каждому ясно, что своей «светлой мыслью» Тенгоборский хотел обезоружить критиков крепостничества, доказав несбыточность самой идеи стабилизации цен. Так в завуалированной форме, копаясь по видимости в статистических рядах, спорящие стороны вели идеологическую борьбу, определявшуюся их классовыми симпатиями. Сам Егунов, бывший несомненно незауряд-

¹ Заблочный. Назв. соч., стр. 3.

² Егунов. Назв. соч., стр. 19.

ным статистиком, пытается отвести общественное внимание на новую колею, подменив проблему колеблемости цен во времени их колебаниями в пространстве. Он развивает ту мысль, что «одни общий вывод, одна средняя величина для целой России совершенно бесполезны и равно ничего не доказывают». ¹ Что полемика Егунова против Заблочного, Веселовского и других деятелей Географического общества представляла собой выпад против прогрессивной общественности, подчеркнул не кто иной, как Н. Г. Чернышевский, написавший о книге Егунова рецензию, в которой высказал сожаление по поводу того, что Егунов «без нужды усеял свое исследование бесчисленными нападениями на комитет Географического общества». ²

Среди произведений статистико-экономического характера середины прошлого века замечательно своей судьбой сочинение К. С. Веселовского «Статистика недвижимых имуществ в С. Петербурге». За него автор чуть было не подвергся административной высылке и едва не лишился возможности продолжать ученую карьеру, о чем красочно рассказывает в своих воспоминаниях акад. И. И. Янжул. Эта статья была напечатана первоначально с небольшими цензурными купюрами в «Отчетственных записках» за 1848 г., а затем в гораздо более урезанном виде в «Записках Географического общества» за 1849 г. В библиотеке Академии Наук нам удалось разыскать оттиск этой работы, на котором написано: «Единственный экземпляр сочинения, из которого обнародован только кастрированный отрывок в „Записках Русского Географического общества“ 1849, часть III, стр. 68—137». Эта работа, вызвавшая столь острое негодование негласного бутурлинского цензурного комитета, интересна тем, что она пользуется анализом статистики недвижимой собственности в Петербурге для яркого описания жилищной нужды и нищенского быта петербургского бедного люда. Она проникнута обычными для просветителей того времени глубокими гуманистическими настроениями. Где и как ютятся в Петербурге масса простого народа в 120 000 чел., не имеющая собственных квартир и состоящая преимущественно из рабочих? — таков вопрос, который К. С. Веселовский хочет решить на основании «собственного обозрения» убогих жилищ. Получается «зрелище нищеты...», сжимающее сердце и наполняющее его немую грусть». Перед читателем вырисовывается, например, грандиозный дом, выходящий одним краем на Сенную площадь, другим на Обуховский проспект и третьим на Фонтанку. Здесь летом проживает до 1700 чел. Дом этот приобрел «классическую известность» и слывет в народе, неизвестно почему, под именем «республики». Веселовский вводит нас в комнату, где живет 40 жильцов, среди которых запоминается девят-

¹ Егунов. Назв. соч., стр. 10.

² Н. Г. Чернышевский. Соч., т. I, стр. 450.

тимесячный ребенок, до того хилый, бледный и покрытый струпами, что на него страшно взглянуть. Все спят на нарах. Здесь же варится пища, стоит ушат с помоями и сушится мокрая одежда. Особенно плохо живется в Петербурге чернорабочим, для которых не строят специальных жилищ и которые живут в страшной тесноте, особенно летом, когда «подрядчики удваивают и даже утроивают число наемных людей, без расширения для них помещений». Кубатура, приходящаяся на каждого, в несколько раз ниже нормы. Заработка едва хватает для покрытия минимальных потребностей.

Итак, статистическое исследование в середине прошлого века приобрело значение важного научного аргумента в политической борьбе. Статистику приписывают к политическим наукам. Она становится младшей сестрой политической экономии. В интересной работе будущего военного министра Д. Милютин о военной статистике новое направление в русской статистике проявляется, например, с большой яркостью. Идя по стопам современных ему ученых, которые сильно напали на бездушный скелет, называвшийся «статистикой», Милютин дает свое определение этой науке, показывающее, что ее сущность он усматривает в «выводе самых законов в развитии народного благосостояния». ¹ Исследование Милютин проникнуто критическим духом, который так свойствен был всему течению, к которому он примыкал. По его словам, «век наш... требует критического исследования каждого предмета, сличения и обсуждения различных данных для вывода общих идей и заключений». ² На одном из заседаний молодого Географического общества разгорелась даже оживленная полемика вокруг вопроса о применении критических начал к статистическим данным. Критический дух просветительского направления выразился, например, в словах А. П. Заблоцкого, когда он сказал: «Статистика вообще и нашего отечества в особенности нуждается для своего развития не столько в массе материалов, которые накопляются сами собою, сколько в их *обработке и критике*». За то же критическое отношение к источникам и статистическим сведениям ратует и Журавский. Эти постоянные упоминания о критике не случайны. Они обнаруживают сознательную тенденцию. Статистические данные интересны не сами по себе, а как средство помочь решению главной задачи эпохи: опровергнуть крепостное право, доказать его несостоятельность. Использование колеблемости хлебных цен для обнаружения внутренней порочности крепостного режима — это ли не доказательство того, что статистика, в глазах передовых людей той эпохи, может плодотвор-

но заниматься установлением самих законов развития народного благосостояния. Несмотря на всю эту «конспирацию» в выражении идей, статистика становилась в представлении современников *передовой наукой*. Недаром И. А. Гончаров повествует о своем Обломове, что он «совершенно был доволен», если ему «удавалось одолеть книгу, называемую статистикой, историей, политической экономией». ¹ Таковы были отрасли знания, знакомство с которыми сулило усвоившему эти науки репутацию передового человека. В ранней редакции «Обломова», которая начата в конце 40-х годов и окончена в 1857 г. и, следовательно, как раз относится к рассматриваемому периоду, говорится о том, как Обломов пришел в отчаяние, узнав, что, «выучив» книгу, называемую статистикой, он «выучил только один момент, и то прошедший, и что каждый другой момент ведет за собой и другие данные, поэтому надо следить поминутно за наукой, чтобы иметь в голове физиономию какого-нибудь государства, и что, например, в политической экономии, с изменениями разных обстоятельств и условий государственного быта, изменяются и самые истины». ² Это мнение нашего великого писателя, подсказанное, несомненно, передовыми взглядами, бывшими в обращении в его время, очень удачно схватывает основной мотив, сосредоточивавший общественный интерес на политической экономии и статистике. Этим мотивом было убеждение в смене общественных форм и «разных обстоятельств». Особенно интересно, что и самые законы политической экономии (ее «истины») должны были меняться вместе с «разными обстоятельствами».

Как уже отмечено, критическое направление в нашей политической экономии 40-х и 50-х годов прошлого века выражалось не только в доказательствах внутренней порочности крепостного хозяйства, но и в разоблачении полного теоретического ничтожества и убожества западно-европейской политической экономии. Великим мастером этой критики, как сказано, был Чернышевский. Но он не был одинок. Мы хотим сейчас показать на конкретном примере, как в процессе развития нашей критической мысли она приобрела зрелость и глубину, ставившие ее на много выше европейских критиков до-марковского периода. Особенно блестящим эпизодом в этой истории критики вульгарной школы является целая серия работ, посвященная опровержению учения о народонаселении Т. Р. Мальтуса. В то время как во всем мире человеконенавистническая и грубо апологетическая теория Мальтуса принималась в качестве непреложной истины и считалась одним из канонов классической экономики наряду с трудовой теорией стоимости и теорией дифференциальной ренты

¹ Д. Милютин. Первые опыты военной статистики. Книжка первая. СПб., 1847, стр. 41.

² Там же, стр. 3—4.

¹ И. А. Гончаров. Обломов. Послесловие и комментарии Н. Писанова. 1935, стр. 51.

² И. А. Гончаров. Назв. соч., стр. 436—437.

Рикардо, у нас она встретила резкую отповедь. Чтобы напомнить лишь наиболее крупные этапы в этом походе против основ мальтузианства, достаточно назвать имена таких критиков Мальтуса, как В. А. Миллютин, Н. Г. Чернышевский, П. Н. Ткачев, и, наконец, марксистский венец этой критики у Г. В. Плеханова. Все это не эпизодические очерки, а серьезные научные работы, представляющие постепенное углубление критики и подъем ее на новую и новую ступень. Анализ этих работ является соблазнительной самостоятельной темой. Борьба против Мальтуса в нашей литературе началась еще в 1847 г. выступлением в «Современнике» В. А. Миллютина. Из его статьи отметим лишь ясную формулировку того, по чьему социальному заказу зародилась мальтузианская проповедь. По словам Миллютина, работа Мальтуса появилась в то время, когда в Англии назрел социальный кризис, вызванный брожением масс под влиянием расстройств экономической жизни. В этой обстановке идеи французской революции, на фоне «кровавой расправы 1793 года», представлялись особенно грозными. «Мальтус явился как ревностный защитник торизма, как экономист привилегированных классов в то самое время, как аристократия истощила уже безуспешно все средства, находящиеся в ее руках для противодействия напору новых идей и народных требований».¹

Мальтус хотел свалить вину за общественное неустройство с человеческих установлений на природу, чтобы доказать бесплодность борьбы против социального строя. Чернышевский, как известно, в своей критике Мальтуса потратил много усилий на доказательство неверности прословутых мальтузовских прогрессий и, в частности, особенно удачно ополчился против закона убывающего плодородия почвы, объясняющего в теории Мальтуса медленность увеличения общественного продукта. По словам Чернышевского, «нынешнее положение земледельческой техники таково, что предотвращает естественное появление дефицита в земледельческом продукте по крайней мере на три периода удвоения даже в странах, имеющих ныне самое густое население». В сущности, человеческая цивилизация только еще начинается, и никак нельзя предсказать, как в будущем возрастет власть человека над природой. Человеку нет надобности обуздывать свои инстинкты. Причины бедствий лежат в общественных учреждениях.

Очень резкую критику мальтузовского учения находим у Н. Соколова в его статьях о Д. Ст. Милле, являющемся, как известно, одним из наиболее убежденных сторонников Мальтуса. Соколов называет Милля «проповедником кастрации» и восклицает: «На что были бы похожи люди, во что бы они выродились, если бы послушались убийственного совета Милля о воздержании от естественной потребности? В какую породу идиотов обратились бы

¹ Современник, т. IV, 1847, стр. 151.

рабочие, которым он проповедует эту теорию самонизости и разврата».¹ Соколов заявляет, что английские рабочие не станут винить в своем бедственном экономическом положении взаимное соперничество, вызванное их многочисленностью. Это соперничество, разъясняет Соколов, «вовсе не причина, а следствие их жалкого состояния и рабской зависимости от буржуазии». Лицемерие Мальтуса заставляет Соколова разразиться целой филиппикой по адресу английских экономистов, которых он сравнивает с иезуитами. «Как орден иезуитов поддерживает извуство и лицемерие невежд и развратников, так и школа экономистов, ученых Мальтуса, защищает экономическую неправду и все преступления лихоимства, в интересах денежной аристократии. Цель экономистов английской школы — упрочить власть торгашей, ростовщиков, спекуляторов и обратить государство в лавку, в которой бы заседали одни барышники, с правом обирать, судить и наказывать рабочих. Как для иезуитов, так и для экономистов — цель оправдывает все средства. Иезуиты лгут и лицемерят во имя католической религии, а экономисты во имя капитала, который стал для них просто божеством».²

Чрезвычайно убедительную критику учения Мальтуса дает Ткачев. По его словам, «никто еще до Мальтуса не воплощал эгоистические интересы торжествующего меньшинства с таким грубым цинизмом и с таким нмимым ученым видом».³ Личный интерес Мальтуса требовал того, чтобы бедность была признана явлением роковым и неизбежным. Научная ценность доктрины Мальтуса ничтожна. Изобретенная им теория двух прогрессов является фантастической. Мальтус мог притти к своим «мертвям» выводам только благодаря ловкой подмене вывода, который логически следовал из его предположений, иным, прямо противоположным. Он доказал только то, что при всех существовавших до сих пор формах общественного быта наблюдалось несоответствие между средствами существования и потребностями населения. Отсюда, казалось бы, следует, что формы общности являются неудовлетворительными, требующими изменений. Между тем, Мальтус возвел их в «нечто неизменное, непреложное, должностное существование отныне и до века».⁴ Несогласие между средствами существования и потребностями населения в современном обществе можно констатировать не для человечества вообще, а только для одного пролетариата. «Частный факт, единственный случай Мальтус возвел в вечный закон, в общее правило». Ткачев прекрасно показывает, как действует механизм капиталистического про-

¹ Н. Соколов. Рецензия на книгу Милля «Основание политической экономии». Русское слово, 1865, № 7, стр. 53.

² Н. Соколов. О капитале (по поводу Милля). Русское слово, 1865, № 8, стр. 4—5.

³ П. Н. Ткачев. Рецензия на книгу Мальтуса. Собр. соч., т. V, стр. 454.

⁴ Там же, стр. 453.

гресса в направлении понижения заработной платы. Этот закон является неизбежным только с точки зрения господствующей системы.

Особенно интересна попытка Ткачева объяснить, почему подался закон Мальтуса господствующим классам в Европе и почему в нем нет потребности в России. В Европе производство богатства уже не зависит, в основном, от мускульной силы. Машина вытесняет живой труд. Усиливается значение умственного труда. Европа страдает от безработицы. Наоборот, в России все еще, вследствие ее технической отсталости, важнейшим фактором производительности народного хозяйства остается «количество живых рабочих сил». В Англии прирост населения противен интересам капитала. В России и в Америке существует обратное положение.¹

Мощь русской критической мысли обрушилась главной своей тяжестью на представителей вульгарной школы. Мы остановились здесь только на критиках Мальтуса потому, что хотели на этом примере иллюстрировать процесс роста и внутреннего обогащения нашей критики. Ниже, в главе о Чернышевском, мы еще будем иметь случай познакомиться с конкретным содержанием критики Чернышевского, направленной против вульгарных экономистов в целом. Но наши экономисты направляли свои стрелы не только против вульгарной школы. Тут, казалось бы, задача была легка. Сложнее было расправиться с мелкобуржуазными иллюзиями, которые могли пустить прочные корни в такой крестьянской стране, как Россия. Особенно опасен в этом отношении мог быть Сисмонди, рвавшийся в тогу защитника народных интересов и апеллировавший к мелкобуржуазным интересам земледельца, копошавшегося на своем участке. Сисмонди сам охотно выступал в качестве критика вульгарной школы буржуазной политической экономии.

Вопрос о взаимоотношении сисмондизма и экономических учений просветительства имеет поэтому огромный принципиальный интерес. В. И. Ленин показал, что народнические экономические доктрины представляют лишь отечественное воспроизведение сисмондизма. Чернышевский в этом отношении ни в какой мере не был предшественником народников. Наоборот, зигзагообразная линия нашего идейного развития обнаруживает в этом вопросе чрезвычайно показательные изломы. От Майкова к Чернышевскому шло постепенное изживание сисмондистских иллюзий, привившихся у пустынных основательные корни первоначально и на русской почве. У Чернышевского очень мало точек соприкосновения с Сисмонди. Болезненный интерес народников к сисмондизму рождается не от Чернышевского, а вопреки ему.

Единственным пунктом, в котором Чернышевский по видимости (но именно только по видимости) приближается к сисмондизму, было стремление превратить политическую экономию в науку не о сущем, а о должном, в науку не о богатстве, а о благосостоянии. Как известно, в этом вопросе Маркс становился на сторону Рикардо, а не его сентиментального противника Сисмонди. Если Рикардо «справшал людей в шляпы», то вина была не на его стороне, а она лежала на самом капиталистическом производстве, требовавшем такого превращения. Нет ничего низкого в том, что Рикардо «ставил пролетариев наравне с машинами и вычным скотом». Это лишь придавало его рассуждениям «стоический, объективный, научный характер». Рикардо хочет производства ради производства, и в этом он прав: «производство ради производства означает не что иное, как развитие человеческих производительных сил».¹ Политическая экономия должна, следовательно, изображать капитализм в его естественной наготе, а не в прикрашенном виде. Майков и отчасти Милютин подпадали в этом вопросе под влияние сентиментальной фразы Сисмонди. Но у Чернышевского иная точка зрения. Его сисмондизм только кажущийся. Он избегает влияния Сисмонди благодаря разделению экономической науки на политическую экономию капиталистов и политическую экономию трудящихся. Первая из них и представляет английскую классическую школу. Но Чернышевский считает, что невозможно ограничиться ею. Политическая экономия трудящихся говорит, в сущности, уже не о капитализме, а о социализме. Именно сила теоретической мысли Чернышевского сказывается в том, что у него мы находим известные зачатки политической экономии социализма. Не менее важно и то, что в политической экономии трудящихся Чернышевский сохраняет в такой же мере принцип развития производительных сил, как это делали буржуазные экономисты для политической экономии капиталистов. Лишь до известной степени Чернышевский стесняет его действие началом известного равенства. Но, во всяком случае, мрачная, судорожная боязнь мощного развития производительных сил, свойственная Сисмонди, совершенно чужда Чернышевскому. Отсюда для Сисмонди проблема узости рынка становится грозным призраком, требующим задержки роста производительных сил, продвижения вперед на тормозах. Для Чернышевского этой проблемы не существует. В его работах часто звучит апофеоз крупному производству.

¹ Ткачев, т. VI, стр. 160—161.

¹ К. Маркс. Теория прибавочной стоимости, т. II, ч. 1, стр. 209.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

ПРОИСХОЖДЕНИЕ И СОДЕРЖАНИЕ
УЧЕНИЯ СЛАВЯНОФИЛОВ О СЕЛЬСКОЙ ОБЩИНЕ

Лучшие теоретические умы середины XIX в. сумели обнаружить причины неустойчивости крепостнического хозяйства. Напрашивался естественный вывод о неизбежности отмены крепостного права. Но пока ликвидация крепостного права лишь мерцала в отдаленном будущем как недостижимый идеал, общественная мысль жадно искала каких-нибудь более доступных путей для стабилизации крепостной экономики. В конце 30-х годов чудодейственное средство было найдено в виде сельской общины. Община была исконным русским институтом. Славянофилы с большой готовностью развили идею о стабилизирующем влиянии общины на социальную жизнь и включили ее в число важнейших «устоев» русского народного быта. В результате оказалось, что, по их представлению, именно Россия обладает гибким оружием, при помощи которого она может сопротивляться разрушительному влиянию западно-европейского капитализма. А так как с капитализмом был связан ряд крайне отрицательных, по мнению тогдашних хранителей устоев, последствий и, в частности, «язва пролетариата», т. е. появление огромных масс наемных рабочих, не имеющих других средств к жизни, кроме продажи своей рабочей силы, и представляющих весьма неустойчивый, легко воспламеняющийся элемент в обществе, то община стала прославляться как замечательная черта русского народного быта, ставшая Россией гораздо выше «гнилого» Запада, спасающая общество и от внутренних противоречий и от неустойчивости.

Лишь при недостаточной четкости классовых позиций в русском обществе 30-х и 40-х годов прошлого века могло возникнуть такое своеобразное явление, как одновременное с признанием общины одним из устоев русского народного быта восхваление ее как подготовительной стадии к социализму, как первоначальной ячейки зародыша будущего социалистического строя. Наши фюреристы, после появления славянофильского учения об общине, быстро пришли к выводу, что при сочетании сельской общины с промышленными артелями можно из *готового социального материала* построить социализм, не дожидаясь появления велико-

душного капиталиста, который соизволил отпустить средства на организацию фаланстера, и не обращаясь к «человеколюбиво буржуазным сердцам и кошелькам» («Коммунистический манифест»). Так неожиданно между консервативными чаяниями националистов и пламенным социализмом молодежи был водружен непрочный воздушный мостик, сумевший все же просуществовать некоторое время.

В русской науке был весьма распространен и держится и до сих пор среди советских ученых тот взгляд, будто русскую общину «открыл» крупный прусский чиновник барон Август Гакстгаузен (1792—1866), путешествовавший по России в 1843 г. и опубликовавший первые два тома своей работы о России в 1847 г. в Германии. Так, еще совсем недавно академик Н. С. Державин утверждал о книге Гакстгаузена: «Это был первый специальный труд, который извлек проблему общины из-под 'спуда' и открыл дискуссию о ней в русской науке и публицистике и на многие годы заострил внимание к этому вопросу в широких кругах русской общественности».¹

Необходимо попутно упомянуть о своеобразном варианте того же положения, выдвинутом в свое время В. В. Святловским, который считал, что Гакстгаузен явился лишь проводником известных идей, выросших в славянофильской среде *вне* России. В изображении Святловского польский патриот Лелевель выступает еще в 1828 г. с произведением «Первоначальное польское законодательство гражданское и уголовное», в котором прославляет древнеславянский быт и его характерную особенность — общинное начало, противопоставляя его индивидуализму Запада. По Лелевелю, общинное земледелие вообще является характерным исконным правовым институтом славянских народов. Далее Святловский рисует развитие доктрины о сельской общине в крайне идилическом, радужном духе: «Увлечению славянством поддались и в Германии. Барон А. Гакстгаузен едет в 1842 г.² в Россию, заранее восхищенный ее бытом и ее нравами. Трехтомное исследование, вышедшее в конце 40-х годов,³ напоминает исторические статьи парижских журналов времен лекций Мицкевича. Гакстгаузен «открывает» русскую общину. Появляется экономическое обоснование самобытности».⁴ Маркс отнесся, по всей видимости, весьма скептически к славянофильским увлечениям Гакстгаузена и его русских поклонников и считал, что «открытие» общины по Гакстгаузену является признаком дурного научного вкуса. Он приписал этот грех, в частности, А. И. Гер-

¹ Акад. Н. С. Державин. Герцен и славянофилы. Историк-марксист, 1939, № 1, стр. 131.

² В действительности в 1843 г.

³ В действительности III том вышел в 1852 г.

⁴ В. В. Святловский. История экономических идей в России, т. I, 1923, стр. 180—181.

пену, в чем, однако, наш великий просветитель, как это будет видно из дальнейшего, отнюдь не был повинен. В первом издании I тома «Капитала» было исключенное впоследствии примечание, в котором говорилось о том, что развитие отрицательных сторон капитализма может сделать неизбежным «омоложение Европы при помощи кнута и обязательного вливания калмыцкой крови, с чем столь серьезно пророчесствует полуроссиянин, но зато полный москвитин Герцен». И тут же Маркс делал в скобках ядовитое примечание: «этот беллетрист сделал свои открытия относительно „русского“ коммунизма не в России, а в сочинении русского регистратора Гакстгаузена». Вероятно, русские друзья Маркса разъяснили ему, что Герцен неповинен во взводимых на него обвинениях, и Маркс впоследствии снял примечание. Однако значительно позднее, в 1894 г., Энгельс в ходе своей полемики против Ткачева, взгляды которого на «русскую коммунистическую крестьянскую общину» Энгельс генетически выводил от Герцена, снова повторил в еще более резкой форме мнение Маркса, начатое в 1867 г. Герцен назван здесь «шанславистским беллетристом, которого раздули в революционера» и ему приписывается, будто он узнал из труда Гакстгаузена, что «крепостные крестьяне его имений не знают частной собственности на землю и время-от-времени производят между собою передел пахотной земли и лугов». В глазах Энгельса, сельская община была для Герцена новым предлогом для того, чтобы «в еще более ярком свете выставить перед гнилым Западом свою „святую“ Русь и ее миссию — омолодить и возродить, в случае надобности даже силою оружия, этот прогнивший, отживший свой век Запад». Из приведенных выдержек ясно, что Гакстгаузен казался основоположникам марксизма весьма ненадежным и даже скомпрометированным источником изучения русской общины, с которым как-то связывается и прославление кнута, и вливание калмыцкой крови, и поход «святой» Руси против прогнившего Запада.

Серьезному исследователю истории русской общественной мысли не может не показаться подозрительным то обстоятельство, что русская (якобы коммунистическая) община была «открыта» невзначай знатым прусским туристом, прошедшим в России всего несколько месяцев, даже не знавшим русского языка и обивавшимся во время путешествия, насколько об этом можно судить по труду самого Гакстгаузена, преимущественно с представителями высшей русско-немецкой бюрократии. Эти подозрения должны еще умножиться во столько крат, если мы познакомимся с конкретными условиями поездки Гакстгаузена в Россию, сообщенными В. И. Семевским. «Еще до прибытия его в Россию имп. Николай согласился назначить ему пособие на издержки по

путешествию в полторы тыс. рублей (по тем временам сумму далеко не маловажную), не делая, впрочем, из сего путешествия меру правительственную». ¹ В письме Киселеву, сообщая о своем увлечении изучением деревенских учреждений «германских и славянских народов», Гакстгаузен винит французский революционный режим в разрушении исконных начал деревенской жизни, в результате чего «были разорваны все узы общинного устройства». Между строк этого письма сквозит желание использовать поездку в Россию для сближения реакционных государств Пруссии и России против традиционно революционной Франции. Для Гакстгаузена община несомненно принадлежала к числу консервативных устоев общества. Гакстгаузен прибыл в Петербург с личным письмом от прусского короля к императрице Александре Федоровне. Составленный им маршрут поездки был просмотрен Николаем. Для использования русских материалов, собранных Гакстгаузен, Киселев отправил с ним в Берлин чиновника Министерства государственных имуществ Лана. Всего на Гакстгаузена и издание его трудов русское казначество истратило около 15 000 рублей. Интересные подробности о личности Гакстгаузена мы находим также у того самого Герцена, которого Маркс и Энгельс представляли себе восторженным поклонником Гакстгаузена.

В своей работе «Россия», написанной в Женеве в 1849 г., Герцен называет Гакстгаузена «флегматичным вестфальским агрономом», консерватором, ученим старого закала, привыкшим с самых юных лет «читать всякое правительство». Гакстгаузен был, по словам Герцена, удивлен и подавлен «страшной величиной» русской автократии, имевшей для своей защиты 600 тыс. солдат и 9 тыс. верст для своих сыскных. ² В позднейшей работе «Русское крепостничество», изданной в Лондоне в 1853 г., Герцен видит в Гакстгаузен «абсолютиста-демагога», испортившего свой интересный труд «неопикуемой фанатической страстью к монархизму». В примечании Герцен говорит о том, что эта страсть «довела его до торжественного восхваления кнута для солдатских спин». ³ Таким образом кнут действительно фигурирует у Герцена, когда он говорит о Гакстгаузен, но не в качестве орудия завоевания Европы, а лишь символа гакстгаузеновского монархизма.

В таком же духе аттестует Гакстгаузена Чернышевский. В его глазах, Гакстгаузен — это «такой реакционер, какие в Германии могут быть встречаемы только между помещиками некоторых прусских провинций». Почтенный барон желал бы ввести само-

¹ В. И. Семевский. Крестьянский вопрос в России в XVIII и первой половине XIX вв., т. II. Крестьянский вопрос в царствование императора Николая. СПб., 1888, стр. 431.

² Герцен. Соч., т. V, 1923, стр. 341.

³ Герцен. Соч., т. VII, 1923, стр. 378—379.

¹ Маркс и Энгельс, Соч., т. XVI, ч. 2, стр. 396.

² Там же, стр. 395.

державную монархию даже в Северной Америке». Социализм и коммунизм он называет «порождением дьявола».¹

Приведенные данные не могут не вызвать удивления у русского читателя. Так вот, стало-быть, откуда идет знаменитое учение о русской сельской общине! У его колыбели стоял император Николай, щедро финансировавший прусского мракобеса, выступившего ради подачки со стороны богатого русского казначейства со слащавой восторженной апологией по адресу исконного русского института, гармонизировавшего с его необузданными монархическими симпатиями. Это удивление еще больше возрастает при конкретном ознакомлении с трудами Гакстгаузена. Перед нами отнюдь не ученый экономический трактат, а журнал путешествия, причем в изложении с кинематографической быстротой сменяют друг друга самые разнообразные сюжеты, начиная от церковных богослужений, до которых был таким охотником ультра-католик Гакстгаузен, бесед в Троицко-Сергиевской лавре с культурным русским священником о Шеллинге и распадения гегельянства на два крыла, фольклорного материала, который собирался нашим бароном, несмотря на незнание русского языка, с большим рвением, пойманных на Волге осетров необыкновенных размеров и кончая сравнительно глубоким анализом русских экономических вопросов. Можно все же признать, что Гакстгаузен был тонким наблюдателем. Но чем больше вчитываешься в его работы, тем больше удостаиваешься в том, что он подгоняет свои наблюдения под готовую догму, несмотря на то, что сплошь и рядом материал упорно сопротивляется и не желает укладываться в схему. В книге Гакстгаузена немало отечканенных упрощенных формул, подготовленных заранее и носящих явные следы своего априорного происхождения. Эти формулы нередко противоречат друг другу. В отличие от Западной Европы, Россия для Гакстгаузена — «патриархальное государство». Семья в этом государстве объявляется целым «микрокосмом». Та же семья, только в более обширных размерах, есть сельская община. Благодаря равномерному распределению земли между крестьянами, принадлежащими к общине, и отсутствию людей, стоящих вне общины, в России «нет пролетариата». Социальная революция, к которой на Западе стремятся во имя равенства, становится бессмыслицей в России, так как «мечты европейской революционеров имеют уже свое реальное осуществление в русской народной жизни». Ремесло, опираясь на общину, образует нечто вроде артелей. Последние в действительности представляют то, что сенсимонистские теории выставляли за образец для Европы.²

¹ Н. Г. Чернышевский. Статьи по крестьянскому вопросу. СПб., 1905, стр. 17—18.

² Барон Август Гакстгаузен. Исследования внутренних отношений народной жизни, а особенно сельских учреждений России, т. I, М., 1870, стр. 18—21.

Однако эти теоретические формулы не мешают затем впечатлительному барону констатировать, что «уже более полустолетия, как русское правительство старается ввести в России буржуазную», и в связи с этим торговля и промышленность получили «непосредственное распространение». В частности, «Москва была городом русского дворянства, теперь же она стала фабричным городом». Непонятно лишь, как же существуют фабрики в Москве, если в России «нет пролетариата»!

Мы только что видели, что противореволюционная, охранительная тенденция побуждала Гакстгаузена высказываться в том духе, что существование общины и артели якобы снимают необходимость добиваться возникновения в России сен-симонистских организаций или фаланстеров фурыеристского толка. Повидимому, наши социалисты-утописты 40-х годов понимали соотношение между общиной и фаланстером по-иному. В кругах петрашевцев велись «толки о Нью Ланарке Роберта Оуэна и об Икаррии Кабэ, а в особенности фаланстере Фури и теории прогрессивного надела Прудона»;¹ но те же люди, которые зачитывались социалистической литературой, «сведения о России почерпали, между прочим, из сочинения Гакстгаузена».² Особенно интересно следующее сообщение. Ф. М. Достоевский, посещавший социалистические кружки, высказывался все же в том духе, что «мы должны искать источников для развития русского общества не в учениях западных социалистов, а в жизни и в вековом историческом строе нашего народа, где в общине, артели и круговой поруке давно существуют основы более прочные и нормальные, чем все мечтания сен-симонистов». Но этому мнению Достоевского противопоставляется указание, что «по свидетельству И. М. Дебу, и фурыеристы придавали значение русской общине, с которою их познакомил немецкий путешественник по России, барон Гакстгаузен».³ Это показывает, что Гакстгаузен усердно читали и наши социалисты-утописты, не усматривая, однако, по большей части, в общине конкурента фаланстеру, а пытаясь скорее сочетать социалистический идеал и общинную действительность. Петрашевский, например, так и говорил об общине «фаланстерийской».⁴ По указанию Н. А. Рожкова, характерной чертой собраний фурыеристов у Дебу «было то, что они сильно интересовались русской земельной общиной. Повидимому, им не чужда была народническая идея об общине, как зародыше социализма».⁵ Кружок Дурова особенно выделялся своими антикрепостническими настроениями. «Больше всего занимал нас, — говорит А. П. Милоков, — вопро-

¹ В. И. Семевский. Из истории общественных идей в России в конце 1840-х годов. Петроград, 1917, стр. 20.

² Там же, стр. 35.

³ Там же, стр. 42.

⁴ Н. Л. Рубинштейн. Русская историография, 1941, стр. 277.

⁵ Дело петрашевцев, т. I, 1937, стр. 80.

об освобождении крестьян». При этом характерно враждебное отношение многих петрашевцев к славянофилам. Это показывает, что современники далеко не всегда считали их представителями передовых взглядов.²

Мы скоро увидим, что многие черты весьма мозаичного по существу научного построения Гакстгаузена характеризуют как раз социально-экономическое мировоззрение славянофилов. Думается, никак свои взгляды. И так как в то время учение славянофилов еще не получило печатного выражения и было известно скорее в виде «изустного предания» по дискуссиям в московских кружках и салонах и по рукописным материалам, то Гакстгаузену нетрудно было присвоить себе в глазах потомков первенство в учении об общине. Теперь, когда идеологические споры первой половины XIX в. известны лучше, можно с уверенностью говорить о приоритете славянофилов. В этом смысле высказывается, например, и автор новейшей работы по русской историографии, Н. Л. Рубинштейн, излагающий появление учения об общине в следующих словах: «Теория общины, как основного начала русской народной жизни, как формы народной организации древней Руси, была выдвинута славянофилами в конце 30-х годов (Хомяков, И. Киреев-Мяковский) в полемике против родовой теории государственной общины начала». Недело думать, что славянофильское учение было заимствовано у Гакстгаузена, а не наоборот. Обоснование целесообразности сохранения общины для Гакстгаузена — почти казенное задание, подлежащее выполнению за гонорар. Для славянофилов — это продукт формирования мировоззрения. Мы имеем на этот счет указания А. С. Хомякова. По его словам, «тому ли, что Славянское племя, и по преимуществу Русское, отличается от всех других особенностью своего общинного быта. Этот полуриторический афоризм, — говорит далее Хомяков, — многим не понравился. Нападающие на него противники пробовали уверять, будто возращение упало само собою перед хронологиею и сравнением понятий об общине у нас и на Западе». Эти строки написаны в 1857 г. Если теория общинного быта зародилась за 18 лет до этого момента, то датой ее появления должен быть 1839 г. Значит, когда Гакстгаузен приехал в Россию в 1843 г., она еще не утратила свежести новизны, и Гакстгаузен, проникнув в славяно-

фильские салоны, легко мог воспринять ее. Из приведенной цитаты мы видим также, что мнение относительно немецкого происхождения этой теории циркулировало уже в середине XIX в., но «упало само собою». Это не помешало ему впоследствии поддаться и стать господствующей версией.

Несомненно, что общительный и живой Гакстгаузен восполнялся своим пребыванием в Москве, чтобы войти в курс духовной жизни страны, с судьбами которой он оказался связанным. Мы имеем свидетельства, доказывающие, что ему пришлось беседовать по крайней мере с четырьмя такими выдающимися людьми, как Ю. Самарин, А. И. Кошелев, К. Аксаков и А. И. Герцен. Самарин сам вспоминает о своем разговоре с немецким бюрократом: «Я никогда не забуду, — пишет он, — слов, слышанных мною от Гакстгаузена во время его пребывания в Москве, и я привожу их тем охотнее, что дело шло не о России, а о Германии». Вот что сказано было Гакстгаузену: «Не мудрено распустить или разорвать историческую общину; но когда это удастся, и частные интересы разбредутся врозь, пусть тогда придумают, чем бы заменить упраздненную общинную связь». Очень ценное признание находим у Герцена. Он говорит о К. Аксакове: «Он в начале 40-х годов проповедывал сельскую общину, мир и артель; он научил Гакстгаузена понимать их». Подчеркнутые слова как будто категорически решают вопрос о том, откуда первоначально пошло учение об общине: не Гакстгаузен «открыл» ее, а сам явился лишь славянофильским рупором. Свидетельству Герцена мы имеем тем более оснований доверять, что он неоднократно виделся с Гакстгаузену и был удивлен его «ясным взглядом на быт русских крестьян, на помещичью власть, земскую полицию и управление вообще». Известно, однако, что после напастания труда Гакстгаузена Герцен отнесся отрицательно к основной его тенденции. Академик Державин доказал с несомненностью, что в период пребывания Гакстгаузена в Москве Герцен был настроен «скептически-отрицательно и к общинной теории славянофилов». Впоследствии он пришел к учению об общине не через славянофильское посредство, а совершенно иным, самобытным путем.³ Отсюда видно, что Герцен не мог заимствовать своих взглядов на общину у «прусского регирунгсрата Гакстгаузена».

Один из лучших знатоков истории славянофильского учения, Н. Колопанов, приводит также весьма убедительные свидетельства связи Гакстгаузена с славянофилами. В одном из своих писем И. С. Аксакову А. И. Кошелев говорит об «участии, которое имели славянофилы в разъяснении Гакстгаузену явлений общинного землевладения». Гораздо позднее, когда славянофиль-

¹ Рецензия Ю. Самарина на статью С. Иванова «Поземельная собственность и общинное владение» (стр. 326).

² Герцен. Соч., т. VII, стр. 306.

³ Акад. Державин. Назв. соч., стр. 132—133.

¹ Петрашевцы в воспоминаниях современников, 1926, стр. XII.

² Там же, стр. 29.

³ Там же, стр. 18.

⁴ Хомяков. Соч., т. III, стр. 288.

ская доктрина окончательно сложилась, в 1859 г. Кошелев сообщал тому же И. С. Аксакову из Карлсбада: «Здесь я провожу много времени с Гакстгаузенем, который также пьет воды, и мы с ним не наговоримся; по пяти часов говорим без умолку. Теперь, верно, он опять напишет что-нибудь об общине, ибо этот вопрос мы трактовали вдоль и поперек. Конечно, много мыслей моих он выдает за свои, но от него многое скорее примут, чем от меня, а потому — коли не мытьем, то катаньем». ¹ Между строк этого сообщения явно сквозит намек на то, что однадзги Гакстгаузен уже «кобрал» славянофилов, выдал их мысли за свои. Славянофилы мирились с этим воровством идей в интересах распространения своей доктрины. Около того же времени, когда происходили карлсбадские беседы Гакстгаузена с Кошелевым, последний и публично с некоторой горечью писал о роли, которую неожиданно сыграл Гакстгаузен в истории изучения русской общины: «Немец (барон Гакстгаузен), посетивший отечество наше, разрешил нашим ученым серьезно рассуждать о деле, о котором долгие они упоминали только в шутку: тогда принуждены они были допустить существование факта и даже снизить, конечно, не до изучения его, а по крайней мере до толков о нем». ²

В нашей науке до сих пор не сумели договориться окончательно о классовой позиции славянофилов. На нас все еще давит всей тяжестью своего авторитета Г. В. Плеханов, видевший в славянофилах столпов реакции. Известно, как прислушивались наши марксисты к суждениям Плеханова, относившимся к истории русской общественной мысли. Поэтому не удивительно, что отношение к славянофилам было до последнего времени резко отрицательным. Плеханов ставит славянофилов рядом с такими мракобесами, как представители теории «официальной народности» Погодин и Шевырев, считая, что славянофилы отличались от них лишь видовыми, а не родовыми признаками. Мнение о том, что в славянофильстве были какие-то прогрессивные элементы, Плеханов объявляет «предрассудком»: такие элементы, — пишет он, — «были в нем близки к нулю». ³ Плеханов оспаривает даже твердо установившееся мнение о том, что славянофилы участвовали по

принципиальным соображениям в борьбе за отмену крепостного права. Они в этом вопросе лишь «незаметно для себя» подчинились прогрессивным веяниям западничества. «Славянофильство, как теория, тут было ни при чем». ¹ В глазах Плеханова «славянофильское учение было ретроспективной утопией, основанной на идеализации таких общественных отношений, которые предполагались свободными от классовой борьбы». ² Он охотно подхватывает мнение Н. Бердяева, утверждавшего, будто славянофильство «это — психология и философия помещичьих усадеб, теплых и уютных гнезд», ³ прибавляя к этой формуле лишь указание, что оно было идеологией и «некоторой части образованного чиновничества». Плеханов не отрицал влияния славянофильства на наш утопический социализм; однако спешит указать, что «родство со славянофильством было не сильной, а слабой стороной нашего утопического социализма: оно внесло в него реакционный элемент. И теперь, когда этот социализм стал простым историческим преданием, пора понять, что всякое сочувствие к славянофильской теории представляет собой измену, — часто совершенно невольную и не сознаваемую, но все-таки измену, — делу прогресса». ⁴ Суждения, сходящиеся с плехановской оценкой славянофильства, можно найти в нашей литературе даже и теперь. Наиболее крайнюю позицию занимает, например, Б. И. Сыромятников, видящий в славянофилах идеологов реакционного феодального дворянства, выступающего на защиту отживших начал православно-самодержавной дворянской России. В их трудах, по мнению Сыромяникова, содержится «фантастическая идеализация» древней Руси, гармоничные черты которой расписываются сугубыми красками. Неприязнь и даже ненависть славянофилов к буржуазной промышленности Европе обусловлена у них настроениями дворянско-феодальной реакции. Крестьянская община прославляется ими лишь потому, что они видят в ней оплот против революций и залог упорочия власти дворян-землевладельцев над крестьянским миром. ⁵ Славянофилы стремятся ликвидировать разрыв между «мужиком и дворянином», который явился результатом «петровского переворота». Целью славянофилов после крестьянской реформы было реставрировать деформированные порядки. ⁶ В дальнейшем будет видно, как мало правды во всех этих обвинениях. Однако голоса в стиле Сыромяникова раздаются теперь сравнительно редко. Происходящая несколько лет тому назад дискуссия о славянофилах выявила, в сущности, два основных лагеря. Одни, относящиеся более чутко к прогрессивным идеям славяно-

¹ Н. Колюпанов. Биография А. И. Кошелева, т. II. Возврат к общественной и литературной деятельности (1832—1855). М., 1892, стр. 331.

² А. И. Кошелев. Общине поземельное владение (ответ Ф. Г. Терпелу). Журнал «Сельское благоустройство», отдел «Русской беседы», 1858, № 8, стр. 108. В нашей литературе еще до революции высказывался взгляд о том, что учение об общине создало не Гакстгаузен, а славянофилы (проф. Савкулин и др.). Возражая им, К. А. Пахитов писал: «Конечно, существование общины было известно и до него (Гакстгаузена). — В. Ш.). но он первый осветил вопрос с новой стороны и тем привнес в учение такой новый интерес, которого тот раньше не имел» (К. А. Пахитов. Развитие социалистических идей в России, т. I. Харьков, 1913, стр. 33). При сличении идей Гакстгаузена и славянофилов можно, наоборот, обнаружить удивительную их близость, так что никакого «сочесания с новой стороной» Гакстгаузен в действительности не дает.

³ Г. В. Плеханов. Соч., т. XXIII, стр. 103.

¹ Г. В. Плеханов. Соч., т. XXIII, стр. 103.

² Там же, стр. 108.

³ Там же, стр. 113.

⁴ Там же, стр. 109.

⁵ Б. И. Сыромятников. Назв. соч., стр. 19—21.

⁶ Там же, стр. 165.

филов, зачисляют их с более или менее серьезными оговорками в лагерь буржуазии. Наиболее авторитетным последователем этой точки зрения является академик Н. С. Державин, рассматривающий славянофилов как группу «националистически настроенной буржуазии». Большинство же наших историков предпочитает видеть в славянофильстве известную разновидность либеральной помещичье-дворянской идеологии. Так, Н. Л. Рубинштейн утверждает, что в действительности оппозиция славянофилов правительству может быть исторически объяснена только в своих дворянских, помещичьих истоках. Эта оппозиция вызывалась обострением кризиса крепостнической системы. «Разрешения они искали не в будущем, а в прошлом, не в закономерном развитии будущего из настоящего, а в идеализации русского прошлого». ¹ С. Дмитриев, выступивший незадолго до Отечественной войны с докладом о славянофилах, вызвавшим оживленную дискуссию, также подчеркивает, что славянофильство 40—50-х годов не было идеологией русской буржуазии. По классовой сущности это была «теория помещичья». ² Однако, если бы экономическая программа славянофилов была реализована, то в результате неизбежно произошло бы развитие капитализма в земледелии по прусскому пути и ускорение роста капитализма промышленного. Такая двойственность оценки славянофильства Дмитриевым отчасти проистекает из сложности и мозаичности самого славянофильского учения. Но все же должен быть в нем какой-то основной стержень! Неверно, что славянофилы тянут только назад. Все своеобразие их учения заключается в том, что они одновременно стремятся и назад и вперед, причем *тяга вперед* явно доминирует. Это мы сейчас постараемся показать на славянофильском учении об общине.

Следует, однако, предостерегательно сказать несколько слов о научном стиле славянофилов. У нас иногда трактуют их с высокомерным презрением, как представителей отсталой доморощенной мысли, без надлежащей европейской выучки. Приведем, например, отзыв академика Е. В. Тарле о «морально чистом, искреннем, горячем, недалеком» Константине Аксакове. По словам Тарле, «все его убеждения при полной внутренней их разноречивости как-то гармонически уживались у него в голове исключительно вследствие значительного его невежества в политике и всемирной истории, причем размеров этого своего невежества он даже и не подозревал и искренно думал, что почитать статьи преимущественно по истории русского быта и русской церкви в московский период (петербургский был ему ненавистен и неизвестен) — значит изучать и знать русскую историю, а размышлять

ислуж о гниющей западной цивилизации и мечтать о возрождении креста на мечети Ая-София в Царьграде — значит следить за политикой». ³ Конечно, эта острая и, вместе с тем, жестокая характеристика бьет лишь по историческим и политическим концепциям К. Аксакова, и, вероятно, ее автор не предполагал распространять ее на славянофильство вообще. Но прелюбопытно, будто славянофильская наука принадлежит к какому-то низшему сорту познания, распространен и поныне. Между тем, и экономические воззрения славянофилов и, в частности, их учение об общине вполне стоят на уровне своего времени. Теория общины была ими разработана полнее и ранее, чем каким-либо другим течением общественной мысли. Мы теперь и перейдем непосредственно к ней.

Колопанов справедливо называет учение об общине «краеугольным камнем всего славянофильского мировоззрения». ⁴ Какое значение придавали ему сами славянофилы, видно хотя бы из того, что И. С. Аксаков в «Русской беседе» за 1858 г. мог признать, что наш крестьянский быт и общинное землевладение вносят в науку политической экономии «новое оригинальное экономическое воззрение». ⁵ В 1859 г. «Русская беседа» перед своим окончательным закрытием писала в обращении к читателям о том, что вопрос об общине является «знаменем» журнала и что он призван «произвести совершенный переворот в политической экономии, как она сложилась доселе на Западе». ⁶

Мы видели, что момент первоначального зарождения этой теории относится еще к 1839 г. Но тогда община рассматривалась, главным образом, как *этическая* проблема. Подробное всестороннее обоснование общинно-вещевой теории относится к 1847—1852 гг., когда с нею выступили почти одновременно К. Аксаков, Ю. Самарин и проф. Беляев. Как указывает проф. Венгеров, едва ли уместно спорить о первенстве во времени кого-либо из названных авторов теории. «Первые славянофилы были люди, тесно связанные не только единством духовных стремлений, но и личным общением». Они «в живом обмене мыслей разрабатывали детали общего им всем мировоззрения. Инициатива принадлежит тут всем вместе и каждому в отдельности. Один делал наметки, другой его подхватывал, третий подбирал доказательства и в общем получался тезис, родительские права на который в одинаковой степени должны приписываться всем членам кружка безраздельно». ⁷ Конечно, в таком подходе есть доля упрощения и стирания индивидуальных особенностей. Но по-иному трудно по-

¹ Рубинштейн. Назв. соч., стр. 274.

² С. Дмитриев, Славянофилы и славянофильство. Историк марксист, № 1 за 1941 г.

³ Акад. Е. В. Тарле. Крымская война, I. 1941, стр. 583.

⁴ Колопанов. Назв. соч., стр. 302.

⁵ Там же, стр. 326.

⁶ Там же, стр. 302.

⁷ С. А. Венгеров. Собр. соч., т. III. Передовой боец славянофильства. К. Аксаков. СПб., 1912, стр. 166.

ступить здесь, где приходится ограничиться обрисовкой общих линий учения. Можно лишь особо отметить роль А. С. Хомякова, который «раньше и глубже всех своих современных единомышленников пошел в изучении общины и высказал еще в 1849 г. положения, дальше которых учение об общине не подвинулось и теперь».¹

Наиболее горячий период в обсуждении вопроса о русской сельской общине приходится на время от 1856 г. до крестьянской реформы. Застрельщиком явился Б. Н. Чичерин, напечатавший в «Русском вестнике» статью «Обзор исторического развития сельской общины в России». Специально экономический уклон был придан дискуссии (с начала 1857 г.) «Экономическим указателем», издававшимся в то время проф. Вернадским. Сторонниками частного земледелия выступали преимущественно представители высшей бюрократии: бывший одно время министром внутренних дел П. А. Валуев, писавший под псевдонимом Гufeйзенберг; смоленский губернский предводитель дворянства и железнодорожный деятель, а потом губернатор и помощник попечителя Московского учебного округа С. С. Иванов; известный экономист, обер-прокурор сената А. Н. Бутовский и др. Атака началась именно из этого лагеря. Славянофилам пришлось защищаться. Тут-то им и пришел на помощь Чернышевский, который поднял перчатку, брошенную противниками общины, одним из первых. Подводя итоги боевым операциям обеих сторон, Колупанов приходит к следующему выводу: «Вообще разработка вопроса об общине в 50-х годах была произведена, главным образом с фактической стороны — как бытового явления русской жизни — Кошелевым и Самариным, а с теоретической — как форма общественной взаимности (альтруизма), наряду с западными ассоциациями, — Чернышевским и Юриным».² По сообщению того же автора, Кошелев признавал за Чернышевским ту заслугу, что он «полюбил русскую общину», но упрекал его все же в том, что перенес ее защиту «на почву той общественной науки, на основании которой трудно защищать всякое живое туземное учреждение».³

Действительно, в тот период славянофилы и Чернышевский выступали в печати союзниками (чтобы убедиться в этом, стоит прочесть хотя бы отзывы нашего великого революционера-демократа о славянофильском органе «Русская беседа»), хотя их социально-экономические воззрения были разделены подлинной пропастью.

В глазах славянофилов община была главным аргументом для идеализации древнерусской жизни. Учение славянофилов построено на антитезе рассудочного, склонного к внешнему форма-

лизму Запада и живущей внутренней религиозной правдой России. Основное значение здесь имеет статья И. В. Киреевского «О характере просвещения Европы и о его отношении к просвещению России», написанная в 1852 г. Киреевский не жалеет красок, чтобы изобразить на Западе «односторонность коренных стремлений», «многовековой холодный анализ», «самодвижущийся нож разума», «искусственное благообразие гнилой красоты».¹ Три важнейших элемента сложили облик западной культуры: римская церковь, древнеримская образованность и возникшая из насильственного завоевания государственность.² В римском уме отличительным свойством был перевес наружной рассудочности над внутренней сущностью дела. Отсюда свойственный Европе индивидуализм с характернейшим для него проявлением — частной собственностью: «Все здание западной общественности стоит на развитии этого личного права собственности».³ Наоборот, в основе русской жизни лежат прозрачно-простые, естественные и «единодушные» отношения, вытекающие из сознания духовного единства. По словам К. Аксакова, русская история отличается такой простотой, что «приведет в отчаяние человека, привыкшего к театральным выходкам. Русский народ не любит становиться в красивые позы». У нас «нет рыцарства с его кровавыми доблестями, ни бесчеловечной религиозной пропаганды, ни крестовых походов, ни вообще этого беспреданного щегольского драматизма страстей».⁴ В сильном образе Киреевский запечатлевает различие, к которому привело противоположное течение западной и русской истории. Западное общество «феодалных времен» можно представить себе в виде множества замков, укрепленных стенами, внутри которых живут благородные рыцари, а вне — «подлая чернь». Рыцарь был лицо, чернь — часть его замка. «Здесь в основе рознь, отъединение». У нас же прошлое можно изобразить в виде «бесчисленного множества маленьких общин». Каждая из них имеет своего «распорядителя» и представляет замкнутый мирок, основанный на внутреннем согласии. Справедливость берет здесь верх над внешней формальностью. Вся Русская земля (с большой буквы) должна рассматриваться как совокупность таких маленьких «согласий» в одно огромное согласие всей Русской земли».⁵ Для Аксакова вся Россия и есть одна грандиозная Община. В отличие от Запада, для нашей общины частная собственность является чем-то случайным. «Община земля принадлежит потому, что община состоит из семей, состоящих из лиц, могущих землю возде-

¹ И. В. Киреевский. Полн. собр. соч., под ред. Гершензона, т. I, М., 1911, стр. 176—177.

² Там же, стр. 184.

³ Там же, стр. 209.

⁴ Венгеров. Назв. соч., стр. 183.

⁵ Киреевский. Полн. собр. соч., т. I, стр. 207.

¹ Колупанов. Назв. соч., стр. 323.

² Там же, стр. 410.

³ Там же, стр. 332.

лывать». ¹ После петровских реформ, потянувших нас в сторону Запада, русский быт «уцелел, почти неизменно, в низших классах народа». Это в значительной мере связано с «характером семейной цельности в нашем крестьянском быту». Присматриваясь к «внутренней жизни нашей избы», мы видим, что никто не работает и не ради личной выгоды совершенно отсек... от самого корня своих побуждений. Цельность семьи есть одна общая цель и дружина. Весь избыток хозяйства идет безотчетно одному главе семейства. Все частные заработки сполна и совместно отдаются ему». ² Это не мешает крестьянину отдаваться труду как «обязанности советского с полным «самозабвением». Поскольку личная выгода отсутствует у крестьянина, ему чужда экономика в обычном смысле слова. «Если бы наука о политической экономии, — пишет Киреевский, — существовала тогда, то она не была бы понятна русскому. Он не мог бы согласиться с целью своего воззрения на жизнь — особой науки о богатстве. Он не мог бы понять, как можно с намерением раздражать чувствительность людей к внешним потребностям только для того, чтобы умножить их усилия к вещественной производительности». ³ Отсюда и полное пренебрежение к роскоши. «Русский человек больше золотой парчи предпочитает стремление к утехам внешней материальной жизни, в России все помыслы сосредоточились в семейном быту. «Самодовольные и шумные удовольствия гостинной заменяли ей радости тихой детской». ⁴

Суммируя, можно сказать, что, согласно убеждениям славянофилов, на Западе преобладало личное начало, у нас — коллектив, там — индивидуализм, в России — общественный интерес, там — стремление к чувственному наслаждению, в русском быту — нравственный принцип. Община была квинт-эссенцией этих свойств русского быта. В ней надо было искать лучшие стороны русской жизни, культивировать и продолжать их. В крестьянские славянофильские находили наиболее последовательное воплощение коллективного начала, основанного на взаимной любви. Помещик, носитель произвола и эксплуатации, только портил цельность картины. Этого не могли не чувствовать и сами славянофилы. Если бы его убрать, славянофильская логика оказывалась на проверку сильнее научных убеждений, и помещик не только сохранился славянофилами в общественной структуре, но его интересы явно в ней доминировали.

На основании сказанного нетрудно понять, в чем славянофилы видели различие между их идеалом общины, как она органически выросла в России, и западно-европейскими проектами социалистического устройства, воплощавшимися в ассоциации. Там, на Западе, основа общины могла быть лишь чисто договорная, у нас — бытовая. На Западе должна была возникнуть лишь искусственная, условная ассоциация. Западные мыслители вернутся в заколоченном кругу, потому что подлинная община для них недостижима. Наша же община — не контракт, не сделка, она — проявление народной мысли, народного духа, проявление живое, а не искусственное, — таково всегда свойство жизненного принципа. Община есть союз людей, отказывающихся от своего эгоизма, от личности своей, и являющих общее их согласие, это — действие любви, высокое действо христианское. ¹

Когда в период проведения крестьянской реформы славянофилы вынуждены были перейти от широких историко-философских обобщений к экономической прозе, они все же нисколько не сбавили своего нравственного пафоса и попытались сохранить нетронутым свое прежнее представление об общине как коренном устое русской жизни.

Одним из наиболее убежденных славянофильских теоретиков, настаивавших на огромном социально-экономическом значении общины, был А. И. Кошелев. Совершенно в духе физиократов он выделяет землю как особый вид богатства, накладывающий печать на общественные отношения. «Земля не есть богатство вроде какого-нибудь завода, фабрики, дома или иного специального достатка; она есть богатство по преимуществу; кто его владеет, тот и хозяин в стране». ² Однако эта власть, простирающаяся из земельной собственности, может реализоваться только при условии определенной, а именно общинной организации земельного хозяйства. По самой природе сельскохозяйственного производства, «по своим занятиям, по географическому своему размещению, земледельцы разединены и потому бессильны. «Противодействовать этому может только сильная внутренняя общественная связь, — такую доставить в состоянии одно общинное землевладение; вот почему мы считаем его краеугольным камнем устройства сельскохозяйственного сословия». ³ Капитализм неизбежно порождает нищету, и это придает огромную силу коммунизму и социализму, которым «принадлежит, правда, не будущее, но, конечно, будущая минута». Европа тратит четверть, треть своих достатков на помощь нищим, чтобы «выкупить спокойное пользование остальным». Кошелев усматривает в этом «тайное призна-

¹ Киреевский. Полн. собр. соч., т. I, стр. 209.

² Там же, стр. 212.

³ Там же, стр. 214—215.

⁴ Там же, стр. 213.

¹ Колупанов. Назв. соч., стр. 309.

² Статья А. И. Кошелева в «Русской беседе» за 1857 г. в разделе «Критика» (стр. 131).

³ А. И. Кошелев. Общинное поземельное владение (ответ Тиериеру). Сельское благоустройство, 1858, № 8, стр. 124.

ние Прудонской теории» и восклицает: «Какое специфическое лекарство против всех этих зол? Одно, ничем не заменимое, вполне достаточное — община».¹ В 1849 г. А. С. Хомяков написал замечательное письмо приятелю о сельской общине, не предназначавшееся тогда к печати, которое также очень ярко характеризует сокровенные мысли славянофилов в отношении общины. Все значение общины для Хомякова сводится к тому, что она представляет «переход теперешнего Европейского сожителства в общинное товарищество». Основа общины — дружная взаимная поддержка. Поэтому в общине невозможно нищество иначе, чем в качестве временного состояния. В Европе приходится прибегать к приходской помощи, чтобы облегчить нищету. У нас же община «сама отстраняет нищество почти совершенно; а предотвращать зло всегда лучше, чем исправлять зло».² Поскольку община является внутренне единым, дружным коллективом, в пределах которого царит полное христианское согласие, естественно ожидать, что в общине не может быть имущественного неравенства. Славянофилы хотят оставить общину в ее первоначальной чистоте. Правда, порой им приходит на ум, что «без ослепления фанатического нельзя предполагать, чтобы такое устройство совершенно отстранило все бедствия и все злоупотребления и чтобы богатый общинник не мог иногда разрабатывать случайную бедность товарищей, особенно в областях промышленных». Однако весь смысл построения славянофилов как раз сводится к тому, чтобы не допустить проникновения в общину сколько-нибудь широко начал общественного неравенства, так как экономическое расслоение людей противоречит природе общинного идеала. Учение о нивелирующем значении общины родилось у славянофилов в пылу борьбы с их противниками в период крестьянской реформы. В эти же годы на указанную тему писал и Н. Г. Чернышевский. И здесь опять-таки иногда трудно установить приоритет того или иного писателя в смысле авторства идеи. Тем не менее, одну из наиболее ясных формулировок мы находим в обширной рецензии Ю. Самарина на статью С. С. Извозова «Поземельная собственность и общинное владение», напечатанную в «Русском вестнике» за 1858 г.

Однако прежде чем мы перейдем к изложению взглядов Самарина, скажем несколько слов о самом авторе. Среди славянофилов Ю. Ф. Самарин был наиболее крупным и образованным экономистом. Для характеристики его социально-политического чутья особенно интересно письмо к отцу из Риги от 12 марта 1848 г., накануне революционных событий в Германии. Мысль письма состоит в том, что «в основе своей революция не есть политическая, а социальная» и что ее «тайные и существующие при-

чины, может быть, раскроются впоследствии». К восстанию ведет «не столько форма правления... сколько слишком долго непризнанные требования рабочего класса». В революции Самарин видит один из эпизодов «тяжбы, которая истари ведется между представителями капитала и представителями труда». Разумеется, Самарина нельзя заподозрить в склонности к коммунизму. По его словам, коммунизм «служит теперь пугалом для всех». Однако в глазах Самарина коммунизм является «карикатурой мысли», которая сама по себе прекрасна и плодотворна. Это — мысль о том, что человечество в своем развитии движется к ассоциации, к «организации» промышленности и земледелия, к приобщению рабочего класса к выгодам производительности. Эта идея представляет как бы антизету режиму экономической свободы. Известно, каковы отрицательные последствия применения принципа *laissez faire, laissez passer*: возвышается ценность капитала (земли или денег), заработная плата снижается, начинается массовое выселение. «Неужели же, в ожидании этого, надобно сидеть сложа руки? Нет, лучше признать чистосердечно необходимость коренного преобразования и совершить его закономерным порядком. Это, по-моему, лучшее и единственно возможное средство обессилить и победить коммунизм». Из сказанного Самарин выводит, что в будущем торговля, земледелие и промышленность должны принять «характер общественной деятельности».¹

В письме А. С. Хомякову из Москвы от августа 1849 г. Самарин рассказывает своему корреспонденту о занятиях экономической наукой. «С тех пор, как мы расстались, я занимался постоянно политической экономией и поглотил до 15 довольно толстых томов». В политической экономии, проштудированной им, он увидел лишь «род выводов из исторического развития народного хозяйства на Западе». Конечно, политическая экономия не имеет «той огромной важности, которую приписывают ей те, которые видят в обществе кампанию акционеров, а в жизни народной торговое предприятие, а в жизни человека процесс пищеварения». Все же «в законных пределах ее специальности» она может быть очень полезна (главным образом, для самообразования), если не связывать с ее изучением преувеличенных надежд. В России могут оказаться практически применимыми лишь немногие ее положения, как, например, о преимуществах вольного труда над крепостным, о вредности «искусственного возбуждения» промышленной деятельности. В Европе политическая экономия зашла в тупик из-за противоречия принципов наиболее широкого участия в благах земельной собственности и применения крупной куль-

¹ А. И. Кошелев. Общественное поземельное владение (ответ Тернеру). Сельское благоустройство, 1858, № 8, стр. 122—123.

² Хомяков, Соч., т. III, стр. 465.

¹ Ю. Ф. Самарин. Соч., т. XII. Письма 1840—1853. М., 1911, стр. 328—330; это письмо, как и следующее, стало мне известно благодаря любезному указанию проф. В. М. Эйхенбаума.

туры. Самарин спрашивает себя: «Желанное примирение не заключается ли в общинном владении?»¹

В названной выше статье воодушевленный острой полемикой Самарин с особенной четкостью разворачивает свои позиции. Он возражает против решения современных вопросов «механическим применением политико-экономических формул, выражающих отношение отвлеченных величин, а не живых существ». Он видит в общине сочетание трех важнейших положительных экономических особенностей. Во-первых, общему благосостоянию способствует то, что при общине осуществляется пропорциональность между земельным наделом и трудовыми силами, т. е. обеспечивается наиболее рациональное сочетание условий производства. Во-вторых, надежная система «предупреждает вредные крайности в распределении общественного богатства». Это не значит, конечно, что в общине происходит равномерное распределение общественного продукта. Такая система, по словам Самарина, достигалась бы лишь при условии, что «весь собранный на общественных полях хлеб и все сено, убранное на общественных лугах, делилось по числу душ или пропорционально потребностям». Этого в общине нет. «У кого способностей больше, кто употребил больше усилия, тот больше соберет и в свою житницу со своего поля, следовательно не лишится продуктов своего труда; но возможность потрудиться на себя и обеспечить свое существование дается всем». В-третьих, земля не может достаться тому, кто в ней не нуждается или неспособен ею пользоваться. Это отнюдь не означает полного равенства наделов, применения голого душевого принципа. В другой своей работе Самарин прекрасно объяснил способ распределения земли «по тяглам». Община не посягает на распоряжение трудом своих членов. Она не регулирует заработков. Она лишь делит землю поровну. Она «признает справедливым предоставлять всем своим членам одинаковую возможность обеспечить свое состояние». Это достигается периодическими переделами по тяглам. Не вдаваясь в неуместные здесь подробности, приведем лишь самое определение тягла: «Русский народ... отлекает от личностей, из которых состоит общество, понятие о рабочих силах и физических потребностях и создает условную единицу, называемую тяглом». Она строится на комбинированном учете обоих факторов, т. е. и труда и потребностей. Это наиболее справедливый принцип, обеспечивающий устойчивость всей массы хозяйств, предохраняющий общину от потрясений. Все три достоинства общины ведут к одному — к предотвращению неравенства, к сохранению солидарности, к недопущению нищенства.

Таким образом, экономический анализ категорий общинного хозяйства дается славянофилами исключительно в плоскости теории распределения. Производственный процесс остается в тени.

¹ Ю. Ф. Самарин. Соч., т. XXII. Письма 1840—1853. М., 1911, стр. 430—431.

Недаром А. И. Кошелев прямо заявляет: «Накопление капиталов есть важная вещь; но обеспечение огромному классу людей собственного крова и насущного пропитания есть вещь не менее важная. Похвально хлопотать об образовании богатств, но не следует забывать об их распределении между людьми».¹

Протестуя против того, будто общинное владение землей приводит к бедности, а личная собственность — к зажиточности, Самарин негодует против тех, кто, не вникая в сущность вопроса, ссылается в доказательство непригодности общинного начала на нашу экономическую отсталость. Противники общинного владения «закливают нас числами, таблицами, рисуют перед нами очаровательные картины английских искусственных лугов, шотландских ив, французских виноградинок; потом они обращаются к нашим безлюдным пустырям, полуразвалившимся избукам, сорным полям, едва исцарапанным сохой, и, глядя на публику, говорят: „господа, где лучше, там или у нас? Судите сами: там личная собственность и фермерство, а здесь общинное владение“». Самарин с негодованием отвергает правомерность такой постановки вопроса. Из-за нашей отсталости мы должны быть бедны и при личной и при общинной собственности. Наше убожество ровно ничего не доказывает против общины. «Сравнение это так же убедительно, как если бы кто-нибудь, взявши золотушного 15-летнего русского мальчика и дождю английского мятроса 30 лет и поставив их на подмостки, вздумал доказывать публике превосходство англо-саксонской крови над русскою».

Сфера общинного быта захватывает у славянофилов и артель. Правда, основные их интересы связаны с земледелием. Но артель была для них как бы распространением общинного начала и на область промышленности. Сельская община и артель — это два звена одной цепи. В глазах славянофилов, ценность артели состоит в том, что ее организует тот же крестьянин, который является коренным устоем общинного быта. «... в артели собираются люди, которые с малых лет уже жили по своим деревням жизнью общинною. В артелях мало, почти нет мешан, мало дворовых. Вся основа — крестьяне или вышедшие из крестьянства».² Развивая свою мысль о приложении общинного начала к промышленности, А. С. Хомяков оговаривается, что он не знает «ни одного примера совершенно промышленной общины в России, так сказать, фаланстера», — и эта оговорка показывает с достаточной ясностью не только знакомство Хомякова с идеями утопического социализма, но и сознание непосредственной связи теории общинного устройства, развивавшейся славянофилами, с футуризмом. Стремление восполнить общину артелью легко могло быть продиктовано именно мыслью о каком-то синтетическом общинном идеале.

¹ А. И. Кошелев. Назв. соч., стр. 134.

² А. С. Хомяков. Назв. соч., т. III, стр. 408.

и Проф. Шт. ил.

который, комбинируя общину с артелью, охватывал бы всесторонне производительные силы и мог бы в этом смысле конкурировать с фаланстером. Однако нельзя быть уверенным в том, что идея «артельного социализма» не досталась славянофилам по наследству от крепостной экономики. Розыски в архивах дали возможность Петру Струве найти интересные материалы относительно «крепостного социализма», базировавшегося на артельной организации крепостных крестьян. Так, в сельце Миловидове, подле г. Сум, еще в 1814 г. неким Стремоуховым был введен для крепостных общественный строй, который он сам считал усовершенствованием «социного устройства» древней Руси, представляющего своеобразную (романтическую) форму крепостного коллективизма. Струве усматривает в проектах и практических начинаниях Стремоухова «художественную крепостническую карикатуру великих французских утопистов» и считает влияние последних на Стремоухова весьма вероятным.¹ Стремоухов отнюдь не был единственным представителем направления, которое он сам называет «совокупным домоводством». Однако кардинальнейшее отличие «так сказать фаланстера» у Хомякова от крепостного социализма заключается в том, что идеалы крепостного социализма предусматривали наличие властной и жестокой *посторонней* воли помещика, тогда как у славянофилов предпосылкой общины и артели была свободная личность крестьянина.

Наиболее интересной и важной чертой славянофильства было то, что теория общины неизбежно приводила их объективно к апофеозу крестьянина и его хозяйства, тогда как все их мировоззрение требовало апологии помещика. Думается, что лучше всего можно будет объяснить эту глубокую экономическую неудачу славянофильства, если мы по аналогии вспомним о внутренней противоречивости учения о помещике и его функций в хозяйстве у французских физиократов.

Великий глава физиократического учения Фр. Кенэ был гениальным создателем первой научной системы, объяснявшей капитализм. «Начиная от Петти и кончая Юмом, эта теория была развита только по частям, — здесь кусок, там кусок, — согласно потребностям той эпохи, когда жил автор. Кенэ первый положил в основу политической экономики ее настоящий, т. е. капиталистический, базис».² В условиях, когда Франция была еще сковаана феодальными производственными отношениями, Кенэ явился выразителем тяги известной части феодалов-землевладельцев к капитализму, так как прогрессивная часть этого класса не могла не видеть, что переход на рельсы капитализма является и для него единственным выходом из кризисного состояния. Отсюда отмеченное Марксом расхождение между феодальной вывеской и

капиталистическим содержанием у физиократов. Англия, как уже говорилось выше, расправилась решительно с феодальными пережитками в деревне, и это позволило ей сразу перейти к передовому фермерству капиталистического типа. Во Франции, как и впоследствии в России, процесс перерастания феодализма в капитализм до революции шел крайне медленно, с натугой, обрекая крестьянство на мучения. В Англии землевладелец стал фактически хозяином хозяйству. В древнем и средневековом мире, говорит Маркс, он был важным агентом. Теперь он превратился в «беспомощную нацию».³ Однако там, где феодализм лишь медленно *эволюционировал* в капитализм, землевладелец продолжал играть важную роль, хотя и не в производстве, но в распределении.

Трудно сказать, предчувствовал ли Кенэ грядущую революцию и надеялся ли он избежать ее путем создания фермерства. Но суть экономической программы Кенэ как раз и заключалась в ликвидации пережитков крепостничества мирным путем. Врач маркиз Помпадур, приближенный Людовика XV, сочинявший свои теории на антресолях Версальского дворца, Кенэ, естественно, не мог остро ставить вопрос о ликвидации крепостнических отношений в качестве предпосылки торжества капитализма в земледелии. Ему пришлось вуалировать социальную проблему агрономическими выкладками. Однако цель, в которую метили физиократы, несомненно шла именно в сторону социальной перестройки. Как отметил еще М. М. Ковалевский, физиократов обвиняли в безразличном отношении к крепостническому строю. Он считает, однако, этот упрек крайне несправедливым, объясняя молчание физиократов по этому вопросу «цензурными стеснениями».⁴ Вся их доктрина неизбежно вела к пониманию невыгодности сохранения феодального режима с точки зрения производительности хозяйства. Организованное фермерским способом земледелие несравненно выгоднее полонизма. Но это не значит, что капитализм предпочтительнее феодализма. При этом, как отмечает академик В. П. Волгин, «судьба крестьянской массы мало интересует физиократов: крестьяне, очевидно, должны превратиться в пролетариат».⁵ Кенэ символически изображал разницу между отсталой «мелкой культурой» и крупно-капиталистическим хозяйством в образе используемого ими рабочего скота: вола у полновика и лошади у фермера. Торго предпочитал говорить о системе хозяйства — двухполье и трехполье. Физиократы, в сущности, лишь стремились обеспечить нарождающиеся фермерские хозяйства дешевой рабочей силой, за счет крестьянства, прикрывая эти свои намерения радужными картинками образцовых ферм, где принята

¹ Маркс. Теория прибавочной стоимости, т. II, ч. I, стр. 142.

² М. М. Ковалевский. Происхождение современной демократии, т. I, ч. 3 и 4, М., 1909, стр. 151.

³ В. П. Волгин. Социальные и политические идеи во Франции, 1748—1789, М.—Л., 1940, стр. 18—19.

¹ Петр Струве. Крепостное хозяйство, стр. 181.

² Маркс и Энгельс. Соч., т. XXVII, стр. 28.

более совершенная трехпольная система и пахут лошадьми. Выиграть от этих реформ должны были землевладельцы. Нарождающаяся буржуазия должна была обеспечить приток капиталов в земледелие, но сливки реформы должны были достаться владельцу земли. Феерический рост чистого продукта сулил обогащение именно помещику. Недаром Марке замечает, что физиократы считали «капиталистов и рабочих вместе лишь наемными рабочими землевладельца». ¹ На чем же основываются эти безмерные притязания физиократов? В литературе было уже не раз объяснено, что это мнение физиократов было лишь подкреплено совершенно неубедительными ссылками на какие-то «первоначальные» вложения средств в землю их собственниками, да еще на административные функции землевладельцев, являющиеся даже в глазах самих физиократов их единственной современной общественной заслугой. Таким образом физиократы требовали, чтобы львиная доля общественного богатства сосредоточивалась в руках землевладельцев, тогда как их роль в процессе производства фактически сводилась к нулю. Отсюда неизбежное фиаско физиократической системы на практике. Мы знаем, что немногочисленные опыты, производившиеся в этом направлении в немецких государствах и в других странах, кончились полным провалом.

Пример физиократов прекрасно показывает всю внутреннюю безысходность позиций помещичьего класса в условиях зарождающегося капитализма. Будучи обломком крушения феодального строя, помещики стараются на его развалинах сохранить для себя привилегированное положение, и отчасти это удается им. Они опираются при этом на свою политическую силу, представляющую пережиток прошлого. Эта сила обеспечивает им возможность отстоять в свою пользу значительную часть общественного богатства и доходов. Поскольку их хозяйственными антагонистами являются, главным образом, крестьяне, богатство помещика достигается за счет бедности крестьянина. На переднем плане идет борьба за землю. Тот или иной ее исход определяет социальное положение помещичьего класса. Физиократический план освобождения крестьян без земли, при всей его кажущейся прогрессивности с точки зрения капиталистического развития, в действительности означал наиболее благоприятное решение в пользу помещиков.

В России при проведении крестьянской реформы остро встали те же вопросы, на которые пытались дать ответ физиократы. Славянофилы, будучи помещиками не только по классовому своему происхождению, но и по идеологии, тоже пытались выразить в своих теоретических построениях мысли и пожелания класса, стоявшего перед крахом, вызванным процессом исторического развития, и стремящегося сохранить по возможности побольше. Сверя

того, вне общины, в городской обстановке, славянофилы охотно допускали промышленное развитие и готовы были принять участие в нем. Отстаивая сравнительно выгодные для помещиков условия освобождения крестьян, они несомненно ориентировались на возможность использовать полученные при освобождении крестьян средства для создания капиталистических предприятий. Но, как и у физиократов, самым слабым пунктом всей экономической программы славянофилов была невозможность найти в общине для помещиков какую-бы то ни было производительную функцию. В России помещик в такой же мере был бесполезным настом на теле общественного производства, как и на Западе. Прекрасно понимая это, славянофилы оказались вынужденными пойти по тому же пути, что и физиократы, т. е. признать, что богатства в доходах помещичьего класса имеют за собой лишь силу традиций, а не экономическое обоснование. Это облегчило тому общественному течению, которое использовало наследие славянофилов, в частности их общинную теорию, несложную хирургическую операцию, заключавшуюся в том, что помещик был отсечен от народного хозяйства, и поле сражения целиком осталось за крестьянином.

Прусский путь развития капитализма в земледелии предполагает, как известно, превращение помещика-феодала в капиталистического предпринимателя. Естественно, что для осуществления этой задачи он должен жить в деревне и быть активным «организатором» сельскохозяйственного производства. Русский помещик чаще всего был абсентеистом, т. е. жил вне деревни, на крестьянские доходы, из которых ему уделялась львиная доля. Но если даже его жизнь протекала в деревне, он обычно был плохим хозяином.

Созданный экономистами из славянофильского лагеря, Кошелевым и Самариным, журнал «Сельское благоустройство», в котором специально обсуждались принципиально будущие экономические основания крестьянской реформы, как раз содержит, наряду с интересным фактическим материалом по аграрному вопросу, и ряд теоретических построений, отражающих идеологию помещиков, которые собираются направить свое хозяйство по прусско-капиталистическому пути (журнал выходил в 1859—1861 гг. и прекратился из-за цензурной волокиты; мешавшей своевременно его выходу). Основная группа славянофилов стояла за освобождение крестьян с землей за выкуп, причем принималось, что за крестьянами должна быть оставлена вся та земля, которую они обрабатывают к моменту реформы. Однако эта точка зрения вызвала оппозицию справа, стремившуюся подвести под свои взгляды теоретический фундамент. Нам удалось здесь обобщить лишь небольшую часть этих «теорий». Так, высказывалось мнение, что при крепостном режиме создавалось определенное равновесие сил между помещиками и крестьянами, которое не следует

¹ Маркс. Теория прибавочной стоимости, т. II, ч. 2, стр. 5.

значительно смещать в пользу крестьян при реформе. Из сочинений этого рода упомянем, например, статью М. А. Тихменева «О наделе крестьян землею». По словам этого автора, мнение о желательности оставления за крестьянами всего настоящего их надела основано лишь на «доводах политического свойства» (боязни крестьянских восстаний), тогда как «реформа, цель которой — преобразование экономического быта страны, главнейшим образом должна сообразоваться с экономическими условиями. Надел — фундамент, на котором должны строиться отношения между помещиками и крестьянами. Предоставление земли крестьянам в избытке или недостатке вызовет нарушение равновесия. Крестьянам следует дать земли ровно столько, чтобы обеспечить минимум довольства».¹ Ряд авторов, писавших в «Сельское благоустройство», пробует ввести в обиход науки понятие экзистенциального минимума для крестьян — очевидно, по аналогии с железным законом заработной платы. Так, некто А. И. К. — и формулирует это начало в следующих словах: «...выгода помещика требует и того, чтобы крестьяне сии наделены были тем только количеством оной (земли — В. Ш.), какое необходимо для их существования и какое могло бы только заинтересовать их остаться на том же месте и не искать другого рода промысла».² Таким образом помещики хотят обеспечить крестьянам голодный минимум, который, вместе с тем, предохранит бы их от тяги в промышленность. Стремление нашей экономической мысли к конкретности выражается здесь в том, что не только провозглашается голый принцип экзистенциального минимума, но и делаются попытки исчислить его, исходя из крестьянских бюджетов. Мы говорили уже об увлечении исчислениями бюджетов в середине XIX в. Поэтому неудивительно, что авторы из помещичьего лагеря с целью снизить насколько возможно норму надела с немалым искусством жонглируют бюджетными исчислениями. Так, А. И. К. — и выводит для тягла из 5 душ норму в 5 десятин, дающую возможность произвести 12 четвертей хлеба. Если прибавить овощей из огорода, крестьяне как-нибудь обойдутся. При этом «они будут иметь достаточно времени на обработку полей наемных». Наемный труд разовьет в них «любовь к вольному труду» и подготовит «к прочной самобытности». Одновременно помещики, привыкшие к «безотчетной барщинской работе», постепенно перейдут к «коммерческому началу» и приучатся «к более отчетному хозяйству». Итак, голодный минимум для крестьян должен быть таков, чтобы стимулировать у них готовность идти в наемную кабалу к помещикам. Такова

¹ М. А. Тихменев. О наделе крестьян землею. Сельское благоустройство, 1859, № 2, стр. 132 (курсив наш. — В. Ш.).

² А. И. К. — и. Предположения об устройстве крестьянского быта и помещичьих имений по Рязанской губернии. Сельское благоустройство, 1853, № 3, стр. 211.

была теоретическая формула прусского пути у части помещичьего класса. Известной популярностью в помещичьей литературе пользовался подсчет крестьянского бюджета Г. Голубцова, определенного в деньгах расход крестьянской семьи, наделенной тяглом, и 94 р. 50 к. серебром. В этом бюджете рента помещику составляла 40 р., тогда как зерно для «прокорма» 6 душ (12 четвертей ржи) расценивалось всего в 30 р. Кроме этого хлебного довольствия, в потребительный бюджет самого крестьянина включались лишь «мелкие домашние расходы» в сумме 7 р. 50 к.¹

Некоторые помещики откровенно признавали, что чисто фермерское хозяйство, основанное на вольнонаемном труде, без элементов принуждения (хотя бы экономического), не по плечу нашим доморожденным сельским предпринимателям. Найдутся ли у них необходимые личные качества, понимание фермерского дела, практическое умение вести хозяйство? — спрашивает Тихменев. «Такова ли была обстановка дворянской жизни, такова ли была господствовавшая система воспитания, чтоб можно было, без особенной натяжки, предположить в дворянском сословии достаточное присутствие тех элементов, из которых слагаются распорядители промышленных предприятий. Помещики, при всей готовности и доброй воле, скоро ли могут перевоспитаться в фермеров?»² Напе земледелие с отменой крепостного права будет развиваться в направлении фермерства, но «по длинному и затруднительному пути», ощупно, преодолевая «разные вредные порождения крепостного права, которые с упразднением его не исчезнут вдруг». В частности, для высшей формы хозяйства, каковою является фермерство, необходим другой уровень образования. Не будет достаток не столько вещественных, сколько «нравственных» капиталов. «Никакими внешними займами, никакими внутренними кредитными операциями нельзя помочь недостатку этих последних капиталов, они могут явиться только, как результат внутренней самодельности народа».³ Таковы были ходившие среди части помещиков теории, которые должны были обосновать грабеж земли, действительно произведенный реформой 1861 г.

Славянофилам пришлось отстаивать помещичьи интересы в период ожесточенной классовой борьбы вокруг крестьянской реформы, на фоне усиливающегося аграрного движения. У них не оказалось лучшего аргумента в защиту прав помещика на известную часть народного дохода, чем исторические права на землю, причем, однако, трудность их положения заключалась в том, что их же историческая концепция требовала признания крестьянина центральной фигурой, истинным хозяином земли русской. Внутренне противоречивая концепция славянофилов, которая была пуще-

¹ Г. Голубцов. Крестьянские повинности. Сельское благоустройство, 1858, № 7.

² Тихменев. Назад, соч., стр. 135.

³ Там же, стр. 138.

на в оборот с особенной силой в период реформы, сводилась к тому, что крестьяне имеют беспорочное право владения землей, которое не противоречит и не мешает праву собственности на ту же землю со стороны помещика. Ярче всего эта концепция выражена Ю. Самариным. Оседлый русский земледелец истари обладал, по его мнению, беспорочным фактическим правом на землю. На «отвлеченный вопрос», кому принадлежит земля, «древняя Русь не давала ответа». Впоследствии «оформилась» собственность княжеская, церковная и частная. Это новое отношение к земле не нарушало прежнего, фактического отношения к ней оседлых земледельцев. Право собственности не сталкивалось с беспорочным владением. Первое воздвигалось, так сказать, над вторым. «Крестьяне, — старается убедить сам себя Самарин, — не отрицают права собственности вотчинников на ту же землю». ¹ Это искусственное построение двойного права на землю понадобилось славянофилам для того, чтобы, во-первых, обосновать опасность всяких попыток освобождения крестьян без земли, во-вторых, для постулирования, в духе физиократов, особой роли помещика в процессе производства. А. С. Хомяков говорит в своем известном послании Ростовцеву об отмене крепостного права о «глубоком и ничем неотразимом убеждении всех крестьян в своих правах на некоторую часть земли тех дач, на которых они живут». Уничтожение крестьянских прав на землю будет, по словам Хомякова, в глазах крестьян похищением со стороны помещиков и изменой со стороны правительства. Обращение крестьян в безземельных работников, — грозит Хомяков правительству, — приведет к «резне» в недалеком будущем. ²

Что крестьянин стоит, по учению славянофилов, в центре всей исторической концепции экономического развития России, пожалуй, лучше всего видно из известного исследования Беляева «Крестьяне на Руси». Идиллическими чертами изображает Беляев свободного крестьянина древней Руси. Даже в столь поздний период, как в XVI в., у нас не было крестьян вне общины — «одиночек». Вместе с тем, «принадлежность к общине именно и выражала самостоятельное и полноправное положение крестьянина в Русском обществе». ³ Крестьянские общины «получили такую самостоятельность и такие права собственного суда и управления, какими прежде редко пользовались самые богатые и сильные землевладельцы». ⁴ Однако в эту оптимистичную картину Беляев вынужден внести корректив: крестьянин все более страдает от стеснения материальных средств, и, в результате, «земля, этот основ-

ной капитал земледельца, незаметно, но быстро ускользает из крестьянских рук». ¹ С конца XVI в. начинает развиваться крепостное право. Сначала прикрепление к земле не сопровождалось особенно невыгодными для крестьян последствиями, так как помещик очень нуждался в рабочих руках и поэтому даже предоставлял крестьянам всякие льготы. Затем начинается крутой перелом, идущий против интересов крестьянства и достигающий своего апогея в эпоху Павла. Крепостное право превращается в «отрицательный недуг». Крепостничество так и было страшной, опасной болезнью в глазах славянофилов. Выступая в душливой атмосфере крепостнической России, славянофилы всю ставку ставили на освобождение крестьян не индивидуально, а общинными, состоящими из свободных людей. Община должна была стать оплотом крестьянских прав и свободы. Даже и в рай — шутили славянофилы — мужиков не пускают в одиночку, а непременно общинами.

Исторические изыскания славянофилов, которые должны были обосновать претензии помещиков на руководящую роль в общественной жизни страны, как видно, были не очень-то убедительны. Поэтому и пришлось дополнить их анализом чисто экономических функций землевладельцев. Наиболее серьезно к этому вопросу подошел Самарин. Он без колебаний выдвигает свой основной тезис: «Представителем этих высших способностей в деле сельской промышленности (разумеется земледелие. — В. Ш.) является у нас один помещик, в этом отношении занимающий место западного фермера или заводчика (в обширном смысле entrepreneur)». Однако, когда писались эти строки, помещик вел преимущественно крепостное хозяйство, и Самарин, опираясь на западно-европейскую экономическую науку, сумел дать интересный теоретический анализ категорий крепостного хозяйства, критику феодализма с позиций капитализма. В этом свете «представитель высших способностей, если воспользоваться термином самого Самарина, выглядит довольно жалкой фигурой. Крепостное хозяйство, им руководимое, приводит лишь к ослаблению главных пружин эффективности народного труда. В частности, барщинный труд отличается особенно низкой производительностью. Помещики прекрасно сознают, что «рабочие силы обходятся им дешевле их действительной стоимости», — так формулирует Самарин свою мысль о боязни помещиков переходить к коммерческим методам ведения хозяйства. Труд и время не представляют для помещика ценности. Располагая обязательным трудом, он «не нуждается в собственном оборотном капитале». Пусть доход русского помещика «незначителен. Но он не налагает на него, «тяжкого бремени личных хлопот и трудов». ² Когда «высшие способности» упражня-

¹ Ю. Ф. Самарин. Четыре записки по крестьянскому делу. Соч., т. II, М., 1878, стр. 153.

² А. С. Хомяков. Соч., т. III, М., 1900, стр. 296.

³ И. Д. Беляев. Крестьяне на Руси. Русская беседа, 1859, стр. 69.

⁴ Там же, стр. 86.

¹ И. Д. Беляев. Крестьяне на Руси. Русская беседа, 1859, стр. 87.

² Ю. Ф. Самарин. Соч., т. II, стр. 43.

ются столь нерационально, немудрено, что крестьянство оказывается глубоко враждебным изображенному строю отношений. «Народ покоряется помещичьей власти, как тяжкая необходимость, как насилию, как некогда покорилась Россия владычеству монголов, в чаянии будущего избавления». Самарин без обиняков признает, что крестьяне предпочитают обращаться к помещику «темными сторонами своего характера». Вот как он поясняет свою мысль: «Умный крестьянин, в присутствии своего господина, притворяется дураком, правдивый бесовство лжет ему прямо в глаза, честный обкрадывает его, и все трое называют его своим отцом». ¹ Таков печальный итог помещичьего предпринимательства. Община была построена на полной солидарности всех ее членов, на принципе товарищества. Как же вступить в нее помещика? Возможна ли солидарность волков и овец? Обманывая помещика и называя его в то же время отцом, не показывают ли крестьяне, что помещик представляет собой, согласно взглядам славянофилов, инородное тело, что он способен лишь разлагать общину, а не содействовать ее благополучию? Свою известную статью о сельской общине, в которой всячески восхваляется община как идеал коллективного устройства жизни, Хомяков заканчивает выражением убеждения, что «со временем мы срастемся с нею». В данном случае «мы» — это помещичий класс. Как произойдет сращивание, Хомяков отказывается предвидеть. Он лишь пытается сохранить лазейку для коммерческих наклонностей помещика, утверждая, что в пределах общины некоторое проявление личной предпринимчивости неизбежно. Однако эти коммерческие начинания богачей из крестьянской среды «будут мириться с общественностью, не вырастая никогда до эгоистической раздельности. То же вероятно будет и с нами... Допустим начало, а оно само себе создаст простор». ²

Интересно, однако, что А. И. Кошелев, еще до того, как он стал убежденным сторонником общинных порядков, в письме А. С. Хомякову от 16 марта 1848 г. решительно возражал против предположения, что помещик когда-нибудь сможет слиться с крестьянской общиной. Ему кажется, что общинное начало в своем логическом развитии приводит к «всеобщей общественной собственности», т. е. к уничтожению всякой собственности. Если в общине заключен зародыш всякого общественного благосостояния, то общинный принцип должен быть общим для всех людей. Трудности возникают уже в отношении ремесленников и торговцев; Кошелев сомневается в том, чтобы Хомяков потребовал для них общности кассы и обезличения заработков. Еще труднее с помещиками: «Да и о нас, землевладельцах, ты тоже забыл: как нам вступить в общину? Иного средства нет, как отдать в об-

щину наши земли, леса, дуга и проч.» ³ Развивая, таким образом, мысль об общинном начале до логического предела, Кошелев, очевидно, считает, что довел ее до абсурда. Действительно совместить общину в ее чистом виде и помещика трудно!

Исторически община возникает, по славянофильскому учению, без помещика, и он лишь впоследствии приходится ей в качестве механического привеса. По словам Хомякова, «поселянин в России никогда не был в совершенном одиночестве посреди общества». Он был связан «малым, но живым кругом общины». Лишь «впоследствии мирская община получила определенную главу в лице землевладельца». ⁴ В русской жизни помещики не имеют корней. «Корень и основа — Кремль, Киев, Саровская пустынь, народный быт с его песнями и обрядами, и по преимуществу община сельская». Среди же явлений, которые представляются ему «новыми и бескоренными» в жизни России, Хомяков на первое место ставит: «мы с тобою, т. е. дворяне». ⁵ Жизненная правда поэтому всегда на стороне крестьян. Яркой иллюстрацией этого положения может служить, например, комедия К. Аксакова «Князь Луповицкий или приезд в деревню», вышедшая в 1856 г. Все симпатии автора на стороне деревенского старосты, а не его помещика, и происходящий между ними словесный поединок блестяще демонстрирует духовное убожество хозяина и простую житейскую мудрость его подчиненного. Помещик Луповицкий поистине представляет собой живую карикатуру, и разумный староста только то и делает, что ставит его в тупик. Приведем небольшую выдержку:

Луповицкий

Ведь однако посмотри, какие у тебя грязные руки; ведь какая разница с моими (сравнивает свою руку с рукою старосты). Просто даже совестно.

Староста

Кому, батюшка, совестно?

Луповицкий

Конечно, тебе должно быть совестно.

Староста

Э, батюшка. В навозе возимся, как же быть-то? Оттого, батюшка, твои ручки и белы, что наши черны; ну и на здоровье! ⁶

Возвращаемся, однако, к самаринскому анализу экономических функций помещика. Он пытается все же, в конце-концов, спасти честь помещичьего лица и найти ему какое-то место в хозяйстве Помещикам нужно было, по словам Самарина, выбирать одно из

¹ Колыянов. Назв. соч., т. II, стр. 105 (приложение).

² Там же, стр. 70.

³ Там же, стр. 462.

⁴ Ранние славянофилы А. С. Хомяков, И. В. Киреевский, К. С. Аксаков. Составил Н. Л. Бродский. М., 1910, стр. 188.

⁵ Ю. Ф. Самарин. Соч., т. II, стр. 28.

⁶ Хомяков. Соч., т. III, стр. 468.

двух: либо остаться навсегда в полной зависимости от крестьян и приемов их хозяйства, либо, наоборот, привести крестьянское хозяйство в полную зависимость от господского. Для этого нужно было преобразовать «их домашний быт на новый лад, придуманный помещиком, в видах невыгоднейшей для него организации труда». В чем суть этого преобразования, Самарин конкретно не показывает. Он говорит лишь о выдвигаемом на первый план вопросе «об управлении крестьянами, как рабочим механизмом, заменяющим у нас оборотный капитал». И тут же он приводит характерное замечание одного секретаря Общества сельского хозяйства: «Многие помещики жалуются, что опытность хозяина должна состоять теперь более в умении управлять самими крестьянами, чем их работами». ¹ Таким образом функция управления все же заменяет хозяйственное начало. Сила помещика основывается не на его «высших способностях», а на исторических привилегиях.

В глазах самих славянофилов, коренное отличие нашего славянофильства от «западного славянофильства» (Токвиль, Монталмбер, Риль, Штейн) заключается в том, что на Западе ищут органических корней общественной жизни в аристократии, тогда как у нас обращаются с этой целью к «простому народу». Самарин объясняет это тем, что именно у нас народ «хранит в себе дар самопожертвования, свободу нравственного влечения и уважение к преданию. В России единственный приют торизма — черная изба крестьянина». ² Таким образом прочных социальных корней русской жизни нужно искать в «черной избе крестьянина». Славянофилы преклоняются перед крестьянином не потому, конечно, что видят в нем революционера, а, наоборот, считают его хранителем вековых традиций, здорового консерватизма, носителем высших нравственных начал. Всего этого нет у помещика.

В мировоззрении славянофилов именно крестьянин стоит в фокусе внимания. Помещик — пока еще вопросительный знак, считали славянофилы. Он стоит вне общины, живущей внутренне гармонической жизнью. Наоборот, с крестьянином связаны лучшие упования. Пыпин, как известно, давно уже указывал на заслуги славянофилов перед русским общественным движением, выразившиеся в том, что фундаментом, «грунтом» история они хотели сделать народные массы. В удрученной политической атмосфере 30—40-х годов прошлого века это было смелым политическим жестом. А в наши дни блестящей победы советской демократической культуры над звериной фашистской идеологией гитлеровской Германии должны звучать с особенной силой слова К. Аксакова: «Мы будем, как всегда и были, демократами между

прочих семей Европы... Грядущее покажет, кому предоставлено стать впереди всеобщего движения... зародыш будущей мировой жизни не германец, аристократ и завоеватель, а славянин, труженик и разноречивец, призванный к плодотворному подвигу и великому служению». ¹

Славянофилы стояли, казалось бы, и по социальному положению и по идеологии в непосредственной близости к трону. Вокруг них бесспорно копошилось множество продажных людей, делавших на связи с славянофилами карьеру. Но сами они бесспорно были чистыми, убежденными теоретиками, далекими от стяжательства и стоявшими в открытой оппозиции к властям, особенно «иным» чиновникам, которых ненавидели. Славянофилы претерпевали множество правительственных гонений, но неизменно оставались на своих принципиальных позициях. Напомним хотя бы несколько фактов. В 1832 г. после выхода в свет двух книжек был закрыт журнал «Европеец», к редактору которого, И. В. Киреевскому, были близки в то время Пушкин и Жуковский (Пушкин, довольный разбором «Бориса Годунова», написал Языкову, что пришел для «Европейца» все, что будет им окончено, радовался новому журналу и обещал свое полное и деятельное сотрудничество). О статье Киреевского «XIX век» цензура выразила мнение, что она «не взирая на ее нелепость, писана в духе самом неблагоприятном». Правительство подозревало, что «под словом просвещение он (Киреевский. — В.Ш.) разумеет свободу, деятельность разума означает у него революцию, а искусно отысканная середина не что иное, как конституция». На всю жизнь И. В. Киреевский остался человеком крайне неблагонадежным, почти лишен был возможности писать в журналах, не был допущен к преподаванию философии в высшей школе, несмотря на выдающиеся познания в этой области. Защищаясь Ю. Ф. Самарин в 1844 г. диссертация «Феофан Прокопович и Стефан Яворский» была признана крамольной, и значительная ее часть по цензурным соображениям изъята при печатании. Сам Самарин в 1849 г. был арестован за статью «Письма из Риги», в которой он поправилось открытое рассмотрение отношений к прибалтийским немцам. В том же году попал в тюрьму и Иван Аксаков по обвинению в «либеральном образе мыслей». В 1851 г. Аксаков был вынужден оставить государственную службу, так как министерство внутренних дел предписало ему «прекратить авторские труды, оставаясь на службе». В 1857 г. вызвала взрыв негодования в правительственных кругах статья К. С. Аксакова «Опыт синонимов. Публика и народ», заслуживающая того, чтобы выписать из нее несколько строк. Как нетрудно понять из контекста, под «публикой» Аксаков разумеет преимущественно правящую верхушку общества. До «построения» Петербурга, — повествует Аксаков, — у нас не было

¹ Самарин. Соч., т. II, стр. 52.

² Цит. в работе Б. Эйхенбаума (Лев Толстой. кн. II. Шестидесятые годы, 1931, стр. 65).

¹ Ранние славянофилы, стр. LXII—LXIII.

публики, был только народ. «Публика — явление чисто западное и была заведена у нас вместе с разными нововведениями... Она-то, публика, и составляет нашу постоянную связь с Западом: выплывает оттуда всякие, и материальные и духовные, наряды, преклоняется перед ним, как перед учителем, занимает у него мысли и чувства, платя за это огромною ценою: временем, связью с народом и самую истинную мысль». В публике Аксаков усматривает искажение идеи народа. Публика и народ являются, по существу, антиподами. «У публики свое обращается в чужое. У народа чужое обращается в свое. Часто, когда публика едет на бал, народ идет ко всенощной. Когда публика танцует, народ молится. Средоточие публики в Москве — Кузнецкий мост, средоточие народа — Кремль. Публика говорит по-французски, носит немецкое платье, следует парижским модам. Народ живет старинными русскими обычаями... Публика переходящая, народ вечен. И в публике есть золото и грязь, и в народе есть золото и грязь. Но в публике грязь в золоте, в народе золото в грязи. У публики свет (балы и пр.), у народа — мир (сходка). Публика и народ имеют эпитеты: публика у нас — почтеннейшая, народ — православный». Царь наш, естественно, что эта статья написана «в возмутительном духе».

Признаком реакционно-романтического направления славянофильства часто считается якобы свойственная ему манера возвращения к до-петровской старине. Славянофилам приписывается, будто они ментали начисто вычеркнули петербургский период из русской истории, так как он-де характеризуется подражанием Западу. Вопрос именно должен быть поставлен так: Мюллера или Сисмонди? Тянуло ли их назад? Как представляли они себе перспективы развития России? Можно сразу констатировать, что славянофилы (за немногими исключениями) и не думали отказываться от европейского наследия и что, стремясь к восстановлению исконных начал русской истории, они ожидали, что эти начала заживут новой жизнью и поведут Россию вперед. Скоро мы увидим, что это движение вперед неизбежно принимало форму капиталистического развития. Славянофилов раздражала лишь идея рабского копирования западно-европейских образов. «Учение не есть подражание», — пишет Хомяков, — оно есть против русского государства у нас не нашли ничего лучшего, как превратить Русь в «крупного ребенка, готового при Петре единственно для подражания». Ничего своего! «Утешительный вывод: девятисотлетний рост будущей обезьяны». По словам Самарина, в прошлом нужно отыскивать разумные начала, которые были лишь временно отстранены от деятельности. Восстановление их жизнеспособности поможет им прорасти из прошедшего в будущее. И. В. Киреевский, возражая против крайних увлечений на-

ционализмом со стороны Хомякова, недоуменно вопрошал: «... можно ли без сумасшествия думать, что когда-нибудь, никак-нибудь силою истребится в России память всего того, что она получила от Европы в продолжение двухсот лет?»¹ Напрасно утверждают также, будто славянофилы были противниками капиталистического развития России. Ведь недаром их любимым экономистом был Фр. Лист. В 1856 г. Кошелев, выступая против утверждения известного статистика и экономиста того времени Журавского, будто Россия есть государство сельскохозяйственное, называл это мнение изобретением иностранных политико-экономов, подхваченным нашими учеными. Этому положению Кошелев противопоставил свое утверждение, что «промышленность одна может существенно оживить наше земледелие». Он доказывал, что торговля хлебом не может опираться только на отпуск его за границу, и поэтому огромное значение приобретает внутренний рынок для него. «Именно черноморское, даже не отдаленное от пристаней, никогда не даст настоящего дохода, если нет в нем, или в соседстве от него, какого-либо фабричного или заводского производства».²

Славянофилы с большим тщанием и интересом разбираются в проектах железнодорожного строительства, взвешивая перспективы экономического роста районов при осуществлении того или иного проекта. При этом они смеются над предположениями, будто они готовы тормозить развитие новых районов ради консервации роли Москвы. «Сколько на вас грехов! Харьков отобьет у вас шерстяную торговлю, Бахмут — каменноугольную, Киев — пшеницу или что-нибудь другое, а уж Бердянский, Эйск и Феодосия совершенно отрубят от вас Черное море, которое без них было бы к вам ближе. Полноте. Как не стыдно вам так думать? А, пожалуй, вы совсем так и не думаете... и радуетесь всякому добру и преуспеянию на Юге, точно так же, как радовались с восторгом славе Гоголя, никак не думая, чтобы его Малороссийская слава роняла честь северного художества». Однако, признавая целесообразным создание новых экономических районов, славянофилы не были склонны допускать, чтобы центр русской экономики мог передвинуться в южном или ином направлении. «Противается ли Каспийский край? Подвигай туда центр! Процветает Сибирь? Туда. Бедный центр, осужденный на шатание со всяким Сибиром России вперед. Создаются, правда, новые центры торговли и общительности на Юге, будут создаваться и на Дальнем Востоке, и слава богу. Это совсем еще не шатание и не переколевка центра России».³ Наряду с вопросами железнодорожного строительства славянофилы горячо обсуждают положение русских финансов,

¹ Киреевский. Соч., т. I, стр. 110.

² Колупанов. Назв. соч., стр. 415.

³ Хомяков. Соч., т. III, стр. 263.

банковую политику, втягиваются в дискуссии протекционистов и фритредеров. Они отнюдь не хотят отставать от века. У себя в имениях они охотно организуют фабрики и заводы. Невольно возникает искушение признать, что идеалы русской старины они готовы предоставить «мужичку» и общине, пропитав их началами христианского смирения и любви, а сами не могут устоять против греховных соблазнов капитализма. Они лишь хотят противостоять бурному течению времени созданием мощной плотины в виде общины. Обеспечив, однако, таким способом прочные устои общества, они не прочь оставить на периферии известное поприще и для предпринимательской деятельности. Славянофилы не собираются тормозить экономическое развитие своей родины. Наоборот, они даже склонны посылать подталкивать его. Таково мозаичное сочетание в славянофилах самых различных начал. В основном они консерваторы. Но это совсем не значит, что они обскуранты, какими их часто хотят представить. Все человеческое поистине им не чуждо. Они готовы взять из Запада самое лучшее. Но они не хотят быть при этом всегдашними объяснениями. О смешении у славянофилов самых различных научных построений и «стилей» хорошо сказал Чернышевский: «Об нем они говорят так, что одна фраза кажется заимствованной из Прудона, а другая, за нею непосредственно следующая, из жития Симеона Столпника, о другом так, что одна мысль из Белинского, другая — из Булгарина».¹ Что они исходили, прежде всего, из интересов помещиков, не подлежит сомнению. Но они были не реакционными, а прогрессивными помещиками, стремившимися поднять благосостояние страны через улучшение положения широких крестьянских масс. Нас должны интересовать, в первую очередь, не тонкости идеологии славянофильства, а их реальное влияние на русскую историю. Они были участниками крестьянской реформы и в этом смысле способствовали переходу России на капиталистические рельсы. Конечно, реформа была убогая и капитализм на первых порах довольно худосочный. Но, тем не менее, именно с реформой 1861 г. связывается у нас смена формаций. Как мы видели, славянофилы и субъективно сочувствовали развитию капитализма в России.

Нужно остановиться еще на одной существенной черте славянофильского учения. Славянофилы выступали против всякого государственного принуждения и поэтому могут с известным основанием рассматриваться, как родоначальники русского анархизма. В истории русского революционного движения анархизм сыграл отрицательную роль. Славянофилы, как мы знаем, были достаточно далеки и от социализма и от революционной идеологии. И, тем не менее, они впервые стали в России проповедниками

уничтожения государства, как такового. Анархическая струя в научной общественной мысли XIX в. является ее специфической чертой. Можно думать, что от славянофилов эта линия идет лишь отчасти через Герцена, а главным образом через Бакунина к Толстому и Крапоткину. Это упорное тяготение к анархическому идеалу могло быть вызвано лишь в небольшой степени европейскими влияниями (например, Прудона у Герцена и Л. Толстого), а определялось, в первую очередь, реакцией против отвратительных форм полицейского режима, созданного самодержавием. Так, Хомяков боится ограничения общинного устройства больше всего потому, что оно должно быть связано с «расширением административности». Он пишет своему корреспонденту: «Тебе известна более, чем многим, вся мерзость административности в России». В своем стремлении отойти подальше от этой мерзости, ограничить гнусность полицейского режима, славянофилы доверяются больше всего народной стихии, свободной от государственного вмешательства. Общинный строй, основанный на христианской любви, чуждый всяких элементов навязанного извне регулирования, прекрасно функционировал до Петра. Только с петровской эпохи начинается искусственное насаждение правительственного начала. Антигосударственные взгляды славянофилов сказались особенно отчетливо при обсуждении проблем русской истории. Соловьев они обвиняли в том, что он свел всю русскую историю к росту государственности. Государство есть, по воззрениям славянофилов, условное начало, элемент «общественного договора» в политической жизни, выросший в Западной Европе потому, что там общественное согласие не имело органической основы в виде внутренне солидарной общины. Государство происходит от рационалистических начал, проникнутых внешним формализмом и противоположных христианскому духу. Самую резкую постановку отрицания государства мы находим у К. Аксакова и Хомякова. В формулировке Аксакова государство, как принцип, является злом. Даже лучшие формы государственного устройства, разработанные в Западной Европе и Америке, обрекают все же народы на неволю. Закон вызывает окаменение общественной жизни. Живительные силы действуют только в общине, а отнюдь не в государстве.² Конечно, этот своеобразный анархизм славянофилов вырос на совсем другой социальной почве, чем позднейшие анархические учения. Анархические идеалы славянофилов вдохновлялись отнюдь не стихией разрушения. Наоборот, они видели силу разрушения в государственной власти. Их цель заключалась в предохранении возможностей органического роста, заключенных в общине, от тлетворного воздействия государства. Но все же строй идей славянофилов оказал большое влияние на последующее развитие

¹ Цит. у Новича. Жизнь Чернышевского, 1939, стр. 120.

² Колыянов. Наза. соч., стр. 395—396.

³ Проф. Штанг

общественной мысли в России, и заложенные в них анархические элементы тоже оказали свое действие.

Подведем итоги славянофильской идеологии. Славянофилы стояли вне круга просветительских идей в области экономики. Они были представителями не крестьянской, а барской, помещичьей политической экономики. Но основные положения их экономической доктрины были выражены в такой форме, что легко могли быть обращены не на пользу, а против интересов землевладельческого класса России. В частности, нужно подчеркнуть следующие элементы: 1) славянофилы смело выдвинули крестьянина на передний план исторической арены и сделали его центральной фигурой общественной жизни; 2) они разработали учение о сельской общине, как основном устое общественно-политической жизни России, связав его с мыслью о глубокой органической и гармонической солидарности крестьянства, живущего общинным бытом; 3) на этой базе они возвели также свою концепцию общины, как важнейшего средства для противодействия росту общественного неравенства и возникновения пролетариата. Важнейшим недостатком всей теории славянофилов была ее внутренняя статичность, неумение не только понять, но даже поставить проблему внутренней закономерности развития общины.

ГЛАВА ПЯТАЯ

МЕСТО ГЕРЦЕНА И ОГАРЕВА В РАЗВИТИИ РУССКОЙ ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИИ

Герцена с еще меньшим основанием можно назвать профессиональным экономистом, чем Хомякова или Ю. Самарина. В сложившемся в процессе огромной и плодотворной совместной работы А. И. Герцена и Н. П. Огарева¹ разделении труда, на долю Огарева выпала миссия высказываться по специальным вопросам политической экономики. В литературном наследстве Огарева имеется немало экономических исследований. Герцен же был прежде всего великий мастер художественного слова, в котором он видел средство разбудить Россию от векового сна и воспитать в ней социалистический идеал. У Герцена литературный образ нередко вытеснял или заменял научную формулу. И тем не менее, если потрудиться над расшифровкой герценовских символов, можно найти у него все необходимые элементы для воссоздания цельной социально-экономической системы. Самое существенное в идеологии Герцена — это его *общее социалистическое мировоззрение*. На современном научном языке мы назвали бы эти взгляды революционно-демократическими. Но для самого Герцена суть его мировоззрения заключалась именно в социализме. Он очень дорожил мыслью, что является социалистом. В те времена самый термин социализм был гораздо более растяжимым понятием, чем теперь. В этой стороне идейного облика Герцена нам легче разобраться, чем в отношении любого другого революционного писателя, так как, будучи эмигрантом, Герцен не был связан цензурными стеснениями, закрывавшими рот Чернышевскому и многим другим.

Герцен провел в эмиграции почти целую четверть века, большую часть своей сознательной жизни. Центром его деятельности был Лондон. По прихоти истории как раз в те годы, когда тысячи невидимых нитей протягивались к герценовскому «Колоколу» из измученной, стонущей в тисках царского самодержавия России, когда бесконечный поток писем оттуда осведомлял его каждо-

¹ Дружеский союз этих двух великих людей на всю жизнь очень напоминает замечательные отношения, существовавшие между Марксом и Энгельсом.

дневно о мельчайших событиях на родине, больной, борющийся с суровой нуждой и почти одинокий Маркс совершил свой великий научный подвиг, завершившийся в 1867 г. выходом в свет I тома «Капитала». Но есть огромная разница в эмигрантском положении обоих великих мыслителей. Маркс оторвался от Германии. Он с большой настойчивостью изучал экономическую жизнь передовой в то время капиталистической Англии, и это чрезвычайно облегчало ему создание доктрины социализма. Герцен и на чужбине оставался русским до мозга костей. В страданиях далекой русской деревни черпал он источник вдохновения для страстного обличения язов русской жизни, для революционной пропаганды.

Для Герцена несомненно большим несчастьем является то, что он не сумел использовать долгие годы одновременного пребывания в Лондоне для установления дружеской связи с Марксом, как это впоследствии удалось сделать многим русским революционерам и ученым, несмотря на глубокую разницу в научном мировоззрении (П. Л. Лавров, Герман Лопатин, Н. Ф. Даниэльсон). Мы знаем, какое огромное влияние оказали беседы и переписка с Марксом на этих русских людей. Для такого глубокого, восприимчивого мыслителя, каким был Герцен, общение с Марксом должно было бы явиться еще гораздо более плодотворным.

Отрицательное отношение Герцена к Марксу развилось из-за принадлежности последнего к немецкой эмиграции (мы знаем, как глубоко сидело в Герцене отвращение ко всему немецкому), с которой Маркс в действительности имел так мало общего. Отвечное враждебное чувство Маркса диктовалось убеждением, что Герцена лишь по недоразумению можно считать революционером, а в действительности стержнем его пропаганды является панславизм. В самом деле, приведем наиболее убедительные выдержки. Глава 57-я «Былого и дум», в которой Герцен касается своих отношений с Марксом, была напечатана впервые уже после смерти Герцена в 1870 г. Из этой главы видно, что борьба Герцена с «марсидами», как он сам написал впоследствии, была из-за Бакунина, но еще в гораздо большей мере по мотивам национально-патристического характера. Герцен считал, что со стороны Маркса «ненависть была чисто платоническая, так сказать безличная: меня приносили в жертву фатерланду из патриотизма». ¹ Рассказывая о том, как Маркс якобы хотел отвести его кандидатуру на заседание Международного комитета революционеров, созданного по мысли Эрнста Джонса для сближения английских рабочих с французскими социалистами, Герцен приписывает Марксу следующие мотивы: «Маркс сказал, что он меня лично не знает, что он не имеет никакого частного обвинения, но находит достаточным, что я русский, и притом русский, который во всем, что писал, поларживает Россию». ² Разумеется, в этом контексте поддержка Рос-

сия только и может означать панславистскую пропаганду, в которой Маркс несправедливо готов был заподозрить Герцена. Отсюда известные слова Маркса: «Я с Герценом не хочу никогда и в книге фигурировать вместе, так как не держусь того мнения будто «old Europe» может быть обновлена русской кровью». ¹ В этом указании Маркса, правда, не звучит мотив связи идеи обновления Европы с панславистской пропагандой. Но сам Герцен рассказывает об одной из своих бесед с Ариодом Руге, в которой тот сказал о Бакуине: «...в последнее время он стал как-то опускаться, бредил каким-то революционным царизмом, панславизмом». ² Этот «революционный царизм, панславизм» и стоял, по мнению, между Марксом и Герценом. Энгельс назвал Герцена «панславистским беллетристом, которого раздули в революционера». Учение о русском социализме у Герцена Энгельс всегда охотно всего толковал как разновидность мессианства, т. е. веры в богоизбранность русского народа. Идеологии подобного рода Энгельс неизменно возводит к Герцену. Так, относительно артели он замечает: «...она еще со времен Герцена играет у многих русских мистическую роль». Однако Герцен был в гораздо большей степени несправедлив к Марксу, когда хотел приобщить его к ответственности за стремление немцев монополизировать науку в России, чтобы тем скорее властвовать над нашей страной. Общей оценке Герценом влияния немецкой культуры в России мы можем разумеется лишь сочувствовать. Назойливая немецкая активность простекала, по мнению Герцена, из того, что немцы «сознавали политическую второстепенность германского отечества» и все же хотели играть первую роль. ³ Безмерные притязания немцев особенно резко сказываются, полагает Герцен, в отношении России. Руге писал, например, Герцену, что «Россия — один грубый материал, дикий и неустроенный, которого сила, слава и красота только оттого и происходят, что германский гений ей придал образ и подобие». ⁴ Каждая попытка русского ученого проникнуть в университеты или Академию встречает «озлобленное удивление немцев». Понятно, что с подобным монополистическим духом Маркс не имел ничего общего. Но недостоверно ко всему немецкому помещало Герцену разгадывать, что Маркс создан из совсем другого теста, чем Руге или Кинкель. Таким образом отчужденность, существовавшая между Герценом и Марксом, покоилась, в сущности говоря, на недоразумении.

Для того чтобы плодотворно судить о том, был ли Герцен для своего времени социалистом или нет, нужно, естественно, предварительно договориться о том, кого вообще называть социа-

¹ Маркс и Энгельс. Соч., т. XXII, стр. 84.

² Былое и думы, лит. изд., стр. 238.

³ Там же, стр. 244.

⁴ Там же, стр. 245.

¹ А. И. Герцен. Былое и думы, т. IV, ч. 6, М., 1938, стр. 252.

² Там же, стр. 260.

листом. Сороковые годы прошлого века были в этом отношении временем крайнего злоупотребления самым именем «социализма» и в Западной Европе и у нас. Социалистами часто называли себя люди, ничего общего с социализмом не имевшие. Основоположникам марксизма пришлось даже в «Манифесте коммунистической партии» заниматься рассмотрением нескольких разновидностей «реакционного социализма». Одна из этих разновидностей, «феодалный социализм», есть, по меткой характеристике Маркса и Энгельса, «частью жалоба, частью пaskвиль, частью отголосок прошлого, частью угроза будущего, по временам метко поражающий буржуазно-горьким, остроумным и едким суждением, по всегда производящий комическое впечатление полную неспособность понять ход новейшей истории».¹

Так как конечною целью «феодалного социализма» является, как указано Энгельсом в «Принципах коммунизма», восстановление патриархального и феодального общества, то «эта категория реакционных социалистов будет всегда вызывать резкие нападки со стороны коммунистов, несмотря на ее мнимое сочувствие к бедствиям пролетариата и проливаемые по этому поводу горячие слезы».² Не менее резко высказывают Маркс и Энгельс свои отрицательные суждения о «грязной расслабляющей литературе» немецкого или «истинного» социализма, непосредственно представляющего реакционные интересы. Немецкий социализм «составил слашавое дополнение к горьким расправам посредством ударов кнута и ружейных пуль», которыми немецкие абсолютистские правительства отвечали на востания рабочих. Следует ли, однако, эти течения называть социалистическими? Обывательская практика щедро расклеивала ярлыки социализма, где нужно и где не нужно. Но должна ли была и наука следовать за ней по этому пути? Внимательное чтение энгельсовских «Принципов коммунизма» показывает, что указанные категории социализма выделялись основоположниками марксизма для противопоставления их коммунизму. У Энгельса 24-й вопрос как раз и гласит: «Чем отличаются коммунисты от социалистов», а ответ начинается с указания, что «так называемые социалисты разделяются на три категории». Таким образом феодальный социализм или «истинный» социализм — это не более, как «так называемый социализм». Однако Маркс и Энгельс не собирались, конечно, взять за скобку «так называемого социализма» все социалистические течения как враждебные коммунизму. Достаточно слитичь текст «Принципов коммунизма» и «Манифеста коммунистической партии», чтобы убедиться в том, что по крайней мере одно направление социалистической литературы остается вне подозрений: это «критически-утолический социализм».

Важно теперь показать, на каком общем фоне понимания задач социалистического переустройства общества возникли герценовские теории социализма. В России середины прошлого века социалистическое повестрие было еще гораздо более единодушным и всепоглощающим, чем на Западе. Каждый старался напасть на себя лично социалиста, чтобы не прослыть ретроградом. В 30-х годах господствовало всеобщее увлечение сен-симонизмом. Ему на смену в 40-х годах пришел фурьеризм. Но рядом с этим основным ядром развития социалистической доктрины приобретали хождение и течения, вполне аналогичные западно-европейскому «феодалному социализму» и другие разновидности «так называемого социализма». Чтобы понять прогрессивность и революционный характер герценовского социализма, полезно вставить его в рамки этих своеобразных квази-социалистических течений середины прошлого века.

В 40—50-х годах у нас было немало людей, для которых социализм был лишь своего рода «маниловщиной», причем социализм принимал нередко не революционные, а консервативные формы. Интересно, например, что даже славянофилы были по-своему социалистами. В нашей литературе приводились уже выдержки, свидетельствующие о том, что так именно воспринимались современниками общественные идеалы славянофилов. Белинский, например, уверял, что славянофилы смотрят на народ так же, как Бакунины, и что они «высосали эти понятия из социалистов». Герцен считал, что социализм — это мост, на котором он может «подать руку» славянофилам. Аполлон Григорьев не желал мириться с «степным и безносом, да вдобавок еще начиненным всякой попопиной социализмом славянофилов».¹ Проф. Б. М. Эйхенбаум приводит из записной книжки Толстого следующие строки: «Славянофилы подмешали к своим убеждениям социализм, эту политическую неразрешимую пеньку. От этого-то их ничем не собьешь».² Так как славянофилы заведомо отрицательно относились к революционному социализму Запада, то С. Дмитриев пробует создать идельное родство славянофильства с реакционным «феодално-поповским» утолическим социализмом 30-х и 40-х годов, ничем, однако, не доказав исторической правильности своих взглядов. Трудно предположить, чтобы, будучи жестокими антагонистами католичества и ревнителями православия, славянофилы могли проявить склонность к враждебному им течению. Скорей всего социализм славянофилов представлял собой принудительную смесь примитивного коммунизма первых христианских общин с утолическим социализмом Фурье. Один из наиболее сильных в теоретиче-

¹ Маркс и Энгельс. Соч., т. V, стр. 503.

² Там же, стр. 480.

¹ С. Дмитриев. Славянофилы и славянофильство. История-марксист. 1941, № 1, стр. 95.

² Б. Эйхенбаум. Лев Толстой, кн. II. Шестидесятые годы, 1931, стр. 18—19.

ском отношении славянофилов. Ю. Самарин советует понять, что «е следует рисовать социалистов непременно «пугалом в усах, длинной бороде, с зверским взглядом и в лохмотьях». Социализм может облачаться также в «общую одежду консерватизма самого непреклонного». Известны также отдельные случаи, когда писатели, сравнительно близкие к славянофилам, выступали с защитой общинного земледелия на основании учения Фурье. В 1858 г. в журнале «Атеней» была помещена статья М. Н. Юрьина, построенная именно на такой идее. Для Юрьина социализм — консервативное начало. Понятия и убеждения русского народа представляют собой прекрасную почву для социализма подобного рода. «Обычный труд человека является источником страданий. Только труд в коллективе, ассоциация труда приносит наслаждение и обеспечивает эффективное применение затрат. Славянофил Кошелев замечает об этой статье, что автор ее весьма верно определяет «характер социализма на Западе».¹

Широкое распространение социалистических идей среди общественных элементов, которые не в состоянии были прочно воспринять их, естественно приводит к легкой смене вех среди людей, которые сегодня являются социалистами, а на завтра становятся непримиримыми врагами этой идеологии. Характерен пример Н. Я. Данилевского, который «из человека консервативного направления годов, увлекшись социалистическими идеями и в особенности теорией Фурье», а затем после ареста раскаялся и вернулся к первоначальным убеждениям. П. П. Семенов-Тянь-Шанский рассказывает о том, что один из крупнейших бюрократов эпохи «крестьянской реформы», Я. Ю. Ростовцев, по прочтении увлекательного и проникнутого глубоким убеждением в непротивность теории Фурье изложения Данилевского «убеديлся» в том, что «Фурье никогда не проповедывал ничего революционного, а, напротив, предлагал правительствам устроить для блага человечества фабрики, т. е. рабочие дома, в которых каждый нашел бы себе применение своим склонностям и способностям».² Впоследствии объяснениями Данилевского, все члены судебной комиссии «сделались сами более или менее фурьеристами».

Интересно также отметить, что один из крупнейших востоковедов середины XIX в., П. С. Савельев, человек умеренных взглядов и одно время секретарь Комитета иностранной пензуры, по словам его биографа, по своим теоретическим взглядам был социалистом. «В сфере политико-экономических идей, — говорится в его биографии, — благородное сочувствие к массам ставило его инстинктивно в ряды противников учения laissez faire, laissez

passer, имеющего практическим последствием тиранство капитала и обездоление труда».¹ И сам биограф Савельева В. В. Григорьев — один из наиболее консервативных людей своей эпохи, бывший впоследствии начальником главного управления по делам печати, — замечает, что «вполне разделял его симпатию к социализму».

Венцом этой неразберихи, связанной с нечеткостью социалистических убеждений и самого понимания социализма, может служить заявление в герценовских «Голосах из России», представивших, правда, как бы парламент мнений, одного из авторов о том, что министр П. Д. Киселев и даже сам Николай I заслуживают... наименования социалистов за произведенную ими организацию труда государственных крестьян: «министр делается социалистом и покойный государь, самовластный неограниченный твердейший деспот является в сфере управления государственным крестьянами также социалистом. Оба эти лица: покойный государь и министр Киселев, являются такими действительными, верными и фактическими поборниками истинных социальных начал, что перед ними становятся бледны желания западных, утопических социалистов».² Можно еще упомянуть, что в период подготовки крестьянской реформы реакционерами был выпущен памфлет под заглавием «О социализме Редакционных комиссий».

Среди всех этих идеологических течений середины прошлого века, из которых многие были только «загримированы» под социализм, мировоззрение Герцена и Огарева занимало особое место. Оно так же выделялось среди них качественно иным восприятием проблемы борьбы за новое, социалистическое общество, как критически-утопический социализм в «Коммунистическом манифесте» выглядел на фоне «феодалного социализма», «истинного социализма», мелкобуржуазного социализма и т. д. Он совершенно непохож на них в том отношении, что проникнут началом протеста и борьбы против эксплуатации трудящегося, — борьбы, направленной на совершенное уничтожение этой эксплуатации.

В глазах самого Герцена, социалистический идеал несомненно был главным стержнем его общественного мировоззрения. Он видел в социализме не побочную деталь, а центральное понятие, на котором держится вся система. Отношение к социализму определяет человека. Вместе с тем широка социалистическое мировоззрение до известной степени и пугала Герцена, так как ему казалось, что социалистический идеал не по плечу современному человечеству, духовно состарившемуся в разлагающей обстановке «мещанского» капитализма: «Трудно переродиться старому Адаму, социализм слишком широк для изможденных людей и слиш-

¹ Колупняков. Назв. соч., т. II, стр. 370—371.

² П. П. Семенов-Тянь-Шанский. Детство и юность, стр. 180.

¹ П. П. Семенов-Тянь-Шанский. Назв. соч., стр. 212.

² Голоса из России, кн. V, Об освобождении крестьян в России. London 1858, стр. 31—32.

ком несовместен с обветшалыми формами, в которых держится старая жизнь Западной Европы.¹ Основным содержанием социализма для Герцена является вопрос материального благоустройства людей. Социализм — это «вопрос пищеварения».² Однако этот глубочайший переворот в общественной жизни, который должен устранить коренную несправедливость в пользовании богатством, должен перестроить до неузнаваемости все стороны человеческого общежития. Герцен опровергает обычное мнение, будто «социализм имеет исключительной целью разрешение вопроса о капитале, ренте и заработной плате». Он, правда, не отказывается и от такой трактовки нацисто, но он вместе с тем замечает, что «это не совсем так. Экономические вопросы важны, но они составляют одну сторону целого воззрения». Социализм должен произвести переворот «во всем общественном устройстве». Он должен захватить своими преобразованиями также семью и сказаться «в частной жизни, около очага, в поведении, в нравственности».³ Ту же мысль Герцен высказывает еще и в такой форме: «Все отношения общества к частным лицам и частных лиц между собой должны быть совершенно изменены».⁴ Прав был М. О. Гершензон, когда он писал о Герцене: «Социализм для Герцена далеко не ограничивался экономической сферой, хотя он и признавал в полной мере первостепенную важность вопроса о распределении богатства, о присвоении орудий производства».⁵

При известной неровности герценовских настроений неудивительно, что путь от общины николевской эпохи до развернутого социалистического строя казался ему то близким, благодаря особенностям исторического развития России, то бесконечно далеким, то безболезненным и мирным, то неизбежно чреватом революцией. Нам не должно казаться странным, что Герцену временами чудилось, будто его время отделило от социализма целые века. Молодое поколение 70-х и 80-х годов было проникнуто священной жадой революционного действия, чтобы пройти то, что бы то ни стало самим дожить до социализма. Мы знаем, что этой же благородной мечтой увидеть социализм своими глазами долго горели и основоположники марксизма. У Герцена преобладал в этом вопросе пессимизм. Отражая, несомненно, ряд предвзятых бесед, Огарев писал Герцену в 1869 г.: «Какой будет ход истории — этого я не знаю, да едва ли кто и знает больше моего. Будет ли это *постепенность*, которая приведет к политической организации на экономическом основании через 5000 лет, или рево-

люция за революцией, которые обработают это дело лет в 200, — этого мы ничего не знаем».¹ Таковы были *темы* развития социализма из общины, в представлении Герцена и Огарева.

Для характеристики социалистического идеала у Герцена и Огарева и их представлений о способах их осуществления замечательный материал представляют «Письма к старому товарищу» Герцена и ответные рассуждения Огарева. Закономерности развития социализма, Герцен хочет искать при помощи исторической науки. Он ожидает, что общество будет развиваться к социализму с такой же непреклонной неизбежностью, как происходит развитие биологических видов. Общественное развитие может подчиняться математическим законам. В этом пункте с ним решительно расходился Огарев, по мнению которого «человеческая общественность» (т. е. историческое развитие) меняет свои формы бесконечно. Без постоянства и ограничения общественных форм». Но независимо от этого разногласия оба автора видят задачу ближайшего будущего в «практическом создании экономически-общинного (социального) положения». Преобразование может совершиться, по мысли Огарева, лишь в результате ряда «местных» переворотов. Для него реальностью является лишь победа социализма в одной стране; «...общий переворот в роде человеческого немислим». Поэтому «социализм теоретичен, социализм всеобъемлющий, будь он Фурье или Гракха Бабефа — неприложим». Реальное движение может быть только местное и в случае удачи социализм, созданный на новых реальных отношениях, на новой реальности, может быть только своеобразный, а нисколько не единый».² Герцен склонен был верить в возможность того, что наука, взяв за исходный пункт общины («будь то в России, где их корень в крестьянстве, будь то на Западе, где их корень в городских кооперациях», — пишет Огарев), сможет последовательно проследить все этапы, которые предостит им пройти эволюционным путем до превращения в ячейку социалистического общества. На этой точке зрения стоит Огарев. Путь реформ представляется ему сомнительным. А неудача реформ неизбежно приведет к революции. История не знает случаев, чтобы «властвующее меньшинство уступало добровольно». На вопрос Герцена, следуют ли толкикам наущать творческию тишину внутренней работы, Огарев отвечает: «Я не вижу в историческом ходе рода людского этой беспрерывной, неудовимой инкубации. История пла гоголоз большею борьбой и прыжками, чем творческой тишиной внутренней работы».³ В прошлом человечества революция оказывается постоянным явлением, так что можно на целую историю взглянуть, как на ряд неудавшихся революций. Революция всегда знает, от чего она отпра-

¹ Герцен. Письма из Франции и Италии, письмо десятое. Соч., т. V, 1905, стр. 118.

² Там же, письмо первое, стр. 9.

³ Там же, письмо одинадцатое, стр. 136.

⁴ Герцен. Старый мир и Россия, письмо первое. Соч., т. V, стр. 304.

⁵ М. Гершензон. Социально-политические взгляды Герцена М., 1906, стр. 7.

¹ Литературное наследство, 1941, № 39/40, стр. 343.

² Там же, стр. 343.

³ Там же, стр. 345.

коренным зубам можно будет восстановить ископаемые остовы Англии и Франции до последней косточки. Тем больше, что, в сущности, эти мастодонты социализма принадлежат одной семье, идут к одной цели, и из тех же побуждений, — тем ярче их различие.¹ Антитеза приемов борьбы за социализм воплощается для Герцена в образах хирурга Бабефа и акушера Оуэна. Бабеф хотел властью, т. е. насилием, «разрушить созданное силой». Он «прикавал бы Франции новое устройство». Он «внесил бы французам свое *рабство общего благосостояния*». Характер этого насилия был таков, что должен был вызвать в ответ «страшнейшую реакцию». Однако приведенными замечаниями Герцена еще отнюдь не определяется его отрицательное отношение к методам бабувизма. Бабеф «бросил миру великую мысль в неслепой форме». Мы увидим, что при других формах сам Герцен окажется довольно близок к этой «великой мысли». Для Оуэна «главный путь водворения нового порядка — *воспитание*». Он не помышлял о насилии, а «хотел только облегчить развитие». Он начал с частного случая. Его микроскопом, его лабораторией был Нью-Ланарк. Он изучал развитие зародыша, и его лаборатория служила цели ускорения процессов его созревания.

Естественно теперь поставить вопрос: был ли Герцен сторонником хирургических или акушерских методов. Подчас политический темперамент Герцена заставлял его ставить этот вопрос с большой остротой. «Время политического эклектизма прошло, — декларирует он, — надобно стоять на том берегу или на этом». Политические деятели XVIII в. были революционерами, если они хотели быть республиканцами. Не то в XIX в.: можно одновременно быть и республиканцем и отчаянным консерваторм. Однако в настоящее время социализм нельзя не быть революционером. Предвидя классовые быт будущего и предвосхищая их конкретные формы, Герцен готов иногда ожидать, что социалистический переворот действительно может закрепиться лишь в том случае, если он будет произведен народной революцией. В этой революции, однако, Герцен предпочитает выдвигать на передний план крестьянина. Особенно характерно в этом отношении одно из высказываний Герцена. Он изображает, как постепенно революционная пропаганда переносится из города в деревню. Крестьянин, наконец, начинает понимать, что его грабят. И вот, когда это дошло до его сознания, он «с своей упорной твердостью хлебопашца, с своей основательной прочностью во всяком деле ... сочтет свои силы, и потом сметет с лица земли старое общественное устройство. И это будет настоящая революция народных масс. Всего вероятнее, что действительная борьба богатого меньшинства и бедного большин-

¹ Герцен. Роберт Оуэн. Соч., т. III, стр. 384.
² Там же, стр. 385.

ства будет иметь характер резко коммунистический». Мы увидим дальше, что Герцен далеко не всегда был верен этому тезису о коммунистической революции народных масс. Сейчас же нужно остановиться на важнейшем вопросе о *классовой природе* этой народной революции.

Едва ли можно сомневаться в том, что Герцен был идеологом трудового крестьянства, что идеалом общественного устройства для него был сельский социалистический коллектив. Однако у нас до сих пор как-то не замечали, что именно Герцен является одним из первых провозвестников в нашей стране *объединения интересов рабочих и крестьян*. Наши исследователи держали в фокусе своего внимания известную фразу Герцена: «Человек будущего в России — мужик, точно так же, как во Франции — рабочий». Однако эта антитеза меньше всего должна наводить на мысль о том, что рабочие отделены от крестьян китайской стеной, что, по Герцену, их интересы противоположны или хотя бы разлагаются в разных плоскостях. В одной из помещенных в «Колоде» статей Герцен высказывает с исключительной ясностью задачу объединения западно-европейского пролетария с нашим крестьянином в общих интересах: «Подумайте теперь о результате, когда эта шестая доля земного шара, со всеми туранскими и чуждыми примесями с социальными инстинктами, освобожденная от немецких кролодок и лишенная воспоминаний и наследства, переключается с пролетарием-работником и пролетарием-батраком на Западе и они поймут, что собственно у них дело одно». ³ Анализируя причины неудачи французской революции 1848 г., Герцен приходит к выводу, что ей не хватало широкой социальной базы и что распространение революционной пропаганды в деревне может дать недостающее звено, которое поможет вытянуть всю цепь. После разгрома рабочих революция не остановилась. «Трибуна рабочих перенеслась в деревню. Эта пропаганда неуловима и службе захватывает, нежели клубная болтовня». ⁴ Итак, уже в середине XIX в., когда промышленное развитие Франции было еще относительно слабым, Герцен правильно усматривал естественного союзника городского пролетария в эксплуатируемой массе трудового крестьянства. При этом к чести Герцена нужно сказать, что он видел в крестьянстве не выкрашенную в однотонный серый цвет безликую массу, а умел разглядеть в крестьянской среде отдельные экономические категории, свидетельствующие о происходящем расслоении. Не раз можно встретить у Гер-

¹ Герцен. Письма из Франции и Италии, письмо тринадцатое. Соч., т. V, стр. 152.

² Герцен. Русский народ и социализм. Соч., т. V, стр. 275.

³ Нестор Котляревский. Канун освобождения, Петроград. 1916, стр. 123.

⁴ Герцен. Письма из Франции и Италии, письмо тринадцатое. Соч., т. V, стр. 151.

цена указания на то, что прослойка богатых крестьян в деревне наживается за счет бедняков. Однако особенно четко показаны Герценом фигуры деревенского батрака и крестьянина, ведущего свое хозяйство. «Сельский пролетарий и крепостной мужик — два страшных обличителя двух страшных несправд нашего времени». Батрачество — специфическая категория западно-европейской экономики. Здесь Герцен выделяет слой «деревенских мещан собственников» (по терминологии Герцена — это означает капиталистов), который «тяжело налег на сельский пролетариат и душит его отрицательными чертами. Они отличаются «изуверством, несообразностью и скупостью». Их каменные избы далеко разбросаны по полям и отгорожены от соседей. «Поля эти имеют вид заплат, положенных на земле. На них работает батрак, бобыль, словом сельский пролетарий, составляющий огромное большинство падно-европейских крестьян». В другом месте Герцен говорит о заториальных условиях для исторической жизни других сословий».¹

В предыдущем изложении выбраны из произведений Герцена те места, в которых наш великий просветитель выступает как революционер, да к тому же проповедует народную революцию, осуществляемую пролетариатом в союзе с крестьянством. Конечно, изложенные мысли существовали у Герцена лишь в смутном виде, и он далеко не всегда последовательно проводил их в своих сочинениях. У Герцена историческая перспектива все же оказалась искаженной потому, что он в конце концов отдал приоритет не рабочему, а крестьянину. Как это могло произойти? До конца пада и был чужд славянофильскому возведению русских начал над иностранными. Если, тем не менее, в сознании Герцена весь склонился в русскую сторону, то это случилось потому, что Герцен усомнился в способности Запада произвести социалистический переворот. С 40-х годов Герцен с мучительным нетерпением ждал социализма. Ему представлялось, что вся Европа вплотную подошла к заветной грани. За последние десятилетия и в России и на Западе произошли изменения важнейшего порядка: «и мы, и Европа, совсем не те, и мы, и Европа стоим у какого-то предела, и мы, и она коснулись черты, которой оканчивается тот исток». Итак, нужно перешагнуть через Рубикон. А между тем «Европа показала удивительную неспособность к социальному повороту». У западных социалистов «нехватало нерва револю-

ционного». Поэтому представителям буржуазии удалось убрать их с финансов и обезвредить. Показательно в этом отношении люблянская люксембургская комиссия. Вообще, именно 1848 год был для Герцена лучшим доказательством банкротства западно-европейского социализма. «Для меня очевидно, — пишет Герцен, — что западный мир доразвился до каких-то границ... и в последний час у него не достает духу ни перейти их, ни довольствоваться приобретенным». Такое состояние Запада нельзя назвать нормальным. Европа, по образному выражению Герцена, «ляжет». «Эпоха линияния, в которой мы застали западный мир, самая трудная: новая шкура едва показывается, а старая окостенела, как у носорога». «Европа приближается к страшному катаклизму»² и если у нее не окажется сил, чтобы справиться с положением, ей предстоит эпоха упадка и увядания. Революция 1848 г. была релетической, но она кончилась неудачей. Она не приобрела достаточного резонанса, в частности не нашла отклика в России: «разлив 1848 г. был слишком мелок, чтобы поднять наши степи». Этой неудаче 1848 г. Герцен придает роковой характер: «мне кажется, — пишет он, — что роль *теперешней* Европы совершенно окончена; с 1848 года разложение ее растет с каждым шагом». Но ведь в этих словах осуждается на гибель лишь *теперешняя* Европа. Может быть, в ней найдутся новые, неожиданные силы? Хотя теоретически Герцен и допускает такую возможность, но сам практически не очень верит в нее. Конечно, «не народы погибнут, — погибнут государства», а Европа в целом «должна преобразоваться, разложиться, чтобы войти в новые сочетания». Но Герцен не уверен в том, что Европа решится на такой переворот: «она слишком богата, чтобы рисковать всем имуществом на одной карте». Поэтому консерватизм не может не играть существенной роли в европейских государствах. Революционной силой могли бы быть одни работники. «Но и рабский может быть побужден из-за наличия страшных противодействий: «тогда разложение старого мира придет иным путем и социализм осуществится в других странах».³ Это положение выражается еще πιο своеобразной формулой: «1848 год не умер, он переехал на другую квартиру». Иногда Герцену кажется, что в Европе умерли не только «правительства и общественные формы», но даже в народах. На фоне этого жестокого разочарования в революционных

¹ Герцен. Концы и начала, письмо шестое. Соч., т. V, стр. 385.

² Там же, письмо пятое, стр. 383.

³ Герцен. Русский народ и социализм, письмо к Мишле, Соч., т. V, стр. 363.

⁴ Герцен. Юрьев день! Юрьев день! Русскому дворянству, Соч., т. V, стр. 327.

⁵ Герцен. Старый мир и Россия, письмо первое, Соч., т. V, стр. 304.

⁶ Там же.

⁷ Герцен. Старый мир и Россия, письмо первое, Соч., т. V, стр. 304.

⁸ Герцен. М. А. Бакунина, Соч., т. VI, стр. 322.

⁹ И. И. Штеин

¹ Герцен. Крепостная собственность. Соч., т. V, стр. 285.

² Герцен. Письма из Франции и Италии, письмо первое, Соч., т. V, стр. 12.

³ Герцен. Русские немцы и немецкие русские, отрывок четвертый (продолжение). Соч., т. VI, стр. 275.

⁴ Былое и думы, т. II, гл. «Не наши», стр. 412.

способностях Европы и возникает у Герцена мысль о том, что социализм должен прийти с Востока. «Горячее дыхание больной Европы веет на Русь переворотом».¹ Это значит, что физические силы больной Европы не позволяют ей справиться с задачей создания социализма. У России неожиданно оказалось этих сил гораздо больше. Отсталая Россия должна показать миру новые пути. Эту мысль Герцен облекает в форму яркого, эффектного, запоминающегося образа. Западный мир, дойдя до предела, застыл. «Случайное распределение сил, богатств, орудий работы, оставленное ему в наследство, окаменело давностью и, укрепленное всеми новыми средствами, ставит стену, которую до сих пор нельзя взять никаким приступом».² Против этой стены социализм имеет только одно оружие: лом да рубье. Единственная «органическая» попытка мирного решения, предпринимаемая на основе рабочих артелей и товариществ, не могла быть успешной в условиях капиталистического гнета. Либеральные экономисты старого толка были впрочем сделать вывод из всего этого, что лучше всего вернуться к испытанному принципу «экономической свободы». И вот в такой-то момент беспомощная Европа увидела «какой-то тусклый свет, и этот свет мерцал от лучины, зажженной в избе русского мужика». Именно этому дикому парию, дикому, пьяному, в бараньем тулупе, в лаптях, ограбленному и безграмотному мужику суждено было вмешаться «в тот нерешенный вопрос, перед которым оставалась Европа, политическая экономия, экстраординарные и обычные профессора, камералисты и государственные люди». Это слово, властно вставленное русским крестьянином в спор, было установление «права каждого работника на даровую землю».³

Если вдуматься в приведенные рассуждения Герцена, нетрудно убедиться в том, что для Западной Европы он действительно не видел выхода. С ломом и рубьем он не хотел идти против воздвигнутой капитализмом мощной стены, а мирное «сражение» в социализм путем производственных ассоциаций он справедливо считал невозможным при капиталистической обстановке. Таким образом на Западе пасовали методы и хирурга Бабефа и акушера Оуэна. Но в России оказывался возможным иной, более благоприятный исход. «Запад находится совсем в другом положении относительно коренного, экономического переворота, чем мы». Может быть, когда-нибудь и «наше развитие спутается», но пока мы поставлены в отношении переворота «свободнее Запада» и должны этим воспользоваться. Началом этого переворота Герцен повидимому, склонен был считать освобождение крестьян с землей. По словам Герцена, «попрос социальный совсем не так далек от нас, как думают, мы середь него. Освобождение крестьян с землею —

начало великого экономического переворота, в который Россия вступает. Экономического или социального? — Это уже решайте сами». Мнение о том, что освобождение крестьян с землею представляет величайший экономический переворот, не является ларинком, случайно сорвавшимся с пера. Об этом Герцен говорит неоднократно. Но неужели мог Герцен видеть в освобождении крестьян сверху социальную революцию, т. е. переход к социализму? Очевидно, Герцен не додумал этого вопроса. С одной стороны, как уже сказано, для него очевидно, что современный социализм может быть только революционным. Но в отношении России он как будто готов допустить исключение: «революционная идея может у нас сделаться народной. В то же время как в Европе социализм принимается за знамя беспорядка и ужасов, у нас, напротив, он является радугой, пророчащей будущее народное развитие». Герцен понимает, что освобождение крестьян с землей означает «зачинание значительной собственности дворянства. Условия дворянского быта должны перемениться с освобождением, а с ними и его отношения к правительству».¹ Здесь у Герцена очень отчетливо сказано о том, что те или иные условия освобождения крестьян должны оказать решающее влияние на распределение общественного дохода и производительных сил и тем самым воздействовать и на сложившееся равновесие в политической жизни. Но все же из песни слова не выкинешь, и остается недоумевать по поводу того, как предполагал Герцен сочетать после освобождения крестьян с землей «дворянский быт» с социализмом. Эти отступления от проповедывавшихся им революционных принципов у Герцена прорывались именно потому, что он был переходной фигурой «от поколения дворянских революционеров к поколению революционеров-разночинцев».²

Однако нельзя забывать того, что взгляды Герцена приобретают такую окраску в наших глазах на весах истории, создаваемой в стране победившего социализма. По-иному представлялась герценовская проповедь его современникам. Либеральная общественная мысль середины прошлого века воспринимала Герцена как революционера и социалиста. Характерно в этом отношении, например, письмо к издателю лондонских «Голосов из России», подписанное «Русский либерал» и принадлежащее, повидимому, перу Б. Н. Чичерина. «Мы думаем о том», — писал Чичерин, — как бы освободить крестьян без потрясения всего общественного организма... А Вы нам толкуете о мечтательных основах социальных обществ, которые едва ли через сотни лет найдут себе приложение». Чичерин обвинял, далее, Герцена в том, что для него идеалом человеческого рода является «прудонская анархия».

¹ Герцен. Юрьев день! Юрьев день! Соч., т. V, стр. 379.

² Герцен. Русские немцы и немецкие русские. Соч., т. VI, стр. 282.

³ Там же, стр. 283.

¹ Герцен. Старый мир и Россия, письмо третье. Соч., т. V, стр. 323.

² Е. М. Зеликин. Отношение Герцена к Чернышевскому. Сб. 1889—1939. Н. Г. Чернышевский. Труды научной сессии к пятидесятилетию со дня смерти. Изд. ЛГУ, 1941, стр. 225.

Он вопрошал Герцена в недоумении: «что нашли Вы такого в русском мужике... что же он делал для того, чтобы можно было ожидать от него будущего возрождения человечества?» Чичерин высказывает также удивление по поводу того, что «полудикий зародыш общественного быта» — русская община представлялась Герцену чем-то «вроде коммунизма». Иронизируя над подобным взглядом, Чичерин восклицает: «Но такой коммунизм устроить весьма легко: нужно только, чтобы существовали земле-владельцы и рабы».¹ Особенно острой критике Чичерин подвергает худшее ему в произведениях Герцена намерение добиться коренного перелома в социальных отношениях: «Вы воображаете, что перейти от одной формы быта к другой так же легко, как перебежать из Москвы в Лондон... Это, как яблоко, которое мы должны проглотить, чтобы вдруг измениться с головы до ног».² Мы привели эти нападки Чичерина на Герцена потому, что он несомненно был как бы рупором умеренно-либеральных кругов в оценке герценовской позиции. Попробуем теперь определить основные линии социально-экономического мировоззрения Герцена с точки зрения современной науки. Мы уже неоднократно подчеркивали, что Герцен не был экономистом по специальности. Он подошел и к вопросу о смене общественных форм больше как художник, чем как профессионал, ученый. Отсюда и получилось, что ясное представление о ходе экономического развития у него не было. Он был гораздо дальше от мысли об имманентной необходимости смены капитализма социализмом, чем Чернышевский. Самое представление о капитализме было у него крайне смутным. Ему казалось, что Европа все еще борется прежде всего с феодализмом, остатками средневековья. Капитализм, который в его глазах отождествлялся с господством мещанства, казался ему поверхностной накипью, не затрагивающей сколько-нибудь глубоко самых основ общественного строя. Характеристика буржуазии и «мещанства» у Герцена необычайно ярка в художественном отношении; но ей недостает научной определенности. По словам Герцена, «буржуазия явилась на сцене самым блестящим образом в лице хитрого, уветливого, шипучего, как шампанское, пирюльника и дворецкого, словом в лице Фигаро: а теперь она на сцене в виде чувствительного фабриканта, покровителя бедных и защитника притесненных».³ Герцен не чувствует у буржуазии глубоких корней в социально-экономическом строе: «буржуазия не имеет великого прошлого и никакой будущности. Она была минутой хороша, как отщипание, как переход, как противоположность, как отстаивание себя». Но если буржуазия только «минутой хороша», почему так прочны ее социальные позиции? Мы скоро увидим, что для

Герцена главнейшей причиной устойчивости существующего порядка является наличие заинтересованных в нем общественных слоев, опирающихся на накопленное богатство и обладающих поэтому внушительной политической силой. Таким образом, с одной стороны, буржуазия не имеет ни прошлого, ни будущего, она лишь мимолетно хороша, как отщипание. Но, с другой стороны, непостижимыми путями она сосредоточила в своих руках силу, которую не подорвать никаким революционером. В социальной концепции Герцена именно капитализм является недоработанным звеном. Е. М. Зеликин считал одним из существенных отличий между Герценом и Чернышевским отсутствие у первого сознания важности проблемы крупного производства и его обобществления: «Несмотря на утопический характер его социализма, Чернышевский исходил из того, что будущее общество будет основано на крупном машинном производстве и на уничтожении частной собственности. Что же касается Герцена, то он «не возлагал надежд на крупное обобществленное производство».¹ Нам кажется, Е. М. Зеликин делает ударение не на том пункте воззрений Герцена, на котором следовало бы. Герцен, насколько мы можем судить, никогда не высказывался ни за, ни против крупного производства. Для Чернышевского действительно, как будет показано ниже, проблема борьбы крупного и мелкого производства была существенна. Герцен попросту ее игнорировал. И поступал он так именно потому, что недооценивал возможности развития капиталистического производства. Буржуазия больше нужна ему для нравственного обличения, чем для экономического анализа. Центральное свое положение Герцен формулирует в следующих словах: «Эксплуатация пролетария была приведена в систему, окружена всею правительственной силой: нажива делалась страстью, религией; жизнь свелась на средство чеканить монету: государство, суд, войско — на средство беречь собственность». Но дальше этого многообещающего начала Герцен не идет. Его внимание фиксируется на том, что «буржуазия исключительно занимается рентой», что она «принеся идеи на жертву выгодам», что «у нее одна религия — собственность со всеми ее римско-феодалными последствиями». Герцен, правда, удачно улавливает в смутной форме ту роль, какую в жизни капитализма будет играть монополия. Но его ахиллесовой пятной является то, что он совершенно не задумывается над вопросами производства, оставаясь, главным образом, в плоскости изложения и обсуждения проблем обмена и распределения.

Остановимся теперь более подробно на взглядах Герцена и Огарева на сельскую общину.

Отношение их к общине до эмиграции было в корне отличным от позднейших их воззрений по этому вопросу. Как уже видно из предыдущего изложения, Герцен до 1847 г., т. е. до момента сво-

¹ Голоса из России, ч. I, Изд. 2, London, 1858. «Письмо к издателю», подписание «Русский либерал», стр. 23—25.

² Там же, стр. 34.

³ Герцен. Письма из Франции и Италии, письмо второе. Соч., т. V, стр. 20.

¹ Зеликин. Назв. соч., стр. 213.

его выезда на Запад, пылко идеализировал европейские порядки. Ему казалось, что социалистические доктрины вошли в плоть и кровь народных масс. Когда Герцен попал в Европу, краски разом поблекли. А в период бури 1848 г. поражение революции явилось началом полного краха розовых надежд на европейский социализм и полного переворота в идеологии. Герцен перешел именно к *русскому общинному социализму*. Конечно, не «славянские» идеи были тому причиной. Герцен нащупывал путь социалистического переустройства. И так, до поездки в Европу Герцен отнюдь не склонен был идеализировать общину. Когда он познакомился с работами Гакстгаузена, они, правда, взволновали его, вызвав много откликов в «Дневнике». Гакстгаузен заставил его призадуматься над проблемой русского общинного быта. Мы находим у Герцена этого периода следы признания известных преимуществ за общиной. Она предостерегает появление пролетариата. Она ведет к «равенству полей». Однако эти добрые зародыши отчасти «основаны на неравности», которая, в частности, обусловила и отсутствие частной собственности на землю. Наши крестьяне по существу «рабы». «Какая собственность у раба?» 12 миллионов этих рабов стоят вне закона. Еще более отрицательно относится в эти годы к общине Огарев. Он считает, что община создает лишь формальное равенство. «Я не знаю, — заявляет Огарев, — как иначе назвать равенство подати при неравенстве сил, равенство земель при неравенстве труда и капиталов. Наша община есть равенство рабства». Самая организация мирских собраний кажется ему выражением «зависти всех против одного, общины против лица». Община является при этом взглядом аппаратом, препятствующим выдвиганию одних за счет других. Поэтому при общине все должно быть «равно дурно». 1 Таким образом социалистически настроенные западники типа Герцена и Огарева в середине XIX в. еще и не представляли себе, чтобы община могла послужить зародышем социалистического общества. В эти годы они видели в ней лишь обломок крепостного быта, в котором относительное равенство членов является лишь искусственным следствием неволи.

Прошло немного лет, и взгляды Герцена и его закадычного друга претерпели радикальное изменение. Мысль его с симпатией возвращается к России. Зачатки социализма незачем изобретать, теперь полагает он. Они вокруг нас, они органически вырастают из самых глубин народного быта. Община в земледелии, артель в промыслах — таков прочный фундамент, на котором можно строить социализм. На Западе «лишь в теории доработались до социализма». У нас же, писал Герцен, устои народного быта пропитаны социалистическими воззрениями по самому ходу нашего исторического развития. Порой Герцен доходит до прямой апологии общины. По его словам, она «спасла русский народ от монголь-

ского варварства и от канцелярской цивилизации, от выкрашенных по-европейски помещиков и от немецкой бюрократии. Общинная организация, хотя и сильно потрясенная, устояла против вмешательства власти, она благополучно доросла до социализма в Европе». 1 Наряду с общиной и артель — лучшее доказательство «естественного сочувствия славян с социализмом». «Артель вовсе не похожа на германский цех: она не ищет ни монополии, ни исключительных прав. Она не для того собирается, чтобы мешать другим. Она устроена для себя, а не против кого-либо. Артель — соединение вольных людей одного мастерства на общий прибыль, общими силами». 2

Пробудившись с такой стихийной силой симпатии к общине в артели в Герцене были отчасти следствием появившегося у него убеждения в том, что частная собственность на землю является источником многочисленных бедствий. Герцен понял, какую страшную силу представляет земельный собственник в качестве опоры монархического строя и консервативных элементов, противодействующих революции. Раздробление земельной собственности в период французской буржуазной революции 1789 г. привело к самым отрицательным результатам. Стоит ли идти в том же направлении? Мелкий собственник — худший буржуа из всех. Нельзя ожидать ничего хорошего, полагает Герцен, от превращения пролетария в мелкого хозяина, собственника. «Все силы, таящиеся теперь в многогрудой, но мощной груди пролетария, иссякнут, если он обзаведется «клочком земли». 3 Отвергая идеал парцеллярного землепользования, Герцен переходит теперь к прославлению общины и чисто славянофильскому духу. В статье «Россия», написанной в 1849 г. в Женеве, Герцен вспоминает Гакстгаузена лишь для того, чтобы теперь почти во всем солидаризироваться с ним. Гакстгаузен правильно видел в общине ключ к прошлому и зародыш будущего. Герцен с энтузиазмом пересказывает взгляд Гакстгаузена, согласно которому «каждая сельская община в России... представляет собою маленькую республику, которая сама управляет своими внутренними делами и не знает ни личной земельной собственности, ни пролетариата и которая возвела на ступень давно совершившегося факта некоторую часть социалистических утопий: здесь иначе не умеют жить, да никогда иначе и не жили». Главным преимуществом общины Герцен считает земельную обеспеченность всех ее членов: «Ее экономический принцип является совершенной антитезой знаменитому предположению Мальтуса. Она позволяет всем без исключения садиться за ее стол». 4 За счет земельных фондов общины каждый наделяется в таком же размере землей, как и другие. Отнять землю у крестьянина можно только

1 Герцен. Соч., т. V, 1923, стр. 428.

2 Там же, стр. 341.

3 Там же, стр. 432.

4 Там же, стр. 343.

1 Литературное наследство. 1941. № 39/40, стр. 293.

при его изгнании из общины, а последнее допускается лишь по единогласному решению схода. Таким образом рядом с земельным равенством воздвигается также принцип самоуправления общины. Исполнительной властью в общине является староста, который, вопреки Гакстгаузену, не может по произволу управлять своими избирателями. «Он может действовать деспотически только тогда, когда вся община за него». Рабочие артели рассматриваются Герценом как своего рода «подвижные сельские общины». Им, следовательно, присущи те же организационные черты, что и общине. Именно староста, а не помещик, является в общине действующей пружиной. Отходя от славянофильской традиции, Герцен решительно склоняется к мнению, что помещик является бесполезным наростом, искусственно приданным общине: «Помещик никогда не вмешивается в земельные дела общины». ¹ Формальную власть помещика безгранична. Но он может увеличить, благодаря ей, лишь степень эксплуатации крестьянина, но не в силах отобрать у мужиков землю. Всеякие поползновения против крестьянской земли обычно кончаются восстаниями обиженных. Особенно убедительно звучит у Герцена следующая филиппика против власти помещика: «...власть помещика является насилием над общиной и приводит к ней, как совершенно чуждый элемент, паразитный и лишенный нормального основания... На самом деле настоящим патриархальным главою общины является ее староста, избираемый общиной из собственных ее членов. Именно он занимает место отца всей крестьянской семьи, он один является представителем, охранителем и естественным покровителем общины. Что же остается в таком случае в ведении и на обязанности помещика, этого самовластного, который лишь время-от-времени, в более или менее неравномерные промежутки наезжает в свои владения и взымает там оброки и поборы, подобно татарским баскакам, внезапно появившимся в русских городах за данью». ² Пропасть между крестьянами и помещиками растет вследствие того, что жадность все более овладевает помыслами помещика с появлением фабрик и заводов, толкающих его на путь использования дарового труда своих крепостных для умножения прибылей. Помещик, этот «патриарх», этот глава «клана», этот «отец общины», по словам Герцена, «из аристократа делался постепенно заводчиком, плантатором, рабовладельцем». Вывод напрашивается сам собою: нужно извратить общину от этого паразита, нужно ликвидировать власть помещика над общиной раз навсегда.

В своих набросках общего хода русской истории Герцен очень близко подходит к славянофилам. Однако, сохраняя их концепцию, он вырывает из нее, разумеется, все религиозные мотивы и выдвигает на первый план не коллективный дух крестьян, как это

делалось славянофилами, а их коллективный быт. В изображении Герцена политическая и социальная жизнь Западной Европы протекала преимущественно в феодальных замках и городах. Ее действующими лицами были аристократия и муниципалитеты. Крестьяне не примкнули к общественному движению и остались, по существу, вне революции. В России картина была противоположной. «Организация земледельческого и общинного населения была, по самой сущности своей, демократической, в ней не было ничего похожего на феодальные замки... Не существовало никакого различия между крестьянином и горожанином. Сельская община в том виде, как она теперь существует, есть точное изображение прежних великих общин Новгорода, Пскова и Киева». ¹

Герцен следовал за славянофилами и в том отношении, что периодом полного торжества сельской общины он считал время до воцарения Петра. Однако встряска, которую испытала община от мощной длани великого преобразователя, отнюдь не представлялась Герцену вредной. Наоборот, она разбудила общину от векового сна и поэтому имела благодетельные результаты. Моменты полной идиллии все же преобладают и у Герцена, главным образом в изображении древнерусской общины. В качестве приближающейся к идеалу у него, например, фигурирует казачья община на Украине в период от Киевской Руси до Петра. «Это была казачья и земледельческая республика, управляемая военной дисциплиной, но на основаниях демократического коммунизма, без средоточия, без правления, повинный лишь древним обычаям, не подчиняясь ни царю московскому, ни королю польскому». Понадобилась «дрессировка» сильного государства, чтобы «соединить, сосредоточить». ² Желание законодателя встряхнуть общину было «попсе не плохой идеей». Русская сельская жизнь является лишь примером того, что, в глазах Герцена, «всякий коммунизм совершенно поглощает личность». Герцен подробно развивает это положение, причем в его аргументации слышатся те же мотивы, которые звучат и в марксовской характеристике индийской общины. «Человек, привыкший во всем опираться на общину, чувствует себя растерянным, когда отдалится от нее. Он становится слабым, не находит в себе ни силы, ни энергии для противодействия... Слишком мало движения в общине, извне она не получает никаких толчков, которые побуждали бы ее к развитию. Нет ни конкуренции, ни внутренней борьбы, которая вызвала бы разнообразие и движение. Давая человеку его долю земли, она освобождает его от всех забот. Общинное устройство усыпило народ, и сон становился с каждым днем все глубже, пока, наконец, Петр I грубо не разбудил часть нации. Он искусственно вызвал нечто вроде борьбы и антагонизма. В этом именно заключается

¹ Герцен. Соч., т. V, 1923, стр. 345.

² Герцен. Русское крепостничество. Соч., т. VII, стр. 378—379.

¹ Герцен. Русское крепостничество. Соч., т. VII, стр. 362.

² Герцен. Старый мир и Россия, письмо первое. Соч., т. VIII, стр. 32.

«провиденциальное назначение петербургского периода».¹ Таким образом Герцен видит еще меньше оснований, чем славянофилы, для того, чтобы взывать к ликвидации петровских реформ и возвращению вспять. Герцен сам остается при своем старом мнении, что община не является вполне пригодным инструментом для вхождения прямым путем в царство социализма. В своей речи на «сходе в память февральской революции» в Лондоне в 1855 г. он прямо говорит об органическом недостатке общины: она превращает крестьянина навсегда в малолетнего. Мужик теряет самостоятельность, привыкая «прятаться за общину». В сущности, община поглощает индивида. «Согласовать личную свободу с миром — тут вся задача социализма».²

Итак, преимуществом России является то, что ей удалось сохранить ряд институтов, облегчающих торжество социализма: общину, раздел полей, крестьянские сходы, выборных старост, рабочие артели. Именно эти особенности русского общинного быта, а не специфическая психология масс, являются главной предпосылкой возникновения социализма на базе общины. «С удивлением увидели, что русский человек, равнодушный, неспособный ко всем политическим вопросам, бытом своим ближе всех европейским народам подходит к новому социальному устройству».³ Отсюда ясно, по мнению Герцена, что незачем России проделывать вновь тягостный опыт капиталистического развития, так жестоко потрепавший и разедававший Европу. Россия может миновать капиталистическую стадию и сразу перейти к социализму.

Прежде чем обратиться к изложению рассуждений Герцена по этому поводу, нужно, однако, сделать предварительное одно существенное замечание. Учение о некапиталистическом пути развития впервые было сформулировано и обосновано в России. Его автором был Чернышевский. Основным его содержанием, как уже отмечалось, была идея скачка, минования капиталистической стадии. Эта мысль вошла впоследствии в арсенал марксистской науки, но с совсем иным содержанием, чем она фигурировала у Чернышевского. Этот столп нашего просветительства, как будет показано ниже, предполагал произвести социалистический переворот на базе общины, но при помощи победившего на Западе пролетариата. Позднее народники извратили это учение, признав общину способной стать первоначальной ячейкой социалистического общества, независимо от какой-либо поддержки извне. Еще позднее, когда в России появился свой мощный пролетариат, а трудовое крестьянство, угнетаемое остатками крепостничества, проявило готовность стать революционным союзником рабочего класса, русский марксизм сумел блестяще показать, что Россия уже не может миновать капитализма и что в грядущей революции

пролетариату не понадобится помощь внешних сил. Тогда, естественно, должно было приобрести контрреволюционный смысл всякое протаскивание в новых условиях старого тезиса Чернышевского, игнорировавшее социальные сдвиги, происшедшие в нашей стране, и попрежнему ожидавшее революционных «варягов» из Западной Европы. Чернышевский не был ни в какой мере новинен в этих извращениях. Когда мы обсуждаем его учение о некапиталистическом развитии, мы должны помнить, что в эпоху Чернышевского, когда в России почти не было рабочего класса, его мысль о крестьянской революции при помощи западноевропейского пролетариата должна была звучать совсем по-иному, чем в настоящее время. В ней самой ценной была идея скачка. Как раз в этом вопросе Герцен был непосредственным предшественником Чернышевского. Однако у Чернышевского мы увидим глубокое философское обоснование этого положения. Герцен же, возвращаясь к этой мысли неоднократно, обосновывает ее лишь общими метафорами.

Именно неустойчивость русской социальной жизни облегчает возможность скачка. «В России нет ничего окончательного, окончательного, — говорит Герцен, — все в ней находится еще в состоянии раствора, приготовления». Это дает основание Герцену обосновывать для России неизбежность прохождения всех тех фаз развития, что и в Западной Европе. Русская жизнь может пойти по «иным законам». Россия должна при этом свободно использовать все завоевания материальной и духовной культуры своих западных соседей, но она не должна рабски копировать их. В другом месте Герцен снова повторяет свою мысль: «...я не понимаю, почему будущая цивилизация должна подчиняться всем тем же условиям развития, что и прошлая». Герцен ставит вопрос о том, должен ли социалистический переворот произойти раньше всего в наиболее передовых по развитию производительных сил странах Европы. В интереснейшей статье «*Repetitio est mater studiorum*», относящейся к 1861 г., Герцен исходит из предположения, что Европа вплотную подошла к периоду, когда изменение ее социального строя становится неизбежным: «...современный государственный быт дошел в Европе до того предела изменчивости, далее которого он не может развиваться сообразно новым потребностям людским, не изменяя своих оснований, т. е. не переставая быть самим собою». Социалистический переворот испробован в Европе и она «на первый случай срезалась». Герцен приходит к мысли, что благодаря историческому прошлому наш народ «ближе к осуществлению экономического, т. е. социального переворота, чем римско-феодалная, мешанско-индустриальная Европа». Запад может прийти к социализму только «рядом катастроф», тогда как у нас он может развиваться «на основании существующего». Не может быть вообще единого трафаретного пути, которым европейские страны могут проникнуть в царство социа-

¹ Герцен. Россия. Соч., т. V, стр. 346.

² Герцен. Соч., т. VIII, стр. 148—149.

³ Герцен. Старый мир и Россия, письмо третье. Соч., т. VIII, стр. 47.

лизма. «Неужели общественное пересоздание пойдет одинаковым образом в стране тихого, настойчивого поступательного развития, — в стране, где митинг спокоен, где свобода книгопечатания не вводит в грех и Бокль флегматически проповедует прогресс исподволь, и в стране вулканических взрывов, рабства и своеволия, где Прудон мечется и прыгает на своей цепи, как пойманный вервь? Где начнется разгром: в потухшем ли французском краере или на морском дне английской жизни, куда ветер не доходит, где бури не слышны, куда самый свет едва проникает?» Однако, придя к выводу, что в нашем распоряжении нет убедительных данных для решения вопроса о месте, где раньше всего должен произойти социальный переворот, Герцен выражает всего сомнение в том, должен ли этот переворот первоначально произойти именно в наиболее развитых странах. Вель в них сложившиеся, укрепившиеся на протяжении веков отношения являются препятствием для решительной смены. «Новые экономические основы» скорее всего могут дать ростки в странах «мало имеющих, с бродячими и неустроенными силами». Чем дольше общество живет исторически, тем прочнее в нем, думает Герцен, существующий порядок. Развитие всюду идет за счет сочетания двух борющихся начал: идеала и традиции. В старых странах противодействие со стороны традиции осуществлению идеала, естественно, оказывается наиболее упорным. Но именно в России исторический быт Запада является «одним костюмом». Он для нас необязателен. Мы живем в «каком-то чужестранном государственном неустройстве», созданным неудачливым копированием иностранных образцов, но у нас под спудом имеются иные, чисто народные начала, и их восстановление и должно послужить толчком для роста в новом направлении. «Труды славянофилов подготовили материал для понимания, им принадлежит честь и слава почина. Они первые поняли, что в подавленных и дремлющих силах народа русского, в разрыве народа с государством, в тесных формах, сделанных не по мерке, в которые попала русская жизнь, больше чем *tabula rasa* — задаток самобытного будущего развития».¹ Все эти рассуждения Герцена показывают, что в его сознании смутно созрела мысль о некапиталистическом пути развития для России. Он считал возможным, чтобы Россия определила западно-европейское государство, совершив социалистический переворот раньше их. Удивительно удачно сказано Герценом: «И вопрос не в том, догнали ли мы Запад или нет, а в том, следует ли его догонять по длинному шоссе его, когда мы можем пуститься в объезд».² Для него решающим моментом, определяющим возможность перехода к социализму, является не экономическая зрелость, а наличие внутренних противоречий в социальных условиях и государственной

¹ Герцен. Соч., т. XI, стр. 229—231.

² Герцен. Русские немцы и немецкие русские. Соч., т. VI, 1900, стр. 260—261.

жизни. Однако повторять, эти свои мысли наш великий просветитель не сумел выносить до конца.

Отставная сельскую общину как первоначальный зародыш социалистического общества, Герцен предвосхищает возможное возражение, что общинные порядки существуют не только в России: есть, например, община в Индии, весьма схожая с нашей. Прогрессивность мировоззрения Герцена дает ему основание не пугаться даже и такой атаки со стороны идейных противников. Что же, у азиатских народов, заявляет Герцен, может на проверку оказаться даже больше «социальных элементов», чем на Западе. Но это еще не означает, что они готовы совершить прыжок к социалистическому строю. Их неподвижность объясняется не господством общины, а патриархализмом, тяготением власти рода над человеком. «Мы не в том положении, — спешит успокоить читателя Герцен: — Славянские народы, напротив, имеют большую удобовпечатляемость».¹ Этим идеалистическим аккордом Герцен и заканчивает, по существу, свои рассуждения на тему о том, почему азиатские народы не могут вместе с Россией мечтать о скорейшем водворении в царстве социализма на базе общинного устройства.

Однако сходство нашей общины с индийской не может все же не навести Герцена на мысль о том, что материального быта общины недостаточно для перехода к социализму. Этот быт должен быть оплодотворен *социалистической мыслью Запада*. Академиком Н. С. Державиным были уже приведены наиболее интересные в этом отношении высказывания Герцена. Герцен хочет «возвратиться к селу, к артели работников, к мирской сходке, к казачеству», но не для того, чтобы «их закрепить в неподвижных азиатских кристаллизациях, а для того, чтобы развить, освободить начала, на которых они основаны». Существующая у нас база для социализма — это «все же камни, и без западной мысли наш будущий собор остался бы при одном фундаменте». Рационально развить способности и социальные нравы славян может лишь «социальная идея, выработанная Западом».²

Герцен, как сказано, не был присяжным экономистом. Тем не менее, живя во Франции и Англии, он с огромным интересом следил за всеми проявлениями их общественной жизни, и выработавшаяся в нем священная ненависть к торгашеству и мешатству врывалась, в частности, в горячих напаках на то направление экономической науки, которое он застал во Франции. В его высказываниях о судьбах политической экономики иногда чувствуется внимательное чтение таких авторов, как Сисмонди, Фурье, но гораздо больше в них своего, самобытного. Как впоследствии Чернышевский, Герцен, прежде всего, ставит лицом к лицу на очную

¹ Герцен. Соч., т. VIII, 1923, стр. 48.

² Акад. Н. С. Державин. Назв. соч., стр. 142.

ставку две политические экономии: одна из них является типичным порождением меркантильного, торгашеского духа капиталистического класса, другая родилась из критики старой политической экономии и воодушевлена стремлением улучшить материальное положение масс. Первая политическая экономия является порождением определенной эпохи. «Западное мировоззрение, с его гражданским идеалом и философией права, с его политической экономией и дуализмом в понятиях, принадлежит к известному порядку исторических явлений и вне их несостоятельно». ¹ Таким образом Герцен прекрасно понимает, что эта политическая экономия лишь отражает капиталистические порядки и не может пригвоздить на то, чтобы быть вечной истиной. Излагая один из законов этой политической экономии, согласно которому все народы в процессе общественного роста должны пройти одни и те же фазы, из которых «каждая имеет свое неудобство, но зато и свой прогресс», и, в частности, непременно пройти через период частной земельной собственности, Герцен восклицает: «Откуда экономическая наука вывела этот закон. Она порядком знает только одно экономическое развитие германо-романских народов. Нельзя же по биографии одного человека составлять антропологию». Таким образом Герцен очень тонко чувствовал всю условность и ограниченность той политической экономии, которая в его дни господствовала во Франции. Эта политическая экономия или, как ее называет Герцен, «наука Мальтуса и Сэя», имела в его представлении «ограниченно-доктринскую и мешанскую форму». Она была государственная, официальная, мешанская наука, выражающая идеологию «жадной и скудной посредственности». Особенностью этой политической экономии было то, что она «отправлялась от того распределения богатства и орудий, на котором захватывала государства». Сам по себе человек не интересовал ее. В политической экономии он фигурировал только как человек-машинка, человек-снаряд. Эта наука «занималась им по мере его производительности». Неудивительно, что науку, построенную на таких узких основаниях, ожидал жалкий крах. Как образно выражается Герцен, — «кирипичное, в один камень здание политической экономии покрывалось и осело».

Герцен восстает против того, что политическая экономия «являлась отвлеченной наукой богатства и развития средств, что она превратила общество в фабрику, государство — в рынок. Патологией она заменила физиологию, существующее распределение богатства приняла за идеальное. Немудрено, что для немущих классов такая наука «не представляла больших прелестей». Было, по словам Герцена, нечто «неладное, тупое и оскорбительное» в советах экономистов трудящимся не жениться, не иметь детей, эмигрировать в Америку, работать по 12 часов в сутки или уми-

¹ Герцен. Русские немцы и немецкие русские, отрывок третьей. Вармани. Соч. т. VI, стр. 266.

рять с голоду. И они еще имели смелость утверждать, что при таком порядке «нищий пользуется теми же гражданскими правами, как Ротшильд». ¹ Естественно, что эта политическая экономия была разбита критикой, в которой сконцентрирована «сила века». Но критика не уничтожила экономической науки до конца. В ней стали господствовать, после того как ее покинули лучшие умы, представители пошлой посредственности, и она окончательно «выродилась в торговую бессмысленность, в искусство с наименьшей тратой капитала производить наибольшее число произведений и обеспечивать им наимыгоднейший сбыт. Наука выковала оружие для того, чтобы с двух концов грабить потребителя низкой платой за труд и высокими товарными ценами. Эта наука стала символом веры буржуазии. Однако политическая экономия не спасет буржуа от неминуемой гибели. В своей груди он уже чувствует начало смертельной болезни». ²

Однако среди современных ему экономистов Герцен видел и родственных ему по духу мыслителей, резко выделявшихся из серой массы представителей господствовавшей в то время в Западной Европе вульгарной политической экономии. Среди них отметим Прудона и Д. Ст. Милля. Герцен отнюдь не был их единомышленником. Он относился к ним, как сейчас будет показано, критически. Но все же они были для него выразителями иных начал теоретической мысли, чем Сэй или Мальтус. О дружеских чувствах Герцена к Прудону и даже огромном идейном влиянии Прудона на нашего знаменитого соотечественника писалось немало. Известно, что Прудон получил осенью 1849 г. 24 тыс. франков от Герцена для совместного издания журнала и что в этом журнале Герцен поместил ряд статей. Огарев называл Герцена прудонистом. Герцен говорил Гильемену, что в XIX в. вышли лишь две стоящие книги — это «Сущность христианства» Фейербаха и «Система экономических противоречий» Прудона. ³ Плеханов казался удивительным, что Герцен ставил Прудона на одну доску с Гегелем. Он писал, что «элемент прудонизма был чрезвычайно силен в воззрениях Герцена», в частности в его политических воззрениях, что якобы определялось готовностью Герцена «ужиться со всяким правительством». ⁴ Однако в главе 41-й «Былого и дум» Герцен наиболее полно раскрывает свои отношения к Прудону, и мы видим, насколько далек был Герцен от преклонения перед Прудоном. Именно здесь Прудон поставлен на определенную историческую полочку. Правда, Герцен именует своего друга и «великим иконоборцем», и «единственным человеком во Франции, которому было еще, что сказать», и даже «одним из величайших мыслителей нашего века»; он признает также, что

¹ Герцен. Письма из Франции и Италии. Соч. т. V, 1923, стр. 165.

² Там же, стр. 166.

³ Там же, стр. 293.

⁴ Плеханов. Соч. т. XXIII, стр. 434—435.

«многим обязан Прудону» в своем развитии.¹ Однако огромную силу Прудон Герцен видит не в созидании, а в разрушении, в критике. Хотя для Герцена Прудон «такой же поэт диалектики, как Гегель», а его сочинения «составляют переворот не только в истории социализма, но и в истории французской логики», но диалектику Герцен понимает здесь лишь как способность к спору: Прудон преимущественно «контровизит социальных вопросов». Он усвоил метод Гегеля, как одновременно с этим и все приемы католической контровизиты. Прудон сам однажды заявил, что у него нет никакой системы. Попробовав осуществить свои практические идеи, Прудон «срезался на народном банке, несмотря на то, что сама по себе взята идея его верна».² Почва для соглашения между Герценом и Прудоном была чисто отрицательная: они оба хотели, чтобы революция делала «странные скачки». На старости лет Прудон споткнулся об эмансипацию женщины и превратился в «архиерея социализма», стремящегося сохранить ветхую хранину, которую он подкапывал всю жизнь.³ Нет, Прудон не был властителем герценовских дум. Он лишь учил его разрушению. В частности, связывать Герцена с прудоновским анархизмом нет никаких оснований. Конечно, поскольку Герцен поддерживал славянофильскую тенденцию перенесения центра тяжести общественной жизни в сельскую общину, он склонялся в известной мере к «федеральному» началу. Но прудоно-бакунинское отрицание государственности было Герцену совершенно чуждо. Герцен представляет шаг вперед к централизованному социализму от славянофильских анархических настроений. Второй шаг должен был сделать Чернышевский. В полемике с Бакуниним Герцен развил свою концепцию государственной власти, как общественного органа, постоянно изменяющегося применительно к потребностям общества. Герцен не сомневался в том, что государство должно в конце-концов отмереть. Однако «из того, что государство — форма преходящая, не следует, что эта форма уже прошедшая». Покада человечество может только еще мечтать об уничтожении армии и о разоружении, думать об упразднении государства не приходится. «Государство не имеет собственного определенного содержания, оно служит одинаково реакции и революции, тому, с чьей стороны сила. Пример Комитета общественного спасения показывает, что эта сила может быть мощным тараном для разрушения прошлого, например, монархии».⁴ Можно ли сравнивать с этими мыслями Герцена нелепые высказывания Прудона о государстве, как его представляют себе коммунисты при господстве ассоциации. По словам Прудона, «государство-слуга делается таким образом дойной короной пролетариата, который пасет ее на лугах и нивах собственни-

ков. В результате мы получаем просто перемещение привилегий: высшие классы низвергаются, низшие возвышаются. Но об идее, о свободе, о справедливости, о науке нет и помину».¹

Не менее интересны мысли, высказываемые Герценом по поводу Д. Ст. Милля. Усомнившись в капиталистической цивилизации, этот английский экономист вздумал провозгласить экономическим идеалом неподвижное состояние общества, в котором прекращается идея пляска страстей человеческих вокруг проблемы заработка и высшей целью становится культурное развитие при хозяйственном застое. Европа переходит к китайской неподвижности. Герцен усмотрел в выступлении Милля вопль души современного государственного деятеля высшего масштаба, который понял глубокий кризис капиталистической системы и закричал: «мы тонем». Продолжение линии капиталистического развития действительно должно привести к китайской неподвижности. Ее классическим примером уже является в Европе Голландия. Здесь у каждого «бездна дела», но не успеет он оглянуться, как «уж его несут на „божью ниву“ в щегольски отлакированный гроб, в то время как сын напряжен в торговое колесо, которое необходимо следует беспрестанно вертеть, а то дела остановятся. Так можно прожить тысячу лет, если не помешает какое-нибудь второе пришествие Бонапартова брата».² Этот фатальный застой может быть предотвращен лишь социальным переворотом. «Если народ сломится, новый Китай и новая Персия неминуемы». Переворот неизбежен, если народ победит. Таким образом Герцен понимает Милля в том смысле, что капитализм исчерпал свои производственные силы и их новый подъем возможен уже лишь на ином общественном основании. Герцен, однако, преувеличивал способность господствующих классов к сопротивлению и усматривал «трагическую безысходность» в том, что идея, которая может спасти Европу, невыгодна власти имущим. Особенно ярко сказывается этот скептицизм Герцена в его работе «Роберт Оуэн», где лейтмотивом является боязнь, что социализм может быть заторможен в своем развитии господствующими классами. Если бы «святые лавочки» не мешали Оуэну, в Англии и Америке были бы сотни Нью-Ланарков и Новых Гармоний, полагает Герцен.³ Всякого рода «копейки и пастухи, лядьки и мамки могут спокойно есть и спать на счет недоросля. Какой бы вздор народы ни изобретали, на нашем веку они не потребуют права совершеннолетия. Человечество еще долго проходит с отложными воротничками à l'enfant».⁴ Этой силе сопротивления со стороны господствующих классов

¹ Плеханов. Соч., т. XXIII, стр. 434—435.

² Былое и думы, т. III, стр. 317.

³ Там же, стр. 340.

⁴ Герцен. Соч., т. XXI, стр. 446—447.

¹ Цит. по русскому переводу: П. Ж. Прудон. Французская демократия. СПб., 1867, стр. 73.

² Былое и думы, т. IV, стр. 103.

³ Там же, стр. 375.

⁴ Там же, стр. 354.

12 Проф. Шеня

Герцен готов придавать решающее значение. С того времени, как «попы и лавочки» догадываются, что «потешные роты» рабочих представляют серьезную опасность, они ополчились против всякого рода Нью-Ланарков, и гибель последних стала неминуемой. И у Герцена складывается впечатление, что он сидит у свежей могилы многообещающего младенца, убитого из-за страха, что он потребует наследства.¹

Мы видим, таким образом, что при обсуждении передовых теорий своего времени Герцен не только критически преодолевал их слабые, навеянные утопизмом места, но умел высоко подняться над их идейным уровнем. Прудон и Милль были для него пройденным этапом. Роберт Оуэн оставался для него в известной мере святыней, и он пребывал под обаянием «Новых Гармоний и Нью-Ланарксов», веруя в силу пропаганды социалистических идей, но его утешала соединенная мощь социальных групп, отстаивающих с мечом в руках твердыни капитализма. Самым уязвимым местом Герцена была именно недооценка революционных возможностей рабочего класса.

Выше было уже приведено мнение Е. М. Зеликина о том, что Герцена отличала от Чернышевского готовность пожертвовать промышленностью ради сохранения гармонического сельскохозяйственного устройства, поступиться выгодами крупного производства, чтобы остаться при мелком хозяйстве. Может показаться, что именно эти мотивы звучат у Герцена, когда он, полемизируя с Серго-Соловьевичем о Чернышевском, провозглашает последнего идеологом городской пролетарской интеллигенции, считая себя самого, очевидно, выразителем чужих крестьянства. В этом же разрезе следует подчеркнуть и «антиурбанизм» Огарева. Как писал Огарев, Россия «это — сумма сел; устройте село, и вы устроите государство». Он приписывает городам искусственное происхождение, считая, что они созданы правительственной властью для грабежа населения: к чиновникам попутно присосалось и некоторое количество купцов. Огарев объявляет города «ничтожными» и по количеству населения, и по развитию промышленности, и по сосредоточению денежных капиталов.² Нужно признать, что интереса к вопросам промышленности мы действительно не встречаем у Герцена и Огарева. Но едва ли на этом можно построить качественное различие в социалистической теории Герцена и Чернышевского.

Выше уже говорилось о том, что Герцена и Огарева объединяло общее социально-экономическое и политическое мировоззрение. Этого, конечно, не следует понимать в том смысле, что у обоих этих великих писателей взгляды были тождественны. Можно сказать более: Огарев несомненно проявлял более ярко свою индиви-

дуальность в этом братском содружестве, чем, например, Энгельс в отношении Маркса. Мы остановимся теперь на этих специфических чертах экономического мировоззрения Огарева. Они проявляются у него, прежде всего, в наличии гораздо более острых симпатий и антипатий в области экономической теории. С юных лет поэт Огарев был одновременно и экономистом. В область теоретической экономики увлек его крестьянский вопрос. Несправедливость, бесчеловечность крепостного права терзала Огарева, и в поисках выхода он обратился к изучению экономической теории. Он не принадлежал, однако, к тем фарисеям (нередким в период подготовки крестьянской реформы), которые охотно выливали протест против язов крепостного режима в своих литературных произведениях, оставляя все по-старому в своих имениях. Получив по наследству около 4 тыс. душ, Огарев освободил за сравнительно небольшой выкуп значительную их часть в своем поместье «Белоомут», оставив по себе среди крестьян благодарную память. В других владениях он надеялся помочь делу раскрепощения крестьян созданием для них фабрик «на вольном труде, которые дали бы возможность крестьянину всегда находить заработок». Поэт становится предпринимателем, устраивает сахарный и винокурный заводы, отчасти даже сам работает на них в качестве чернорабочего для освоения техники, расширяет сельскохозяйственное производство в своих имениях.³ Так приобреталась Огаревым квалификация экономиста, столь пригодившаяся ему на совместном с Герценом посту редактора русских зарубежных изданий. В период реформы Огарев особенно увлекался разработкой ее финансовой стороны. В духе эпохи, он придавал большое значение кредиту, как средству поставить Россию, сбросившую ярмо крепостничества, сразу на новые экономические рельсы. Огарев был большим знатоком и любителем современной ему экономической литературы. Он с увлечением «охотился» подчас за тем или иным сочинением, в котором надеялся найти новую мысль. Это своеобразное гурманство в области экономической теории даже нанесло вред Огареву, привив ему некоторые теоретические взгляды, бывшие в явном противоречии с его общим социалистиче-

¹ М. О. Гершензон. История молодой России, 1923, стр. 280—281. Семевский, правда, утверждал, что уплата выкупа легла тяжелым бременем на плечи зажиточных из числа белоомутских крестьян (см. назв. соч., том II, стр. 239). С. А. Рейсер в биографии Огарева, приложенной к новейшему изданию его стихотворений, рисует картину резкого расслоения крестьянства в «Белоомуте», уверяет даже, будто вся реформа оказалась на руку кулакам. «Была чланива Огареву сравнительно небольшую выкупную сумму за себя и за бедняков, они быстро закабалляли последних, обратив их, в сущности, в своих крепостных» (Н. П. Огарев. Стихотворения и поэмы, том I, 1937, стр. VII). Если бы даже это и было так, Огарев и не подозревал, что его доброе дело дало такие результаты и «равнялось своему подвигу». Свои проекты на пользу крестьянам он выдвигал сквозь призму нитуизма». Он по-детски радовался от одной мысли, что его дела могли «спасаются крестьянам» (Семевский, назв. соч., стр. 302—303).

¹ Билле и думи, т. IV, стр. 354.

² Литературное наследство, 1941, № 39/40, стр. 313.

ским мировоззрением. Сам Огарев, повидимому, не замечал раздвоения своих теоретических воззрений, вызванного внедрением в сознание бесконечного наплыва «инородных» идей. В результате Огарев доходил до того, что, например, в статье «Частные письма об одном вопросе», напечатанной в «Колоколе» в 1866 г., отвергая трудовую теорию стоимости, принимает дуалистическое начало, по которому «ценность равна труду и вещи», так как труд без материала не имеет, согласно его представлению, не только ценности, но и существования.¹ Отстаивая под влиянием современных ему теорий кредита закономерность взимания сложных процентов, Огарев рассчитывал опровергнуть мнения противников такими аргументами: «Говорили, что человек, лежа на боку, видит свое достоинство прирощенным. Это странное понятие имело ход в высшем правительстве. При этом забывалось, что капитал сам по себе — производительная сила и имеет право на приращение». ² Отсюда видно, что Огарев мог доходить до таких типично буржуазных идей, как признание производительности капитала. Занимаясь поисками какой-то формулы, с двумя прогрессиями, для решения экономических вопросов (мы увидим, впрочем, что Огарев сам не сочувствовал математическому направлению в политической экономии), он перерывает целый ворох книг и в процессе этого чтения он вновь убеждается в бесплодии буржуазных экономистов: из них у Кэри «элюквенция заменяет логику», а Мак Куллох — «такой дребезниш, что и боже упаси». Но все же неожиданно всплывает «странная мысль, что, пожалуй, всех умнее и поэтому всех менее понятый — Адам Смит». ³ Социалист, провозглашающий буквально накануне выхода в свет I тома «Капитала» самым «умным» экономистом Адама Смита, представляет для нас неразрешимую загадку. Таким образом, в теоретико-экономических воззрениях Огарева было немало странностей.

Огарева чрезвычайно интересовала проблема сущности политической экономии и характера устанавливаемых ею закономерностей. Несколько лет тому назад напечатана «Забутая статья» Огарева, появившаяся впервые в сентябре 1847 г. и представляющая замечательное рассуждение об экономическом районировании России. В этой статье, говоря об отношении между статистикой и экономической теорией, Огарев дает интереснейшую характеристику политической экономии. Важность этой науки определяется тем, что «материальные силы государства составляют основу его цивилизации». Однако в последнее время политическая экономия вышла

из тесных рамок «науки о государственном богатстве»: она захватывает «все вопросы гражданской жизни». Превратившись в науку «вполне социальную», политическая экономия рассматривает общество под углом зрения «труда и производительности». Экономическая теория, требуя «различного распределения сил и воздаяний за труды», тем самым настаивает на «обеспечении труда и его движения к усовершенствованию». Статистика же только в том случае может занять подобающее место среди политических наук, если она проникнется политической экономией, которая одна только может придать «статистике настоящий смысл и жизнь». Не руководимая экономической теорией статистика «остаётся мертворою буквою, безличным описанием безразличного факта». ¹ Отметим попутно, что высказывания Огарева о началах экономического районирования далеко опережают свою эпоху. Он очень решительно критикует попытки построения районов на основе чисто географических принципов. «Каким образом степь Тамбовская, — спрашивает он в недоумении по адресу одного из таких проектов районирования, — попала в один разряд с степью Заволжскою и степью Астраханскою? На одной сеют рожь, на другой пшеницу, на третьей вскапывают калмыки. Неужели одно название, один звук: степь, может сблизить что пополам?» ² Не какое-нибудь «административное разграничение», а только «сближение однородных деятельностей, выросших на однородных почвах» — вот естественная основа районирования. Огарев возражает также против деления районов по одним только сельскохозяйственным признакам. Нужно иметь в виду «всю общественную деятельность». В ярких образах Огарев показывает специфику районов, и так как эти его рассуждения, повидимому, оставались позабытыми в нашей науке, воспроизведем из них наиболее красочные места: «Заволжские крестьяне одинаким образом ищут пашни для своей пашни, начинают на одинаковую работу в те же места; заволжские купцы скупают одни и те же продукты; заволжские помещики — эти фермеры на огромных участках земли — ищут одних и тех же выгод, находясь в одном и том же кругу деятельности, совершенно отличным от деятельности саратовского помещика по сторону Волги, который сеет рожь, не меняет пахотной земли, хлопочет о сбыте хлеба на винокуренные заводы... Точно также с другой стороны Сибирская губерния (кроме Самарского уезда) не перестанет входить в одну категорию с губерниями Пензенской, Тамбовской, Саратовской по сю сторону Волги, Воронежской и частью Нижегородской. Тут степь совершенно различная от Заволжской степи. Это запас ржаного зерна в государстве. В эту категорию никогда не подойдут ни степи Астраханской губернии,

¹ Б. Козьмин. Из публицистического наследия Огарева. Литературное наследство, 1941, № 39/40. А. И. Герцен, I, М., 1941, стр. 301. (К сожалению, мы не имели возможности прочесть эту статью Огарева в подлиннике).

² Н. Огарев. Финансовые споры. Издание несправленное. Лондон, 1864, стр. 41.

³ Литературное наследство. № 39/40. Письмо Огарева Герцену от середины октября 1860 г., стр. 392.

¹ Н. П. Огарев. Забытые статьи. Сб. «Звенья», II, под ред. Влад. Бопчу-Бруевича и А. В. Луначарского, 1933, стр. 352—353.

² Н. П. Огарев. Назв. сох., стр. 351.

«ли луговые степи казакские, которые кормят скот и снабжают мясом целое государство».¹

Возвращаясь к огаревской трактовке сущности политической экономики. В одной из его статей мы находим весьма примечательную попытку установить место экономической теории в системе наук, исходя от природы изучаемых ею закономерностей. Наука тем совершеннее, «непогрешимее», чем ближе она к математике. Качественная разнородность явлений мешает обобщению и формулировке законов. «Чуть начинают примешиваться качественные данные — достоверность теории колеблется». В политической экономике имеются элементы, вполне допускающие количественный анализ. Они сохраняются, вместе с обобщающими их закономерностями независимо от социального устройства: «...политическая экономика всего непогрешимее, всего более выработала истин там, где она может стать алгебраической формулой, например, движение цен, где приращение известного товара на рынке понижает его цену, а уменьшение повышает: достоверность такой алгебраической формулы непреложна, какое бы ни было устройство человеческого общества». Но как только экономическая наука сталкивается с качественными данными, она «теряет способность возвыситься на степень алгебраической формулы». Так, в вопросе о собственности, не имея опоры в точных данных, она провозглашает факт теорией, исторически возникшую собственность хочет объявить идеалом. Современная форма собственности превращается в «конечное слово человеческого общества». Ей придается значение «непогрешимости науки». Эта остановка в развитии, «одеревенение», «кристаллизация жизни в застывшую форму» в органическом мире называется смертью. Отсюда — неустрашимое противоречие между политической экономией и социализмом. Политическая экономика видит в социализме утопию, «теорию без факта». Наоборот, для социализма политическая экономика представляет лишь «оправдание существующих вещей, противоречащих идеалу разумного устройства человеческого общества: он видит только несчастный факт без теории, а не науку».² Так именно для Огарева современная ему политическая экономика являлась только «несчастным фактом, без теории». Мы сейчас увидим, что именно в правильном решении проблемы собственности (и именно в социалистическом решении) Огарев усматривал задачу политической экономики.

Нужно, однако, раньше рассеять одно недоразумение, которое может быть порождено только что приведенными рассуждениями о соотношении политической экономики и математики. В отличие от буржуазных экономистов, Огарев отнюдь не стремился превратить

политическую экономию в систему математических формул и тем исчерпать ее содержание. Поводом к рассмотрению этого вопроса для Огарева явилось знакомство с работой известного представителя вульгарной математической школы в буржуазной политической экономике, Курно. Обращаясь к Герцену с просьбой привезти ему сочинение Курно о приложении математики к политической экономике, Огарев заявляет: «этого мне нельзя не знать; он мог не понять, где *fovere* (lover) всего дела в полит[ической] экономике, рассматриваемой с этого шtanдпункта», и тут же добавляет: «Курно один из самых симпатичных умов, как редко француз бывает, он, должно быть, отведает Канта».¹ Изучив работу Курно, Огарев затем как раз и полвекает ее конитке в разрезе того шtanдпункта, который казался ему сомнительным в Курно. Курно вводит в политическую экономию «формализм». «Увлеченный непрерывными функциями, он хочет всякое явление представить в его непрерывной нити... Мне кажется, что тут есть разом извращение математики и извращение самих явлений. Действительно непрерывную функцию явлений произвольности можно искать только в ее физико-химических отношениях». Иное дело в общественном мире. Здесь производительность или промышленность выступает в виде «законченных групп, годных для обмена». В применении к ним теория бесконечно малых «не приложима и не нужна».²

Как уже сказано, для Огарева все социально-экономическое мировоззрение определяется тем, кается ли в основу частная или общественная собственность. Однажды он даже восклицает в письме к Герцену: «мне хочется во французские умы влукнуть истину, что социализм начинается с земельной собственности». В России борьба вокруг общины также целиком упирается в вопросы собственности. Огарев по-своему интерпретирует взгляды на земельную собственность русских помещиков, объявляя их тоже собственными с концепциями европейской буржуазии. По словам Огарева, в сущности и в Англии на континенте власть принадлежит буржуазии, т. е. тому среднему сословию, которое, разжившись на счет народа, оплокинуло феодализм, а само отделилось от народа». При феодализме земля досталась завоевателю. Для него удобнее всего было превратить ее в свое частное владение. Феодализм поощрял личную земельную собственность, потому что тем самым он узаконил «право разбоя». Земля была полезна между феодалями. Последним было выгодно иметь возможность продавать ее тем, кто больше дает. Но и «купцы» земли готовы были всеми мерами отстаивать свои права на нее против народа т. е. против всякого общинного землевладения. «Таким образом и

¹ Н. П. Огарев. Назв. соч., стр. 356—357.

² За пять лет (1855—1860). Политические и социальные статьи Искандера

Н. Огарева, часть вторая (Н. Огарев). London, 1861, стр. 85—88.

¹ Литературное наследство, 1941, № 39/40, стр. 402.

² Литературное наследство, 1941, № 39/40, стр. 423—424.

³ Там же, стр. 398.

при пособии *corpus juris civilis* образовалось буржуазное право собственности, а Европейская наука положила его основанием своей политической экономики. Русский помещик в эгоистических интересах примыкает к этому европейскому понятию о собственности, провозглашая личную земельную собственность «основанием общественного благосостояния». Понятно почему: ему выгоднее всего продать землю не общине, а отдельному лицу, да еще по цене «добровольно условленной». «Помещик продал бы граздо дорожю землю богатым крестьянам, продал бы сколько хочет, продал бы в немногие руки, а остальные батраки стали бы работать из-за полснопа». ¹ Общинное владение земель противопоставляется частному. Оно ведет к равномерному пользованию землей со стороны коллективного собственника. «В форме общинного землевладения социализм становится на почву, потому что при наследственном землевладении почва для него невозможна». ² Огарев, конечно, прекрасно понимал, что наша община — еще далеко не социализм. Но он был твердо убежден в том, что после освобождения крестьян с землею в общине начнутся новые процессы, которые будут развивать ее в направлении социализма. «В освобожденной сельской общине поднимутся новые вопросы. Перейдут ли деланки земель в общинный труд и деление прибытков, как делается у нас в мастеровой общине, или перейдут в иную неизвестную нам форму труда, долго ли еще сохранятся? — мы этого покамест не знаем. Дайте время элементам разразотаться и увидим; дайте крестьянам, при развитии промышленности, сделаться «недовольными своим способом земледелия и они станут переходить к другому способу». ³ При всей смутности этих намеков на грядущие изменения в способе хозяйствования и в формах труда, они ясно показывают, что в глазах Огарева община была не застывшим общественным институтом, а живым организмом, который при благоприятных условиях начнет развивать заложенные в нем потенции социалистической экономики.

Злоключения западного мира в глазах Огарева, в первую очередь определяются тем, что там развилась такая форма собственности, что «он, задыхаясь, не может выпутаться». ⁴ Социализм не дает выхода из положения, потому что при существующей на Западе наследственной земельной собственности «все живое каменеет». Община является зародышем справедливейшего общественного строя. Она обеспечивает всем источник существования,

¹ За пять лет, часть вторая, «Ответ на письмо малороссийского помещика», стр. 105.

² За пять лет, часть вторая, «Письмо к автору „Возражения на статью Колокола“», стр. 90.

³ За пять лет, часть вторая, «Письмо к автору „Возражения на статью Колокола“», стр. 93.

⁴ Б. Козьмин. Из публицистического наследия Огарева, Литературное наследство, 1941, 39/40, стр. 292.

она дает возможность мирного преобразования социального строя на началах равенства. Если земледелие в России стоит на низком уровне, то вина лежит не на общине, а на недостаточности сбыта, крепостном праве, притеснениях администрации. Подавление личности тоже идет не столько со стороны общины, сколько от помещика, администрации, бесудия.

Огарев был решительным противником освобождения крестьян без земли. Он предвидит, что оставление всей земли у помещиков превратит их в самых страшных мещан (т. е. буржуа) и поставит вновь бывших крепостных в полную зависимость от них. «Если крестьян отпустят без земли, эти свободно-бездомные люди станут нанимать землю. Кто же установит цену этих наймов? Буржуа помещик. Из-за чего трудиться изменять крепостное состояние русского на крепостное состояние западное, может быть еще более тяжелое?» ¹ Помещичья земля должна достаться крестьянам. Для самих же помещиков Огарев предусматривает другое применение их хозяйственных сил: он призывает их в промышленность. «Оно должно явиться средю, которая оживит богатые производительные силы страны». ²

Однако для того, чтобы предпринимательствовать в промышленности, дворяне должны располагать капиталами. Огарев наравне с Герценом не видит ничего зазорного в том, чтобы помещики получили известную компенсацию за отмену крепостного права. Огарев — сторонник выкупа земли. Этот мотив звучит особенно резко в известной сочиненной Огаревым прокламации «К русскому народу», которая была первоначально использована в качестве кредо революционной организацией «Земля и воля». В этой прокламации выдвигается требование сохранения за крестьянами на праве собственности всей земли, которую они обрабатывают. Дворяне люди и мастера должны также получить наделы за счет свободных государственных фондов. В общем, всем земля должна быть прирезана так, чтобы никто в ней не нуждался. Получив зем покрестьяне должны платить за нее подати в размере, соответствующем сборам с государственных крестьян. Огарев рассчитывает, что это должно дать для ежегодной компенсации помещиков 60 млн рублей. Если исходить из нормы в 6% годовых, это означает, что Огарев готов был подарить помещикам 1 млрд рублей. Голатая, что из 60 млн часть будет предназначаться для погашения долга, Огарев намечал, что выкупная операция должна растянуться на 37 лет. Помещики должны получить облигации, в которые вполноцен капитал, полученный ими за землю. Органом всех расчетов должен был явиться специальный банк, которому Огарев хотел придать не только чисто кредитные функции и задачу по проведе-

¹ Б. Козьмин. Из публицистического наследия Огарева. Литературное наследство. 1941, № 39/40, стр. 294.

² Там же, стр. 296.

нию всех операций по расчету крестьян с помещиками, но и более широкие организационные полномочия. Мы видим здесь намере у Огарева на то, что сен-симонистская выучка не прошла даром и что увлечения кредитом, господствовавшие в середине XIX в. в Европе и приводившие к псылению полупрококов-полумошенников в этой сфере, по выражению Маркса, засели в голове и у Огарева. В нашей дореволюционной литературе было высказано уже мнение, что увлечение проектами финансирования общины банками у Огарева означает «сочувствие практической программе сен-симонизма» с его стороны и в то же время выдает его сочувствие «Мордвиновским мечтаньям в стиле трудопоощрительного банка». По мысли Огарева местные банки должны были снабжать общины «полевыми машинами и орудиями», взимая с них плату за пользование. На этой основе развиваться, по убеждению Огарева, «общинный труд».¹ Но централизованные устремления Сен-Симона и его учеников не могли быть по душе нашим крестьянским социалистам. Возвращаясь, однако, к огаревскому проекту финансирования выкупа земли.

В течение 37 лет, пока шло погашение, крестьяне должны были оставаться в переходном состоянии. После погашения всех обязательств собираемые с крестьян подати должны были получить общественное назначение.

Нас не должно удивлять то обстоятельство, что в начале 60-х годов даже лучшие русские люди высказывались за выкуп земли. Таков был дух времени. Как увидим ниже, даже Чернышевский не рисковал идти наперекор общим веяниям, прилагая все старания лишь к тому, чтобы выкуп был помнее. Пока речь шла о проведении реформы сверху, приходилось считать с помещичьими настроениями. Помещики — так думали даже самые рыные защитники крестьянских интересов — никогда не пойдут на освобождение крестьян без компенсации. Но Чернышевский (о чем подробно будет сказано ниже) потратил массу времени и энергии, чтобы обдумать финансовую сторону реформы и предложить наименее обременительный для крестьян вариант. От конкретных величин надела, выкупа и процента должно было зависеть распределение покупательной силы в пореформенном русском обществе, оно не могло не повлиять также и на самый характер производственных отношений. Миллиардный выкуп, предлагавшийся Огаревым, представлял среднюю цифру. Он не мог удовлетворить помещичьих аппетитов. Но он казался непосильным таким прогрессивным деятелям, как Чернышевский. В вопросе о земельном наделе позиция Огарева тоже была промежуточной. Он исходил от следующих цифр. До реформы за помещиками числилось всего 106 млн десятин. Из них 25 млн нужно скинуть со счетов, как

неудобную землю. Сами помещики имеют в своем пользовании удобной земли 48 млн десятин. Крестьяне обрабатывают 33 млн. Огарев полагал, что эти 33 млн и должны остаться за крестьянами. Он, таким образом, хотел оставить нетронутым формы земледелия, но в то же время радикально изменить производственные отношения между помещиками и крестьянами. Выкупную цену за крестьянскую «душ» Огарев хотел установить в том размере, в каком Онекунский совет выдавал за них ссуду под залог имения. 6-процентная норма устанавливалась для того, чтобы можно было пятью процентами оплачивать крестьянский долг, а один процент предназначался на погашение. Чернышевским было показано, что 5%-ная оплата является непомерно высокой. Таким образом, в своем конкретном плане реформы Герцен и Огарев шли в значительной мере на уступки помещикам, так что осуществление этого плана представляло бы промежуточную линию на границе между прусским и американским путем развития капитализма в русском хозяйстве. Славянофилы отставали, в сущности, чисто прусский путь. Герцен колебался между обеими четкими линиями. Чернышевский готов был одно время верить, что реформа сверху может быть построена по «американским» принципам.

Но Герцен и Огарев не остановились на этой грани. Значительно позже, когда Чернышевский был уже в заточении, в 1864 г. он сделал сразу резкий скачок от прежних мыслей о выкупе к идее *черного передела*. Этот год — знаменательнейшая дата в истории русской общественной мысли. В № 131 «Колоса» анонимный помещик выступил с предложением передачи всей помещичьей земли в обработку земледельческим артелям. Комментируя эту статью, Огарев теперь признает за благо, чтобы помещикам не оставлять никакой земли и в их «барщинных имениях». Он решительно выкидывает принцип полного поравнения мужиков с помещиками: «Хотят иметь пай в мирской земле, по тяглуму расчету, пускай остаются в общине такими же крестьянами, как все». Ясно, что эта программа представляла уже не реформу, проводимую сверху, а революционную задачу. Цикл обсуждения аграрного вопроса завершился. Идея выкупа была похоронена вместе с иллюзиями насчет возможности решить крестьянский вопрос с согласия помещиков. Герцен и Огарев пришли к этому убеждению на основании горького опыта. Штатами должны были кончиться. Найден был заключительный аккорд для политической экономики революционного крестьянства: она окончательно ориентировалась на то, чтобы звать крестьян к черному переделу, к революции.

¹ И. И. Левиц. Акционерные коммерческие банки в России, г. I. Петроград. 1917, стр. 79.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

ЧЕРНЫШЕВСКИЙ — ВЕЛИКИЙ РУССКИЙ ЭКОНОМИСТ

В блестящем созвездии замечательных русских людей, воплощавших в себе лучшие достижения нашей культуры, Чернышевский по праву занимает выдающееся место. В одном из публичных выступлений товарища Сталина была названа целая плеяда замечательных представителей «великой русской нации», и в этом ряду славных имен, которыми мы гордимся, Чернышевский является одним из наиболее дорогих сердцу каждого русского человека. Вспомним также слова Ленина: «есть великорусская культура пушкинцев, гюкковых и струве, но есть также великорусская культура, характеризующаяся именами Чернышевского и Плеханова».

Имя Чернышевского свято чтит вся наша страна, благоговей перед памятью великого ученого и революционера-мученика, прошедшего на каторге лучшие годы жизни. Чернышевский обладал могучим многосторонним гением. Он писал по вопросам философии, филологии, педагогики, истории литературы, эстетики, естествознания, политической экономики, гражданской истории. Он был также замечательным революционером, просветителем, пропагандистом. Здесь придется остановиться лишь на той области, где с особенной яркостью сказались его самобытность и духовная сила, т. е. на политической экономике. Именно в этой области Чернышевский приобрел значение великого социалиста до-марксова периода.

Известно мнение Маркса, согласно которому Чернышевский выделялся среди всех современных ему экономистов, бывших простыми компиляторами, тем, что он является *оригинальным исследователем*. Герман Лопатин передает слова Маркса о Чернышевском: «русские должны стыдиться того, что ни один из них не позаботился до сих пор познакомить Европу с таким замечательным мыслителем». ¹ В неизмеримо большей степени должны испытывать этот стыд мы, советские экономисты, через четверть века после Социалистической революции, так как завет Маркса в отношении Чернышевского остается все еще невыполненным. Можно было бы усомниться в точности воспроектирования Лопатиным слов Маркса, но в нашем распоряжении имеются и печатные отзывы основопо-

ложитков марксизма о Чернышевском, и они остаются одинаково лестными на протяжении целого двадцатилетнего периода. В послесловии ко второму изданию первого тома «Капитала» Маркс упоминает о великом русском ученом и критике Чернышевском, мастерски выяснившим банкротство буржуазной политической экономики. ¹ В 1894 г., незадолго до смерти, Энгельс в послесловии к своей работе «О социальной жизни России» снова пишет об этом «великом русском мыслителе, которому Россия так много обязана». Мы знаем, что Маркс и Энгельс не были склонны расточать комплименты, особенно когда речь шла о современных им экономистах. В частности, социалисты утопического и мелкобуржуазного направления подвергались ими жестокой критике. Отзывов, аналогичных только что приведенным о Чернышевском, мы не найдем у классиков марксизма ни для кого другого. Чернышевский занимал в их глазах *особую позицию*. Недаром Маркс хотел написать биографию Чернышевского и посвятить ему в «Капитале» отдельную главу. Глубокий интерес, который вызывали у Маркса и Энгельса работы Чернышевского, был, конечно, не случайным. Действительно, Чернышевский был из современников Маркса и Энгельса наиболее близок им отчасти по теоретическим своим устремлениям, а еще больше по умению сочетать теорию с подлинно революционным мировоззрением.

Мы до сих пор не имеем законченного представления о системе экономических взглядов Чернышевского. Трудность изучения его работ определяется тем, что, будучи убежденным социалистом, а во многих вопросах даже коммунистом, Чернышевский писал в подпольных условиях царской России и вынужден был пользоваться для выражения своих идей особым «шифрованным» языком, к которому исподволь приучал читателя. Несомненно, что у Чернышевского установилась с читающей публикой связь, понимание с полуслова, с полумаека. Нем иногда довольно трудно выискнуть в смысл той или иной «параболы» или «притчи», как любил называть свои литературные приемы сам Чернышевский. Что же касается читателя, бывшего современником Чернышевского, то он привык жадно вылавливать между строк его гениальных творений подлинную мысль автора, сливал отдельные места, дополнял своей фантазией то, чего не хватало в тексте. Приведем в качестве примера один из довольно часто применяемых Чернышевским литературных приемов. Его симпатии и антипатии в отношении современных ему экономистов всецело определялись его классовой позицией. Он прежде всего — идеолог трудящегося крестьянства, которое должно через революцию прийти к социализму. Но он не имеет возможности решивать в своих научных работах экономистов прямо в этом разрезе. Поэтому к отдельным экономистам приклеиваются ярлыки, исходящие как-будто от оценки научных дарований, а в действ-

¹ Г. Лопатин. Автобиография. Показания и письма, II, 1922, стр. 71.

¹ Маркс и Энгельс. Соч., т. XVII, стр. 13.

вительности, подлежащие показать их отношение к социалистическому мировоззрению. Представителей вульгарной политической экономии своего времени он иначе не называет (это особенно относится к французским и бельгийским экономистам типа Шевалье, Молиари, Волоского и пр.), как «отсталыми», «рутинными», «так называемыми экономистами» и пр. и приписывает им крайнюю ограниченность ума. Полный паралич вульгарной политической экономии говорит о том, что где-то возникло новое течение, привлекающее «все свежие силы». Чернышевский называет неизменно «гениальными мыслителями» всех крупнейших сторонников социалистического направления. Этой лестной характеристики, в частности, удостоиваются великие утописты. Интересно, что когда Чернышевский произносит несколько похвальных слов о Сисмонди, он спешит добавить, что делает это лишь потому, что хвалить Сисмонди «очень удобно». Он надеется все же, что каждый сам «вспомнит имена гораздо более знаменитых, напр., Роберта Оуэна. Это «мыслитель действительно великий. Читатель знает, что у него были сподвижники и остаются продолжатели, достойные стать с ним рядом и по гениальности, и по благородству стремлений». В таких завуалированных формах должен был подносить Чернышевский читателю свои мнения о тех или иных течениях экономической науки. И все же, привыкнув к этому условному языку, читатель начинал понимать, как ему оценивать сочинения какого-нибудь предлагаемого его вниманию экономиста. Чернышевский говорит, например, о Луи Блане: «Не мешало сделать небольшую оговорку. Луи Блан человек вовсе не из тех первоклассных мыслителей, каковы были Сен Симон, Фурье, Оуэн. Он только человек очень даровитый вроде Милля». ¹ И понытий читатель, бесспорно, разумеет, что дело не в дарованиях Луи Блана, а в его социальной позиции. Милль в другом месте причисляется к «второстепенным, но все-таки очень замечательным мыслителям». ² Его можно сравнить с Писемским в литературе, который «вовсе не Гоголь», хотя «его талант далеко недюжинный». В отличие от рутинных экономистов Милль наделяется эпитетом «благородного мыслителя». Это на языке Чернышевского, повидому, означало, что Милль не удовлетворяла прямая апологетика капиталистического строя, столь характерная для вульгарной школы, и он ищет какого-то выхода из тупика, проявляющегося в безысходных противоречиях капитализма. Милль не из тех людей, сообщает Чернышевский в другом месте, которые «в состоянии переработать

науку. Главная его сила в том, что он мыслитель совершенно честный и человек, сочувствующий добру».

Чернышевский даже афишировал перед читателем, чтобы предупредить в нем специальное умение «читать тексты», написанные им, свою конспиративную манеру изложения. Иногда он прибегал к явной буфонаде, естественно вызывавшей у читателя лишь главную усмешку по адресу цензуры, которую Чернышевский как бы вызывал на бой своими литературными приемами. Так, когда по ходу изложения читатель ожидает от Чернышевского высказывания о коммунизме и частной собственности, он вызывает восклицает: «Как бы не так. „Держи карман!“ — Извините за простонародное выражение», и с подчеркиванием сообщает свой принцип изложения научных работ: «Да, с гордостью могу сказать я о себе, что никогда не отступал до сих пор от правила: ниши не о том, о чем следует, да и о том, о чем почти что не стоит писать, ниши не так, как следует». Аргументируя свое нежелание обдумывать в печати вопросы коммунизма и частной собственности, Чернышевский пишет о себе: «... мне в коммунистическом обществе жить не придется, следовательно плыть я хотел на коммунизм (о вашем позволении)». ³ Мы приведем эти литературные обороты Чернышевского для того, чтобы показать, как опасно понимать этого автора дословно. Изучать Маркса и изучать Чернышевского нужно, разумеется, разными критическими приемами. А у нас часто до сих пор предпочитают трактовать Чернышевского буквально, и этим в отдельных вопросах извращают учение нашего величайшего экономиста до-марковского периода.

Раньше всего мы остановимся на суждениях Чернышевского о развитии экономической мысли, потому что, во-первых, именно этому сюжету посвящены у нашего автора действительно замечательные строки, во многом напоминающие научный стиль Маркса, а, во-вторых, потому, что они создают отчетливую канву для изложения экономической системы Чернышевского в целом. Чернышевский стоял на той точке зрения, что каждая общественно-экономическая формация рождает свойственные ей идеологии соответственно с позицией отдельных классов и их взаимоотношениями между собой. Оставляя в стороне «патриархальный способ производства», как его называет Чернышевский, и рабовладельческий Рим, укажем на идеологию «сословия поземельных собственников», возникшую при существовании «феодалных учреждений». Поземельные собственники выдвигают «теорию приобретения богатства посредством насилия». Экономическая неразвитость эпохи отражалась, конечно, и в области идеологии. Но все же это общество имело свою экономическую теорию. Ее смысл заключался в том, что свободному человеку «не следует заниматься

¹ Н. Г. Чернышевский. Капитал и труд. (Статья из «Современника», 1860). Соч., т. VI, стр. 22.

² Н. Г. Чернышевский. Основания политической экономии Д. С. Милля. Перевод с примечания. Соч., т. VII, стр. 640.

³ Н. Г. Чернышевский. Антропологический принцип в философии. Соч., т. VI, стр. 185.

⁴ Н. Г. Чернышевский. Примечания к Миллю. Соч., т. VII, стр. 305.

производством. Он должен быть только потребителем.¹ Так возникла «меркантильная теория», сущность которой сводится к принципу «брать у других, не давая им ничего взамен». Впоследствии появилась политическая экономия «среднего сословия», притязавшая на привилегию быть «единственной теорией экономических устроений», тогда как ее дух соответствует лишь положению среднего сословия и его занятий. Это сословие состоит из промышленников и торговцев, больше всего заинтересованных в расширении своих предприятий и росте обмена. Отсюда главное содержание этой ветви политической экономии: разделение труда, а целях расширения масштаба производства, свободная торговля, банковые обороты и пр. Владчество конкуренции объявляется высшим принципом, потому что она используется для того, чтобы отбирать потребителей у своих соперников и тем самым поднимать благосостояние других промышленников и торговцев. Представители среднего сословия являются естественными противниками войны между народами, но они разжигают междоусобную брань между производителями методами соперничества, которые поощряют дикую спекуляцию. Чернышевский отмечает далее противоположное отношение земельных собственников и промышленников к производству: феодал «пользуется рентой и получает, ничего не давая в обмен; купец и хозяин промышленного заведения приобретают богатство посредством обмена». Однако эта противоположность не приводит к антагонизму. Банкиры, купцы и мануфактуристы снисходительны к своему «изнемогающему» противнику, так как предвидят его близкую смерть. Кроме того, у них с высшим сословием много личных связей. Из всего сказанного проистекает замечательное определение сущности английской политической экономии конца XVIII и начала XIX в., даваемое Чернышевским: «эта теория выражает взгляд и интересы капиталистов, ведущих промышленные и торговые дела и отчасти уже сделавшихся владельцами недвижимой собственности, а вообще проникнутых снисходительностью к побеждаемому врагу, феодальному сословию, которое оказывается их союзником в вопросе о распределении ценностей».²

Трудно ярче показать зависимость идеологии английских классиков от социальных условий и классовых позиций, чем это сделано у Чернышевского. Однако в анализе экономических идеологий его сила даже не в этом. Чтобы обмануть бдительность цензуры, наш автор использует обсуждение достоинств и недостатков тех или иных теорий для того, чтобы показать за ними фундамент, на котором вырастают эти идеологические течения. Выступая в роли критика буржуазной политической экономии, Чернышевский между строк раскрывает диалектику обществен-

ного развития, рассматривая изменения в общественной идеологии лишь как символ предстоящих ей революций в производственных отношениях. Он обрисовывает, прежде всего, с удивительным мастерством полное банкротство вульгарных экономистов, которые не сумели ни на йоту двинуться дальше Смита, несмотря на то, что в экономике произошли грандиозные сдвиги. Этот застой мысли стоит в явном противоречии с динамикой экономической жизни. После Рикардо в экономической науке все содержание сводится лишь к «жалкой переделке, какой подвергается эта теория у континентальных болтунов и компиляторов, недобросовестно или бессмысленно искажающих ее суровый, но благородный характер, набивающих в нее без разбору всякую дрянь». Ни одной новой мысли политическая экономия не создала за целых 40 лет. В ней преобладали лишь «компиляторы, очень почтенные, но шадившие ни глаз, ни поясницы для служения науке». Каждого из современных ему экономистов Чернышевский буквально несколькими штрихами ярко разрисовывает в карикатурном виде. Один из них — люди «очень ученые». Другие — «замечательны способностью богатырь легко и изящно». Вся заслуга третьих состоит в популяризации политической экономии там, где она была недостаточно известна. Четвертые пишут памфлеты очень бойкие. Пятые (Бастиа) доказывают, что «все на земле устроено премудро». Шестые пишут справочники «неоцененные для прискакивания справок и цитат». И в целом политическая экономия топчется на месте. «40 лет неподвижности в теории такого предмета, как политическая экономия, — восклицает Чернышевский, — это нечто несудобомыслимое, неправдоподобное, невероятное».¹ Так внушает Чернышевский читателям убеждение в апологетичности и тупости представителей вульгарной политической экономии.

Особое место среди идеологов имущих классов Чернышевский отводит Дж. Ст. Миллю. Его высказывания по этому вопросу важны не сами по себе, а в связи с тем, что во взглядах Милля Чернышевский видит отражение в сознании буржуазии неизбежности краха капиталистического общества. В «Системе политической экономии» у Милля Чернышевский находит выражение чувств тех «благородных людей богатых сословий Западной Европы», которые понимают неизбежность «перемены общественных отношений». Эти перемены должны «обнять всю общественную и частную жизнь», изменить «все учреждения и нравы, начиная с государственных форм и кончая семейными отношениями и экономическими постановлениями». Эти перемены невыгодны для класса, идеологом которого является Милль. Отсюда песимизм его теоретических взглядов, отсюда его представление о неизбежности приостановки хозяйственного развития, о перспективе застоя в китайском стиле. Чернышевский прекрасно

¹ Н. Г. Чернышевский. Капитал и труд. Соч., т. VI, стр. 23.

² Там же, стр. 28.

¹ Н. Г. Чернышевский. Назв. соч., стр. 17—18.

13 Проф. Штепа

разъясняет происхождение этого мрачного пессимизма у Милля: «его соинение о предстоящей судьбе цивилизованных стран не больше, как возведенное личным чувством в общую формулу предчувствие того, что дальнейшее развитие цивилизации будет уменьшать привилегии, присвоенные сословием, к которому сам он принадлежит».¹ Таким образом предстает грядущая перемена в общественном строе на Западе, и Милль сознает, что она направлена против интересов его класса. Эта перемена, как понимали читатели Чернышевского, — социалистический переворот.

Чернышевский подходит критически и к социалистам-утопистам. Он ушел значительно дальше их, как будет видно из дальнейшего. Среди утопистов он сочувствует значительно больше Оуэну, чем Сен-Симону. Мы привели уже общую оценку Оуэна. В романе «Что делать?» один из героев чувствует себя счастливым, когда ему удалось раздобыть фотографию Оуэна и получить письмо от «святого старика». Симпатии Чернышевского к Оуэну диктуются тем, что он ближе к коммунизму, чем Сен-Симон. Чернышевский не может сказать этого прямо, но это чувствуется из его полумягков. Как он заявляет, «первые проявления общественных стремлений всегда имеют характер энтузиазма, мечтательности, так что больше походят на поэзию, чем на серьезную науку».² Таков был характер и сен-симонизма. Чернышевский прекращает сен-симонистов и за идеализацию католицизма и за прихотливый характер изысканий аристократичности, аффектирующей замашки сантиментальной демократичности. «Сен-симонисты были салонные герои, подвергавшиеся припадку филантропизма».³ Говоря о Прудоне, Чернышевский хочет вывести особенности и его идеологии из условий среды, в которых он вырос. Прудон — самоучка, вышедший из народных масс. Он учился преимущественно по книгам, попадавшимися ему под руку, причем читал их без разбора. Между тем, чаще всего «попадаются книги, написанные в духе теорий, уже получивших господство в обществе». Такова уж судьба всякого самоучки. Отсюда Прудон показывает собственным примером, как «простолоудины, жаждущие перемен, затрудняются в их осуществлении тем, что воспитались в понятия старины, не познакомились еще с воззрениями, соответствующими их потребностям».⁴ В другом месте Чернышевский называет Прудона писателем «очень крутого нрава», который, собственно говоря, сам не знает толком, кто он такой и можно

ли его причислить к социалистам и коммунистам.¹ Эти меткие высказывания Чернышевского показывают, что он гораздо глубже разобрался в Прудоне, чем это удалось сделать Гершену. Вообще понимание экономических доктрин было чрезвычайно облегчено Чернышевскому тем обстоятельством, что он видел в идеологии лишь зеркало общественных отношений. В связи с этим вопросом нужно рассмотреть взгляды Чернышевского на смену общественных форм и особенно его теорию некапиталистического пути развития (принципиальная оценка этой теории дана нами выше, см. стр. 170—171).

Схема общественного развития изложена Чернышевским в его поистине замечательной статье «Критика философских предубеждений против общинного владения». С внешней стороны эта статья написана неудачно: она растянута, в ней много повторов. Можно думать, однако, что Чернышевский готов был пожертвовать литературной формой для того, чтобы тем вернее внушить читателю мысль, которую он не решился высказать прямо, а в прикрытой форме она могла сразу и не дойти до сознания. Ссылаясь на философские построения Шеллинга и особенно Гегеля, Чернышевский настаивает на том, что и общественная жизнь подчиняется аксиоме: «по форме... высшая степень развития сходна с началом, от которого она отправляется».² Этим началом в общественной жизни является община общности. Из нее развивается в качестве высшей формы на известном этапе частная собственность. Однако развитие не может остановиться на этой ступени. Необходимо восстановление общинной общности. Эту схему Чернышевский рассматривает на примере сельского хозяйства. Общинное владение землею при первобытном состоянии существует потому, что «человеческий труд не имеет прочных дорогих связей с известным участком земли».³ Во «вторичном состоянии» возникает необходимость в затратах труда и капитала в землю. Возникает частная собственность. Но на известном этапе развития это приводит к разрыву между собственником земли и непосредственным работником, ее обрабатывающим. Является новая система — «фермерство по контракту». Сельскохозяйственное производство воплощается в огромных единицах, далеко превы-

¹ Н. Г. Чернышевский. Антропологический принцип в философии. Соч., т. VI, стр. 189.

² Н. Г. Чернышевский. Процесс мениловитанского семейства. (Статья из «Современника», 1860). Соч., т. VI, стр. 128.

³ Там же, стр. 150.

⁴ Н. Г. Чернышевский. Антропологический принцип в философии. Соч., т. VI, стр. 193.

¹ Н. Г. Чернышевский. Основания политической экономии Д. С. Милля. Соч., т. VII, стр. 630. В секретной записке о литературной деятельности Чернышевского, представленной министром юстиции в Сенат, автор ее умудрился упомянуть в изданном Чернышевском переводе и примечаниях к Миллю стремление «Милля передать в Прудона». Глубокомысленный экономист из III отделения поистине попал пальцем в небо. Если и Гегель трудно заподозрить в приклонении перед Прудоном, то Чернышевский уж и поладно был далек от прудонизма (см.: Процесс Н. Г. Чернышевского. Архивные документы. Редакция и примечания Н. А. Алексеева. Саратов, 1939, стр. 262).

² Н. Г. Чернышевский. Критика философских предубеждений против общинного владения. Статья по крестьянскому вопросу. (Современник 1857—1859) CI 16, 1905, стр. 625.

³ Там же, стр. 643.

шающих силы отдельного хозяйства. Большинство производителей обращаются в «наемных работников», не участвующих непосредственно в выгодах от ведения хозяйства. При таких условиях неизбежно возвращение к общинному принципу владения, так как он является единственным способом доставить огромному большинству земледельцев участие в вознаграждении, приносимом землею, за улучшения, производимые в ней трудом».¹

Таким образом именно общинное владение должно явиться «высшей формой отношений человека к земле». В этом изложении Чернышевского должно броситься в глаза, что развитие частной собственности приводит в земледелии к возникновению крупного производства, и восстановление «общинного владения», о котором он говорит, казалось бы, не может вести назад, к мелкому раздробленному хозяйству общинного типа. Россия с ее отсталым хозяйством должна представить исключение. Она, повидимому, по мысли Чернышевского, еще не доросла до фермерства по контракту с господством наемных рабочих. В отношении таких стран Чернышевский и ставит вопрос о миновании капиталистической стадии. Там, где нет еще развитой частной собственности, Чернышевский считает возможным, чтобы не все «логические моменты» развития проходились «с полной их силой». Средние моменты могут быть пропущены или хотя бы сильно сокращены.

Здесь мы подходим к важнейшему вопросу: как же может быть обеспечен этот скачок? Какой общественный класс, по Чернышевскому, должен был явиться в России (как и в других отсталых странах) творцом новых отношений, нового строя? Обычно слабым местом в схеме Чернышевского признается предположение, что этим классом может быть лишь революционное крестьянство. Так, В. Е. Иллерицкий в заостренной форме выдвигает тезис о том, что, хотя Чернышевский прекрасно понимал неизбежность классовой борьбы, но «революционной силой он считал крестьянство, а не пролетариат». По словам того же автора, крестьянская революция, должна была снять вопрос об образовании пролетариата и развитии пролетарского движения в России».² Непонятно, откуда могло взяться такое представление. Чернышевский рассчитывал на самых непонятливых читателей и для них вел изложение в таком упрощенном виде, будто читал по складам. И все же его не поняли. Чернышевским подготовлена в черновом виде схема, принятая впоследствии Марксом в отношении как раз России того времени. Между тем, у нас старались найти прямую противоположность в трактовке проблемы общины у основоположников марксизма и у Чернышевского. Так.

¹ Н. Г. Чернышевский. Критика философских предубеждений против общинного владения, стр. 644.

² В. Е. Иллерицкий. Н. Г. Чернышевский о русской общине. В сборнике «Н. Г. Чернышевский. 1880—1939». Саратов, 1939, стр. 102.

уже упоминавшийся В. Е. Иллерицкий строит изложение вопроса из такой антитезы: «Маркс и Энгельс считали, что *внутри русской общины нет никаких данных для ее перехода к социализму*». Чернышевский же якобы, наоборот, полагал, что «*условия социального развития России заложены в самой общине*».¹ Столь резкое противопоставление взглядов на общину Маркса и Энгельса, с одной стороны, и Чернышевского, с другой, представляется нам ошибочным. В этой и следующих главах будет приведен материал, позволяющий, как нам представляется, сблизить концепции общественно-экономического развития России у классиков марксизма и у нашего великого революционного демократа.

Разобраться в этом вопросе, прежде всего, помогает рассматриваемая статья «Критика философских предубеждений против общинного владения». В ней Чернышевский повторяет свою основную мысль трижды. Мысль заключается в том, что сокращение средних моментов становится возможным лишь потому, что другие, более передовые страны уже прошли весь процесс развития, и незачем вновь повторять эти этапы тем, кто еще стоит в начале эволюции. История любит младших внучат. Сначала Чернышевский берет в качестве примера фосфорную спичку. Зажженная спичка подносится к дровам в печи. Процесс воспламенения значительно ускоряется. «Это ускорение совершается посредством соприкосновения»,² — подчеркивает для недогадливого читателя Чернышевский. Несколько изменяя пример, наш автор затем предполагает, что из Парижа приезжает человек с фосфорными спичками в центральную Африку. Тогда «дикарям нет нужды учиться сначала употреблению огня, потом употреблению серной спички, — они прямо берутся за фосфорную спичку».³ Процесс развития с чрезвычайной быстротой пробегает с низшей ступени все средние до высшей. Итак, Чернышевский упорно внушает своему читателю определенную идею. Сначала зажженная спичка подносится к дровам, теперь парижанин приезжает к дикарям. Недостаточно одного восприятия идей. Нужен еще практический опыт обучения. Наконец, Чернышевский обращается и к общественной жизни и снова прибегает к иллюстрации. Конечно, он не может непосредственно говорить о перенесении опыта социализма из Европы в Россию. Он берет явно надуманный пример. Новозеландцы, пользуясь восприятием опыта Англии, минуя стадию протекционизма и переходят непосредственно к свободной торговле. Но если вспомнить, как в начале его статьи возник самый вопрос о прыжке через средние стадии (т. е. в связи с вопросом о миновании капиталистической фазы для народов, сохранивших общинное владение), ясно, куда кло-

¹ В. Е. Иллерицкий. Назв. соч., стр. 112.

² Н. Г. Чернышевский. Назв. статья, стр. 648.

³ Там же, стр. 650.

нит Чернышевский. Он говорит об ускорении процесса у отсталого народа, когда у другого народа известное «общественное явление достигло высокой степени развития». ¹ Нетрудно понять, что предполагается таким образом, что социализм уже достигнут, скажем, в Англии. Англичанам нужно было 1½ тыс. лет цивилизованной жизни, чтобы дойти до «свободной торговли». Новозеландцы, конечно, «не потратят на это столько времени». Далее Чернышевский повторяет в третий раз свою мысль, отчетливо формулируя: «Это ускорение совершается через сближение отставшего народа с передовым (англичане приезжают в Новую Зеландию)». Чернышевский, наконец, отмечает, что прыжок совершается «благодаря влиянию передового народа». ² Итак, если расшифровать высказывания Чернышевского, его теория должна выглядеть так. Россия может перейти непосредственно к социализму, если в передовых странах уже произойдет социалистический переворот, причем необходимо, чтобы передовой народ своим опытом, перенесенным благодаря непосредственному воздействию и контакту, оказал влияние на ход общественного переустройства. Нетрудно видеть, что это и есть в зародыше марксова теория некапиталистического развития, притом высказанная на несколько лет раньше Маркса. Пусть по замыслу Чернышевского переворот совершает крестьянин. Но помощь из-за границы ему естественно оказывает «наемный рабочий», о котором идет речь в схеме у Чернышевского. Построение Чернышевского представляло интерес именно потому, что, во-первых, оно выдвигало общую идею или теорию некапиталистического развития для остальных стран, и, во-вторых, он хотел приложить ее к России, когда в ней были налицо лишь слабые зачатки капитализма.

Высказанные нами мысли естественно должны встретить противодействие ввиду ускорившегося представления (по Плеханову), будто Чернышевский в такой же мере стремился извратить Россию от «язывы пролетариата», как славянофилы или Гакстгаузен. Нам думается, однако, что это представление основано на недоразумении. Отношение Чернышевского к рабочим упрощенно выводится из его известной фразы относительно благотворности «принципа общинного владения, который ограждает нас от страшной язывы пролетариата в сельском населении». Достаточно сопоставить эту единственную в своем роде фразу с другими выдержками у Чернышевского, чтобы убедиться в совсем ином восприятии Чернышевским проблемы пролетариата.

Прежде всего, Чернышевского выгодно отличает от народников не только ясное сознание неизбежности начавшегося в его время капиталистического развития России, но и положительное, в общем, отношение к преобразованиям экономики на этой осно-

ве. В 1860 г. Чернышевский отмечал, что «перемена» уже началась. «Торговля и мануфактурная промышленность в передовых странах уже переполнены капиталом и он рвется обнять новые отрасли деятельности». Развитие охватило и железные дороги. Вновь возникающему капиталу остается лишь одно производственное помещение в сельское хозяйство. Поэтому нетрудно предсказать, что «скоро исчезнут причины различия между земледелием и фабричной промышленностью по отношению выгодности производства в большом размере». ¹ Каждому ясно, насколько этим своим высказыванием Чернышевский забегает вперед и насколько лучше понимает он процесс развития капитализма в земледелии, чем всякие Герцы, Давиды и Булгаковы через несколько десятилетий после него. Чернышевский прекрасно показывает, каковы успехи крупного производства в его борьбе с мелким. Еще 80 лет тому назад, по его словам, экономическая роль крупного производства была ничтожна даже в Англии. «Всего лет 40 или много 50 прошло с тех пор, как начало оно быстро возвышаться, и только вот в последние годы стало оно достигать решительного перевеса над производством в малом размере». ² Теперь эти перемены надвигаются и на Россию. Правда, ей надолго придется быть «государством по преимуществу сельскохозяйственным». Однако и «наш быт, доселе остававшийся почти чуждым влиянию тех экономических законов, которые обнаруживают свое могущество только при усилении экономической и торговой деятельности, начинает быстро подчиняться их силе. Скоро и мы, может быть, вовлечемся в сферу полного действия закона конкуренции». При этой «новой эпохе усиленного производства», конечно, многие из «прежних экономических отношений изменятся сообразно потребностям времени». ³ Чернышевский предрекал неизбежное в течение немногих лет удвоение, если не учетверение капиталов в торгово-промышленной деятельности. Эти количественные сдвиги повлекут за собой и качественные. «До сих пор семейство наших поселян покупало только соль, колеса, вино, сапоги, кушачи, серги». Остальное производилось в домашнем хозяйстве. Но положение должно резко измениться. «Домашнее сукно скоро сменится на поселянские фабричные, льняные и псковские ткани домашнего изделия — хлопчатобумажными». ⁴ Чернышевский предсказывает, что все это совершится в ближайшем будущем в селах, как уже произошло в городах. Приведенные пророчества Чернышевского не только обна-

¹ Н. Г. Чернышевский. Назв. соч., стр. 657.

² Там же.

¹ Н. Г. Чернышевский. Примечания к Миллю. Соч., т. VII, стр. 208—209.

² Там же, стр. 219.

³ Н. Г. Чернышевский. Славянофилы и вопрос об общине. Соч., т. III, стр. 185.

⁴ Там же, стр. 186.

привагают в нем дар глубокого экономического предвидения, которого были совершенно лишены пародники, но и отчетливое понимание путей, по которым предстоит двигаться русской экономике.

Чернышевский умел при этом с большим мастерством изображать рост свойственных капитализму внутренних противоречий по мере его исторического развития. У нас уже указывалось, что Чернышевский противопоставляет мечтам Д. Ст. Милля о смягчении общественного неравенства «стихийный закон увеличения неравенства, свойственный частной собственности». В сознании Чернышевского этот закон стоит в теснейшей связи с торжеством монополии на известном этапе развития капиталистического хозяйства. Об этой победе монополии Чернышевский рассказывает в статье, посвященной истории сен-симонизма, и свои выводы по этому вопросу он приписывает Сен-Симону. Народное хозяйство находится в состоянии постоянной войны, которая на языке экономистов называется конкуренцией. Эта война включает «борьбу производителей между собой за сбыт товара, борьбу работников между собой за получение работы, борьбу фабриканта с работником за размер платы, борьбу бедняка против машины, отнимающей у него прежнюю работу и прежний кусок хлеба». Конкуренция губит всех слабейших в каждом разорятся; из самой свободы возникает монополия миллионов, порабащающих себе всех.²

В другой своей работе Чернышевский описывает самый процесс возникновения пролетариата, под губительным влиянием конкуренции. В таких странах, как Англия или Франция, возникают, на одной стороне, тысячи богачей; а на другой — миллионы бедняков. Появляются массы батраки в сельском хозяйстве, рабочие в промышленности, положение которых очень печально. Дальнейшее развитие приводит к тому, что «по роковому закону безграничного соперничества, богатство первых (богачей. — В. Ш.) должно все возрастать, сосредоточиваясь все в меньшем и меньшем числе рук, а положение бедняков должно становиться все тяжелее и тяжелее». В результате войны всех против всех земли обременены долгами, ремесленники превращаются в наемных рабочих, рынки завалены товарами, фабрики закрываются. «Все открытия науки обращаются в средства порабощения и оно усиливается самым прогрессом: пролетарий делается просто рукояткой машины и беспрестанно бывает принужден жить милостыней; с

60 лет он остается без всяких средств к жизни; его дочь продает себя от голода, его сын с 7 лет дышит зараженным воздухом фабрик». Уж из этого анализа можно легко усмотреть, что для Чернышевского «язык пролетариата» — неизбежный результат капиталистического развития на Западе, и применение им этого понятия еще ни в какой мере не определяет субъективного отношения Чернышевского к пролетариату. Конечно, Чернышевский предпочел бы, чтобы общественное развитие шло безболезненно и не порождало ужасных явлений, связанных с этим обострением. Однако симпатии Чернышевского всецело на стороне пролетариата, раз уж ему суждено было возникнуть.

Чернышевский видит в пролетариате, прежде всего, героя революции 1830 и 1848 гг., опыт которых он отлично изучил. Он успел подметить, что «во Франции вопрос о новом экономическом устройстве прошел уже несколько кризисов». То же происходит и в Англии. Кто не хочет читать монографии о чартизме, тому Чернышевский советует познакомиться хотя бы с романом Диккенса «Тяжелые времена». Открытая ненависть между простолюдными (этим термином иногда пользуется Чернышевский, говоря о массе трудящихся) и «средним сословием» во Франции «произвела в экономической теории коммунизм». В 1848 г. почти повсюду, где вспыхивала революция, у простонародья была тенденция к «коренному ниспровержению существующего экономического порядка». Страх обвала господствующих классов. Казенная политическая экономия заразилась «социализмофобией и коммунизмофобией». Кто же призвал эту панику среди капиталистов Франции? Отвечая на этот вопрос, Чернышевский осторожно, но уверенно выдвигает на передовую арену исторической жизни Франции пролетариат. Он описывает, например, довольно подробно Лионское восстание 1831 г. Вот один из эпизодов: «Работники захватили две пушки национальной гвардии предместья Красного креста и двинулись на Лион. Впереди шли барабанщики, над ними развевалось черное знамя, знамя пролетариата. На этом знамени был девиз: „жить работою или умереть в бою“». С необходимою по цензурным условиям оглядкою Чернышевский резюмирует: «Странное впечатление произведено было на Францию Лионским восстанием. . . Лионские работники поднялись не за Генриха V, не за Наполеона II, не для провозглашения республики. Зачем же они восстали, чего хотят? чего-то чуждого понятиям всех порядочных людей, даже самых увлеченных крайними республиканскими понятиями. „Жить работою или умереть в бою“ — это девиз, чуждый всем партиям. Что же будет такое? Могут ли все партии считать безопасным для себя этот класс, или все должны соединиться

¹ М. П. Крижанский. Освещение Н. Г. Чернышевским банкротства буржуазной экономики. Сборник: «1889—1939. Н. Г. Чернышевский» Ленинградского университета. 1941, стр. 56.

² Н. Г. Чернышевский. Процесс менильмонтанского семейства. Соч., т. VI, стр. 128.

³ Н. Г. Чернышевский. Заметки о журналах, апрель 1857 г. Соч., т. III, стр. 182.

⁴ Н. Г. Чернышевский. Процесс менильмонтанского семейства. Соч., т. VI, стр. 128—129.

⁵ Н. Г. Чернышевский. Ильская монархия I. Соч., т. VI, стр. 95.

⁶ Там же, стр. 97—98.

против него? Но забота эта была новая, непривычная для тогдашнего поколения, уже забывшего о Бабефе». И в вопросе о национальных мастерских 1848 г. Чернышевский прекрасно знает, где правда, «Они были устроены врагами коммунизма как лагерь против коммунистов и однако же очень хитро выставлялись за создание коммунистов». Чернышевский иронизирует над всякого рода недовольствами, приписываемыми Луи Блану в его время, и восклицает: «если масса людей грамотных, довольно много читавших и очень опытных в житейском деле — а ведь парижские рабочие таковы — выводишь вперед своим представителем Луи Блана, то вероятно его требования не были до такой степени неудобнополными для нынешнего времени». Вот, следовательно, какими рисовались Чернышевскому парижские рабочие 1848 г.: это очень грамотные, много читавшие, опытные в житейских делах люди. Как же тогда быть с «язвою пролетариата»? Замечательное место из статьи Чернышевского о Гакстаузене, из которого занимают как раз эту «язву», характерно именно в том отношении, что Чернышевский обнаруживает удивительное для его времени, да еще в тогдашних русских условиях, понимание того, что утопический социализм уже отжил свое время и должен смениться новой системой, выражающей интересы пролетариата. Послушаем повнимательнее: «Гакстаузен воображает, будто бы в 1847 году, когда была издана его книга, вопрос о сен-симонизме и тому подобных мечтах все еще оставался современным вопросом. Добрая не замечал, что времена этой системы, действительно мечтательной и неосуществимой, прошли задолго до 1847 года и что в этом году разве какая-нибудь невинная старая девушка держалась во Франции системы Сен-Симона... Гакстаузен по сердечной простоте перепутывает вопрос о пролетариате с сен-симонистской системой. Но мы предупреждаем читателей, что в наше время говорить о сен-симонизме то же самое, что говорить о какой-нибудь системе физиократов или меркантилистов». И так, Чернышевский меняет в вину своим противникам и, прежде всего, экономистам из журнала «Экономический указатель», что они смешивают вопрос о пролетариате с сен-симонистской системой. И в свете этих указаний Чернышевского становятся особенно знаменательными слова, которыми он заканчивает свою статью о процессе менильмонтанского семейства, т. е. о сен-симонистах. Определив сен-симонистов, как салонных героев, подвергавшихся припадку филантропизма, Чернышевский все же предлагает ценить историческую важность первого проявления мысли о преобразовании общества. Обществу действительно пришла пора заниматься идеями, которые были на первых порах столь неудовлетворительно выражены сен-симонистами. «Скоро мы увидим, что они стали проявляться в формах более рассудительных и доходить до людей, у

которых бываю уже не восторженной забавой, а делом собственной надобности. А когда станет рассудительно заботиться о своем благосостоянии тот класс, с которым хотели играть кукольную комедию сен-симонисты, тогда, вероятно, будет ему лучше жить на свете, чем теперь». Видимо, Чернышевский так ловко подделался на удочку своей «язвы пролетариата», предназначенной специально для цензуры и современных исследователей, что они всеверно поверили в антагонизм, существовавший у Чернышевского против рабочего класса. Может ли быть, если учесть внимательно приведенные высказывания Чернышевского, чтобы он действительно считал только крестьянство революционным классом? Нет, недаром Маркс считал Чернышевского единственным экономистом своего времени, заслуживающим внимания. От его трудов веет духом классовой борьбы, и для Западной Европы эта борьба несомненно представляется ему в виде столкновения революционного пролетариата с буржуазией. Этот пролетариат уже осознал свои интересы и не удовлетворяется утопической мажорной кашкой сен-симонизма. Лишь для России, в силу специфических условий ее развития, Чернышевский мог считать крестьянство классом, призванным сыграть такую же революционную роль, как на Западе пролетариат, причем только помощь этого пролетариата (не только идеями, но и передачей опыта на практике) способна обеспечить крестьянству победу в деле прямого перехода от старинной общины к социализму.

Мы видели, что Чернышевский не очень-то высоко ценил политическую экономию своего времени. Он называл ее «политической экономией капиталистов». Она была откровенной идеологией господствующих классов. Но Чернышевский счел необходимым противопоставить ей особую «политическую экономию трудящихся», отражающую интересы не капиталистов, а масс, бывших при капитализме объектом эксплуатации. Конечно, такая политическая экономия сама по себе имеет известный налет утопии. Во-первых, строить политическую экономию трудящихся (т. е., в понимании Чернышевского, рабочих и крестьян) до того, как эти классы одержали победу над капитализмом, было бы едва ли целесообразно. Во-вторых, самый термин «трудящийся» достаточно неопределен для решения такой задачи. Однако в оправдание Чернышевского нужно сказать, что он и не пытался создать целостную «политическую экономию социализма», как мы выразились бы на современном языке. Он пытался лишь, обходя по обыкновению полудонские рифы цензуры, вывести несколько основных положений своей «политической экономики трудящихся». Воспроизведем вкратце эти положения. Политическая экономия, если она хочет быть наукой, убедительной для всех, должна иметь в виду «выгоды общества, наши, человечества, а не какой-

¹ Н. Г. Чернышевский. Studien Гакстаузена. Соч., т. III, стр. 293.

¹ Н. Г. Чернышевский. Процесс менильмонтанского семейства, Соч., т. VI, стр. 150.

нибудь частной корпорации». ¹ Главное внимание она должна уделять проблеме распределения. Распределение должно быть подчинено основному принципу, по которому наивыгоднейшим является положение, обеспечивающее при данной массе ценностей «наибольшую массу благосостояния и наслаждения». Расшифровывая это понятие, Чернышевский в другом месте высказывает требование, чтобы часть, приходящаяся при распределении каждому, по возможности совпадала со среднюю цифрой. ² В переводе на простой язык это означает максимальное приближение к *равномерному* распределению ценностей. Таков именно высший принцип Чернышевского. Для его осуществления наилучшим способом является применение начала товарищества. Товарищество — это естественная организационная форма политической экономии трудящихся. Капиталист не нуждается в союзе с другими, потому что в его распоряжении множество людей, чьими силами он располагает. С другой стороны, он всегда находится в борьбе с другими капиталистами. Наоборот, трудящиеся не имеют причин враждовать друг с другом, а взаимный союз для них является экономической необходимостью. Труд наиболее производителей, когда работник сам владеет продуктами своего труда. Это до сих пор было возможно только при мелком производстве. Но Чернышевский отношь не хочет жертвовать интересами развития производительных сил ради равномерного распределения. Нужно сохранить возможность и крупного производства и принцип принадлежности продукта самому производителю. Достичь этого можно только при товариществе. Выдвигая принцип товарищества, Чернышевский объясняет: «тут главное дело в том, чтобы работники приобрели искусство сами управлять предприятиями, в которых работают; цель новых форм та, чтобы работники сделались из наемных людей хозяевами». При чтении всех этих высказываний Чернышевского легко может показаться, что в них проявляются лишь перемены идеи производственной ассоциации. Однако Чернышевский, если внимательно приглядеться, идет гораздо дальше. Во-первых, он решительно высказывается против того, что принцип соперничества якобы является при всех обстоятельствах единонасающим. Чернышевский подходит к этому началу с точки зрения столь близкой его сердцу идеи «вечной смены общественных форм». Для политической экономии трудящихся он проповедует новую, «высшую форму экономического расчета, которую должно заместить соперничество». Это та форма, которой «требует разум». ³ Нормой здесь должна быть стоимость продукта и расчет должен вестись совершенно открыто, как «ведутся счетные книги акционерных обществ». ⁴ Но производ-

ство может вестись открыто только в том случае, если сам потребитель является «хозяйном-производителем». Развивая свою идею, Чернышевский приходит, в сущности, к плановому расчету в распределении труда по отдельным производствам. Для известной общественной единицы, обладающей примерно двумя тысячами населения, он проектирует создание такого порядка, при котором сначала удовлетворялись бы полностью необходимые потребности общества, а потом уже можно было бы заняться производством предметов роскоши. Величайший дефект существующей системы удовлетворения потребностей состоит в том, что распределение труда между отраслями производства зависит не от подлинных нужд производителя, а от распределения покупательной силы между ними. В результате — одни имеют возможность купаться в роскоши (труд идет на «общественные дручества»), как называют подобные потребности Чернышевский), а другие остаются без предметов первой необходимости. Среди осуждаемых Чернышевским потребностей находятся и «расходы на приобретение пересев над другими обществами в могущество или политическом влиянии, главным образом, войны с разными своими принадлежностями. При хорошем общественном расчете таких друществ вовсе не делается». ⁵ С необычайной силой бичует Чернышевский этот порядок, столь явственно изобличающий, что современное общество основано на неравенстве производителей. При данном фоне труда, казальсь бы, нетрудно установить очередность удовлетворения потребностей. Бронзовые украшения, золотое шитье и шелковые обои не могут рассчитывать на какое-либо место в системе общественных потребностей, если не хватает хлеба. Нужно дождаться довольно высокого уровня развития производительных сил, чтобы общество при плановом расчете могло снабжать своих членов спаржей зимой. «Повремените кушать десерт, пока еще нет на столе у вас супа. Десерт устроит только после нескольких сытных блюд» ⁶ И так, чтобы устранить нелепую роскошь, чтобы рационально использовать труд общества вне зависимости от распределения покупательной силы, нужно положить в основу строгий расчет, диктуемый сверху. Планирование хозяйства проводится Чернышевским, правда, как сказано, лишь для отдельных общественных единиц. Каковы отношения между подобными ячейками, установить у Чернышевского довольно трудно. Но во всяком случае он говорит о проведении экономического расчета распоряжениями общественной власти и таким образом (пусть в масштабе «фаланстера», а не целого общества) пытается теоретически представить плановое хозяйство, построенное на принципе трудовой стоимости.

¹ Н. Г. Чернышевский. Капитал и труд. Соч., т. VI, стр. 31.

² Там же, стр. 38.

³ Н. Г. Чернышевский. Соч., т. VII, стр. 323.

⁴ Там же, стр. 328.

⁵ Н. Г. Чернышевский. Соч., т. VII, стр. 330.

⁶ Н. Г. Чернышевский. Примечания к Миллю. Соч., т. VII, стр. 66.

Но если Чернышевский ушел далеко даже по сравнению с социалистами-утопистами, естественно спросить себя: почему же экономические труды Чернышевского теснее всего связаны с его комментариями к Д. С. Миллю, бывшему в глазах Маркса представителем плоского синкретизма, пытающегося механически сочетать интересы капиталистов и рабочих? По оценке современной марксистской науки, Милль не был даже первоуровневым экономическим мыслителем. Вспомним явное замечание о нем в I томе «Капитала»: «На плоской равнине всякая почка кажется холмом; плоскость современной буржуазной мысли лучше всего измеряется калибром ее „великих мыслителей“». ¹ В основных вопросах политической экономии «Милль через пятьдесят лет после Рикардо повторяет в ухушенном виде негодные увертки первых вульгаризаторов Рикардо и на этом основании с чувством собственного достоинства констатирует свое превосходство над меркантилистами». ² В «Теориях прибавочной стоимости» Маркс замечает, что все оригинальные идеи Милля содержатся в небольшой книжечке 1844 г., «в отличие от его бездарного объемистого руководства». ³ переводчиком и комментатором которого как раз и был Чернышевский. Для того чтобы понять интерес Чернышевского к Миллю, нужно сказать хотя бы несколько слов о социально-политическом мировоззрении Милля. Прожив долгую жизнь, Милль не мог при своей восприимчивости остаться равнодушным к сдвигу, обнаружившемуся в социальных науках со времени зарождения социализма. Вторгшиеся в его голову социалистические идеи не подчинили себе его сознания, но произвели там глубокий надлом старой веры, и Милль тиетно пытался после этого склеить воедино обломки старых и новых своих представлений. Для Милля пролетариат уже не является только средством для производства меновых стоимостей. Перед ним встает образ сознательного, вооруженного классовым самосознанием рабочего класса, самостоятельного решающего вопросы своего будущего. Рабочие становятся активными участниками общественной жизни. Будущность, говорит Милль, «зависит от того, в какой мере смогут рабочие стать разумными людьми». Не сумев, однако, воспринять социализм, Милль превратился в заурядного социал-реформатора. Важнейшие паллиативы, при помощи которых он надеялся «лечить» капитализм, — это производственные ассоциации рабочих, расширение мелкой крестьянской собственности в земледелии и ограничение прав наследования для имущих классов. Милль особенно увлекается кооперацией. Это для него магическое слово, не менее чудодейственное, чем сказочное: «Сезам, отворись». Этим неопределенным термином у него покрываются и участие рабочих в

прибылях предприятия, и потребительская кооперация, и производственные ассоциации рабочих. Однако Милль не рассчитывает при помощи этих средств вывести вновь капитализм на широкую столбовую дорогу. Для него, как уже отмечалось выше, идеалом общества является неподвижное состояние, к которому капитализм быстро приближается. Эта идея достойно венчает весь ход развития экономической теории классической школы, вообще считавшей, что общество может развиваться лишь в тесных пределах, лимитированных природой. Проблема производства и накопления заключается задачей равномерного распределения благ. Разрешение ее будет облегчено умственным и нравственным прогрессом общества. Ассоциация интересов сменит пагубную войну всех против всех.

Учение Милля было для Чернышевского удобным отправным пунктом для развития собственной системы мыслей. Почему был избран именно Милль? Прежде всего, Милль считался в буржуазных кругах Англии и на континенте наиболее авторитетным экономистом своего времени. Его учебник «Основания политической экономии» стал на полке важнейшим руководством, по которому штудировали эту науку в университетах. Милль был также очень удачно выбран для обхода цензурных затруднений, так как собственная система Чернышевского, подносившаяся читателю под флагом комментариев к Миллю, оказывалась вкрапленной, вмонтированной по кусочкам в труд общепризнанного авторитета буржуазной науки и таким образом в достаточной мере завуалированной, чтобы усыпать бдительность цензоров Александра II. Внутренняя двойственность Милля, некоторая его благосклонность к социализму давали Чернышевскому чрезвычайно удобную позицию для пропаганды социалистических идей как бы от имени Милля. Призывая книгу Милля за «лучшее, самое верное и глубокомысленное изложение теории, основанной А. Смитом», Чернышевский уже в предисловии к своему переводу считает нужным наметнуть на то, что «его система все-таки далеко не наша система». В ней лишь «честно и верно изложена та сторона науки, которая ... служит основанием для дальнейших выводов». ¹ Комментарий к Миллю превратился, в сущности, в опровержение миллевской системы, ставшей именно «основанием для дальнейших выводов» совсем иного характера. Учение Милля все же оставалось в глазах Чернышевского политической экономией капиталистов. Ей Чернышевский противопоставил политическую экономию *трудящихся*, как своего рода антипод старой экономики. Работа Чернышевского должна в настоящее время рассматриваться скорее всего как своего рода «Анти-Милль», подобно тому, как книга Маркса «Нищета философии» есть «Анти-Прудон», а известный труд Энгельса — «Анти-Дюринг». Думается, мы вправе

¹ Маркс и Энгельс, Соч., т. XVII, стр. 565.

² Там же, стр. 564.

³ Маркс. Теория прибавочной стоимости, т. III, 1932, стр. 149.

¹ Н. Г. Чернышевский. Примечания к Миллю. Соч., т. VII, стр. 1.

поставить «Анти-Милля» Чернышевского в один ряд с этими замечательными произведениями социалистической критики, так как разгром того или иного варианта буржуазной идеологии с точки зрения несравненно более прогрессивного социалистического мировоззрения и определяет место этих трудов в мировой сокровищнице экономической мысли.

Поразительное искусство пропаганды Чернышевский в своей книге в том, что он воспроизводит Милля дословно там, где он имеет возможность вести свою проповедь миллевскими словами, и восстает против него в других местах, где нужно подчеркнуть особые позиции политической экономии трудящихся. Может показаться известной неряшливостью изложения, что Чернышевский сперва дает своим читателям перевод Милля, сопровождаемый его комментариями, а потом, увидев, по его собственным словам, что это выходит длинно, переходит к изложению Милля. Трудно, однако, принять только что приведенный Чернышевским мотив за чистую монету. В действительности Чернышевский, повидимому, предпочитает говорить словами Милля в первой книге, пока речь идет о производстве и рассматриваемые вопросы не представляют особой остроты. А цензуре, вместе с тем, прививается исподволь впечатление, что курс Милля не содержит ничего революционного по сравнению с обычными учебниками буржуазной политической экономии. Но когда Милль переходит к проблеме распределения и начинает с анализа собственности, Чернышевский предпочитает перейти к новому, более активному методу изложения, выписывая, правда, попрежнему целые страницы из Милля, когда последний, например, одобрительно отзываясь о социализме или изображая строй производственной ассоциации, и не оставляя камня на камне из миллевских построений, когда Милль замыкается в узкие рамки буржуазного кругозора.

Необходимо теперь перейти к вопросу о том, в какой мере Чернышевский считал крестьянскую общину основой будущего социалистического устройства общества. Достаточно известно, что Чернышевского справедливо считают одним из виднейших представителей теории крестьянского социализма. «Чернышевский был социалистом-утопистом, который мечтал о переходе к социализму через старую, полуфеодальную, крестьянскую общину, который не видел и не мог в 60-х годах прошлого века видеть, что только развитие капитализма и пролетариата способны создать материальные условия и общественную силу для осуществления социализма».¹ Однако склонность Чернышевского к сохранению общины, как фундамента для построения социалистического общества требует ряда объяснений. Чернышевский, правда, видел великое преимущество нашей родины в том, что община у нас сохранилась,

в то время как на Западе она давно была разрушена ходом экономического развития. Однако община, по Чернышевскому, — результат нашей исторической неподвижности и отсталости. Ее наличие ценно лишь в том отношении, что избавляет нас от страданий, неизбежных на Западе в связи с пролетаризацией. Правда, говорит Чернышевский, мы «не сомневаемся в том, что эти страдания будут исцелены, что эта болезнь „не к смерти, а к здоровью“, но переносить настоящие свои страдания Западной Европе все-таки тяжело». Конечно, каждый из читателей Чернышевского понимал, что лекарством, которое должно исцелить общество и привести пролетариат к «здоровью», является социализм. Общественный путь развития на Западе, таким образом, совершенно ясен. Но в России, по мнению Чернышевского, тот же социализм может воспользоваться для своего торжества и таким отсталым общественным институтом, как община. Если бы было доказано, что при других общественных формах тот же принцип осуществляется полнее или лучше, то, вероятно, Чернышевский не задумался бы пожертвовать общиной. «Взгляд на общину, который мы защищаем», — говорит Чернышевский, — принадлежит западной науке, а не славянофилам... справедливость его доказана западной наукой». Если выкинуть в смысл этих слов повнимательнее, неизбежно придется к заключению, что в общине Чернышевскому дорог лишь социалистический принцип, обоснованный западно-европейской наукой, а не община сама по себе. Чернышевский искал прибежища в общине главным образом под влиянием сложившегося у него убеждения, что только в условиях общины можно задержать неизбежный при капитализме ход имущественной дифференциации, обострение имущественного неравенства. С большой кропотливостью произвел он расчет, иллюстрирующий возникновение неравенства владения землей при частном наследовании, дающее уже в третьем поколении картину исключительного расслоения. Община для Чернышевского — прежде всего средство законсервировать общество в состоянии известного равенства.¹ Но ведь мы знаем, что Чернышевский отнюдь не был склонен игнорировать проникновение капитализма в земледелие, что изменение социальной структуры России под воздействием капитала казалось ему неизбежным. Община не была для него единственным рецептом для того, чтобы направить хозяйственные возможности, определяемые новой техникой, по более совершенному

¹ Характерно, что до конца жизни Чернышевский считал основной проблемой политической экономии распределение. По сообщению А. А. Токарского, Чернышевский в одной из бесед, происходивших в последние годы его жизни, заявил, что сосредоточение всех сил и мыслей экономистов на изучении закона накопления богатства — это старый и ложный путь. Изменение современного строя может проявиться только со стороны распределения. Но этины вопросы занимаются только утописты, а в чужестранных странах, где такие вопросы являются предметом исследования (см. сборник: Н. Г. Чернышевский в Саратове, Саратов, 1939, стр. 108).

¹ В. И. Ленин. Крестьянская реформа и пролетарско-крестьянская революция. Соч., т. XV, стр. 144.

в социальном отношении. Тут у Чернышевского мы находим не менее трех вариантов нового строя — это: община с придачей ей домашних промыслов, производственная ассоциация в духе Фурье или Оуэна, основанная на началах взаимопомощи, и такая же ассоциация с государственной помощью, напоминающая идеи Луи Блана и особенно Фердинанда Лассалля. Это показывает, что Чернышевский был не только широко знаком с социалистическими теориями своего времени, но хотел взять из них все лучшее, чтобы применить к русским условиям. Община была специальным вариантом для России, который можно было испытовать на первых порах, но который не решал вопроса о судьбе социализма в нашей стране на вечные времена. Из социалистических проектов середины XIX в. ему чужды лишь идеи создания централизованного государства с общественной собственностью на средства производства в духе Сен-Симона. Действительно, Чернышевский совершенно предпочитал им мелкую производственную единицу, которая, однако, достаточно мощна для того, чтобы дать широкий простор техническим усовершенствованиям. Однако огромным преимуществом общины Чернышевский как раз считал возможность применения в ней машинной техники на коллективных началах. Разработку этого вопроса нельзя не поставить в заслугу нашему гениальному экономисту. Для славянофилов и Герцена экономика сельской общины почти целиком исчерпывается проблемами распределения. Чернышевский очень остро и четко ставит вопрос о соотношении коллективной собственности и коллективного производства в общинном хозяйстве. По обыкновению, Чернышевский подходит к вопросу издалека. Он раньше всего доказывает, что при parcelлярной собственности невозможны не только никакие технические улучшения в хозяйстве, но даже содержание хотя бы одной лошади для сельскохозяйственных работ.¹ Между тем, прогресс техники проник и в область сельского хозяйства, и задержать применение новых машин не может никакое общественное устройство. Так, техника парового плуга усовершенствована настолько, что это техническое нововведение «само по себе должно радикально изменить характер хлебопашественного хозяйства, как железные дороги изменяют характер сухопутного движения». Аналогичным образом трансформирует условия уборки хлебов и жатвенная машина, которая «требует для своего действия сотни десятин».² Далее Чернышевский замечательно убедительно показывает, как социальные отношения при капитализме тормозят применение усовершенствованной техники. Поэтому, если новая техника не будет иметь успеха, то «причиной тому будет пренебрежение капиталистов к земледелию, ради биржевых спекуляций,

а не неустойка со стороны агрономической техники». Впрочем, полагает Чернышевский, это одностороннее направление капиталов в каналы спекуляций не в силах надолго задержать торжество парового плуга, так как технические его преимущества слишком очевидны. Ясно, куда клонятся эти рассуждения Чернышевского. Parcelляция обрабатываемых участков, на одной стороне, и прогресс агрономической техники, требующий крупного производства, на другой, обнаруживают бесспорное внутреннее противоречие, в которое попадает земледелие при капитализме. Раздробление земли таково, что рациональное использование старой, архаической техники становится невозможным. «А техника предлагает бросить соху; орошать и осушать поля; иметь усиленные породы скота и производить над землею усиленные удобрения; жать и молотить машинами, наконец даже пахать паровым плугом, — все это доступно только хозяйству огромного размера, располагающему значительными капиталами».³ Подготовив, таким образом, наиболее сильный аргумент для доказательства преимуществ коллективного производства, Чернышевский пользуется тем, что его оппонент, проф. Вернадский, неосторожно, в пылу полемики, признал нерациональность общинного владения при отсутствии «организации земледельческого труда», т. е. общинного производства, чтобы выдвинуть свой основной тезис. Этот тезис формулируется следующим образом: «... между общинным владением без общинного производства и общинным владением с общинным производством, разница неизмерима. Первое только предотвращает пролетариат, второе, кроме того, и содействует возвышению производства».⁴ Таким образом основным преимуществом общинного производства Чернышевский считает то, что оно обеспечивает значительно более высокий уровень производительных сил по сравнению с капитализмом.

Чернышевский далее показывает, каковы этапы, которые должны быть пройдены обществом, развивающимся от общественного владения с частным производством к системе общественного владения и производства. Первый случай — это общинная собственность, но без общинного производства и потребления. Чернышевский иллюстрирует это начало на примере двух братьев, получивших по наследству дом, но сохраняющих обособленные хозяйства и отдельные промыслы. Доходы от дома делятся при этой системе. Второй случай предусматривает «общую мастерскую», но с сохранением делажа дохода. В третьем случае вводится система «одного хозяйства», при котором «они уже не считаются деньгами».⁵ Чернышевский высказывается в том духе, будто переход на каждую новую ступень сопряжен с дополнительными трудно-

¹ Н. Г. Чернышевский. О поземельной собственности. Соч., т. III, стр. 459.

² Там же.

³ Там же, стр. 461.

⁴

¹ Н. Г. Чернышевский. О поземельной собственности. Соч., т. III, стр. 445.

² Там же, стр. 447.

стями. Так, организация общинного производства осложняется, по его мнению, тем, что «контролировать употребление и усердие труда нельзя, — это не внешний осязательный факт...» «Многие отвергают, — добавляет он, — возможность успешного общинного производства: тут де человек всегда будет лениться». Еще труднее, по мнению Чернышевского, допустить возможность общественного потребления. Нужны особые пружины, чтобы «я захотел жить не так, как лично мне приходит фантазия жить, а как требует жить разум и экономический расчет, чтобы я захотел отказать от многих своих прихотей».¹ Побуждения подобного рода действуют в семье, но «чрезвычайно многие» сомневаются в их применимости вне семейного круга. Более подробно обсудить данный вопрос Чернышевский обещает в другой раз. Нетрудно заметить, что подобные обещания появляются в его работах чаще всего там, где дальнейшая разработка наталкивается на цензурные рогатки. Если не считаться в текст Чернышевского, можно подумать, что он лишь отступает решительно общинное земледелие, а перспективы организации на его основе коллективного производства и потребления представляют ему довольно туманными. Однако такое впечатление оказывается на поверку поверхностным. Когда Чернышевский высказывает сомнения в осуществлении коллективного потребления, он уповает, как и всегда, на догадливость читателя и его хорошую память. Ведь швей из мастерской Веры Павловны не представляли собой каких-то богатырей думал, но они прекрасно сумели организовать общее потребление, «вне семейного круга» (см. ниже, стр. 216). Далее, противопоставление жизни согласно личной фантазии и прихотей жизни по «законам разума и экономического расчета» имеет в устах Чернышевского вполне определенный смысл. Ведь недаром он построил свою политическую экономию трудящихся на замене свободной конкуренции новым началом «экономического расчета», в котором нетрудно открыть принцип «планового хозяйства», если применить современный термин. То, что возможно в швейной мастерской Веры Павловны и выдвигается во главу угла в теоретическом построении для коллектива трудящихся, не может оказаться беспочвенным в крестьянской общине. Таким образом, рассуждения Чернышевского относительно сомнительности коллективного производства и потребления на базе общинного земледелия нужно понимать в обратном смысле. Общинная собственность потому так и дорога его сердцу и потому он отстаивает ее с таким искусством против бешеного натиска Вернадского и других «либеральных» экономистов, что он видит в ней эпитет будущего обобществленного производства и потребления. И самые этапы этого процесса обобществления, иллюстрируемые

Чернышевским на примере дома, перешедшего братьям в наследство, приведены им не зря. В них он хотел воплотить свою версию созревания и развития социалистического общества на базе сельской общины. Конечно, эта версия изображена довольно схематично. Она показывает, что логика развития машинной техники и агрономического дела требует создания коллективного производства, так как хозяин parcelлы задыхается в обстановке рутинного архаического хозяйства, порожденного и консервируемого раздроблением земли. Коллективное производство будет означать огромный рост производительных сил. А затем на этой основе можно будет приступить и к обобществлению потребления, чтобы раз навсегда покончить с личными «фантазиями» и перейти к регулируемому хозяйству на основе экономического расчета. Такова схема Чернышевского. Она, конечно, представляет огромный шаг вперед сравнительно с построениями славянофилов и даже Герцена, которые прославляли общину лишь как орудие равномерного распределения и меньше всего думали о применении в хозяйстве общины передовой машинной техники. В этом вопросе, как и во многих других, Чернышевский идет решительно вразрез с мелкобуржуазными тенденциями Сисмонди. Его цель — побороть до конца собственнические инстинкты крестьянина.

Утопизм Чернышевского больше всего сказывается в том, что, прекрасно понимая ход капиталистического развития, он все же думал *основать социализм на сочетании земледелия с промыслами* в одном (и притом мелком) хозяйстве, воплотить эту производственную комбинацию в лице русского крестьянина. Чернышевский ссылается даже на климат (краткость лета и продолжительность зимы) для того, чтобы обосновать существоющую у крестьян «наклонность соединять в селе сельскохозяйственные занятия с каким-нибудь ремеслом или промыслом». Чернышевскому кажется, что только таким путем можно дать круглогодичную нагрузку рабочему времени для крестьянина. «Летом, когда сельскохозяйственные работы требуют как можно больше рук, каждый член общины становится земледельцем. Зимой, когда сельское хозяйство не доставляет никакой работы, каждый поселянин может иметь домашнее занятие в каком-нибудь ремесле или вообще промышленном производстве. Таким образом все руки будут заняты, и зима будет временем столь же производительным, как и лето». Этот идеал сочетания земледелия с промыслом в деревне диктовал Чернышевскому и определенные взгляды на вопрос о желательности развития промышленности в России и, в связи с ним, на проблему таможенного протекционизма. Обычно представители аграрных интересов являются противниками покровительства промышленности «искусственными» мерами, так как стремятся к тому, чтобы обеспечить сельскому хозяину приток дешевых фабрикатов из-за границы, хотя бы ценой разрушения своей, национальной промышленности. В этом вопросе Чернышевский следует за Журавским,

¹ Н. Г. Чернышевский. О поземельной собственности. Соч. т. III, стр. 461—462.

одним из наиболее талантливых наших экономистов середины XIX в., который (совершенно в духе Маркса) утверждал, что ни протекционизм, ни свобода торговли не могут быть идеалом или целью *сами по себе*. Выбор той или иной системы определяется ее социальными последствиями в данных условиях. Как известно, тезис Маркса был: не протекционизм, не свобода торговли, а социализм. А вот как Чернышевский излагает мнение Журавского, которое он и принимает: «Протекционисты говорят: во что бы то ни стало покровительствуйте фабрикам. Приверженцы свободной торговли говорят: во что бы то ни стало увеличивайте цифру заграничной торговли. Журавский ни того, ни другого принципа не принимал основным правилом экономической науки. Он говорит: прежде всего и больше всего надобно думать о народном благосостоянии. Все, что содействует ему, я защищаю. Все, что вредит ему, я отвергаю. Если в данной стране, в данное время, при известных обстоятельствах фабрики нужнее для благосостояния народа... я защищаю фабрики в этой стране и готов быть протекционистом на тот раз». ¹ Но в других условиях тот же экономист может, не огрешая против основного своего принципа — стремления к благосостоянию народа, оказаться фритредером. Чернышевский отнюдь не помышляет о превращении России в аграрную страну. Наоборот, он хочет сохранить ей промыслы, чтобы сделать крестьянский труд более устойчивым и разнообразным. Из «Описания Киевской губернии» того же Журавского Чернышевский знает, что в одной только Киевской губернии имеется около 100 тыс. человек, стоящих в той или иной зависимости от результатов фабричного промысла. Но «в настоящем положении здешней фабричной промышленности, почти три четверти рабочих из крепостных крестьян не интересуются в сохранении помещичьих фабрик, на которых по большей части работа невыгодна и тягостна». ² Этим фабрикам Чернышевский, вслед за Журавским, противопоставляет «ручное производство», достигающее нередко высокой степени совершенства. Достаточно напомнить, указывает Чернышевский, полотно костромских крестьян, изделия тульских оружейников, льонские изделия, голландские кружева. Между тем, все усилия современных ученых и технологов направлены на усовершенствование производства при помощи «больших машин для фабричного производства». В отличие от этой преобладающей тенденции, полагает Чернышевский, нужно приложить все меры к тому, чтобы улучшить «снаряды» в домашних промыслах. По Журавскому выходит, что «и из малых фабричных мастеров может образоваться большое фабричное производство, с сохранением домашнего характера фабрикации». ³ Каждый такой «фабрикант», по термино-

логии Журавского, берет на себя лишь одну стадию производственного процесса. Окончательный продукт становится «настоящим фабричным изделием». Так решается вопрос о сочетании земледелия с промышленностью в одном из вариантов будущего строя у Чернышевского. Как уже сказано, этот вариант наиболее утопичен. В нем крестьянский социализм Чернышевского проявляется с максимальной силой. Однако этот вариант — не единственный у Чернышевского. Второй вариант представляет «план осуществления теории трудящихся», предложенный Чернышевским в его статье «Капитал и труд». Этот план приспособлен, по словам самого Чернышевского, к «правам стран, потерявших всякое сознание о прежнем общинном быте и только теперь начинающих возвращаться к давно забытой идее товарищества трудящихся в производстве». Из этих слов каждый вправе заключить, что наш проsvетитель имеет в виду Западную Европу и что, по Чернышевскому, следовательно, ассоциация есть форма, предлагаемая для капиталистических стран, а община — для России. Однако сейчас же вслед за приведенными словами Чернышевский указывает, что «в государстве, для которого предназначался этот план, правительство ежегодно бросает десятки миллионов на покровительство сахарным заводчикам и оптовым торговцам, финансирует постройку железных дорог». ¹ Значит, речь идет об определенном государстве, и, в частности, указанные Чернышевским конкретные черты его, особенно субсидии сахарозаводчикам, не оставляют сомнений в том, что план предназначался для России. А первоначальное указание, что проект разработан для Европы, сделано, очевидно, для отвода глаз цензуре. Отсюда ясно, что Чернышевский и не думал закрывать проекты перестройки русского общества на социалистических началах непременно рамками крестьянской общины. Для торжества социализма все средства хороши. Проектируемые Чернышевским ассоциации должны получать кредит от государства, хотя в крайнем случае они могут обходиться и без посторонней помощи. Так как «план осуществления теории трудящихся» излагался неоднократно в нашей литературе, здесь достаточно будет рассмотреть только вопрос о том, как в нем разрешается задача сочетания земледелия с промышленностью. Товарищество должно, по предположениям Чернышевского, заниматься и «земледелием и промыслами или фабричными делами», но основой все же остается земледелие. «Во время горячих земледельческих работ все члены его приглашаются заниматься земледелием, а другими промыслами и работами занимаются в свободное от земледелия время». ² Производительность труда в ассоциации будет сравнительно высокой благодаря тому, что каждый трудящийся сознает зависимость своего благополучия от процве-

¹ Н. Г. Чернышевский. Рецензия на книгу А. Шидова о хлопчатобумажной промышленности. Соч., т. III, стр. 246.

² Там же, стр. 245—246.

³ Там же, стр. 247.

¹ Н. Г. Чернышевский. Капитал и труд. Соч., т. VI, стр. 45.

² Там же, стр. 47.

жении положен в основу первоначальный вариант социалистической утопии Чернышевского, причем в наиболее существенных местах будут указаны отличия от него, существующие в печатной редакции.

Производственным вопросам Чернышевский уделяет сравнительно немного места, но то, что им сказано по этому поводу, представляет выдающийся интерес. Здесь перед нами снова специфика заключается в насыщенности машинной техникой. По дугам, кивам, рошам, рассказывает Чернышевский, рассеяны группы людей. Они убирают хлеб и при этом поют. «Но и как же им не петь? Их работа легка, почти все за них делают машины, и жнут, и собирают, и вяжут снопы, и отвозят их, люди почти только ходят и ездят и управляют машинами; еще бы им не петь и еще бы не скоро шла у них работа». Но в их среде заметно постоянное движение: «Надо часто менять работу, чтобы она не наскучила; эти работники уже час, довольно — они на час идут в мастерские, а работавшие час в мастерских пришли сменивать их». И несколькими строками дальше Чернышевский пишет: «прошел час, довольно поработать поутру, теперь надолго отдых — до завтрашнего дня». ¹ Иные мотивы звучат в печатной редакции. Здесь нет смены работ в поле и мастерской, и поэтому можно предположить, что Чернышевский представил в четвертом сне Веры Павловны чисто сельскохозяйственную ассоциацию, что было бы неверно. Ведь половина времени отдается мастерской! Нужно думать, что именно в этих мастерских изготавливаются чудесные машины, которые так помогают работе. А в печатной редакции, повторяем, эти мастерские вовсе отсутствуют. В ней подчеркивается сверх того, что дети остаются в большинстве своем дома и занимаются там «по хозяйству, так как они очень любят это занятие», а стариков и старух вообще «очень мало», так как «здесь здоровая и спокойная жизнь» и поэтому люди стареют очень поздно. Несколько наивная фантазия автора прибавлений к первоначальному тексту облегчает еще труд в полях в знойную пору тем, что над трудящимися «раскинут огромный полог». ² Этот полог передвигается вместе с работающими в поле. Если машины в сельскохозяйственном производстве, смена работы в поле и в мастерских и краткий период трудового дня действительно являются существенными элементами утопии Чернышевского, то подвижной полог, присоединенный редакторами романа, конечно, можно было бы убрать без большого ущерба.

Делая скидку на климатические условия, которым он придавал, повидимому, известное значение, Чернышевский заставляет трудящихся своего фаланстера менять место жительства и работы по временам года. Зимой все перемещаются в более теплые края.

¹ Н. Г. Чернышевский. Полн. собр. соч., т. XI, стр. 585, 586.

² Там же, стр. 273.

Вслед за ними и читатель оказывается в районе Синяя, где бызарище «песчаная, бесплодная пустыня». Теперь здесь произрастают сахарный тростник, рис. Как могла произойти столь разительная перемена? Чернышевский дает следующее разъяснение: «скрепляли (песок) глиною, илом, орошали, проводили каналы версту за верстою, — и шли шаг за шагом вперед, и теперь вот уж возделана половина этой пустыни». Конечно, для достижения таких результатов нужны громадные средства. Однако, даже и в условиях действительной жизни можно было бы достичь тех же успехов, если бы не тратил денег на «вредный вздор вроде войны и приготовлений к ней», да на «хвастовство и разные глупости». Много значит также способ использования средств. Вере Павловне дается во сне совет вспомнить ее мастерскую, давшую такие блестящие плоды благодаря «рассудительному, выгодному употреблению средств». ¹ Таким образом между швейной мастерской и сияющим царством социалистической утопии перебрасывается мостик. Принцип тут и там один и тот же — это «рассудительное» использование средств, т. е. замена общественной анархии, приводящей к расточению общественного богатства на «дурачества», планомерным ведением хозяйства. В печатном тексте мы видим много вставок. В частности, мы находим здесь разъяснение относительно роли городов в царстве будущего: «... городов осталось меньше прежнего, — почти только для того, чтобы быть центрами отношений и перевозок товаров, — у лучших гаваней, в других центрах сообщений, но эти города больше и великолепнее прежних; все туда ездят на несколько дней для разнообразия». ² Эти города, вместе со сосредоточенным в них товарным оборотом, выносятся в изложение Чернышевского известным диссонансом.

От Чернышевского скорее можно ожидать коммунистической версии. Поэтому можно думать, что города и обмен являются как бы напосным элементом в концепции нашего автора. Но так или иначе четвертый сон Веры Павловны — это радостная солнечная утопия, гимн творческому обобществленному труду, способному насытить машинами весь процесс производства и превратить бесплодную пустыню в цветущий сад.

Но верный общей тенденции своего учения, Чернышевский не оставляет в тени и вопросов распределения и потребления в будущем обществе. Перед читателем вырастает грандиозное здание, «каких теперь только по несколько лишь в самых больших городах». Громаднейший дом одет снаружи хрустально-чугунным аниамом, как футляром. Внутри его «металлическая мебель легче нашей ореховой»: она сделана из алюминия. «Но как же все это богато. Везде алюминий и алюминий, ³ и все стены в громад-

¹ Н. Г. Чернышевский. Полн. собр. соч., т. XI, стр. 588, 589.

² Там же, стр. 280, 281.

³ Напомню, что это писалось около сотни лет назад, когда алюминий был большой редкостью.

ных зеркалах, и какие ковры на этом полу». В громадном зале «с кувертами на тысячу человек или больше» подается обильный завтрак. Чернышевский скуп на подробности пиришеств: «смотри, какой чай, какое кофе, какой сыр, какие закуски», — и все. Воображение скорее уносит его к культурным развлечениям: «они разошлись по своим библиотекам, по своим аудиториям»¹. Поининому выглядит этот эпизод с завтраком в печатной версии. Тут отмечается и великолепная сервировка: «всюду алюминий и хрустал», «вазы с цветами, блюда на столе. Никто не прислуживает за столом, но это только потому, что блюда не стыннут благодаря техническому изобретению автора прибавлений к первоначальной редакции. В углублениях ящики с кипятком: блюда поставлены на них и таким образом остаются горячими. Но еще дальше Чернышевский подвергается «обновлению», стоящему в противоречии со всем его мировоззрением: «...кому угодно, тот имеет лучший (завтрак — В. Ш.), какой угодно, но тогда особый расчет; а кто не требует себе особенного против того, что делается для всех, с тем нет никакого расчета. И все так: то что могут по средствам своей компании все, за то нет расчетов; за каждую особую вещь или прихоть — расчет»². Все эти детали смахивают на гостиницу, а не фаланстер. Эти особые расчеты за каждую прихоть едва ли были во вкусе самого Чернышевского.

Наконец, отмечает Чернышевский влияние нового общественного порядка и на физическую природу человека. Люди преобразуются: «Как все они цветут здоровьем и силою, как стройны они, как грациозны, как правильны и нежны, как энергичны и выразительны их черты. Это счастливые красавицы и красавцы, ведущие жизнь труда и наслаждения»³. Поистине для Чернышевского с наступлением социализма начинается новая эра жизни, во всем отличная от мрачного капиталистического прошлого.

Приведенные данные показывают, что Чернышевский отноше не считал общину единственной высшей формой общественного быта. Она даже не является в его глазах необходимой органической частью русского общественного строя. «Мы совершенно ошиблись бы, если бы вздумали считать наклонность к общинному уравнительному владению в наших поселениях какою-нибудь таинственной чертой исключительной национальной организации славянского вообще или в частности великорусского племени. Дело просто в том, что сохранение уравнительного права на общинный участок чрезвычайно выгодно для общего благосостояния крестьян». Как выяснено новейшими научными исследованиями в нашей стране, взгляды Чернышевского на крестьянскую об-

щину подверглись, повидимому, значительным изменениям в связи с его разочарованием в ходе крестьянской реформы. Община была ему дорога лишь постольку, поскольку она сочеталась в его представлении с возможностью непосредственного воздействия на общественное развитие в целях задержать процесс классового расхождения деревни. Этому разочарованию предшествовала острая борьба за обеспечение крестьянства возможно более льготных условий выкупа земли. Эта сторона деятельности Чернышевского до сих пор не оценена по заслугам. Между тем, она имеет огромное значение именно в плоскости рассматриваемой темы, так как борьба за условия выкупа была, вместе с тем, борьбой за американский или прусский путь развития капитализма в русском сельском хозяйстве. Задним числом нам легко, конечно, объяснять, что предпринятый Чернышевским поход за облегченные условия выкупа был заранее обречен на неудачу, так как реформы, проводимые сверху, никогда не идут в такой мере вразрез с интересами помещиков, чтобы обеспечить крестьянству возможность превращения в свободных фермеров. Однако общественное расхождение вокруг вопроса о выкупе дало последующим поколениям огромный литературный материал, обеспечивший понимание выкупа и вообще финансового благополучия освобожденных крестьян на ход развития производительных сил страны. Те или иные условия выкупа определяют на много лет вперед пропорцию распределения прибавочного продукта между помещиками и крестьянами. Если выкуп невелик, крестьянин сохраняет известную возможность накопления, расширенного воспроизводства своего хозяйства, технических улучшений и т. д. Если условия выкупа неблагоприятны, если казенные платежи давят на крестьянина, он вынужден прибегать к кабальной аренде земли, задыхается в петле ростовщической задолженности и т. д. Чернышевский прекрасно понимал зависимость крестьянского благополучия от условий освобождения крестьян с землею. Читая его статьи «О необходимости держаться возможно умеренных цифр при определении величины выкупа усадеб», «Груден ли выкуп земли» и др., несколько поражаешься тому, с каким глубоким проникновением в суть финансовых вопросов, связанных с выкупом, обсуждает Чернышевский каждую деталь. Он приводит сложнейшие финансовые расчеты, относящиеся к срокам платежей, процентам по займам и т. д. Чувствуется, что наш великий просветитель, который был так далек от банковского и торгово-спекулятивного мира, не пожалел огромного труда, необходимого для усвоения всех этих конкретных знаний, кажушихся многим невыносимо скучными лишь бы выступить против своих противников-крепостников во всеоружии. Он знал, что поражает их в самое чувствительное место. Освобождение крестьян было предрешиено. В этом вопросе бороться было бесполезно. Но помещики-крепостники с пеною у рта готовы были отстаивать свое «право» урвать у крестьянина и

¹ Н. Г. Чернышевский. Полн. собр. соч., т. XI, стр. 586, 587.

² Н. Г. Чернышевский. Полн. собр. соч., т. XI, стр. 278, 279.

³ Там же, стр. 590.

после освобождения львиую долю дохода. Таким образом борьба велась действительно по вопросу об американском или прусском пути. Чернышевский стал для помещиков самым ненавистным врагом именно потому, что бил их по карману. И его заточение и ссылка, возможно, явились результатом не столько его идеологии, признававшей «вредной», сколько именно опасной пропаганды умеренных условий выкупа, которой не могли стерпеть крепостники и стоявшее на страже их интересов правительство. Выступая со своими расчетами, Чернышевский подчеркивает, что «представляла счеты до сих пор исключительно одна сторона — помещики». ¹ Этим самым он открыто призывал, что делает первую попытку «представить счеты» от имени крестьянства. Цифры он берет главным образом у Журавского. Опираясь на царские рескрипты, Чернышевский настаивает на том, что «личность не подлежит выкупу; подлежит выкупу одна земля». ² Он отстаивает полностью необходимость увеличить наделы в такой мере, чтобы крестьянам досталось по половине всей крепостной земли. В результате своих калькуляций Чернышевский выводит цифру выкупа по всей России в 532 млн рублей. Он восклицает при этом: «Как далеко от этой цифры до страшных полутра или двух миллиардов рублей серебром, о которых обыкновенно говорят. Целая бездна отделяет наш вывод от этих ужасающих фантомов». ³ Однако «эти ужасающие фантомы» оставались живой действительностью. Многие представители прогрессивной общественности готовы были идти гораздо дальше в своих уступках крепостникам. Достаточно напомнить, что другой крестьянский «финансист», друг Герцена, поэт Огарев, даже в свободной заграничной печати не только стоял за выкуп, но предлагал довести его сумму до миллиарда рублей, т. е. вдвое больше, чем Чернышевский, лишь бы «умилостивить» противников реформы, и лишь впоследствии перешел к требованию передачи земли крестьянам без выкупа. При проведении «реформы» были приняты нормы выкупа, превзошедшие самые мрачные ожидания. Как сказано в Кратком курсе истории ВКП (б), «крестьян заставили платить помещикам выкуп за свое „освобождение“ около двух миллиардов рублей». ⁴ Разница между этими двумя цифрами (532 млн, по Чернышевскому, и 2 млрд в 1861 г.) в символизирует в грубых чертах принципы американского и прусского пути.

Когда Чернышевский почуствовал, что условия освобождения крестьян будут поистине кабальными, он излил всю свою скорбь в статье «К критике философских предубеждений против общинного владения», причем многие усмотрели в этих суждениях Чернышевского какой-то отказ от самой идеи общинного владения.

¹ Н. Г. Чернышевский, статьи по крестьянскому вопросу, стр. 428.

² Там же, стр. 433.

³ Там же, стр. 442.

⁴ История ВКП(б). Краткий курс, стр. 5.

Трудно понять этих исследователей. Как же, отрекшись публично от своей приверженности к общине в начале статьи, Чернышевский затем всю силу своей аргументации направляет на то, чтобы доказать неизбежность торжества общинного принципа на известном этапе общественного развития? Чернышевского можно понять только в том смысле, что он осознал ошибочность своих надежд на мирное решение крестьянского вопроса. От помещичьего правительства нечего ждать, что оно предоставит крестьянам сколько-нибудь льготные условия выкупа. Между тем, чтобы обеспечить крестьянам известный минимум благополучия, необходимо соблюдение двух гарантий: принадлежности земельной ренты общинам и относительно незначительной обремененности земли кредитными обязательствами, вытекающими из самого освобождения. «Когда человек уже не так счастлив, чтобы получить ренту, чистую от всяких обязательств, то, по крайней мере, предполагается, что уплата по этим обязательствам не очень велика по сравнению с рентой». Самое получение ренты крестьянами, т. е. переход земли в их руки, имеет смысл только при таком условии. Таким образом Чернышевский разочаровался в легальном пути перехода земли к крестьянам. Легальный путь оказался несостоятельным. Остался революционный путь. Но здесь община была лишь вариантом. Возможны были и иные способы перехода к социализму.

Трагедия Чернышевского заключалась в том, что царская охранка ввергла его в темницу в то время, когда Россия быстро пошла вперед по капиталистическому пути и когда оставалось всего 5 лет до выхода в свет I тома «Капитала», который мог бы дать столь богатую пищу гениальному уму нашего замечательнейшего мыслителя дореволюционной эпохи. ¹ Но даже и в том виде, как развернулась теоретическая и революционная пропаганда Чернышевского, она оказала огромную услугу в качестве пролога к восприятию марксизма в России. «Капитал» Маркса и книга Милля с примечаниями Чернышевского заняли в 70-х годах самые почетные места среди революционных книг, по которым воспитывалась наша молодежь. Проповедники ассоциаций были и на Западе. Недаром делались попытки сближения Чернышевского с Лассалем. Ничто не может быть неправильнее подобных аналогий. Лассала отделяет от Чернышевского глубокая пропасть. Разница между ними заключается, прежде всего, в том, что Чернышевский был подлинным революционером, для которого теория была не игрою ума, а призывом к революционному действию. Крестально чистый образ Чернышевского тем именно и подкупает, что он монолитен и что социализм и просветительство соединяются у него в целостное мировоззрение.

¹ Имеются лишь сведения, что в руках Чернышевского была книга Маркса «К критике политической экономии», да и то уже в период ссылки (1867—1872) (см. Н. М. Чернышевская-Быстрова. Летопись жизни и деятельности Н. Г. Чернышевского, 1933, стр. 135).

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КОНЦЕПЦИЙ МАРКСА И ЭНГЕЛЬСА
О РОССИИ С РУССКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МЫСЛЮ

Глубокая и постоянная симпатия к русскому революционному движению одушевляла Маркса и Энгельса на всем протяжении их жизненного пути.

Интерес к России возрастал у них вместе с верой в творческие силы русской революции. В этом отношении жизнь не стояла на месте. На пороге революции 1848 г. юные авторы «Коммунистического манифеста», которому суждено было стать знаменем мирового рабочего класса, относились к России совсем по-иному, чем сходящий в могилу накануне империалистической эпохи Ф. Энгельс, написавший незадолго до смерти, в 1894 г., послесловие к своей работе «О социальной жизни России». За эти полвека Россия выросла до неузнаваемости, стала совсем другой страной. Неудивительно, что самая постановка вопроса о пути экономического развития России на протяжении этих десятилетий у Маркса и Энгельса менялась. Наконец, при рассмотрении концепций основоположников марксизма нужно также иметь в виду, что с конца 60-х годов они оказываются в известной степени в русском «окружении» и настолько увлекаются перспективами русского революционного движения, что втягиваются в обсуждение важнейших теоретических проблем русской экономики и как бы принимают участие в руководстве эмигрантским революционным движением. При том исключительном внимании, с каким в России уже этого периода (начиная с 70-х годов) относились к каждому слову, написанному Марксом,¹ немудрено, что высказывания основоположников марксизма о России оказывают у нас огромное идейное влияние. Не учитывалась, однако, до сих пор обратная сторона: поглощая в большом количестве русскую литературу,

«лондонские старики» со свойственным им блестящим литературным мастерством ввели собранный ими из русских источников обширный фактический материал в свои научные труды о России, нередко ссылались в своих сочинениях на прочитанные ими русские книги, а при обсуждении вопросов экономического развития России, изучая теоретические позиции русских революционеров, иногда воспринимали отдельные их концепции, продуцировав их, вместе с тем на novo и творчески перерабатывая их в марксистском духе. В работах Маркса и Энгельса можно встретить ссылки на книги Флеровского, Ковалевского, Кареева, Чупрова и многих других. Особое место, как нам представляется, занимают две русские работы: статья Чернышевского о Критике философских предубеждений против общинного владения» послужила Марксу исходным пунктом для размышлений о перспективах экономического развития России и книга Плеханова «Наши разногласия», хорошо известная Энгельсу, помогла ему внести много нового в освещение социальных проблем России, когда он подготовлял к печати издание своей работы «О социальной жизни в России» 1894 г. и писал к этой работе послесловие.

Первоначально сложившееся у Маркса и Энгельса представление о России заключалось в том, что Россия является страной с довольно примитивным строем хозяйства. Еще в 1852 г. Маркс в письме к Вейдемейеру дает такую характеристику экономических отношений в нашем отечестве: «в сельских местностях России, среди крестьян, составляющих подавляющее большинство населения, деньги почти совсем не обращаются и все предметы, необходимые для жизни этих варваров, могут изготовляться в каждой деревне». Русская деревня, по существу, еще не избавилась от примитивных форм коллективной собственности, свойственной каждому народу на самой ранней стадии его развития. Поэтому хозяйство в подавляющей своей части остается натуральным. Капиталистическое развитие России еще всецело впереди. В России почти нет пролетариата. Однако согласно взглядам, которых Маркс придерживался в 50-х и 60-х годах, Россия, несмотря на свою экономическую отсталость, обладает большой международно-политической силой. Она находится в состоянии непрерывного расширения, по крайней мере с середины XVIII в.

В жизни Маркса и Энгельса период неожиданного подъема интереса к России настал в конце 60-х и начале 70-х годов. Главные всего Маркса заинтересовала книга Флеровского. Затем он узнал о предполагаемом переводе «Капитала». В 1870 г. группа русских студентов обратилась к нему с предложением быть представителем русской секции в Интернационале. Как известно, массовая революционная эмиграция из России началась еще в 60-х годах, направляясь преимущественно в небольшие не-

¹ Маркс и Энгельс. Соч., т. XXV, стр. 141.

15 Изд-во, Штутт-170

¹ В своем, несколько напичканном, но замечательном по искренности революционной веры, письме Марксу Вера Засулич поддерживает, что «Капитал» пользуется большой популярностью в России и что спорящие об общине стороны стараются положить его в основу своих утверждений (см.: Ахия Маркса и Энгельса, книга первая, 1923, стр. 269). Энгельс в 1894 г. в послесловии к своей работе «О социальной жизни России» сам отмечает исключительное внимание, какое встречают в русских кругах все высказывания Маркса.

мецкие города вроде Гейдельберга, а также в Швейцарию. Эти молодые люди были достаточно далеки от марксизма, но в них жил революционный дух, который Маркс умел отличить безошибочно. Русская секция Интернационала привлекла Маркса главным образом своей твердой линией против панславизма. В «Конфиденциальном сообщении» Маркс писал о ней: «...в Женеве обосновалась колония молодых русских студентов-эмигрантов, которые действительно честно относятся к своим убеждениям и доказали свою честность тем, что главным пунктом своей программы выставили *борьбу с панславизмом*». ¹ Маркс добродушно поиронизировал по поводу того, что ему приходится быть в такой странной компании, но отнесся покровительственно к своим молодым друзьям и помогал им в издании журнала «Народное дело». Однако то, что писалось Н. И. Утиным и его соратниками в этом журнале, отнюдь не встречало полного сочувствия Маркса, как видно из сделанных им надписей на полях журнала. Б. Николаевский отметил, что Маркс был далек «от восторга перед политической мудростью Н. И. Утина». ² Замечания относительно статьи «Крестьянская реформа и общинное землевладение» показывают, что Маркс в тот период времени не был склонен разделять оптимизм Утина в отношении общины. Он пишет: «русская общинная собственность совместима с русским варварством, но не с гражданской цивилизацией». ³ Покойный академик Ем. Ярославский высказал предположение, что выступления представителей русской секции против Бакунина и Нечаева вероятнее всего сыграли решающую роль, когда Маркс изъявил согласие представлять русских революционеров в Интернационале. Это нужно понимать в том смысле, что русская секция могла явиться для Маркса в его представлении твердой опорой в борьбе с панславизмом некоторых русских революционеров. Русская секция в свою очередь тинувлась в сторону Маркса именно из-за его антипанславистских тенденций. По словам «Народного дела», Маркс «...всегда ратовал против того всеороссийского и всеславянского *земского* паннизма, которому пели восторженные гимны наши великие патриоты и наши отчаянные революционеры старой эмиграции». ⁴ Однако панславистские идеи продолжали, повидимому, господствовать в эмигрантской среде и после возникшего между Марксом и русской секцией «кальянса». В октябре 1876 г. Маркс поздравляет в письме к П. Л. Лаврову своего друга с написанной им передовой статьей в последнем номере «Вперед», посвященной теме «панславистского диризма» в России. Маркс говорит об этой статье,

что она — «не только шедевр, но прежде всего великий акт *морального мужества*». ⁵ Таким образом еще в 1876 г. панславизм представлял среди русских революционеров достаточно мощную силу, и от революционера требовалось «мужество», чтобы выступить против него.

Интерес к России, который так быстро возрос у Маркса в конце 60-х и в начале 70-х годов, был еще подстегнут знакомством с русской экономической литературой. Особенно заинтересовал Маркса Чернышевский. По письмам Маркса мы видим, что он просит присылать ему труды нашего великого революционера. Изучение Чернышевского Марксом шло, повидимому, именно в 1871—1873 гг. По крайней мере в письме к Даниэльсону в 1873 г. Маркс сообщает своему корреспонденту о трудах Чернышевского, что «значительная часть его сочинений» ему известна. ⁶ Из этого же письма видно, что Чернышевский должен был, по мысли Маркса, фигурировать во II томе «Капитала» как экономист. Упоминание Маркса о Чернышевском в послесловии ко второму изданию I тома относится к 1873 г. Таким образом определяется период, когда Маркс мог увлекаться чтением сочинений Чернышевского.

Наконец, те же годы должны были изменить мнение Маркса о ненадежности убеждений русских революционеров. В кружке людей, с которыми общались «лондонские старики», появляется в 1871 г. П. Л. Лавров. У нас есть все основания верить сообщению Г. Лопатина о том, что Лавров был послан в Лондон Парижской Коммуной, поручившей ему «всячески уговаривать там Генеральный Совет Интернационала поднять серьезную агитацию среди английского рабочего сословия и радикалов в пользу Коммуны». Это поручение и привело к знакомству Лаврова с Марксом, к которому Лавров обратился, прежде всего, со своими поручениями. ⁷ Знакомство превратилось в дружбу, продолжавшуюся много лет. Лавров был среди немногочисленных почитателей великого Маркса, проводивших его на кладбище, и произнес на могиле прощественную речь. Особенно близок к Марксу и Энгельсу Лавров был с января 1875 г. по конец 1876 г., когда он жил в Лондоне. Лавров считал себя учеником Маркса, но «никогда не мог одолеть до конца экономическую теорию Маркса». ⁸

Таковы были причины, вызвавшие у Маркса обострение интереса к русским делам. Величайший экономист, естественно, не мог

¹ Маркс и Энгельс. Соч., т. XIII, кн. 1, стр. 366.

² Б. Николаевский. Русские книги в библиотеках К. Маркса и Ф. Энгельса. Архив Маркса и Энгельса, кн. 4, 1930, стр. 379.

³ Там же, стр. 380.

⁴ Ем. Ярославский. Маркс и Энгельс о России. Историк-марксист, 1940, № 10, стр. 68.

⁵ Маркс и Энгельс. Соч., т. XXVI, стр. 429.

⁶ Там же, стр. 315.

⁷ П. Л. Лавров. Парижская Коммуна 18 марта 1871 г. Ленинград, 1923, стр. 218.

⁸ Я. Ярославский. Назв. соч., стр. 66. О близкой дружбе Энгельса с Лавровым богатый материал собран В. Шульгиным. О Лаврове Маркс писал: «это как-раз человек, способный заставить меня болтать целыми часами».

не улететься, в частности, проблемой крестьянской общины, волновавшей в России все передовые умы. Можно думать, что еще до знакомства с сочинениями Чернышевского у Маркса сложилось известное убеждение в положительной роли общины в русской экономической и политической жизни. Весьма интересно показывает Маркса с этой стороны его письмо к Кугельману от 17 февраля 1870 г., в котором Маркс жестоко нападает на изданные прибалтийскими немцами Шело-Ферротти и Лиллиенталем работы прогнившей общины. Маркс отзывается об «этих канальях», как он вообще называет привилегированные классы «немецко-русско-балтийских провинций», самым неслестным образом. Они — ревностные служаки в русской дипломатии, армии и полиции, продавшие «свою национальность» за признание за ними законного права на эксплуатацию крестьян. Шело-Ферротти и Лиллиенталь провозгласили общину причиной бедственного положения крестьян. В противоположность этому взгляду Маркс резко заявляет, что «причина обнищания русских крестьян та же, в силу которой обнищали и французские крестьяне при Людовике XIV и т. д. — государственные налоги и оброки крупным земельным собственникам. Община не только не вызывает нищеты, а, наоборот, одна только и смягчает ее». Далее, Маркс противопоставляет друг другу индийскую и монгольскую версию происхождения русской общины и решительно склоняется к первой. Он заявляет, что «не в крестьянстве русском, а только в дворянстве сильна примесь монгольско-татарских элементов». Отсюда можно сделать вывод, что в 1870 г. Маркс питал известную симпатию к общине как средству смягчения деревенской нищеты, видя в ней исконный институт русской общественной жизни. Несколькими годами позже Маркс подтверждает свою верность взгляду на происхождение русской общины из потребностей развития нашей экономики, солидаризуясь с Беляевым против Чичерина, отстаивавшего теорию позднейшего и притом фискального происхождения общины. В письме к Даниэльсону от 22 марта 1873 г. Маркс просит его прислать ему сведения о концепции Чичерина и полемике последнего с Беляевым. Однако из письма видно, что Маркс заранее настроен против Чичерина, так как его теория опровергается «всеми историческими аналогиями». «Как могло случиться, — спрашивает Маркс, — что в России это учреждение введено было как чисто фискальная мера, — просто как случайный спутник крепостничества, — тогда как во всех других странах это же самое учреждение возникло естественным путем и представляет собой необходимую фазу развития свободных народов?»¹ Приведенные выдержки говорят о том, каковы могли быть настро-

ния Маркса в отношении русской общины до того, как он вплотную пошел к изучению нашей экономики.

Однако было бы в высшей степени странно выхватывать из истории формирования взглядов Маркса на общественный строй России в тот или иной момент и на этом основании высказывать общие суждения об отношении Маркса к общине. Выше уже отмечено, что интерес основоположников марксизма к русской экономике и к революционному движению в нашей стране продолжался десятилетиями. Оценка потенциального революционного значения общины, естественно, менялась с ростом капитализма в России. Развитие капиталистических отношений было равнозначно с появлением пролетариата, а возникновение рабочего класса и рабочего движения отодвигало крестьянство на его естественное подчиненное место в революции. Русский пролетариат медленно, но верно шел к тому, чтобы превратиться в самостоятельную политическую силу в революционном движении, тогда как крестьянству пришлось довольствоваться ролью резерва пролетариата. Естественно, что теория революционного движения у марксистов должна была принять одну форму, когда в России капитализм оставался неразвитым и революционные силы приходилось искать в общине (вероятно, без долиной веры в реальность этой перспективы), другую форму — на первом этапе зарождения пролетариата и третью, когда рабочие стали могущественной революционной силой. История вела к постепенному изживанию и расцениванию иллюзий. Но эти иллюзии были в свое время плодотворны для развития революционного движения (ниже будет приведено драгоценное свидетельство об этом Фр. Энгельса).

В развитии взглядов основоположников марксизма на процесс общественного развития России можно выделить три важнейших этапа. Первый из них, наиболее ярко отражающий участие Маркса и Энгельса в обсуждении проблем, выдвигавшихся русской «эмигрантской литературой», нашел свое завершение в работе Энгельса «Soziales aus Russland», название которой было у нас переведено «О социальной жизни России». Эта работа вышла в 1875 г. Наиболее существенной чертой первого этапа является признание Энгельсом неизбежности в России не социалистической, а буржуазно-демократической революции, которая притом далеко еще не стучится в дверь русского царизма. Экономическая отсталость России обусловливает неясность революционных перспектив. Второй этап знаменуется интересом со стороны Маркса к проблемам общественного развития России и к учению о некапиталистическом пути для нашего отечества. Это направление мысли наиболее отчетливо выражено в неотосланном письме Маркса к Вере Засулич и предисловии Маркса и Энгельса ко второму русскому изданию «Коммунистического Манифеста». Если попытаться ограничить этот этап определенными датами, то он уложится между

¹ Маркс и Энгельс. Соч., т. XXVI, стр. 41—42.

² Там же, стр. 328—329.

1877 и 1882 гг. Он контактирует, в сущности, со смертью Маркса. Это — период ярких иллюзий в отношении революции, которая может произойти со дня на день. Наконец, третий этап определяется растущим убеждением Энгельса, что России не миновать капиталистического строя и что он уже фактически довольно быстро развивается. Эти взгляды Энгельса разбросаны в письмах последних лет его жизни, а также в «Послесловии» к работе «О социальной жизни России», вышедшем незадолго до кончины великого соратника Маркса.

Каждый из этих этапов нам придется разобрать отдельно.

Работа Энгельса «О социальной жизни России» написана в разгар борьбы против Бакунина и представляет собою полемическое произведение против П. Н. Ткачева, которого в этот период Энгельс неправильно причислял к бакунистам (впоследствии он исправил свою ошибку). Этим объясняется крайняя резкость тона. Ткачев трактуется как «зеленый, на редкость незрелый гимназист», как легендарный Карлхен Мисник, юмористический персонаж, попутно достается и П. Л. Лаврову (хотя он и назван «высокоуважаемым русским ученым») за его снисходительное отношение к бакунистам вообще и Ткачеву в частности. Статья Энгельса «О социальной жизни России» входит в состав более обширной работы, перепечатанной в настоящее время под названием «Эмигрантская литература»; однако чисто полемические ее части нас здесь не интересуют. Сам Энгельс впоследствии высказывался против их перепечатки. Что же касается статьи «О социальной жизни России», то она представляет несомненно поворотный пункт в развитии взглядов относительно экономического развития России вообще и оказала глубокое влияние на целое поколение русских революционеров. Если отбросить в сторону частные вопросы, то стержень работы сводится к трем основным пунктам:

- 1) анализу классовой структуры русского общества,
- 2) рассмотрению перспектив русской революции и
- 3) определению места артели и общины как возможных элементов зарождения социалистического строя в нашем отечестве.

Над всей работой доминирует один общий взгляд: Россия пока еще не приходится и думать о социализме. Она должна посторониться и предоставить пройти раньше нее в царство будущего более передовым странам.

Нужно помнить, что брошюра Энгельса представляет анализ русской экономической и политической жизни, написанный в период просвещения немецкого рабочего. Тем не менее, в ней цитируются и русские книги: Флеровского, Скалдина, сборник об артелях и др. Энгельс вынужден «читать азы» социальной науки Ткачеву, и это дает ему возможность нарисовать четкую картину

русского общества. Известен тезис Ткачева о том, что в России почти нет буржуазии и поэтому государственная власть как бы «висит в воздухе». Энгельс разъясняет Ткачеву, что «только на известной, а в современных условиях на очень высокой ступени развития общественных производительных сил становится возможным поднять производство до такой высоты, чтобы отмена классовых различий стала действительным прогрессом, чтобы она была прочной и не повлекла за собою застоя или даже упадка в общественном способе производства». ¹ Поэтому отсутствие буржуазии, на которое с таким торжеством ссылался Ткачев, было не преимуществом России, позволяющим думать о социалистическом перевороте, а свидетельством отсталости. Однако в России имеются, конечно, эксплуататорские классы с мощными экономическими интересами. Энгельс говорит почти исключительно о тех общественных группах, которые строят свое благополучие на жестокой эксплуатации крестьян. Он, видимо, соглашается с Ткачевым в том, что в России пролетариат представлен небольшой прослойкой сельскохозяйственных рабочих. Поэтому и на родах эксплуататоров крестьянства фигурируют, главным образом, буржуазное общество в России, Энгельс все же отмечает огромное развитие «капиталистического паразитизма». ² Крупная промышленность представляется Энгельсу как ничтожный привесок к русскому народному хозяйству, и он высказывается в том духе, что она существует лишь благодаря охранительным ввозным пошлинам. ³ В изложении Энгельса не чувствуется, что он видел в этих зачатках крупного производства первый шаг, за которым должно последовать дальнейшее быстрое развитие на основе расширения внутреннего рынка. У Энгельса скорее звучат другие мысли: о подорванности производительных сил России после крестьянской реформы, так как выкупные платежи за землю разорили крестьян: «все сельскохозяйственное производство — наиболее важное в России — приведено в полный беспорядок выкупом 1861 г.; крупному землевладению не хватает рабочей силы, крестьянам не хватает земли, они придавлены налогами, обременены ростовщиками, сельскохозяйственная продукция из года в год уменьшается». ⁴

На какие же революционные силы можно рассчитывать в такой обстановке? Энгельс резко возражает против «сказки» о русском крестьянине как инстинктивном революционере. Пусть эту сказку, — говорит Энгельс, — Ткачев рассказывает кому-нибудь другому. Для русского крестьянина царь является «земным богом».

¹ Маркс и Энгельс. Соч. т. XV, стр. 252—253.

² Там же, стр. 246.

³ Там же, стр. 252—253.

⁴ Там же, стр. 264.

Энгельс расценивает достаточно низко и артель и общину, если они предоставлены в своем развитии самим себе. Артель — это простейшая ассоциация, применяющаяся у примитивных народов. Само слово — татарского происхождения. При ее существовании в условиях капитализма она подвергается разложению. Энгельс подчеркивает указание Флеровского на то, что артель существенно облегчает капиталистам эксплуатацию наемных рабочих. Община давно исчезла там, где в хозяйстве торжествуют прогрессивные силы. На известном этапе развития она становится тормозом. Разобщенность отдельных общин друг от друга способствует тому, что они становятся на Востоке основой деспотизма. В России после крестьянской реформы 1861 г., когда помещики отняли у крестьян лучшие участки и оставили им лишь жалкие избы и голую землю, объединенные в общины крестьяне страдают под гнетом налогов и ростовщичества, так что община становится не благом, а обузой.¹ Сохраняющиеся на протяжении веков общинные формы землевладения, правда, выработали у крестьян в артели и общине «сильное стремление к ассоциации», но одного этого стремления недостаточно, чтобы перескочить в социалистический строй.² Следует отметить, что наличие у русских крестьян особого ассоциационного «инстинкта» Маркс и Энгельс признавали неоднократно. Однако этого инстинкта, конечно, недостаточно, чтобы от общины перейти к социализму. Чтобы миновать «промежуточную ступень буржуазной параллельной собственности», русская община должна получить помощь от победившего в Западной Европе пролетариата. Пролетарская революция только и может предоставить русскому крестьянину «материальные средства, которые нужны ему, чтобы произвести необходимо связанный с этим переворот во всей своей системе земледелия». ³ Таким образом русская община может вновь стать жизнеспособной формой только благодаря пролетарской революции на Западе. Эта мысль высказывается Энгельсом вскользь, он не развивает ее подробно, но ее параллелизм с построением Чернышевского, изложенным выше, бросается в глаза. Заслуживает внимания мысль Энгельса о том, что превращение общины в жизнеспособную производственную единицу возможно лишь при насыщении ее материальными средствами, привезенными из-за границы.

Работа Энгельса «О социальной жизни России» писалась буквально накануне подъема высокой революционной волны в России. Революция в этот период окончательно вышла из узких рамок кружковщины. Наступило царство террора. Раздались взрывы бомб, адских машин, революрные выстрелы. Прежнее неверие Маркса и Энгельса в русскую революцию под влиянием несколь-

ко оптимистической информации, получаемой ими от революционеров-эмигрантов, сменяется убеждением в близости часа гибели царизма. Это заставляет Маркса и Энгельса пересмотреть многие прежние установки. Нельзя забывать, что, как истые революционеры, основоположники марксизма ценили живое революционное действие выше сотен программ. Им казалось, что революция надвинулась вплотную. Но это не могла быть пролетарская революция. Пролетариата в России все еще почти не было. В своей статье «Европейские рабочие в 1887 году» Энгельс, рассматривая ход рабочего движения в разных странах Европы, замечает о России: «Нельзя сказать, чтобы в России существовало рабочее движение, о котором стоило бы говорить».⁴ И все же крестьянская реформа привела к абсолютной необходимости будущей революции. Русское правительство может, по заявлению Энгельса, лишь отсрочить взрыв на год, на два. Но революция неизбежна. Когда рухнет в России самодержавие, Германия освободится от Пруссии, поддерживаемой Россией. Освободится Польша. Мелкие славянские народности Восточной Европы пробудятся от грез панславизма. Тогда-то только сможет появиться в России «настоящее рабочее движение».⁵ Если, таким образом, даже в 1877 г. Энгельс почти не видел в России зачатков рабочего движения, то тем более для предшествующей эпохи 50-х и 60-х годов о влиянии пролетариата на русскую революцию не могло быть и речи. В «Манифесте Коммунистической партии» о России и ее революционном движении даже не упоминалось. Выпущенный первым изданием бакинский перевод «Манифеста» в начале 60-х годов должен был казаться на Западе «не более, как литературным курьезом».⁶ Но отсутствие в России пролетарской партии не мешало основоположникам марксизма относиться с большим уважением к революционным организациям конца 70-х годов. Энгельс в письме к М. К. Каблуквой от 22 июля 1880 г. признает, что Россия «создала революционную партию, обладающую несдыханной энергией и способностью к самопожертвованию».⁷ В 1884 г. Энгельс пишет Вере Засуляев о том, что Россия выгодно отличается тем, что в нее «еще не проникли наши псевдо-социалисты», и делает лестное для России замечание: «Теоретическая и критическая мысль, почти совершенно исчезнувшая из наших немецких школ, повидимому, нашла себе убежище в России».⁸ В письме к Е. Паприк в 1884 г. Энгельс оспаривает мнение своей корреспондентки, пытавшейся, повидимому, опорочить русскую революционную теорию. Энгельс, правда, признает, что иногда у этих теоретиков было больше революционного пыла,

¹ Маркс и Энгельс. Соч., т. XV, стр. 261.

² Там же, стр. 258.

³ Там же, стр. 261.

⁴ Маркс и Энгельс. Соч. т. XV, стр. 407.

⁵ Там же, стр. 410.

⁶ Там же, стр. 600.

⁷ Маркс и Энгельс. Соч. т. XXVII, стр. 89.

⁸ Там же, стр. 361.

чем научный исследования. Но все же «была и критическая мысль в самоотверженные искания чистой теории, достойные народа, давшего Добролюбова и Чернышевского». ¹ Энгельс говорит также об исторической и критической школе в русской литературе, которая «стоит бесконечно выше всего того, что создано в Германии и Франции официальной исторической наукой». Русскую революцию Маркс и Энгельс считали «своим делом» и в теоретической мысли наших революционеров ценили прежде всего ее революционную направленность. В большом письме Э. Бернштейну от 22 февраля 1882 г. Энгельс прямо пишет: «В России наши превратили царя прямо-таки в пленника, дезорганизовали правительство, расшатали народные традиции». ² Энгельс называет, следовательно, русских революционеров «нашими».

До возникновения группы «Освобождение труда» не могло быть и речи о рабочей партии, на которую можно было бы опереться, а народолюбчество сулило быстрый и реальный эффект. Сознательная Марксом и Энгельсом невозможность создания в России 70-х годов массовой рабочей партии заставляла их возлагать все надежды на террористические организации в борьбе с самодержавием. По крайней мере до 1885 г. основоположники марксизма были глубоко убеждены, что царизм должен пасть в кратчайший срок. Оглядываясь в своем «Послесловии» к статье «Социальные отношения в России» назад, на 1877 г., Энгельс писал: «Тогда в России было два правительства: правительство царя и правительство тайного исполнительного комитета заговорщиков-террористов. Власть этого второго, подпольного правительства возрастала с каждым днем. Падение царизма казалось близким». ³ В 1882 г. Энгельс сообщает Э. Бернштейну о сложившейся в России «чужесной революционной ситуации, какой еще не было». ⁴ В предисловии к новому русскому изданию «Коммунистического Манифеста», вышедшему в 1882 г., Маркс и Энгельс называют царя «содержащимся в Гатчине военнопленным революционцем». ⁵ Этот образ повторяется в тогдашних высказываниях Маркса и Энгельса неоднократно. Выступая на славянском митинге в честь годовщины Парижской коммуны 21 марта 1881 г. и, очевидно, находясь еще под свежим впечатлением известия об убийстве Александра II, Энгельс говорит о том, что победители Коммуны меньше всего думали о возможности быстрее чем через 10 лет в далеком Петербурге события, которое «после борьбы, быть может длительной и жестокой, в конце-концов, должно привести к созданию Российской Коммуны». ⁶ Эта глубокая революционная

вера в близость краха царизма поддерживала в то время оптимизм Маркса и Энгельса. Они прекрасно понимали, что русские революционеры весьма далеки от марксизма. Но русская революция казалась им необходимой для общеевропейской ситуации, как воздух. И поэтому они так тщательно изучали русские отношения и хотели подвести марксистский фундамент под учение об общине. Характерно, что в этот период Маркс и Энгельс ждали в России не массовой народной, т. е. крестьянской революции. Повидному, они еще не отказались от позиции, занятой Энгельсом в работе «Социальные отношения в России», где, как мы видели, открыто выражен скептицизм в отношении крестьянина, как революционной силы. Только на фоне этого скептицизма можно понять письмо Энгельса к Вере Засулич 1885 г., в котором Энгельс признает Россию единственной страной, где еще бланкизм имеет смысл. Основная тема этого письма — «русские приближаются к своему 1789 г.». В России создалась исключительная ситуация, при которой «горсточка людей может сделать революцию». Именно в Петербурге бланкистская фантазия вызвать потрясение общества путем небольшого заговора может иметь «некоторое основание». Но если порох будет подожжен и революционные силы освободятся, «люди, которые подожгли фитиль, будут сметены взрывом, который окажется в тысячу раз сильнее их и будет искать себе выход там, где сможет, в зависимости от экономических сил и сопротивлений». Итак, важен толчок, чтобы разразилась революция. В России накопилось достаточно революционного материала. Экономическое положение массы, народа нестерпимо. В стране представлены все ступени экономического развития от первобытной общины до современной крупной промышленности. Все эти противоречия насильственно сдерживаются деспотизмом. По всем этим соображениям «стоит в такой стране начинать 1789 г., как за ним не замедлит последовать 1793 г.». ¹ Таким образом Энгельс согласен, чтобы в России революция была произведена по рецепту Бланки, так как она развяжет силы, которые увлекут страну далеко за пределы первоначальных намерений совершивших переворот.

На этом общеполитическом фоне складывается у Маркса и Энгельса концепция экономического развития России, вокруг которой было так много споров с народниками. Ее сущность заключается в том, что в России изменения в производственных отношениях совершаются с исключительной медленностью, Россия почти не затронута капитализмом и поэтому она может при помощи западно-европейского пролетариата сразу перейти к социализму. И в рассматриваемый период Маркс и Энгельс не пересмотрели своего мнения об исключительной отсталости России. Она все еще представлялась им страной, где господствуют прим-

¹ Маркс и Энгельс. Соч. т. XXVII, стр. 389.

² Там же, стр. 197.

³ Маркс и Энгельс. Соч. т. XVI, ч. II, стр. 397.

⁴ Маркс и Энгельс. Соч. т. XXVII, стр. 197.

⁵ Маркс и Энгельс. Соч. т. XV, стр. 601.

⁶ Там же, стр. 552.

тивные отношения, созданные первобытно-общинным строем. В частности, частная собственность на землю в их глазах все еще является относительной редкостью в России.

Обратимся к рассмотрению наиболее существенных документов, характеризующих взгляды Маркса и Энгельса на историческое развитие России в данный период. Это был период, когда основными подложками марксизма являлись особенно большое значение теоретическим построениям Чернышевского. Уже было указано, что по вопросу о некапиталистической пути развития для России основной работой Чернышевского является его статья «Критика философских предубеждений против общинного владения». Поэтому придется сказать несколько слов об отношении Маркса специально к этому сочинению. В «Архиве Маркса и Энгельса» была в свое время напечатана довольно подробная работа о русских книгах в библиотеке Маркса и Энгельса, откуда можно почерпнуть следующие, весьма для нас ценные указания: «...особое внимание Маркса привлекала сделанная Чернышевским (в статье „Критика философских предубеждений против общины“) попытка связать свои надежды на общину, как возможную ячейку социального переустройства общества, с философского систем Гегеля. Все основные моменты этой аргументации Марксом подчеркнуты». Наиболее важные положения Чернышевского, повторяющиеся в статье, как мы видели, трижды, Маркс отмечает на полях повторно. Таким образом не приходится сомневаться в том, что Маркс очень тщательно изучил ход мыслей Чернышевского о некапиталистическом пути. С другой стороны, он обратил особое внимание и на тезис Чернышевского о начавшемся быстром развитии русской промышленности, в связи с чем меняется и «самый порядок производства». Что Маркс немало размышлял над постановкой вопроса у Чернышевского, видно из письма Маркса в редакцию «Отечественных записок» 1877 г., оставшегося неотправленным. В этом письме речь идет о ключе к марксовской позиции по отношению к усилиям русских людей найти для своего отечества путь развития, отличный от того, которым шла и идет Европа. Маркс категорически протестует против попытки Н. К. Михайловского превратить изложенный в I томе «Капитала» очерк происхождения капитализма в Европе в историко-философскую теорию общего хода развития. Концепция, высказанная в «Капитале», не предвещает путей развития России. В проекте письма он, однако, очень четко формулирует точку зрения Чернышевского: «Ученый этот в своих замечательных статьях исследовал вопрос, должна ли Россия, чтобы перейти к капиталистическому строю, начать с уничтожения поземельной общины, как того добиваются либеральные экономисты, или же, наоборот, она может, не претерпевая всех мучений этого строя, усвоить все плоды его, развивая собственные данные». Маркс осторожен в своих выводах. «Если Россия будет продолжать идти по тому же пути, по ко-

торому шла с 1861 года, то она лишится самого прекрасного случая, который когда-либо представляла народу история, чтобы избежать всех пережитий капиталистического строя». Маркс не становится на сторону учения о некапиталистическом пути, но он не входит и в критику построения Чернышевского. Он, в сущности, ограничивается признанием того, что вопрос нужно исследовать. Комментируя письмо Маркса, Ленин замечает, что Маркс отверг в очень ядовитой форме вздорные претензии, приписываемые Михайловским материализму в истории «без объяснения», найти «ключ ко всем историческим замкам». По словам Ленина, Маркс «уклоняется от ответа по существу, от разбора русских данных, которые одни только и могут решить вопрос». Однако настал момент, когда Маркс, по крайней мере для самого себя, не счел возможным далее уклоняться от разбора русских данных. Замечательный в этом отношении материал представляют четыре черновика и отправленный текст письма Маркса к Вере Засулич от 8 марта 1881 г. В самом тексте письма (очень кратком, в отличие от черновиков) Маркс, ссылаясь на произведенные им изыскания, утверждает, что «община является точкой опоры общественного возрождения России». Для того, чтобы община проявила себя в этом отношении, необходимо, однако, «устранить тлетворные влияния, которые теснят ее со всех сторон, а затем обеспечить ей условия самостоятельного развития». Черновики демонстрируют нам путь, которым шел Маркс, прежде чем остановиться на окончательном выводе. Попробуем резюмировать главные аргументы:

1) Западно-европейский опыт неприменим к России, так как в России никогда не было частной собственности крестьян на землю. Маркс доказывает Засулич цитатами из I тома «Капитала», что там речь идет об исторической эволюции, в которой «частная собственность, добытая личным трудом, вытесняется капиталистической частной собственностью». Таким образом, в «Капитале» демонстрируется процесс превращения «одной формы частной собственности в другую форму частной собственности». Но в России никогда частной собственности на землю не было. Существующий в ней вид «земельческой общины» представляет «новейший тип архаической общественной формации», который олицетворяет «переходный период от общей собственности к частной собственности». В одном месте Маркс даже говорит о том, что в России разрушение общины привело бы к «замене капиталистической собственностью собственности коммунистической». Таким образом, и у Маркса сохранение общины, как первоначального зародыша социалистического строя, противопоставляется капиталистическому развитию: община или капитализм. Нетрудно видеть, что во всем этом рассуждении Маркса в черновых набросках письма

¹ В. И. Ленин. Что такое «друзья народа»? Соч., т. I, стр. 166.

² Маркс и Энгельс. Соч., т. XXVII, стр. 677—681.

лиется поразительное сходство, по самому существу, с аргументацией Чернышевского в статье «Критика философских предубеждений».

2) Сельская община в России может «освободиться от своих первобытных черт и развиваться непосредственно, как элемент коллективного производства, в национальном масштабе». Ее преимуществом является то, что она является «современнейшей капиталистического производства» на Западе и поэтому может кушавать его положительные достижения, не проходя через все его ужасные перипетии». России нет надобности проходить через долгий инкубационный период развития машинного производства, чтобы добраться до машин, паровозов, железных дорог и т. п. Напомним, что у Чернышевского как раз одним из важнейших доводов в пользу предложенной им схемы было стремление сократить прохождение через промежуточные фазы. Чернышевский избирает даже для иллюстрации те же железные дороги, которые фигурируют у Маркса. «Все, чего добились другие — готовое наследие нам. Не мы трудились над изобретением железных дорог — мы пользуемся ими. Все хорошее, что сделано каким бы то ни было народом для себя, на три четверти сделано тем самым для нас».¹

3) Если после крестьянской реформы община не могла нормально развиваться, то причина заключается в том, что паразитизм общины выкупными платежами, обогатив ими новый общественный слой, обращенный в капиталистов. Если бы все эти траты были в свое время обращены на развитие общины, «все признавали бы в ней элемент возрождения русского общества и элемент превосходства над странами, еще поработченными капиталистическим режимом».

4) Община может постепенно выработать на основе общинного владения землей и коллективного земледелия, «коллективного труда», благодаря навыкам крестьян в артельных отношениях. Как указано в третьем черновике, Россия «может при помощи машин... постепенно заместить парцеллярную обработку комбинированной обработкой».²

Если сопоставить эти суждения Маркса с мыслями, высказанными им в письме, которое было, в конце-концов, отправлено Вере Засулич, можно прийти к окончательному выводу, что Маркс в 1881 г. действительно считал возможным экономическое развитие России путем внутреннего роста общины, если для этого будут созданы благоприятные общественные условия. Но если Марксу представлялось в этот период, что именно община может стать исходным пунктом дальнейшего развития русской экономики, то обратной стороной такого взгляда было частичное при-

знание искусственности возникновения в России промышленного капитализма. В черновиках письма к Засулич эта мысль излагается на разные лады, и Маркс постоянно возвращается к ней. Ему кажется несомненным, что в России «известный род капитализма, вскормленный на счет крестьян при посредстве государства, противостоят общине». Больше всего в России акклиматизировались такие ростки капитализма, как биржи, спекуляция, банки, акционерные общества, железные дороги. Они выращены «за счет крестьян, точно в оранжерее». Таким путем лишь облегчается и усугубляется воровство плодов земледелия «непроизводительными посредниками». Так происходит обогащение «нового капиталистического червя, высасывающего и без того столь бедную кровь сельской общины». Литературные лакеи из новых столбов общества предвещают, что община обречена на естественную смерть. Маркс, однако, в отличие от этой пессимистической точки зрения, все упования возлагает на спасение общины силами русской революции. Цели в черновиках письма к В. Засулич нет подробного ответа на вопрос о возможных сроках и характере этой революции, то уже на другой год, в предисловии к русскому изданию «Коммунистического Манифеста», Маркс и Энгельс выразительно написали: «может ли русская община — эта, правда, уже сильно разрушенная форма первобытного коллективного владения землею — непосредственно перейти в высшую, коммунистическую форму землевладения? Или напротив, она должна пройти сначала тот же процесс разложения, который определил собою историческое развитие Запады? Единственный возможный в настоящее время ответ на этот вопрос заключается в следующем. Если русская революция послужит сигналом рабочей революции на Западе, так что обе они повлечут друг друга, то современное русское землевладение может явиться исходным пунктом коммунистического развития». Таким образом, подводя итоги своим многолетним размышлениям и высказываниям по этому вопросу, основоположники марксизма остановились на формуле, для которой первоначальной канвой несомненно могли явиться мысли, высказанные Чернышевским в неоднократно цитированной нами статье. Но в 1882 г., в новых исторических условиях, Маркс и Энгельс уже не скрывают от себя, что процесс разложения общины заходит все дальше и дальше, и революции все нет. Вскоре на помощь дальнейшему изучению русских аграрных отношений Энгельсом (после смерти Маркса) приходит замечательная работа Плеханова «Наши разногласия», в которой Плеханов выступает уже как подлинный ученик Маркса и Энгельса. Недаром Энгельс так высоко ставил Плеханова как исследователя Маркса. В письме Вере Засулич по поводу книги «Наши разногласия» Энгельс говорит о том, что он горд появлением среди русской молодежи партии, которая «без оговорок приняла великие экономические и исторические теории Маркса». Он убежден в том, что и Маркс «был бы горд этим, если бы про-

¹ Н. Г. Чернышевский. Статьи по крестьянскому вопросу, стр. 661.
² Маркс и Энгельс. Соч., т. XXVII, стр. 686.

жил немного дольше. Это прогресс, который будет иметь огромное значение для развития революционного движения в России». ¹ Книга Плеханова, подробный анализ которой с точки зрения разбора темы будет дан ниже, содержит замечательный очерк разложения русской общины, который должен был произвести на Энгельса большое впечатление. В письме Засулич Энгельс дважды использует меткие, по его словам, метафоры Плеханова из этой книги, особенно «излюбленный и очень удачный образ» относительно перевода народной энергии из потенциальной в кинетическую. Энгельс сохранил благоволение к работам Плеханова и позднее. В 1891 г. он пишет Каутскому, что «статьи Плеханова пресквоздные». ² Что Энгельс внимательно штудировал книгу «Наши разногласия», видно из текста послесловия к работе «О социальной жизни России». Достаточно, например, указать, что Чернышевского он цитирует по Плеханову. ³ Нетрудно также убедиться в том, что выдержка из «Писем к Линтону» А. И. Герцена, приведенная Энгельсом, тоже могла быть почерпнута из чтения плехановской книги, где она и приведена. Когда Энгельс отмечает, что «среди членов общины стали возникать крупные имущественные различия, — бедняки попадали в кабалу к богатым», ⁴ то он, правда, высказывает тезис, который выдвигался им и раньше, но теперь он должен был укрепиться в этой позиции благодаря плехановским изысканиям по этому вопросу. ⁵ Если у Энгельса и была раньше известная тень сочувствия к народническим воззрениям Даниэльсона, с которым он поддерживал такую оживленную переписку, то теперь Энгельс окончательно порывает с воззрениями Даниэльсона. Как сообщает Плеханов в примечании ко второму изданию «Наших разногласий», «работа г. Николая — она произвела на очень хорошо расположенного Энгельса весьма неприятное впечатление. В одном из своих писем ко мне Энгельс говорит, что он потерял уже всякую веру в то поколение русских людей, к которому принадлежал г. Николай — он, так как, о чем бы ни заговорили эти люди, они непременно сведут речь на святую Русь», т. е. обнаружат славянофильские предрассудки. Главный упрек, делаемый Энгельсом г. Н. — он, состоял в том, что тот не понимает переживаемого Россией переворота». ⁶

Однако даже в последние годы жизни Энгельса в его взгля-

дах на Россию отчасти сохраняются оба наклонения, существовавшие и прежде: представление о победе капитализма в России сочетается с готовностью признать живучесть общины, своеобразный характер капитализма в России, неизбежность его скорого краха. Мы вкратце воспроизведем высказывания Энгельса в этот период. Основной тезис формулируется с обычной энгельсовской четкостью: «Так и идет все более и более ускоряющимся темпом превращение России в капиталистически-индустриальную страну, пролетаризация значительной части крестьян и разложение старой коммунистической общины». ¹ Однако качественная характеристика русского капитализма остается у него, по существу, прежней. В письме Бебелю, написанном в 1891 г., Энгельс чернит русскую буржуазию, образованную почти целиком из откупщиков водочных заводов и военных подрядчиков-казанокрадов. «Всем своим существованием они обязаны государству: покровительственные пошлины, субсидии, казнокрадство, тягчайшая эксплуатация рабочих с разрешения и под защитой государства». ² В статье «Социализм в Германии» Энгельс повторяет мысль о том, что «буржуазию, особенно промышленную, стали буквально вращивать посредством обильной государственной поддержки, субсидий, премий и покровительственных пошлин, дошедших мало-помалу до крайних пределов». ³ В статье «Может ли Европа разоружаться?» Энгельс с особенной силой настаивает на том, что капиталистическая Россия встала на путь саморазрушения. Крестьян эксплуатируют сельские капиталисты, местные богатей, шинкари, мироеды, кулаки. Крупная промышленность подрывает кустарные промыслы. Крестьянин обречен на неизбежную гибель. А ведь разорение крестьян есть разорение России. Но не только люди истощены. Земля высыхает. Отсюда такие зловещие бедствия, как голод 1891 г. Экспорту русской пшеницы уже нанесен сокрушительный удар заокеанской конкуренцией. Россию еще спасает вывоз ржи в Германию. «Как только Германия начнет есть белый хлеб вместо черного, нынешняя официальная царско-крупнобуржуазная Россия тотчас же обанкротится». ⁴ Энгельс не жалеет красок для изображения надвигающегося на Россию государственного банкротства и в других своих работах. Азиатская игра, которая ведется русским правительством, чтобы довести капиталистическое развитие России до высшей точки, финансируется внешними займами. Что же будет, если Европа откажется давать деньги? Таким образом, хотя в России «в короткое время... были заложены все основы капиталистического способа производства», но русский капитализм остался слабым, рахиничным, искусственно взращенным.

¹ Маркс и Энгельс. Соч., т. XVI, ч. I, стр. 399—400.

² Маркс и Энгельс. Соч., т. XXVIII, стр. 314.

³ Маркс и Энгельс. Соч., т. XVI, ч. II, стр. 251.

⁴ Там же, стр. 353—355.

46 Проф. Шт-33

¹ Маркс и Энгельс. Соч., т. XXVII, стр. 461—462.

² Маркс и Энгельс. Соч., т. XXVIII, стр. 394.

³ Маркс и Энгельс. Соч., т. XVI, ч. I, стр. 390.

⁴ Там же, стр. 395.

⁵ Проф. В. Шульгин отмечает, что «для Энгельса Плеханов — авторитет не только в русских делах: он горячо поддерживает его и на международной арене». В 1893 г. Энгельс заявляет о своей радости по поводу того, что «царским прокламациям противопоставляют социалистические труды, переходящих борцов русского пролетариата» и тут же приветствует перевод работ Плеханова на болгарский язык [статья Шульгина (стр. 34)].

⁶ Г. В. Плеханов. Наши разногласия, 1923, стр. 135.

В отношении сельской общины надежды Энгельса на то, что она может стать исходной точкой социального возрождения России, постепенно рассеиваются окончательно. «Русская община просуществовала сотни лет и внутри нее ни разу не возникло стремления выработать из самой себя высшую форму общественной собственности». ¹ Общинная собственность продолжает проявляться лишь в периодических пределах земли. Стоит пределам прекратиться, «и перед нами деревня парцеллярных крестьян». ² Приближение западно-европейского капитализма продолжает еще не создавать само по себе предпосылки для восприятия социализма русской общиной. Каким образом овладеет она гигантскими производительными силами капиталистического общества? Если Маркс допускал возможность социального возрождения России через общину и советовал «русским не особенно торопиться броситься в водоворот капитализма», то это объяснялось верой в близкую революцию. «Революции в России не произошло. Царизм восторжествовал над терроризмом». Ускорился процесс капиталистического развития. Шансы общины стать исходным пунктом социального переворота окончательно упали. «Вера в чудодейственную силу крестьянской общины, из недр которой может и должно притти социальное возрождение, вера, от которой не был совсем свободен, как мы видели, и Чернышевский, эта вера сделала свое дело, подняв воодушевление и энергию героических русских передовых борцов... Но это вовсе не обязывает нас разделять их иллюзии. Время избранных народов миновало безвозвратно». ³ Таким образом Энгельс прямо признает, что учение об общине было важно как средство поддержания революционного энтузиазма. Но в 1894 г. Энгельс уже не берется судить о том, в какой мере уцелела община и насколько она еще может быть использована для построения социалистического общества после революции в России — вызванной ею западно-европейской революции. Энгельсу всегда казалось, однако, что ликвидация крестьянства в России, несмотря на то, что победа фабрики превращает кустаря в «раба капитала», может быть лишь крайне медленным процессом. Подобно тому, как во Франции или Германии крестьянин-собственник «живуче» упорно борется за свое существование, упорно прозябая на протяжении двух-трех поколений, прежде чем признает свое поражение в борьбе против новейшей промышленности, так еще больше в России, благодаря сопротивлению общины внешнему натиску, возможности аренды земель крестьянами у соседних помещиков и осторожной тактике кулаков, крестьянство разлагается крайне медленно «...русский крестьянин, там, где он не требуется в ка-

честве рабочего на соседнюю фабрику или в город, тоже очень живуч и тоже долго и упорно будет бороться со смертью, так что нужно много колотить его, прежде чем он наконец умрет». ⁴ Все же заключительным аккордом всего анализа русских отношений у основоположников марксизма было, конечно, признание позитивного и окончательного торжества капитализма над общиной.

¹ Маркс и Энгельс. Соч., т. XVI, ч. II, стр. 391.

² Там же, стр. 392.

³ Там же, стр. 399.

⁴ Маркс и Энгельс. Соч., т. XVIII, стр. 369.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

КРИЗИС ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИИ И ПЕРВЫЕ ПОПЫТКИ ОСВОЕНИЯ МАРКСИЗМА

Летом 1862 г. Чернышевский был арестован и тем самым полностью устранен с авансены развития нашей общественной идеологии. Два долгих десятилетия должны были еще пройти до возникновения «первой русской марксистской группы»¹ — «Освобождение Труда» в Женеве в 1883 г. За эти двадцать лет среди наших экономистов идет глубокий раздор. Первое знакомление с Марксом приводит не к восприятию марксизма, как революционной доктрины пролетариата, не к изучению русской действительности под углом зрения марксистского учения, а к стремлению переделать самого Маркса так, чтобы можно было сочетать его теоретические построения с уже сложившейся и укрепившейся просветительской идеологией. В результате получается окрошка взглядов, в которой очень мало марксизма. Биограф и истолкователь учения А. П. Шапова, М. Гудосников удачно сказал о Шапове: «Маркса он читал (I том «Капитала»), но понял его, как понимали тогда «Капитал» многие, т. е. как памфлет против капиталистического производства, которое приводит к вырождению рабочего класса».² Так понимал Маркса действительно не один Шапов. Эпоха 60-х и 70-х годов еще не доросла до иного понимания марксизма. Социализм трактовался не как теория освобождения эксплуатируемого класса, а как этическая доктрина. Целность, монолитность марксизма терялась. В России этого периода рядом с Марксом были в большом ходу сочинения Прудона, Лассалля, Родбертуса. Вырывая отдельные доскутки из всех этих разношерстных теорий, представители русской экономической мысли использовали их для построения собственной доктрины, в которой влияние иностранных учений было второстепенным, наносным, а основной остов был глубоко национальным, чисто русским. Однако марксизма в этих построениях было мало. Имя Маркса было популярно в России, как нигде в мире. Но классовая сущность пролетарского социализма была

отодвинута на задний план, чтобы марксизм мог в одной формуле охватить и рабочего и крестьянина.

В петербургских кругах имя Маркса стало известным не позднее 1860 г. В это время в Петербурге происходили лекции бездарного представителя вульгарной школы, бельгийского экономиста Молиари, и сотрудник издававшейся в Париже для ознакомления европейского читателя с жизнью северных стран (России и Скандинавии) «Gazette du Nord» в корреспонденции из Петербурга, напечатанной 5 мая 1860 г., противопоставляет Молиари, как ничтожной величине в экономической науке, «таких оригинальных исследователей, как Карл Маркс, Стюарт Милль, Крис, Прудон и другие».³ Компания, в которой фигурирует в приведенном списке Маркс, сама по себе свидетельствует об отсутствии у автора статьи элементарного понимания значения марксовской доктрины. Проходит еще пять лет, и имя Маркса упоминается П. Н. Ткачевым, — на этот раз с тем, чтобы прочно войти в научный обиход. Правда, А. Л. Реуэль, автор ценной работы по истории проникновения марксизма в Россию, признавая решение Ткачева первым откликом на книгу Маркса «К критике политической экономии» в русской литературе, замечает: «вообще в 60-х годах имя Карла Маркса было известно лишь отдельным, самым передовым и образованным представителям русской интеллигенции. Лишь с выходом в свет I тома «Капитала» и в особенности после перевода его на русский язык имя Карла Маркса становится популярным в России».⁴ Однако, если вспомнить точные даты: 1865 г. — рецензия Ткачева, 1867 г. — выход I тома «Капитала», март 1872 г. — появление русского перевода, нетрудно сделать вывод, что речь должна идти об едином периоде первоначального ознакомления с Марксом; и сейчас, по минованию 75—80 лет, очень трудно судить о том, была ли действительно рецензия Ткачева столь одиноким, изолированным эпизодом. Во всяком случае, в самом начале 70-х годов попадают книги, в которых ссылки на Маркса приводятся десятками.⁵

Ткачев пытается передать содержание знаменитого предисловия к работе «известного немецкого изгнанника Карла Маркса» в таком виде: «Вся совокупность отношений касательно производства богатств образует экономическую структуру общества, основной базис, на котором возвышаются в виде надстроек политические и юридические отношения». Таким образом термин «производственные отношения», столь важный для усвоения смысла марксовской системы, заменен бесцветным: «отношения касательно

¹ «Gazette du Nord» от 5 мая 1860 г.

² А. Л. Реуэль. «Капитал» Карла Маркса в России 1870-х годов. 1939. стр. 58.

³ См., например, книгу А. Михайлова (впоследствии известный писатель Шеллер-Михайлов) «Ассоциации. Очерки практического применения принципа кооперации в Германии, в Англии и во Франции» (СПб., 1871).

¹ История ВКП(б), Краткий курс, стр. 10.

² А. П. Шапов. Собр. соч., доклав. том, Иркутск, 1937, стр. XXVI.

«производства богатства». Но, тем не менее, за Ткачевым остается бесспорная историческая заслуга, что ему принадлежит первое упоминание о научных построениях Маркса в русской литературе. Точнее было бы сказать, что Ткачеву принадлежит первое упоминание имени Маркса. Что же касается идей экономического материализма, то они были широко распространены, и сам Ткачев указывает, что «только у нас, в таких критических *квартилах* и политических съездах, как в „Отечественных записках“ и в „Русском вестнике“ могут появляться противники этих воззрений». Самые термины, выбранные Ткачевым для выражения своей мысли, свидетельствуют о том, что он связывал борьбу против экономического материализма с отставлением охранительных тенденций («квартилы» и «съезды»). Что же касается политической стороны революционного марксизма, то она еще не дошла в 60-х годах до сознания нашей читающей публики. Недаром П. Л. Лавров пишет: «Фейербах был для социалистов 60-х годов более непосредственным учителем, чем Лассаль и Маркс; Манifest же коммунистов 1847 г., с его определению постановку вопроса, едва ли был кому-либо из них известен». Таким образом теоретическое содержание учения Маркса воспринималось в отрыве от революционно-политических выводов, и это приводило к выхолащиванию марксизма.

○ Из ранней истории марксизма в России отметим еще то, что в нашей литературе имеется (может быть не вполне достоверная) ссылка на обращение к марксизму в конце жизни знаменитого нашего критика Д. И. Писарева, находившегося тогда в тюрьме. Писарев попытался даже изложить содержание I тома «Капитала», тогда только что вышедшего, в полубеллетристической форме. Теория Маркса в этой передаче произвела на друга Писарева, слушавшего в его чтении «Разговоры в зеленой комнате», как назывался этот незавершенный писаревский этюд, «чарующее впечатление».¹

Теоретическая наивность наших революционеров 60-х и 70-х годов больше всего выражалась в том, что они подставляли в научных схемах Маркса и Лассалья крестьянина на место пролетария, полагая, что понятие *рабочего класса* охватывает обе эти категории. Так, в воспоминаниях Дебагория-Мокриевича можно прочесть: «Все, что Лассаль говорил о рабочем сословии, мы черпнули на крестьянство, являвшееся для нас нашим беззачетным „четвертым сословием“». Мысль Лассалья о том, что «настоящую историческую эпоху рабочее сословие является носителем прогресса, подобно тому как буржуазия была прогрессив-

ным элементом в прошлом веке», тоже переделывалась на свой лад в том духе, что служение интересам крестьянства является признаком *просветительского*, идущего в ногу с временем миропроизводства.² Такое же смещение пролетария, ремесленника и крестьянина в одной категории рабочего класса мы находим и на страницах первого издававшегося на русском языке органа, поставившего своей задачей пропаганду идеи Интернационала, как международного товарищества рабочих, — «Народного Дела», первый номер которого вышел 1 сентября 1868 г. в Женеве. Это издание считало центральным вопросом об освобождении многомиллионного рабочего люда из-под ярма капитала. Не подлежит сомнению, что этот «многомиллионный рабочий люд», который предстояло освободить из-под ярма капитала, в подавляющей массе состоял, в представлении авторов излагаемой программы, из крестьян, а формула «социально-экономического освобождения» была выражена так, чтобы основным своим содержанием охватить трудовые крестьянские коллективы: «Земля принадлежит только тем, кто ее обрабатывает своими руками — земледельским общинам. Капиталы и все орудия работы работникам — рабочим ассоциациям».³ Наибольшую путаницу и недопустимое смешение теоретических понятий мы обнаруживаем в известной работе Н. Флеровского (Берви) «Положение рабочего класса в России». Эта книга замечательно содержавшаяся в ней исключительно богатым материалом о положении трудящихся масс в России. Именно это обстоятельство дало основание Марксу поставить труд Флеровского рядом с таким классическим сочинением, как «Положение рабочего класса в Англии» Фр. Энгельса. Но позиция Флеровского в принципиально-теоретических вопросах явно неприемлема. Для него «рабочий класс России — это, прежде всего, крестьянство. Трудно согласиться с Реузелем, когда он заявляет: «В этой книге Берви-Флеровский развенчал легенду о том, что в России нет пролетариата», и находит в его книге, главным образом, «красочную картину бесправия и эксплуатации русского рабочего класса, под которым он понимал или сельско-хозяйственных рабочих, или крестьян, уходивших на отхожие промыслы».⁴ Книга Флеровского — исключительное произведение нашей научной и публицистической литературы; но незнач. идеализировать ее и вкладывать в уста автора положения, которых он не высказывал. Ведь сам Реузел находит в ней своеобразную смесь прудонизма, фурийеризма и славянофильства, что, кстати сказать, тоже неверно, так как у Флеровского влияние иностранных литературных мотивов было минимальное. Главный герой наблюдений и исследований Флеровского — конечно, русский крестьянин. Его

¹ П. Н. Ткачев. Избранные сочинения на социально-политические темы, т. I, М., 1932, стр. 73.

² П. Л. Лавров. Народники-пропагандисты 1873—1878 гг. 2-е изд. исправ., Ленинград, 1925, стр. 17.

³ Н. Кудрин. Сборник «На славном посту», стр. 10.

⁴ Дебагория-Мокриевич. Воспоминания, вып. I, стр. 14, 15.

² Лавров. Назв. соч., стр. 18.

³ Реузел. Назв. соч., стр. 36.

идеологическая линия идет от Чернышевского и от «Современника» конца 50-х годов, но у Флеровского нет силы теоретического мышления нашего великого просветителя и нет его всепоглощающего революционного устремления.

Больше всего Флеровский мечтает о сохранении общинного владения землей. По его словам, если имущественные классы желают, чтобы рабочий класс сочувствовал охранению их собственности, они должны защищать общинное владение, иначе они произведут в рабочем классе неизбежно коммунистические тенденции, в виде реакции.¹ Всем сердцем Флеровский на стороне русского трудящегося люда и доказывает, ссылаясь на «неумолчные данные статистики», что гниде в мире «нет работника более бедствующего и более несчастного, чем русский»,² и это, несмотря на то, что «главный недостаток русского работника это не лень, а слишком большое трудолюбие».³ Конечно, Флеровский не забывает и фабричного рабочего, но для него «русский пролетарий — это синоним мещанина русских городов».⁴ Он допускает, что в промышленных губерниях «работник несравненно более развит и в умственном и в нравственном отношении».⁵ Но это не мешает тому, что материальное его положение самое отчаянное, и с этой стороны он совершенно пасует перед крестьянином: «Как бы ни был беден крестьянин, но он имеет несравненно меньше шансов дойти до отчаянного положения, чем мещанин».⁶

Пролетарий, надевший на себя фабричное ярмо, «липается образа человеческого, обращаясь в рабочую лошадь, он лишается свободы, выгоды от своего труда, его семейство оставалось на произвол голодной смерти».⁷

Флеровский уделяет сравнительно мало внимания отношениям рабочих и капиталистов, а если уж рискует пускаться в рассуждения по этому предмету, высказывает мнения довольно наивные и поверхностные. Повторяя обычную историческую схему, согласно которой человечество перешло от рабства к найму, а следующей ступенью должен явиться переход от найма к товариществу, Флеровский добавляет: «между трудом и экономией должно быть равенство, между работником и капиталистом — това-

рищество».⁸ При этом «товарищество» капиталисты могли бы получать процент в вознаграждение за риск, которому подвергается их капитал, а рабочий — «остальное». Работники при этом имели бы такое же влияние на ход дел в предприятии, как и капиталист. Но, видимо, Флеровский сам не очень-то верит в «товарищество» волков и ягнят. Поэтому решение социального вопроса связывается в его представлении с окончательным устранением капитала от производства. Путь к новому обществу лежит для Флеровского, главным образом, через создание общин в духе утопического социализма. «В Европе неловко затейливые коммунистические и социальные попытки навели ужас и породили в обществе панический страх, — в Америке они практическими людьми приведены к такому благополучному концу, что теперь сделалось ясно, что целое общество людей может прилежно трудиться, руководствуясь стимулом общего блага, без всякой соразмерности материального вознаграждения с количеством и качеством труда».

Таким образом связывать именно с Флеровским развенчание легенды о том, что в России нет пролетариата, не приходится. Неладом и Маркс увидел в этой книге, прежде всего, доказательство того, что крестьянская жизнь в России отнюдь не представляет «коммунистического Эльдorado». Другими словами, Марксу показалось наиболее существенным в суждении Флеровского то, что в нем развенчана иллюзия относительно беспечальной жизни крестьян в общине. Флеровский привлекает к себе реализмом своих картинок быта, характеристиками «семейной жизни русского крестьянина». Маркс метко определяет сущность книги Флеровского в таких словах: «Никакой социалистической доктрины, никакого аграрного мистицизма (хотя он и сторонник общинной собственности), никакой нигилистической утрировки». Интересно, что сам Маркс без критики пропускает у Флеровского тенденцию включения крестьянства в рабочий класс. Это, разумеется, потому, что Марксу и не приходило в голову подходить к труду Флеровского с теоретическою меркою, а также и потому, что при неразвитости капитализма в стране такое широкое понимание термина «рабочий класс» было менее одиозным. Во всяком случае, «Положению рабочего класса в России» Флеровского суждено было стать одной из наиболее популярных книг русской литературы 70-х и 80-х годов, и, в результате отсутствия теоретической четкости в вопросе о природе рабочего и крестьянина, объединение обоих в общем понятии рабочего класса, естественно, должно было привести к неспособности понять и усвоить Маркса у русских экономистов, стоявших на этой позиции.

Непонимание марксовой доктрины в России на первых порах коренилось еще и в том, что Маркса принимали за единомышленника и как бы продолжателя дела рано погибшего Ф. Лассалля. Увлечение Лассалем было у нас в течение очень долгого пери-

¹ «Положение рабочего класса в России». Наблюдения и исследования Н. Флеровского. СПб., 1869, стр. 75; «общинное владение землею делает работников независимыми, это — самое существенное его достоинство», — говорит он в другом месте (стр. 247).

² Там же, стр. 203.

³ Там же, стр. 205.

⁴ Там же, стр. 422.

⁵ Там же, стр. 415.

⁶ Там же, стр. 425.

⁷ Там же, стр. 434.

⁸ Там же, стр. 295.

ода весьма широко распространенным явлением.¹ История русского лассалеизма еще не написана. А между тем, это течение возникает сравнительно рано, часто перекликается с марксизмом и мешает его идейной чистоте. В 70-х годах имена Маркса и Лассалья обычно стоят рядом. В этом разрезе отметим следующие факты.

После того, как Чернышевский волею судеб уже не мог продолжать работы в «Современнике», этот журнал потерял свою принципиальную четкость. В результате явилась своеобразная попытка оппортунистически приспособить Лассалья к русским условиям. Журнал поместил речь Лассалья «Об особенной связи современного исторического периода с идеей рабочего сословия», снабдив ее предисловием. Лавров передает, что в 1872 г. в Михайловском артиллерийском училище «Лассалья читали все»,² точно так же как роман Шильягаена «Один в поле не воин», в котором Лассаль, повидомому, фигурирует в качестве героя, в образе Лео. В том же 1872 г. «в Киеве между студентами сошлось открыто ходило по рукам сочинения Лассалья».³ Следующего «Герои голубиною полета», автор которой выступил против шульце-деличевских ассоциаций в защиту Лассалья.

Теперь можно считать доказанным, что лассалеизм имеет очень мало общего с марксизмом. Правда, сам Лассаль склонен был чрезвычайно высоко ставить авторитет Маркса как теоретика. Так, «великолепное сочинение» Маркса «К критике политической экономии» Лассаль готов был признать «составляющим эпоху в развитии экономической науки» и объявляет свои рассуждения о иных меры стоимости, «кратким, сжатым извлечением из марксовского труда».⁴ В письме к Энгельсу от 3 июня 1864 г. Маркс рассказывает о том, как при чтении лассалеизма «Наемного труда и капитала» многие положения показались ему «знакомыми от слова до слова», и потом он нашел в старых своих статьях о наемном труде и капитале 1849 г. «непосредственный источник вдохновения» Лассалья.⁵ Позднее, после смерти Лассалья, когда было разоблачено его намерение, говоря словами Маркса, про- «Ришелье пролетариата», Маркс сообщает Энгельсу в письме от 30 января 1864 г. о своем намерении напечатать «достаточно ясно» в предисловии к I тому «Капитала» о том, что Лассаль — плагиатор.⁶ Маркс, как известно, осуществил свое намерение.

¹ Одним из последних его отголосков можно считать попытку Плеханова повстанить Лассалья выше Чернышевского.

² П. Л. Лавров. Наза. соч., стр. 31.

³ Федина Лассаль. Капитал и труд. Г. Бастиа-Шульце из Делича. Экономический Юлиан. СПб., 1906, стр. 147.

⁴ Маркс и Энгельс. Соч., т. XXIII, стр. 185.

⁵ Там же, стр. 234.

В предисловии к первому изданию имеется примечание, в котором говорится и об искажениях марксова учения о стоимости, допущенных Лассалем в работе против Шульце-Делича и о почти буквальном заимствованиях из сочинений Маркса, без указания источников, по «соображениям пропаганды». Маркс тут же огорчается, что с «практическими применениями», которые Лассаль делает из марксовой теории, у него «нет ничего общего».¹ Тем не менее, «культ Лассалья» продолжал существовать даже в германской социал-демократической партии, и только теперь, после выхода в свет XXVIII тома сочинений Маркса и Энгельса, мы получили возможность узнать, в какой мере Энгельс возмущался и выступал на борьбу с ним. В письме А. Бебелю от 1—2 мая 1891 г. Энгельс заявляет: «Я не допущу больше, чтобы за счет Маркса поддерживали и в дальнейшем продолжали распространять ложную славу Лассалья».² Еще ярче позиция Энгельса выявлена в его письме Каутскому от 23 февраля 1891 г. Как говорит в этом документе Энгельс, «все величие Лассалья основывалось на том, что Маркс позволял ему в течение долгих лет украшать себя результатами марксовских научных исследований, как своими собственными, и вдобавок извращать их из-за своей недостоинной экономической подготовки». Легенда, превозносящая Лассалья до небес, не может стать символом веры партии. За Лассалем-социалистом по пятам следует Лассаль-демагог. Сквозь Лассалья-агитатора и -организатора всюду проглядывает адвокат, ведущий бракоразводный процесс графини Гацфельд. Будучи на практике «специфически-русским вульгарным демократом с сильными бонапартистскими наклонностями», Лассаль велел интриги с родственными ему по характеру Бисмарком, что должно было привести к его измене движению, если бы он «на свое счастье не был во-время застрелен». Особенно ценно в разрезе разбираемой нами темы следующее заявление Энгельса: «В его (Лассалья. — В. Ш.) агитационных сочинениях то правильное, что он заимствовал у Маркса, настолько переплетено с его собственными, лассалеизмами, и, как правило, неверными рассуждениями, что почти нет возможности отделить одно от другого».³ Увлечение Лассалем в России было связано с последними упованиями теряющей почву под ногами политической экономии просветителей на то, что изобретенная на Западе производственная ассоциация сможет явиться подпоркой, которая укрепит общину и спасет ее от разложения. Лассаль в значительной мере приобрел популярность своей настойчивой борьбой против шульце-деличевских союзов. Шульце-Делич объединял в союзы главным образом представителей ремесла, чтобы облегчить им оборону

¹ Маркс и Энгельс. Соч., т. XVII, стр. 3.

² Маркс и Энгельс. Соч., т. XXVIII, стр. 315.

³ Там же, стр. 290, 291.

против фабрики. Лассаль гроил эту идею, как реакционную, и противопоставлял ей производственные ассоциации рабочих, получающие финансовую поддержку от государства. Следует отметить, что основоположники марксизма не считали особенно своевременным поход, предпринятый Лассаелем против шульце-делитских ассоциаций: Энгельс в письме Маркусу от 21 апреля 1863 г. резко протестует против вмешательства Лассалья «в эти дурацкие шульце-делитские истории». По словам Энгельса, «стремление Шульце-Делича в этот буржуазный период поднять ремесленников на высоту буржуазного мировоззрения является с нашей точки зрения только желательным, иначе нам пришлось бы заниматься этим делом во время революции».¹ Но в России 70-х годов идеи Лассалья считались наиболее прогрессивными. В идее ассоциации и на Западе видели панацею против всех зол. У нас же вера в спасительную мощь производственной ассоциации одно время сделалась настолько всеобщей, что только немногие дерзали поднимать против нее голос. В послереформенную эпоху у нас произошло уже достаточно резкое расслоение среди экономистов для того, чтобы появились сторонники и лассалевских, и шульце-делитских союзов. Однако лассалевские ассоциации имели гораздо больше сторонников. Это вызывало озлобление среди известной части нашей академической политической экономии. Познакомимся, например, с постановкою вопроса о товариществе у черносотенного профессора А. Я. Антоновича, читавшего лекции в Киевском университете. Этот профессор договаривается даже до идеи «товарищества» между землевладельцем и арендатором при исполнительной аренде, хотя и признает эту форму «товарищества» вредной для прогресса. В то же время в его глазах природа союзов рабочих, называемых у нас артелями, настолько извращена «многими писателями», что превратилась «в какое-то страшлище, угрожающее поглотить и уничтожить цивилизацию современных народов». Принцип общинного труда сам по себе имеет высокое значение в народной экономике. Но он в корне извращен «социалистическими прожектерами»: «даже совесть не протестует у этих писателей-преобразователей, когда дело идет о том, чтобы поделить людей на особые стóлы, называемые земельскими артелями, коммунами и т. п.»² Подобные мерзкие выходы оголтелых защитников индивидуалистического начала могли быть продиктованы лишь паническим страхом за свои социальные позиции при массовом осуществлении артелей и коммун. В легальной печати мы лишь очень редко найдем открытые высказывания в пользу лассалевских ассоциаций. Типична в этом отношении позиция Михайлова, выраженная в его книге «Ассо-

циация». Михайлов протестует против тех, кто продолжает видеть в производственных ассоциациях «красные признаки». После того как синица оказалась в руках, «перестали толковать о журавле в небе». Даже ожесточенные враги социализма и коммунизма по-няли, что «от основания какого-нибудь товарищества плотников и социалистических идей еще очень далеко».¹ Говоря о производственных ассоциациях в России, наш автор декларирует, что они «должны эмансипировать работника из машины в гражданина, должны сделать из врага общества другом общества» и привести к «более справедливому распределению барышей между трудом и капиталом».² Нужна богатая фантазия, чтобы увидеть в таких благонамеренных суждениях «красные признаки»! А ведь Михайлов в своей критике капитализма, в описании бедствий фабричной системы опирается преимущественно на Маркса. Таким образом жестокая критика противоречий капиталистического строя в марксовом духе не приводит к радикальным выводам о неизбежности гибели капитализма, а лишь к скромнейшим рецептам общественной медицины, которые должны излечить капитализм от болезни. Родоначальником этой медицины был Лассаль, но имя Лассалья так сплеталось с марксовским, несмотря на целую пропасть, разделявшую их взгляды, что и Маркса как-то считали повинным в этой возне вокруг идеи ассоциации.

Если в книгах, которые сплошь пестрят ссылками на Маркса, дело ограничивается благонамеренными выводами, то легко представить себе позицию открытого буржуа 60-х и 70-х годов в этом вопросе. Выберем для примера книгу Ф. Г. Тернера под многообещающим заглавием «О рабочем классе и мерах к обеспечению его благосостояния». Тернер — крупный бюрократ, публицист и деятель. Согласно его взглядам, ассоциации создают условия для «соединения мелких капитальных атомов», что дает возможность «самым мелочным средствам» стать в равноправное положение со значительными капиталами.³ Однако ассоциациям необходимо «капитальное содействие высших классов».⁴ Таким образом «реализуется благотворная связь между высшими, состоятельными и низшими, немущими классами».⁵ Аполотетические установки Тернера проявляются особенно отчетливо при анализе вопроса о возможности развития ассоциационного начала в сельской общине. Тернер исключает общину из ассоциационного движения. Ее первоначальный грех заключается в том, что она покоится на стирании частной собственности: «где нет частной собствен-

¹ А. Михайлов. Назв. соч., стр. 222.

² Там же, стр. 343.

³ Ф. Г. Тернер. О рабочем классе и мерах к обеспечению его благосостояния. СПб., 1860, стр. 27.

⁴ Там же, стр. 33.

⁵ Там же, стр. 34.

¹ Маркс Энгельс. Соч., т. XXII, стр. 147.

² А. Я. Антонович. Курс политической экономии. Киев, 1896, стр. 225—229.

ности, не может быть соединения частных средств. Общинное владение прямо могло бы перейти только в социалистическую общину, никак не в ассоциацию. Таким образом Тернер считает необходимым подчеркнуть, что ассоциация предполагает существование частной собственности.¹

Все это «ассоциационное направление» эклектически соединяет в одну кучу строительно-жилищные товарищества, потребительскую кооперацию, производственные ассоциации. Оно склонно искать сферы приложения ассоциационного начала и в промышленности, и в сельском хозяйстве. Оно выводит за одну скобку и какие-нибудь государственные мастерские в лун-блановском духе, и наши бурлацкие, торговые, биржевые артели. Ясно, как мало общего имеет все это с марксизмом.

Ассоциационные увлечения 70-х годов нашли замечательный рупор в романе Льва Толстого «Анна Каренина». Наш великий писатель сумел чутко отразить черты отмирающего просветительства, подчеркивая их с особенной силой в проблеме земледельческой ассоциации. В лице Левина мы можем без труда распознать одного из последних могокан просветительства. Левин, прежде всего, пишет экономический труд, который должен не только произвести переворот по политической экономии, но совершенно уничтожить эту науку и положить начало новой науке.² В этой книге «главным элементом хозяйства должен был быть работник»,³ а основным содержанием — изучение процесса труда с естественно-научной точки зрения.⁴ В черновых материалах к «Анне Карениной» сохранились дополнительные указания относительно того, какое содержание должен был Левин вложить в свою книгу. Они еще более укрепляют нас в убеждении, что в лице Левина выведен представитель отходящей в это время в прошлое просветительской идеологии. В одной из глав своей книги Левин хотел доказать, что «бедность России происходит только от неправильного размещения земельной собственности и направления труда». Левин говорит также об «искусственном, преждевременном» привитии банков, железных дорог и телеграфа. Эти формы должны являться тогда, когда «нужный труд на земле уже положен». При преждевременном их введении они «только сделали вред, отстранив главный очередной вопрос устройства земледелия, и отвлекли лучшие силы».⁵ Таким образом вся сущность нашей экономики в земледелии: «В России не может быть вопроса рабочего. В России — вопрос отношения рабочего

человека к земле».¹ Вера в особый земельный уклад России приводит Левина к убеждению, что в отличие от Европы, где рента появилась в результате улучшения земли благодаря положенному в нее труду, у нас «нет ренты». На возражение, что существование ренты — «это закон», Левин отвечает: «то мы — вне закона».² Наиболее интересны для нас суждения Толстого «об устройстве рабочих», которые являются прямым откликом на увлечение идеями ассоциации в период писания романа. По словам одного из персонажей романа, Свяжского, «этот вопрос занимает теперь лучшие умы в Европе. Шульце-Делевичевское направление... Потому вся эта громадная литература рабочего вопроса, самого либерального Лассалевского направления».³ Взявшись, по совету Свяжского, за «политико-экономические и социалистические книги» начитавшись с «особым жаром» Милля, Левин убедился, однако, в неприменимости к России законов, выведенных из «положений европейского хозяйства».⁴ И, тем не менее, новое «хозяйственное предприятие» на «товарищеских условиях», которое пытается организовать Левин при участии своих мужиков, работников и приказчика, представляет не что иное, как своеобразную «ассоциацию» с участием помещика. Левин разбил свое хозяйство на отдельные статьи, и в каждой части хозяйства стала орудовать отдельная «артель». Так, Иван скотник, «подобрав артель, преимущественно из своей семьи, стал участником скотного двора». Каков характер этого «участия», мы не знаем. Но подозрительно отношение крестьян ко всему предприятию: они «допытывали эту землю не общую, а испольную».⁵ Как видно из разговора Левина с братом Николаем, он в глубине души сам понимал невозможность «балансировать между коммунизмом и определенными формами» и устроил так, чтобы можно было «работать производительно и для себя и для рабочего». Но когда брат бросает ему обвинение: «ты не просто эксплуатируешь мужиков, а с идеею», Левин переживает это, как тяжелое оскорбление.

Толстой отразил в «Анне Карениной» глубокий идейный разброд русского общества в 70-х годах прошлого века: и напор новых идей «самого либерального лассалевского направления», и убеждение, что у России особенная статья даже в области экономики, и горячие споры вокруг проблемы ассоциации. Цикл развития просветительской экономики закончился. Привитие ей марксистских идей не могло помочь делу, так как оставалось чисто внешним, не органическим. Существо просветительства не было затронуто. Но и чистого просветительства остается у «семидесяти-

¹ Ф. Г. Тернер. О рабочем классе и мерах к обеспечению его благосостояния. СПб., 1860, стр. 42.

² Л. Н. Толстой. Полн. собр. соч., юбилейное издание (1828—1928), т. 18, 1934, стр. 362.

³ Там же, стр. 339.

⁴ Там же.

⁵ Толстой. То же издание, т. 20, стр. 406.

¹ Толстой. То же издание, т. 20, стр. 395.

² Там же, стр. 352.

³ Там же, стр. 353.

⁴ Там же, стр. 361.

⁵ Там же, стр. 360.

⁶ Там же, стр. 370.

ков» мало. Их мировоззрение оказывается мозаичным, составленным из разнородных идейных направлений: тут и перемены старого просветительства, и исковерканные марксовские и лассалевские идеи, и зарождение будущей кулацкой идеологии народничества. Мы проиллюстрируем это пестрое мировоззрение 60-х и 70-х годов на двух наиболее колоритных и самобытных писателях этой эпохи, имевших отношение к общественно-экономической мысли, — Шапове и Ткачеве. А. П. Шапов у нас чаще всего, с легкой руки М. Н. Покровского, трактуют, как «крестьянского историка-демократа». Покровский даже видел в Шапове «крупнейшего русского историка» его времени. «Мужичья позиция» Шапова особенно резко проявилась, по мнению Покровского, в споре с Чернышевским, в котором Шапов не поддался влиянию «могучей диалектики» Чернышевского. «Он как пришел мужиком к Чернышевскому, так и ушел». ¹ Автор цитированной уже выше новейшей работы по русской историографии, Н. Л. Рубинштейн, находит у Шапова точки соприкосновения одновременно и с просветительством, и с народничеством. С просветительством Шапова связывает, по словам Рубинштейна, пронизанность всего его мировоззрения социальным, демократическим началом и решение проблемы исторической закономерности на материалистической основе. С народничеством его роднит признание крестьянства основной движущей силой русской истории. ² Однако с каким же из этих двух течений Шапов был теснее связан? Рубинштейн находит возможным рассматривать учение Шапова в той же главе, что и Чернышевского с Добролюбовым. Это наводит на мысль, что к нему идет прямая линия от великих просветителей. Но, вместе с тем, в самом названии главы от Шапова ведется начало народничества». Хотелось бы, чтобы взгляд на занимаемое в нашей истории общественную мысль Шаповым место был более определенным. Мы, правда, будем сейчас сами говорить о самобытности Шапова, мешающей однозначному определению его общественной идеологии. Одно кажется нам, однако, несомненным: Шапов отражал интересы труящегося крестьянства, а не кулачества. Он смотрел вперед, а не назад. Поэтому трудно согласиться с попытками признать его родоначальником народничества. Мы потому и говорим о нем здесь, что для нас он — представитель общественной идеологии, прочно стоявшей еще на основах политической экономики, отстаивающей интересы революционного крестьянства.

При этом мы считаем нужным все же подчеркнуть, что как раз Шапов принадлежит к тем мыслителям, которых труднее всего раскладывать по полочкам научных направлений. Самобытность так и выпирает из каждой его статьи. Всякому, кто читает Ша-

пова, не может не казаться, что он мыслит космическими образами, что в его мозгу шевелятся фигуры, которые ему самому кажутся непосредственно вышедшими из недр матери-сырой земли. По отношению к Шапову ставить вопрос об иностранных влияниях было бы особенно неуместно. Конечно, Шапов был многосторонне образованным человеком. Он знал многих иностранных и русских авторов и цитирует их во множестве. Однако больше всего он умел извлекать нужные ему мысли и факты из русских летописей и народных сказаний. И самая форма изложения у него настолько своеобразная «сибирская — народная», столько у него непривычных словечек, которые кажутся нам сочиненными самим автором, что индивидуальность самого Шапова выделяется с особенной рельефностью. Попробуйте определить мировоззрение человека, который в прочтущейся статье о своей покойной жене видит в ней частичку света, вносимую в тот общий всемирно-исторический факел, в ту путеводную звезду общечеловеческого антрополого-социального движения и прогресса, в ту физико-антропологическое и антрополого-социологическое Солнце Разума и Чувства, Истины и Правды, при свете которых идем не только мы, пигмеи, но шли, идут и будут идти и такие великаны антрополого-социального движения, как Христос, Руссо, Сен-Симон, Фурье, Оуэн, Конт, Лассаль, Прудон, Маркс, Милль, Мадзини — весь сонм им подобных». ¹ Однако при всей спутанности представлений, о которой свидетельствует один только приведенный перечень имен, не подлежит сомнению, что по основному своему мироощущению Шапов — представитель крестьянского социализма, так что смешивать его с позднейшим народничеством, с его мешаниной радикализмом, не приходится. Шапов — идеолог трудовых народных масс в такой же мере, в какой Колцов был их поэтом. Для Шапова «старый неумирающий вековечный мир крестьянский, твердыйяя всего русского мира, представляет первооснову и первообраз нашего развития». Сам Рубинштейн приводит также слова Шапова: «Крестьянство составляет самый многочисленный, самый здоровый, жизненный, рабочий и производительный элемент всего народонаселения России». Шапов упрекает наших историков в том, что у них не видно «простого черного народа». Действительно, «черный народ» — главный герой всех его научных работ.

Свое социально-экономическое направление Шапов, прежде всего, определяет сам, объявляя себя последователем Чернышевского в области политической экономики. Правда, его рассуждения на эту тему обнаруживают немалую дозу наивности. Для него «сущность, цель и основа социального развития заключается в экономическом благосостоянии всех классов общества». В исхо-

¹ М. Н. Покровский. Историческая наука и борьба классов, вып. II, 1933-гг., стр. 170-175.

² Н. Л. Рубинштейн. Наизв. соч., стр. 388.

¹ А. П. Шапов, Соч., т. II, СПб., 1906, стр. II.

17 Изреч. Штгем

лящей от Чернышевского «светлой, здравой, рационально-экономической критике» начал старой экономической науки Шапов усмотрев проявление стремлений к тому, чтобы «все были сыты, обеспечены и довольны».

Преобразовать «экономический склад общества» можно не при помощи законодательства и административных мер, а посредством «организации рабочих и производительных сил народа». Мы увидим, однако, что в этой организации для Шапова производственно-техническая сторона бесконечно важнее социальной. Поэтому «радикального возрождения рабочих классов» он ожидает от теории, основанной на физиологических законах общества.

Главный недостаток экономических идей, которые Шапов противопоставляет направлению Чернышевского под именем «абстрактной, философской экономической теории», он видит в том, что они не имеют «прочных или достаточных естественно-научных основ». Такие экономисты, как Рошер, только «поддерживают старые экономическое здание, на исторических, традиционных основах и подставках, нисколько не разбирая критически их внутренней подгнилости и шаткости». Системы вроде миллевской «исполнены современных экономических предрассудков, лжи и даже самых нечестных тенденций и софизмов». Шапов считает, что эти системы продиктованы «господски-лордским и буржуазным презрением к рабочим классам и разными формами и видами тунеядства». Мальтус для Шапова — представитель «аристократически-фаталистических взглядов», проповедующих «вечный пауперизм, пролетариат и голодную смерть рабочим классам, как закон природы». ¹ Казалось бы, эти выдержки красноречиво говорят о классовых симпатиях Шапова. Однако его мечты об устранении бедности направлены по заведомо ложному пути. Его преклонение перед естественными науками так велико, что от одного только усвоения их он ожидает преобразования общества: «бедность во всех отношениях является историческим результатом незнания экономики природы». ²

К чести Шапова, как демократа-просветителя, нужно сказать, что он заботится о *всеобщем* распространении этой естественно-технической образованности и хочет таким способом даже изжить противоположность между трудом физическим и умственным. Приведем замечательное высказывание Шапова в этом смысле. Шапов собирается превратить фабрики и заводы в «мастерские теоретического образования». Поля, пашни, огороды, сады, скотные дворы должны стать «училищами рациональной агрономии, земледельческой химии и механики, ботаники, зооло-

гии, рационального скотоводства и проч.». Шапов обнаруживает замечательный дар прозрения, когда вслед за приведенными суждениями высказывает мысли, которые могли бы украшать страницы какого-нибудь труда советского ученого: «Налобно, чабы и крестьяне, фабричные и заводские рабочие, каждый в сфере своей работы, были физиками, математиками, химиками, технологами, механиками и проч., разрабатывали и научные вопросы, открывали и новые теории и изобретения и писали научные статьи и исследования и т. п. Только тогда наука и жизнь, знание и труд, практика и теория пойдут рука об руку... И научно-рабочий интеллектуальный класс не будет кастовым, пеховым, отрезанным от народа меньшинством, а будет всенародной интеллигенцией, всеобщим, цельным, интеллектуальным классом, думающей и работающей головой общественного организма». ³ Подумать только, что эти вдохновенные строки напечатаны в журнале «Дело» за 1868 г., за полвека до Великой Октябрьской революции, положившей начало осуществлению идеи Шапова!

Даже и в нашем историческом прошлом Шапов усматривал преобладание крестьянской науки над дворянской. Шапов подтрунивал над дворянами-помещиками, которые «недолюбливают науки» и привыкли не к самостоятельному труду, а «к пользованию народными работами» и потому не представляли «научно-делового, труженнического интеллектуального класса». ⁴ Учительство, по уверению Шапова, считалось в древней России «промыслом, мастерством, ремеслом», а учителя назывались «мастерами и работничниками». ⁵ Шапов сравнивает крестьянские челобитные и помещичьи письма XVII в. с точки зрения проявившегося в них умственного кругозора и не находит никакой разницы: «напротив, даже смысл крестьян в некоторых отношениях, едва ли был не выше и не развитие смысла бояр». ⁶ Шапов ядовито добавляет: «умственный склад большей части боярства был восточно-азиатский». ⁷ Первые русские ученые были выходцами из народа. Особенно высоко среди них Шапов справедливо ставит Посошкова и Ломоносова. О Посошкове он, в частности, говорит: «Кто первый высказал такие высокие политико-экономические идеи, какие в Западной Европе в то время не высказывались и которые еще с XIX в. ждут осуществления? Новгородский крестьянин Посошков в своих знаменитых сочинениях». Все эти суждения Шапова рисуют его нам подлинным просветителем-демократом.

Однако с этим глубоким, принципиальным демократизмом у Шапова своеобразно сочетаются уже знакомые нам из общей ха-

¹ А. П. Шапов. Естественное и народная экономика. Соч., т. II, стр. 160.

² А. П. Шапов. Неза, соч., стр. 163.

³ Там же, стр. 164.

⁴ А. П. Шапов. Назв. соч., стр. 556.

⁵ Там же, стр. 536.

⁶ Там же, стр. 524.

⁷ Там же, стр. 528.

⁸ Там же, стр. 529.

характеристики просветительства (в I главе) утрированные концепции географического материализма, даже с известным оттенком расовой теории. Особенности русской истории, в изображении Шапова, определяются «вековым напряжением физических сил народа в колоссальных завоеваниях на востоке и западе... в тысячелетнем распространении колонизации и агрикультуры среди лесов и болот, в борьбе с финскими и турко-монгольскими племенами, в пассивной борьбе с суровой северной природой, в войнах с Западом, Польшей и Турцией». ¹ Физические условия России суровы. Поэтому «сильная зависимость сельскохозяйственной колонизации и культуры от климата, почвы и вообще от природы была естественной причиной умственного застоя сельскохозяйственных поселений в социальном отношении». ² Шапов хочет установить прямую зависимость между ландшафтом, как мы выразились бы на современном научном языке, и особенностями материального быта человека. «Каждый физико-географический оаз, — говорит он, — налагает свой естественный тип или отпечаток на самые основы и постройки поселений». ³ Суровая природа, в глазах Шапова, препятствует даже развитию социалистических убеждений: распространение мистико-социалистических, до энтузиазма и экзальтации свободолюбивых, демократичных общин молокан или духоборцев и так называемых людей божих «было возможно лишь в теплом климате, на юге, в полосе винограда и фруктовых садов». «Свободные общины», существующие в этой благодатной природной обстановке, «проповедали полную свободу мысли, совести и совершенного братства». Наоборот, «на границе ржи, ячменя и репы, с конца XVII в. устроились грубые, сурово-аскетические скиты поморские, выгоревшие и другие, и в конце XVII в. образовали в лесах Пудожских разбойничьи банды в борьбе с православным народом». Эти банды представляют прямую антитезу южным общинам: «тундренным холодом и мертвенностью веет от раскольничьих поселений. Они оледенели в грубости». ⁴ Мы видели выше, что, по мнению Т. Н. Грановского, история Ирландии сложилась бы по-иному, если бы ирландцы не питались картофелем. Шапов утрирует ту же мысль еще дальше. В северо-восточной России едят ячмень, репу, капусту. Во всех этих продуктах мало клейковины. Отсюда ослабление метаморфоза, живого обмена веществ в организме. ⁵ Люди, живущие в подобных условиях среды и питания, не могут конкурировать с жителями стран с благодатной природой. От подобных мнений недалеко и до расовых теорий! Но, так или иначе, суровая борьба

за существование русского народа в трудных природных условиях и сверхнапряжение физических сил должны были вызвать, по представлению Шапова, недостаток сил умственных. Вместо «силачей интеллигенции, разума», Россия знала лишь «силачей мускулов», богатырей вроде Ильи Муромца, «силачей-покорителей земель и народов», подобных Ермаку Тимофеевичу, «силачей-бунтовщиков, демагогов» типа Разина и Пугачева. ¹ Подобно большинству людей, писавших в ту эпоху по экономическим вопросам, Шапов предпочитает делать ударение на экономической отсталости России. На ранних ступенях хозяйственного развития нашей страны Шапов выделяет «эпоху мехового капитала России и зверопромышленной экономики и колонизации». ² С истощением «животного царства» центральной России «все сильнее и сильнее развивалась казенная монополия в животной экономике русской земли». Московское правительство забрало в свои руки «все натуральные угодья или статьи животного хозяйства» и передавало их в пользование народу «за оброк». ³ Лишь Петр окончательно понял, что «новых источников и областей народного благоустройства и обогащения нужно искать в минеральном царстве природы». Это была прогрессивная тенденция. Любимый образ Шапова — это человечество, ищущее в естественных науках заветных ключей к кладовым и магазинам природы. В этом проявляется идеализм Шапова: развитие естественных наук, прогрессивная кладется им в основу экономического роста.

Но Россия, в его представлении, остается все же страной, заставшей на стадии земледельческой колонизации. «Хлебные промыслы» у нас доминируют. Обратной стороной является «слабое развитие индивидуальных народных ассоциаций, мануфактурно-промышленных, фабрично-заводских и торгово-промышленных поселений». ⁴ А в отсталой, земледельческой России центральным явлением для Шапова, в духе эпохи, естественно была сельская община. В своем чистом виде община является общественным учреждением, в котором проявляются «инстинкты первобытной, чисто единокрвной, семейно-родовой социальной симпатии». Человеческая природа в условиях полной свободы требует именно общинного строя, обеспечивающего «социально-кооперативное развитие личностей». Поэтому-то народы начинали свою историю с общины, и ее следует признать «естественною формою человеческой общности». ⁵ «Артельные начала» или «социально-

¹ А. П. Шапов. Исторические условия интеллектуального развития России. Соч., т. II, стр. 521.

² А. П. Шапов. Историко-географическое распределение русского населения. Соч., т. II, стр. 311.

³ Там же, стр. 318, 319.

⁴ Там же, стр. 184.

⁵ А. П. Шапов. Бурятская улусская родовая община. Дополнительный том, Иркутск, 1937, стр. 20—201.

¹ А. П. Шапов. Историко-географическое распределение русского населения. Соч., т. II, стр. 182.

² Там же, стр. 248.

³ Там же, стр. 277.

⁴ Там же, стр. 215.

⁵ Там же, стр. 214.

кооперативная взаимность» побуждают участников общины складывать в кучу хлеб до 5 тыс. пудов и более для продажи «гуртом», спонять артельное скот в общий табун, создавать большие зверопромышленные артели. Появление в общине эгоистических, приобретательских, барышнических наклонностей служит явственным признаком начавшегося разложения. Эти нездоровые инстинкты проникают и в деревню, но главным образом они гнездятся в городе. «Страсть к наибольшей наживе, — говорит Шапов, — к накоплению денег, богатства какими бы то ни было способами в наибольшей части городских буржуазных скопидомов безмерно превышает естественную, антрополого-физиологическую меру жизненного довольства и заглушает голос социально-правственных инстинктов, сознание общественных обязанностей».¹ Община же в своем первоначальном виде лучше всего обеспечивает первую потребность всякого хозяйственного общества. Благодаря правильному распределению угодий становится возможной наибольшая равномерность самого, материального благосостояния сообщников».² Наоборот, при проникновении в общину приобретательских стремлений возникает неравенство, создается почва для эксплуатации одними членами общины других.

Замечательно, с какой закономерностью повторяются среди представителей экономической идеологии просветительства, уповающих на общину как на ячею будущего общества, эти мысли об отсталости русской экономики, об ограниченности ее перспектив развитием земледелия. Россия представляется им у подножия высокой горы, на которую предстоит взбираться долго и с величайшими трудностями. Общинный строй заполняет в картине русской экономики, изображаемой этими писателями, почти все поле зрения. Географический материализм, к которому они продолжают инстинктивно, помогает им подчеркивать консервативные факторы в общественно-экономической жизни и опускать динамические, прогрессивные моменты. И чем быстрее развивался русский капитализм в послереформенный период, тем резче бросалась в глаза разница между примитивизмом экономического строя в теории и быстрым ростом новых хозяйственных форм в действительности.

Вопрос о месте, занимаемом Петром Никитичем Ткачевым в истории русской общественно-экономической мысли, является одним из наиболее спорных. М. Н. Покровский провозгласил его «первым русским марксистом». Покойный академик Ем. Ярославский считал его крупнейшим идейным вождем народничества. Исследований о системе теоретико-экономических взглядов Ткачева в нашей литературе не имеется, несмотря на то, что Ткачев был талантливым ученым, острым критиком, блестящим писателем и

¹ А. П. Шапов. Сельская оседло-ириодическая и русско-крестьянская община в Кулинско-Лепском крае. Дополнительный том, стр. 274.

² Там же, стр. 258.

страстным революционером. Это известное «пренебрежение» Ткачевым (выразившееся, например, в том, что столетний юбилей со дня его рождения в 1944 г. не был даже отмечен), несомненно, оказало неудачным его выступлением против Энгельса. Очевидно, *habent sua fata* не только libelli, но и homines. Выступление Ткачева против Энгельса было на редкость неудачным, и оно определило репутацию Ткачева. Маркс дал Энгельсу совет высечь «зеленого гимназиста», и эта директива была выполнена с блестящим умением и тонким пониманием задачи. Но теперь, по истечении 70 лет, мы вправе спросить себя: исчерпывается ли Ткачев открытым письмом к Энгельсу? Думается, настало время для всестороннего исторического суда над Ткачевым. Конечно, говорить о Ткачеве, как о марксисте, не приходится. До Плеханова у нас не было марксистов, заслуживающих этого наименования. Были лишь читатели и почитатели Маркса. Историческая заслуга некоторых из них состоит в том, что они прекрасно *популяризовали* марксовское учение. Первым таким замечательным популяризатором был, как известно, Н. И. Зибер. Популяризатор тем лучше справляется со своей задачей, чем ближе он придерживается духа и даже текста учения, которое он призван распространять. Для Зибера было не минусом, а плюсом, что он предпочитал излагать Маркса словами самого Маркса. Серьезное испытание для тех, кто увлеклся у нас Марксом в 70-х и 80-х годах, началось тогда, когда они пробовали *применять* Маркса к русской действительности. Ткачев принадлежал к тем, кто хотел для объяснения сдвигов в экономической жизни нашей страны «причесать» Маркса так, чтобы он приобрел сходство с ним самим. Ткачев заимствовал у Маркса некоторые элементы исторического материализма. Но структура классов и расстановка их у Ткачева совсем не та, что у Маркса. У Ткачева была слишком бунтарская завка, чтобы подчиняться чьим бы то ни было чужим схемам. Нужно также указать, что по духу Ткачев в известном смысле является продолжателем экономической линии просветительства. Он проявлял величайшую преданность памяти Чернышевского. Но все же у Ткачева звучат «чужие песни». Хотя прошло два десятилетия, сплошь заполненных неугонным развитием капитализма, но Ткачев, подобно Шапову, предпочитает подчеркивать отсталость нашей экономики, продолжает зарывать голову в песок общинной земли, лишь бы не замечать роста капитализма. И нет в Ткачеве того острого интереса к пролетариату как будущему соучастнику крестьянина при осуществлении революции, который так выгодно отличает Чернышевского. Ткачев представляет шаг от просветительства к народничеству. Но этот шаг делается — субъективно для Ткачева — с «Капиталом» Маркса в руках.

Важнейшей ошибкой Ткачева было его мнение, что возможна успешная крестьянская революция, без помощи пролетариата, приводящая к торжеству социализма. Всего удивительнее то, что,

как было уже отмечено Б. Козьминым, победа крестьянской революции была возможна, согласно воззрениям Ткачева, и на Западе, в частности, демократически-крестьянская война XVI ст. в Германии, при ином стечении исторических обстоятельств, могла бы завершиться полным успехом, тогда как буржуазное движение — восстание городов — было обречено на поражение. Для того, чтобы объяснить это положение, Ткачев предлагает различать исторические ситуации, при которых возможен скачок, и условия, допускающие лишь *постепенную эволюцию*. Скачок возможен при борьбе «за изменение самого принципа, лежащего в основе данного социального быта». Буржуазия же сохранила неприкосновенным экономический принцип и лишь хотела добиться «ускоренного» развития его логических последствий. Между тем, «всякий данный экономический принцип развивается по законам своей логики» и изменить эти законы невозможно.¹ Как ни странно, Козьмин ополчается в этом рассуждении против идеи скачка, тогда как ясно, что этот скачок означает *революцию* при смене общественно-экономических формаций. *Принципиально* ход мыслей Ткачева совершенно правилен. Он, в сущности, представляет попытку применения идей Маркса, навеянных русской экономической действительностью. Если в России капитализм восторжествует, он будет развиваться по своим непреложным законам. Скачок возможен только при условии, если возникает новая формация. Ошибка Ткачева не здесь. Она — в полном непонимании хода самого исторического процесса. Если буржуазия боролась в Германии XVI в. за одно лишь «ускорение», значит капитализм уже существовал, что раньше всего неверно исторически. Далее выходит, что уже в XVI в. буржуазия добивалась укрепления своего господства, и это было утопическим движением, а крестьянство боролось за социализм и могло добиться успеха; движение имело *реалистическую* основу. Вот в чем мы видим путаницу у Ткачева. И Россию второй половины XIX в. он хотел поставить на одну доску с Германией XVI ст. в том смысле, что он ожидал наступления победоносной крестьянской революции. При этом крестьянская социалистическая революция была тем возможнее, чем ниже был уровень промышленного развития России, чем более отсталой страной она была.²

Как ни странно, эта в корне неправильная безнадежная историческая концепция не мешала Ткачеву представлять себе довольно разумно ход революционного переворота. Он ставит вопрос о том, возможна ли в России немедленная социальная революция. Революционеры думают, что объявление декрета об отмене частной собственности может восстановить против революции столь широ-

¹ Б. Козьмин. П. Н. Ткачев и революционное движение 1860-х годов. М. 1922, стр. 68—69.

² П. Н. Ткачев. Избранные сочинения на социально-политические темы. Предисловие Б. Козьмина, т. I, стр. 43.

кие слои населения (включая деревенских кулаков), что никакая диктатура не сможет их подавить. Социальный переворот «не совершается ни в один, ни в два года... он потребует работы целого поколения». Ткачев утверждает, что, захватив вместе со своими приверженцами власть, он не стал бы декретировать уничтожение семьи или религии или «насильственно навязывать нашей исторически выработавшейся общине готовый идеал коммуны». Ткачев ставит задачу по-иному: «мы уничтожим ту юридическую санкцию, которая охраняет и поддерживает учреждения, враждебные нашему социалистическому идеалу, мы поставим нашу сельскую общину, нашу торговлю и промышленность в такие условия, которые неизбежно, хотя и постепенно, должны будут привести к общности имущества и общности труда, к уничтожению всякой собственности, к полному практическому осуществлению в сфере экономических и политических отношений начала коммунизма». Таким образом в Ткачеве все еще живет вера в возможность использования общины, как базы коммунизма. И это тем более удивительно, что он отнюдь не переоценивал коммунистических элементов в современной ему общине. Коммунизм кроется в ней лишь «в зерне, в зародыше». Зерно может разрастись или заглохнуть, в зависимости от направления, которое примет экономическая жизнь. Если «буржуазный прогресс» у нас одолеет, наша община неизбежно пойдет по стопам западно-европейским, т. е. к своей гибели.³ Составляя в 1875 г. программу «Набата», Ткачев уже, по видимому, не сомневался, что России не удалось избежать этого пути. Он говорит о рождении форм новой «буржуазной жизни»: «развивается кулачество, мироедство, воцаряется принцип индивидуализма, экономической анархии, бессердечного, алчного эгоизма». Однако Ткачев так и не пересмотрел до конца своих дней воззрений на общину, как фундамент будущего строя, и крестьянскую революцию, как необходимую для России форму социалистического переворота.

Среди экономистов своего времени Ткачев выделялся скептическим отношением к производственной ассоциации. В те годы, когда идеи Лассалля и Луи Блана имели столь широкое распространение, Ткачев решился выступить с заявлением о том, что производственная ассоциация — палиатив, переходное состояние, ступень, а не вершина лестницы. Она является формой, в которую можно влить любое содержание.⁴ По словам Ткачева, производственная ассоциация оставляет нерешенным или, точнее, решает в пользу буржуазии важнейший вопрос об отношении капитала и

¹ П. Н. Ткачев. Возможна ли социальная революция в России в настоящее время. Избр. соч., т. III, стр. 280—281.

² П. Н. Ткачев. Народ и революция. Избр. соч., т. III, стр. 263.

³ Цит. в статье Б. Козьмина (Избр. соч., т. I, стр. 43).

⁴ Б. Козьмин. П. Н. Ткачев и революционное движение 1860-х годов, стр. 102.

труду. У рабочих нет капитала. Они должны получить его со стороны. И нельзя избежать того, что капиталу достанется «ливная часть» дохода.¹

Из сделанного нами изложения основных мыслей Шапова и Ткачева по социально-экономическим вопросам видно, что их интерес сосредоточивается на общих философских и исторических схемах общественного развития, тогда как анализ конкретных экономических категорий общинного строя после Чернышевского не подвинулся вперед. Однако иногда встречаются исключения. Нам удалось, например, найти в одном из журналов 80-х годов, просуществовавшем всего несколько месяцев, весьма примечательную статью о земельной ренте в условиях общинной собственности. Автор ее — В. Гиляранский до сих пор, вероятно, даже не был отмечен в истории русской экономической мысли. А между тем, несмотря на принципиальную ошибочность его теоретического построения, статья Гиляранского представляет единственную известную нам попытку дать *теоретический* анализ категории ренты в условиях общинного землевладения. Хотя автор старается придерживаться теории Рикардо, для него главным содержанием ренты в обычных условиях является то, что она — следствие монополии землевладельца. Так как при общинном хозяйстве землевладельцем является «мир», то он и не берет ренты со своих членов.² Но, если хлебопашцы «свободны от платежа ренты», значит ли это, что они сами не получают ее с потребителей? Внутри общины разверстка земли производится так, чтобы любое преимущество было уравновешено недостатком, т. е. с «чрезвычайной уравнительностью» между семьями. Каждая семья получает «надел из полос», но с таким расчетом, чтобы каждый надел давал одинаковое количество продуктов. Раздел общинной земли есть «раздел ренты». Смысл общинного владения состоит не в равных правах на землю всех членов общины, как утверждает кн. А. Васильчиков, а в том, что каждый общинник имеет право на пользование рентой, даваемого им землею, в равной пропорции со всеми прочими членами данной общины.³ Далее, Гиляранский доказывает, что при общинном владении цена хлеба должна быть ниже, чем она была бы при частной собственности на землю, так как при частной собственности часть земледельцев должна работать на земле низшего качества, и цена хлеба должна быть достаточно высока, чтобы покрыть их издержки. Отсюда общее заключение, согласно которому «нельзя совершенно отрицать существование земельной ренты в общине», но в то же время «ее невозможно и смешивать с той, которая образуется при част-

¹ П. Н. Ткачев. Рецензия на книгу Пфейфера «Об ассоциации». Избр. соч., т. I, стр. 83.

² В. Гиляранский. О ренте при условии общинного землевладения. Журн. «Новое обозрение», март 1881 г., стр. 112.

³ Там же, стр. 117.

ном землевладении». В отличие от монопольной ренты, рента общинная может быть названа «естественной», так как она происходит из естественных условий общности. Так как к тому же цена хлеба ниже при общинном хозяйстве, чем при частном землевладении, то «естественная рента не служит к образованию специального класса в обществе — рентеров, а целиком остается в руках земледельческого сословия». Гиляранский, несомненно, исходит в своем построении из идиллических условий, когда в стране нет других форм землевладения, кроме общинного, из абсолютного равенства производственных условий внутри общины (т. е. игнорирует процесс классового расслоения), и в этом утопичность его построения. Тем не менее, статья представляет большой интерес, так как в ней поставлена проблема удаления момента монополии из сельского хозяйства.

Весьма важным идейным течением, сыгравшим известную роль в подготовке торжества марксизма на русской почве, несмотря на его общеизвестные грехи, против которых так остро и так удачно боролся В. И. Ленин, был легальный марксизм. Эта тема сравнительно хорошо изучена в нашей литературе² и мы на ней долго останавливаться не собираемся. Об основоположнике легального марксизма, Н. И. Зибере, писали с большей или меньшей подробностью Плеханов, Воровский (Орловский), Клейнборг, Ангарский, Реуэль. Предстоит, конечно, дальнейшее углубленное изучение трудов Зибера, но принципиальная оценка его научной и практической деятельности уже дана. Основная заслуга Зибера состоит в том, что он был комментатором Маркса. Зибер был «ученик, а не революционер». Он не понял критической и революционной стороны учения Маркса. «Зибер не ставил задачей своей общественной деятельности низвержение капитализма». Принадлежит к прогрессивно-либеральному лагерю, Зибер делал ставку на социальный реформизм и больше всего уповал на кооперацию, как на средство улучшения положения широких масс.

Этап легального марксизма, начатый Зибером, датируется обычно 1871 г., когда Зибером была представлена диссертация «Теория ценности и капитала Рикардо», в которой теории Маркса рассматриваются, как дальнейшее развитие экономического учения английских классиков. Кстати сказать, с легкой руки Зибера традиция рассматривать Маркса как непосредственного продолжателя Рикардо прочно вошла в обиход нашей академической политической экономии и удержалась в ней вплоть до Октябрьской революции. Если верить Ангарскому, легальный марксизм на протяжении целых двух десятилетий исчерпывался одним Зибе-

¹ В. Гиляранский. О ренте при условии общинного землевладения. Журн. «Новое обозрение», март 1881 г., стр. 130.

² Н. Ангарский. Легальный марксизм, вып. I (1876—1897 гг.), М., 1925, стр. 15.

³ Реуэль. Назв. соч., стр. 119.

ром. По его словам, в 80-х годах Н. Зибер был единственным «легальным» марксистом в России.¹ а о 70-х годах он и вовсе не говорит. Это высказывание Ангарского формально правильно, так как в указанный период не было ни одного автора, который, наряду с Зибером, занимался бы прямой популяризацией идей Маркса. Стоит, однако, хоть немного углубиться в чтение наших журналов 80-х годов, чтобы понять, насколько односторонне мнение Ангарского. В сущности, вся экономическая литература 80-х годов пропитана по-своему понятию легально-марксистской тенденцией, выражавшейся и в усвоении известным начал исторического материализма, и в принятии трудовой теории стоимости, и в восприятии многих сторон учения Маркса, как социалистического рикардизма. Такие журналы, как «Северный вестник», «Юридический вестник» и многие другие тяготели в большей или меньшей мере к легальному марксизму. Недаром Энгельс так охотно помогал «Северному вестнику» в прислании материалов для издания и рекомендовал Лафарга и Каутского в качестве сотрудников журнала. Долг историка русской экономической мысли подчеркнуть эту своеобразную, благоприятствующую марксизму, идейную атмосферу 80-х годов, которой не было нигде в мире. На Западе Маркса замалчивали. В академических сферах там выдвинули в качестве тяжелой артиллерии против его учения насквозь апологетическую теорию предельной полезности. У нас преклонение перед марксизмом было настолько всеобщим, что даже враги марксизма, для его опровержения, должны были принимать марксистскую личину. Именно в России только и было возможно такое своеобразное явление, как полное торжество трудовой теории стоимости в университетском преподавании конца XIX и даже начала XX в. Учебники политической экономики 70-х и 80-х годов Чупрова, Иванюкова и других отражают это тяготение русской официальной экономической науки к легальному марксизму. Появляется ряд солидных монографий, преследующих цели самостоятельной теоретической разработки экономических проблем на базе английских буржуазных классиков, но с «уклоном» в сторону Маркса. Самый выбор тем этих исследований свидетельствует о желании дать теоретический анализ новых явлений хозяйственной жизни, порождавшихся развитием капитализма. Особенно повело в этом отношении железным дорогам. Книга А. И. Чупрова «Железнодорожное хозяйство», вышедшая в 1875 г., обратила на себя внимание Маркса настолько, что он счел необходимым сочувственно процитировать ее во II томе «Капитала», где, в отличие от I тома, так мало литературных ссылок и где преимущественно фигурируют в подстрочных примечаниях лишь классические труды по политической экономии. Говоря о том, что существуют «самостоятельные отрасли промышленности, где про-

¹ Ангарский. Наза. соч., стр. 7, 8.

дукт производственного процесса не является новым вещественным продуктом, товаром», и выделяя среди этих отраслей промышленности сношений.¹ Маркс вслед за этим ссылается на Чупрова. Приводим из книги Чупрова те строки, которые в законченном виде выражают мысль, обратившую на себя внимание Маркса: «в отношении размеров сбыта железнодорожная промышленность более подчинена местным условиям, нежели какой бы то ни было иной вид хозяйства. Труд в перевозочной промышленности не творит новых продуктов; он только перемещает людей и вещи. Фабрикант может сначала произвести изделия и потом искать потребителей; производство и потребление являются там двумя актами, разделенными один от другого по пространству и времени; в перевозной же промышленности эти два акта сливаются вместе; услуги железной дороги потребляются в тот же момент, как они производятся». ² Вся глава из книги Чупрова «Меновая стоимость железнодорожного перевоза», несомненно, сыграла большую роль в формировании марксистского учения о теоретической природе транспортного предприятия, хотя автор ее отнюдь не был марксистом. Нам придется ограничиться сказанным для доказательства того, что легальный марксизм 70-х и 80-х годов не следует сводить к одному Зиберу.

В нашей литературе было также отмечено, что даже промышленная буржуазия рассматриваемого периода постаралась «взять на прокат остро отточенный меч марксизма» для доказательства исторической необходимости развития капитализма в России. Сообщается о том, что один из наследников, а впоследствии главный директор «Треугольной мануфактуры», С. И. Прохоров, обладал «богатейшим собранием всей марксистской литературы на всех языках» и регулярно посещал все международные социалистические конгрессы. Он не скрывал от рабочих своего мнения, «что Маркс совершенно прав» и «в конце-концов рабочий класс должен победить». Но так как «это будет нескоро», то капиталисты могут пока тешиться своей властью. В 1895 г. несколькими социал-демократам удалось тайно пробраться на руководимом тем же Прохоровым закрытое заседание фабрикантов. Они были поражены тем, что в развернувшихся прениях крупнейшие мануфактуристы заговорили настоящим марксистским языком. «Хозяева крупных фирм так и сыпали цитатами из Маркса в подкрепление своих позиций».³

Эпоха бурного роста капитализма после крестьянской реформы 1861 г. тем и примечательна в области идеологии, что трансформация производственных отношений влекла за собой в

¹ Маркс и Энгельс. Соч., т. XVIII, стр. 52—53.

² А. Чупров. Железнодорожное хозяйство. Его экономические особенности и его отношения к интересам страны, М., 1875, стр. 108, 109.

³ М. Лядов. Зарождение легального и революционного марксизма в России. Журн. «Фронт науки и техники», февраль 1933 г., стр. 108, 109.

частую «смену вех» среди течений общественно-экономической мысли: рядом с фабрикантами, начиненными марксовскими цитатами, можно было встретить людей, которые в юности увлеклись социализмом и видели в сен-симонизме своего рода Коран, а на склоне лет стали прожженными дельцами, повторяющими жизненный путь знаменитого Исаака Перейры. Возникновение крупнейших промышленных предприятий, железных дорог, коммерческих банков создало почву, на которой вчерашние утописты превратились в прожектеров во славу русского капитализма. Начало формироваться мировоззрение крупной русской буржуазии, для которой идеологическим боевым криком явились споры о свободе торговли и протекционизме. В настоящей работе мы занимаемся рассмотрением только основных линий русской экономической мысли: крестьянской и пролетарской политической экономики. Поэтому зарождения буржуазной идеологии мы коснемся в немногих словах, чтобы обрисовать процесс превращения идеалистов социалистического направления в крупных чиновников и коммерсантов. «Удивительно, что может выйти со временем из восторженного юноши»,¹ иронически заметил о Мишеле Шевалье Чернышевский. Эти меткие слова можно избрать эпиграфом для изображения процесса идейного превращения и наших фурьеристов и сенсимонистов в «знатных людей». Изберем в качестве исходного пункта обед, устроенный 7 апреля 1849 г. в день рождения Фурье «особо избранными почитателями французского утописта».² Около того же времени будущий директор Кредитной канцелярии Е. И. Ламанский организовал вокруг себя сенсимонистов: В. Безобразова, В. Вернадского, Ю. Гагемейстера, Тенгоборского и др., сыгравших впоследствии видную роль в истории развития русского банкового дела и вступивших в непосредственную связь с Перейрой и М. Шевалье.³ Проходит 10 лет, и в 1858—1859 гг. мы видим почти тех же лиц среди участников чтений экономических лекций в Пассаже. Вернадский читает о значении труда, Ламанский — о коммерческом кредите, Безобразов — о земском кредите и т. д.⁴ Зал Пассажа не вмещает всех желающих, и лекции переносятся в помещение цирка. Среди лекторов должен был выступить и Н. Г. Чернышевский, но цензура так долго мариновала программу четырех его лекций, что «лекция не состоялась за опозданием разрешения».⁵ В 1859 г. возникает также, сначала в виде «тихих домашних бесед», Политико-экономический комитет Географического общества, собирающий

впоследствии «блестящие собрания», с участием купцов и биржевых людей. Не довольствуясь этим, Безобразов, Грей, Ламанский и др. затевают устройство политико-экономического общества для обсуждения «более общих экономических вопросов». Не получив разрешения на его открытие, они ограничиваются организацией «экономических обедов», просуществовавших 35 лет. Душой этого начинания был академик Безобразов, терпеливый сборщик — ресторан Донона.⁶ По словам Скальковского, гастрономические обеды у Донона Безобразов обратил в экономический парламент, имевший огромное влияние на русскую жизнь.⁷ Безобразов находился, повидимому, под большим влиянием иностранных идей. В Академии он «держался немецкой партии», так как попал в нее по протекции графа Литке. Он принадлежал к небольшому кружку фритредеров, ориентировавшихся на «знаменного бельгийского экономиста» Молилари. Весь этот кружок состоял из «трех тайных советников, четырех действительных статских советников, одного статского и одного надворного советника». По уверению Скальковского, кружок в десяток теоретиков под покровительством Тенгоборского и Гагемейстера насиловал нашу экономику в угоду теории. Эти люди в своем изложении деревенской жизни доходили до того, что, по свидетельству Кокорева, в тарифном комитете требовали понижения пошлины на кофе, потому что кофе «развывает мозговые силы крестьянства», или на пиканли и капорцы, как «приправы, могущие дать вкус грубой крестьянской пище». Кокорев считал, что эти люди были «сбиты о толку» политической экономией. «И начали эти люди направлять экономическую жизнь России по указаниям Мишелей Шевалье, Адамов Смитов и т. д., и зарыдали наши Трифоны, Прохоры, Матрены и Лукерьи, а затем надели на себя суму и пошли смиренно по миру питаться подаванием». Сам Кокорев приходит к заключению, что «было бы во сто раз полезнее заменить кафедры политической экономии и статистики кафедрою изучения русской избы».

В этой главе мы постарались показать идейный разброд, господствовавший в нашей политической экономии после 1861 г. Прогрессивная политическая экономия изжила себя. Ее сменил всеобщее увлечение марксизмом. Этот напор марксистских идей был весьма плодотворным. Однако, как мы видели, в течение двух десятилетий Россия довольствовалась марксизмом не в чистом, а в суррогатном виде. Особенно неудачными были попытки подставить в марксовы формулы крестьянина вместо рабочего. Предстояла грандиозная чистка марксистской доктрины в

¹ Н. Г. Чернышевский. Процесс мениальмонанского семейства. Соч., т. VI, стр. 143.

² Пажитнов. Назв. соч., стр. 22.

³ В. В. Святловский. История социализма. 2-е изд., Петроград, 1924, стр. 135.

⁴ Ф. Г. Тернер. Воспоминания. Русская старина, ноябрь 1909 г., стр. 324.

⁵ Н. М. Чернышевская-Быстрова. Назв. соч., стр. 104—106.

⁶ И. И. Левин. Назв. соч., стр. 89—91.

⁷ А. К. Скальковский. Наши государственные и общественные дела. СПб., 1890, стр. 100.

России от чужеродных напластований и внесение в марксизм подлинно революционного духа. Эту задачу, на фоне появления сравнительно многочисленных кадров пролетариата и растущего рабочего движения, выполнил Г. В. Плеханов. Но прежде чем перейти к изложению экономического мировоззрения Г. В. Плеханова, остановимся на том, как в нашей общественно-экономической мысли в домарксистский период подошли к проблеме разложения общины.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

ВОЗНИКНОВЕНИЕ УЧЕНИЯ О РАЗЛОЖЕНИИ ОБЩИНЫ

Величайшей заслугой основоположников марксизма в русском аграрном вопросе было выяснение в конечном счете полной бесперспективности развития общины за счет внутренних закономерностей, заложенных в ней самой. Материальная база общины не обеспечивала быстрых темпов хозяйственного роста. Разложение общины вело (по крайней мере в тенденции) к превращению ее в группу парцеллярных собственников, становящихся неисправимыми индивидуалистами, как на Западе. Спасение могло подоспеть только в виде удачно завершенной революции. Иначе неизбежный удел России — капитализм. Антитеза — община или капитализм — и была на известном этапе развития русской экономической мысли ее высшим достижением. Однако нужно было сдвинуть вопрос с этой мертвой точки. Для этого требовалось, прежде всего, связать конкретно анализ хода развития русской экономики с тем, что было страшным проклятием нашей деревенской жизни и что было прекрасно известно представителям нашей крестьянской политической экономики, но что оставалось в стороне при спорах о судьбах общины: с пережитками крепостничества в русской экономике. Конечно, было бы нелепо заподозривать Чернышевского в том, что он игнорировал сохранившиеся в нашей деревне мрачные остатки средневековья; он отдал борьбу против них лучшие годы своей жизни и, как уже было отмечено выше, пал в неравной схватке с самодержавием потому, что с замечательным упорством отстаивал крестьянские интересы против помещичьих. И все же, как ни странно, во всей литературе, обсуждавшей экономическое развитие России до Ленина, под гипотезой противопоставления — община или капитализм — почти полностью отсутствовало сознание, что происходит движение не от первобытно-общинного строя к частной собственности, а, выражаясь термином Ленина, от барщинного к капиталистическому хозяйству. Феодализм, помещик были сброшены со счетов. Поэтому историческая схема превращалась в голую абстракцию, которая ничему научить не может. А между тем, речь должна была идти именно о формах перерастания феодализма в капитализм.

Тогда должна была решиться еще одна важнейшая проблема.

запутавшая всех экономистов, разбиравших вопрос о судьбах капитализма в России до Ленина. С одной стороны, как это было убедительно доказано еще Чернышевским, переход России на рельсы капиталистического развития обещал произвести в нашей экономике быстрые и радикальные сдвиги. Россия должна была прогрессировать семимильными шагами. А с другой стороны, непосильные выкупные платежи для крестьян, огромные траты на поддержку фабричной промышленности, хищнический характер русского капитализма, близость казны к банкротству — все это заставляло многих предрекать царской России неизбежную экономическую катастрофу. Но ведь не могло быть, чтобы Россия одновременно и развивала заложенные в ее хозяйствах потенции к быстрому росту, и деградировала из-за убогости искусственно взращенного капитализма. Эта дилемма тоже была снята с обсуждения мастерской рукой В. И. Ленина. Он показал, что на путях от феодализма к капитализму разложение крестьянства создает емкий внутренний рынок для крупной промышленности, обеспечивающий капитализму возможность прогрессивного развития производительных сил, несмотря на все отрицательные стороны, присущие этому способу производства. Но при всем том самый характер этого развития изменится в зависимости от того, как расставлены классовые позиции при этом перерастании феодализма в капитализм. Учение В. И. Ленина о прусском и американском путях развития капитализма в сельском хозяйстве и явилось ответом на вопрос о том, как может быть, чтобы капитализм был одновременно и прогрессом по сравнению с феодализмом по темпам развития производительных сил, и в то же время тормозил это развитие в случае сохранения значительных остатков феодализма. Дело оказалось совсем не в «искусственности» развития капитализма, а в том, что размах капитализма был сковап, задержан. При классовом расхождении деревни внутренний рынок расширялся бы еще быстрее, если бы не препятствующее влияние помещичьей власти как в экономическом, так и в политическом отношении. Таким образом именно Ленин решил задачу, которую поставил Маркс в отношении изучения аграрного строя России. Все, что писал до него по этому вопросу, были лишь предтечами.

Новые мысли, внесенные В. И. Лениным в анализ русских земских отношений, могут быть рассмотрены по двум основным направлениям: 1) учение о разложении общины и 2) теория двух путей развития капитализма в сельском хозяйстве. В первом вопросе почва для Ленина была в значительной мере подготовлена прежними русскими исследователями вопроса, хотя только Ленин сумел внести в него полную ясность. Во втором вопросе Ленин опирался на высказывания Маркса, но творчески переработал их, применительно к русским условиям, так что именно он показал,

как нужно понимать проблему двух путей на примере русской экономики.

О своих предшественниках в вопросе о разложении русской общины говорит сам В. И. Ленин. По его указанию, сочинение Г. В. Постникова «Южно-русское крестьянское хозяйство» в литературе о крестьянском разложении «должно быть поставлено на первое место».¹ Это сочинение ценно статистическим анализом, демонстрирующим с полной наглядностью торжество капитализма в южно-русской деревне. Постниковым доказано «полное господство в деревне крестьянской буржуазии».² Однако недостатком Постникова является то, что он «не руководится теорией» и вместо оценки обработанных им данных предпочитает заниматься беспочвенным сочинением проектов. В другом месте Ленин указывает, что под разложением крестьянства он понимает «совокупность всех экономических противоречий в крестьянстве». Сама крестьяне метко и рельефно обозначают этот процесс термином «раскрестьянивание». Главное его социальное содержание состоит в том, что происходит «коренное разрушение старого патриархального крестьянства и создание новых типов сельского населения». Ленин вспоминает, что в нашей литературе указания на этот процесс делались очень давно, но никто не пытался систематически изучить это явление. В. И. Ленин ссылается, например, на труд Васильчикова «Землеведение и земледелие», относящийся еще к 1876 г. В нем констатировалось образование сельского пролетариата и распадение крестьянского сословия. В таком же духе высказывался и известный московский земский статистик В. И. Орлов. Недостатком всей предшествовавшей Ленину литературы было изображение этого процесса как социальной «дифференциации» деревни, тогда как в действительности происходит не дифференциация, а полное разрушение крестьянства старого типа и появляются новые типы: «сельская буржуазия (преимущественно мелкая) и сельский пролетариат, класс товаропроизводителей в земледелии и класс сельскохозяйственных наемных рабочих».³ В статье, специально посвященной рассмотрению книги Постникова, Ленин уточняет, в чем его точка зрения так радикально отличается от всей предшествовавшей литературы. Само по себе констатирование дифференциации крестьянства, — говорит Ленин, — не содержит ничего нового, так как «о ней упоминается почти в каждом сочинении, посвященном крестьянскому хозяйству вообще». Но тип крестьянского хозяйства обычно характеризуется средними цифрами. Постников справедливо протестует против рассмотрения крестьянского мира, как чего-то цель-

¹ В. И. Ленин. Развитие капитализма в России. Соч., т. III, стр. 43.

² Там же, стр. 53.

³ Там же, стр. 125, 126.

ного и однородного, и в этом его заслуга.¹ Постников понимает также недостаточность понятия дифференциации. Он иногда говорит о «розни» и даже «борьбе экономических интересов». Однако нужно понять, что нельзя остановиться и на этом. Аренда наделной земли у обедневшей группы населения, наем в батраки крестьянина, переставшего вести свое хозяйство, «это уже не только рознь, это — прямая эксплуатация». Разделение крестьян на категории по степени имущественного обеспечения не дает исчерпывающей характеристики крестьянской экономики. Необходимо выделить классовые типы.

В ленинской работе «Что такое «двузвье народа»?» разложение мелкого производителя объявляется всеобщим и крупным фактом, на который «давно уже обращают внимание русских социалистов социал-демократы. См. произведения Плеханова». ² Наконец, среди писателей, правильно трактовавших явление разложения крестьянства, Ленин отмечает и И. А. Гурвича, написавшего еще в 1882 г. статью «Равнение под одно» в журнале «Русская мысль», а впоследствии опубликовавшего известную книгу «Экономическое положение русской деревни» (в 1892 г. на английском, а в 1896 г. на русском языке). Гурвич прямо отмечает, что «внутри деревенской общины возникли антагонистические социальные классы». Огромный минусом народников 70-х годов Гурвич считает полное отсутствие у них представления о классовом антагонизме внутри самого крестьянства. Гурвич выделяет среди других писателей Глеба Успенского, который «одиноким стоял со своим скептицизмом, отвечая иронической улыбой на общую иллюзию. Со своим превосходным знанием крестьянства и со своим громадным артистическим талантом, проникавшим до самой сути явлений, он не мог не видеть, что индивидуализм сделался основой экономических отношений не только между ростовщиком и должником, но между крестьянами вообще». ³ Ленин считает, что можно было сплоско относиться к этим иллюзиям 60-х и 70-х годов, когда разложение деревни проявлялось не так ярко. Однако в 90-х годах «ведь надо нарочно закрывать глаза, чтобы не видеть этого разложения».

Отметим попутно, что Гурвич в своей книге устанавливает в следующих словах «точную генеалогию» приводимого им «возвращения на деревню»: «Родоначальники скептического отношения к общине в русской литературе — покойный Зибер и М. М. Ковалевский, весьма определенно высказывавшиеся по этому вопросу еще в семидесятых годах. Наряду с ними нужно поставить Глеба Успенского. Никто так много не сделал, как он, для развенчания иллюзий мужицкого „коммунизма“... К концу семидесятых годов

¹ В. И. Ленин. Новые хозяйственные движения в крестьянской жизни. Соч., т. I, стр. 7.

² Там же, стр. 120.

³ Там же, стр. 157, 158.

группы этих писателей успели создать небольшую горсть адептов, совершенно впрочем терявшуюся в народнической массе».⁴

Приведенными замечаниями В. И. Ленин и И. А. Гурвич, конечно, не собирались исчерпать тему по истории литературы, относящейся к разложению деревни, или тем более о том месте, которое эта литература занимает в истории русской экономической мысли. Используя вехи, поставленные на пути такого исследования Лениным, можно было бы детально изучить происхождение этой доктрины. В частности, было бы весьма интересно установить, с какого времени и кем введен в научный оборот термин «кулак». Мы здесь не претендуем на решение этой задачи, так как для этого потребовалось бы специальное исследование. Укажем лишь, что в середине XIX в. термин «кулак» был уже общеупотребительным. Однако он как бы незаметно менял свой смысл. Первоначально он означал великорусскую разновидность скупщика хлеба или, вообще, сельскохозяйственных произведений, использующего свою финансовую силу и лучшее знание рынка для несправедливого обогащения за счет крестьян. Еще известный статистик-экономист К. И. Арсеньев говорит в своих «Статистических очерках России» о промысле *бульней*, занимающихся «злоупотребительным перекупом» льна в Псковской губ. Они «покупают у бедных крестьян лен еще на корне; скупивши все почти надаром, они становятся монополистами». Наряду с этими *бульнями* в позднейшей литературе упоминаются выступающие в аналогичном качестве *великорусские «кулаки»*, волжские мартышки, западные евреи. Интересно, что Егунув, приводя суждения Арсеньева о *бульнях*, возражает против сделанной им нравственной оценки их промысла: «едва ли справедливо называть *промысел* *бульней* *злоупотреблением*, потому что в таком случае надо дать это же название и всякому вообще мелочному употреблению капиталов. *Бульни* *покупают* у крестьян лен, и если последние находят более выгодным *продавать* им, нежели *везти* на рынок, то тут есть только обоюдное согласие, а никак не *злоупотребление*». Эти строки писались еще до «крестьянской реформы». Таким образом уже в середине XIX в. находятся у нас экономисты, оправдывающие барышнически-ростовщическую деятельность аргументами, в которых явственно слышится классовая апологетика. Даже в «Толковом словаре» Дала издания 1856 г. понятие «кулака» продолжает сохранять прежний оттенок скупки и барышничества, причем из формулировки этого понятия отнюдь не видно, что «кулак» сам связан всеми корнями с крестьянской средой. Вышел из нее в результате расслоения крестьянской массы. «Кулак» (в переносном смысле) определяется Далем двумя рядами синонимов: «скупец, скряга, жидомор, кремь, крепыш» и «пере-

⁴ И. Гурвич. Экономическое положение русской деревни. 1911, стр. 2.

⁵ Егунув. Наза. соч., стр. 42, 43.

купищ, переторговщик, маклак, прасол, свозчик особенно в хлебной торговле, на базарах и пристанях». ¹ Таким образом ходкое в дореформенную эпоху определение «кулака» сводилось к выделению посреднических функций в торговле и барышничестве. Петр Струве доказывал даже, что до освобождения крестьян в их среде не могло быть особенно глубокого расслоения, так как «по отношению к помещицкому крестьянству проявлял свое полное действие могущественный нивеллятор: барщина». При барщине, по словам Струве, помещик был заинтересован в равенстве среди крестьян, так как он стремился к «кооперации равносильных хозяйственных единиц». Вместе с тем, при крепостном режиме прибавочный продукт без всякого остатка отнимали у крестьян, и потому не было почвы для накопления капитала. ² Конечно, расслоение среди крестьянства началось задолго до 1861 г. Но характерно, что время для самого появления термина «кулак» в новом смысле, обозначающем его производственную функцию в деревне и эксплуатацию своих односельчан в процессе производства, пришло только после «реформы», в новой, капиталистической России. Попробуем же разобраться в имеющихся в нашем распоряжении источниках для характеристики кулачества пореформенной эпохи.

Литература, подготовившая появление ленинского учения о разложении общины, может быть разделена, как нам представляется, на три важнейших ветви. Первая из них, опираясь на статистические данные, ограничивалась преимущественно статистико-экономическим анализом, отказываясь от руководства теорией. Вторая давала литературно-художественное изображение деревни, но с таким проникновением в суть земельных отношений, что ее характеристики приобретали и научное значение. Третья с самого начала ставила себе теоретические цели и, начав со сравнительно-исторического «социологического» метода М. Ковалевского, увенчала развитие теории разложения деревни принятием марксистского учения. Конечно, все три направления отнюдь не отделены друг от друга китайской стеною. Но изложение их, тем не менее, удобно вести раздельно.

Первое упоминание о расслоении крестьянства, которое нам удалось найти, содержится в цитированных выше работах Журавского — «Об источниках и употреблении статистических сведений» 1846 г. и в «Статистическом описании Киевской губернии», изданном в трех томах в 1852 г., о котором Чернышевский написал восторженную рецензию. В последней работе указывается, что пользование земель и хозяйственные выгоды распределены между крестьянами весьма неравномерно «не только по различным уездам и поместьям, но и по различным семействам в одном и том же хо-

¹ В. И. Даль. Толковый словарь живого великорусского языка. М., 1862, стр. 620.

² Струве. Крепостное хозяйство, стр. 135.

зяйстве». Треть хозяйств — наиболее зажиточные — принадлежат к категории так называемых тяглых и полутяглых. Остальные две трети составляют пешие, бобыли и огородники. Размер урожая у первой категории таков, что несколько более половины полученного с полей хлеба они могут продать. Вторая категория получает на семью в 6 душ 12 четвертей хлеба, да и то половины приходится жертвовать: «не имея собственного скота, она не может обрабатывать своих участков собственными силами, а нанимает тяглых и полутяглых пахать эти участки, отдавая им за то половину урожая». Остается по 1 четверти на душу, что покрывает всего потребности крестьянина в хлебе. «Свести концы с концами стараются они, между прочим, тем, что работают у тяглых и полутяглых хозяев во время уборки хлеба». ¹ Как ни сложны и условны изображенные отношения, при которых зажиточные крестьяне пахут для бедняков поля своим скотом, а затем нужда заставляет тех же бедняков идти в калалу к тяглым и полутяглым, но для середины XIX в. эти выкладки представляют выдающийся интерес.

В 70-х годах упоминания о расслоении деревни становятся в литературе довольно частыми, но приобретают весьма односторонний характер: входит в моду выделять особую группу безземельных крестьян, превращающихся в пролетариев, причем впоследствии эта социальная категория русской деревни становится излюбленным аргументом против проникновения капитализма в Россию. В высоко ценявшейся Лениным книге Ю. Янсона «Опыт статистического исследования о крестьянских наделах и платежах» отмечается, например, «весьма большое число крестьян совершенно безземельных, однодворцев, бобылей, и пр. Мы не знаем полной цифры их; но их везде много». ² Они списываются пропитание единственно личным трудом, используемым «в помещичьих и крестьянских хозяйствах». Заработная плата батраков ничтожна: они не всегда имеют возможность одеться и прокормиться. Неурожай лишает их скромных заработков, которыми они располагают в обычные годы, и положение их становится безвыходным. ³

Минуя ряд последующих работ статистико-экономического направления, остановимся еще на некоторых сведениях о распадении деревни, приводимых Постниковым. В. И. Ленин с такой исчерпывающей полнотой осветил содержание этой работы, что нам остается отметить еще только один пункт. В работе Г. В. Постникова мы находим (при характеристике зажиточных хозяйств южной России) интересные соображения о влиянии роста сельской буржуазии на образование рынка для земледельческих орудий. На одном полюсе измельчание хозяйства «ведет к неизбежному

¹ Н. Г. Чернышевский. Соч., т. II, стр. 490, 491.

² Ю. Янсон. Опыт статистического исследования о крестьянских наделах и платежах, СПб., 1877, стр. 113.

³ Там же, стр. 114.

образованию сельского пролетариата».¹ На другом — зажиточные крестьяне накапливают капиталы и приобретают на них инвентарь или пускают деньги в рост. В качестве кулаков в южнорусской деревне выступают главным образом немецкие колонисты, которые фигурируют у Постникова под именами *gross-вирта*, *half-вирта* и *klein-вирта*. У *gross-вирта* среднего достатка остается более 300 рублей годового сбережения. При этом «колонисты свои сбережения отдают еще и в рост на проценты».² С другой стороны, сумма хозяйственных капиталов у немцев-колонистов так велика, что «почти равна ценности самой земли, в большинстве случаев несколько превосходит цифру 100 руб. за десятину».³ Постников прекрасно изображает процесс переорождения крестьянского хозяйства под влиянием быстрого роста спроса на хлеб, главным образом для потребности экспорта, в 70-х годах. Началась усиленная распашка земель. Ее выгоды способствовало усиленное внедрение нового инвентаря. Машины раньше всего появились в немецких колониях, где они изготовлялись мастерскими и заводами в пределах тех же колоний. «Буккер и жнейка произвели переворот в экономии крестьянского хозяйства: они удвоили рабочую способность семьи».⁴ Но выгоды новой техники пошли на пользу зажиточным слоям деревни.

Одним из наиболее ранних, если не самым ранним писателем, отразившим расслоение деревни в художественной литературе, был Флеровский, о книге которого «Положение рабочего класса в России» мы уже сказали выше. Эта работа представляет собою своеобразную смесь научного произведения и беллетристики, но сильно она более всего замечательным знанием убогого быта трудящихся масс тогдашней России. Следы расслоения русской деревни, имеющиеся в книге Н. Флеровского, до сих пор как-будто не были замечены в нашей литературе. Поэтому будет уместно сказать здесь о них несколько слов. Описывая бедность крестьян в степной полосе между Уралом и Волгой, Флеровский объясняет эту бедность преимущественно тем, что «миродество задало сотни беспомощных людей: в то время, когда богатый мироед напивался со своими приятелями ромом, множество из зависящих от него бедняков ели весьма скудную пищу».⁵ Термин «мироед» и используется Флеровским для обозначения понятия, ставшего позднее известным под именем «кулачества». Согласно рассказу Флеровского, ему приходилось встречать в домах отдельных мироедов, вместе с членами их семейств, до пятидесяти человек работников

и работниц. Упомянув о «жалких мироедах» данного района, продававших едва на 150 руб. хлеба, Флеровский противопоставляет им сибирских мироедов, каждый из которых «может отсыпать пшеницы и даже тысячу пудов зараз».¹ Однако образ мироеда остается у Флеровского далеко не продуманным до конца. Хотя он и является «обыкновенным спутником общинавшего работника» и его «кусок хлеба» жидится на «эксплоатации бедного собрата», но многоземелье и богатство общины, по наблюдениям Флеровского, для мироеда якобы выгоднее. «В тяжкие минуты жизни бедного земледельца мироед овладевает его трудом и имуществом за бесценок, но имущество это жалко и ничтожно, а труд тем более непроизводителен, чем дешевле он добыт путем притеснения, а между тем малоземелье вынуждает мироеда нанимать земли у соседей, и непроизводительный труд на этих землях нередко может дать убыток вместо выгоды».

После крестьянской реформы 1861 г. в нашей романической литературе занимает почетное место «мужичья беллетристика», которая как бы переключается с крестьянской политической экономии. Насколько велико ее значение в формировании учения о расслоении деревни, видно хотя бы из того, что в книге Плеханова «Наши разногласия» наблюдения наших беллетристов являются одним из первоначальных источников для изображения процесса выделения в деревне кулаков и бедняков. Уже в 1879 г. П. Н. Ткачев напечатал в журнале «Дело» интереснейшую статью «Мужик в салонах современной беллетристики», в которой дал яркую картину и всего этого направления в целом и его места в анализе расслоения деревни. Ткачев с глубокой иронией объясняет читателю, что салоны нашей беллетристики в течение огромного периода времени наполнялись только «людьми отборного и благородного сословия». Постепенно переодетые мужички, в костюмах идиллического пастушка, стали появляться на страницах романов. Потом они стали фигурировать уже «в сером зипуне и лаптях, а то и на-босу ног».² Сначала мужик подвергался сентиментальному «опозитированию», потом из него сделали объект скоморошества. Наконец, стали заниматься реальным мужиком, и он не только завоевал себе право гражданства, но и занял в литературе первенствующее место. Обозначился на мужика повсеместный спрос. Выражаясь словами Глеба Успенского, литература и общество стали «строить глазки народу». В этом выражалась своеобразная «потребность сближения с народом».³ Писателями этого направления были Решетников, Потехин, Вологдин, но подлинно руководящими фигурами этого направления следует считать Н. Н. Златовратского и Глеба Успенского. Период расцвета их

¹ В. Е. Постников. Южно-русское крестьянское хозяйство. М., 1891, стр. 324.

² Там же, стр. 293.

³ Там же, стр. 206.

⁴ Там же, стр. 165.

⁵ Положение рабочего класса в России. Наблюдения и исследования Н. Флеровского. СПб., 1869, стр. 227.

¹ Положение рабочего класса в России. Наблюдения и исследования Н. Флеровского. СПб., стр. 237.

² П. Н. Ткачев. Избр. соч., т. IV (1876—1880), М., 1933, стр. 181.

³ Там же, стр. 217.

творчества приходится на 70-е и 80-е годы. Уже у Вологодина, то формулировке Ткачева, главным содержанием романов является воспроизведение борьбы действительно противоположных интересов «крестьян-общинников» и «крестьян-кулаков». Однако разъяснение этого вопроса удалось только Глебу Успенскому, соком пониманию процесса развития кулачества в деревне. Нужно было показать, говорит Ткачев, в чем разница между кулаком дореформенным и кулаком послереформенным. Глеб Успенский сумел подметить «очень метко и довольно остроумно» наиболее резкие, бросающиеся в глаза черты этой разницы.¹ Дореформенный кулак строил эксплуатацию народа на открытом грабеже и разбое. Он не мог шагу ступить, чтобы не нарушить ту или иную статью «Уложения о наказаниях». Со всех сторон его окружали «псы злоющие», разбойники и насильники, на которых он и опирался. Кулак нового типа ставит своей задачей обогащение «на законном основании». У него рассчитано каждое действие, каждая сделка служит безотказно обогащению. Его цель — вполне дозволенное и даже самим начальством и общественным мнением поощряемое обращение капитала в оборот. «Вот вам наглядная разница, — говорит в заключение Ткачев, — между старым и новым типом эксплуататора. Но г. Володин не видит и не замечает этой разницы. Он наивно считает своего Чиркова (кулоно с его молодцами) „героем нашего времени“ (стр. 53). О нет, г. Володин, вы жестоко ошибаетесь. Это — герой „времен очажовских и покоренья Крыма“, это герой крепостной, а не капиталистической эксплуатации народного труда». Таким образом у Ткачева не только показана разница двух типов кулачества — крепостной и капиталистической эпохи, но ясно выражена также глубокая историческая пропасть, с исключительной быстротой разверстающаяся между этими этапами русской истории.

Приведем лишь один пример того, как мужицкая беллетристика приходит на помощь экономической теории. Глеб Успенский в своей статье «Из деревенского дневника», напечатанной в «Отечественных записках» за 1880 г., дает яркую иллюстрацию разлагающегося действия обмена на общинную собственность. Он изображает крестьянскую семью, во главе которой стоит старуха, «женщина крепкая и, по-своему, умная и опытная». Весь доход семьи идет в ее руки, а она распределяет его по своему усмотрению и с общего согласия. Но вот в деревню, вместе с рынком, вторгается власть денег, и весь установившийся порядок идет прахом. С проведением шоссейной дороги становится выгоднее сбывать капусту извозчикам, чем работать на пашне. Стали дорожать телата, когда «прошла машина» и потребовалось мясо в город.

¹ Ткачев. Назв. соч., стр. 240.

² Там же, стр. 243.

³ Там же, стр. 250.

Один из сыновей «пошел в извозчики и в потгода заработал больше всей семьи, работавшей в деревне год». Деление доходов поровну сохраняется теперь в семье уж только по виду. «Дворник скрыл от мамочки четыре красных бумажки, а извозчик скрыл еще того больше... Авторитет главы становится фиктивным, и фиктивны все общинно-семейные отношения».

Отмечая огромное значение старых «народников» беллетристического направления, и в первую очередь Златовратского и Глеба Успенского, Плеханов указывает, что они относятся к новейшим народникам типа Воронцова, как буржуазные экономисты-классики к вульгарным экономистам позднейшей эпохи. Старые народники не боялись истины и не стремились подкрашивать ее. Им еще и в голову не приходило, что действительность стоит в противоречии с их началами. Наоборот, Воронцовым приходится «подслащать муку», чтобы скрыть расхождение между фактами и идеалом.¹

Наконец, научное направление, выдвигающее вопрос о разложении общины, тоже зарождается в 70-х годах, и, вслед за Гурвичем, можно смело считать наиболее авторитетными его ранними представителями М. М. Ковалевского и Н. И. Зибера. Ковалевский в своей книге об общинном землеустройстве, появившейся в свет в 1879 г., сам рассказывает о возникновении направления, главою которого он фактически явился. За три года до этого он напечатал в Лондоне на русском языке специальную монографию, переведенную затем на немецкий язык в Цюрихе. Эта монография была посвящена «вопросу о причинах и ходе разложения общинного землеустройства в одном из кантонов романской Швейцарии» (имеется в виду кантон Ваадт). В этой работе было показано, что переход от общинного владения к частному в кантоне Ваадт явился результатом столкновения интересов разных социальных групп общинников. Затем, повествует Ковалевский, критика направила по его адресу упрек, что, показав этот процесс распада общины на примере кантона Ваадт, он дал основание предполагать, что этот процесс имел место «в одной только местности», и поэтому не могло идти и речи об «общинности» явления, подвергнувшегося изучению М. М. Ковалевским. Критика и побудила Ковалевского заняться более широким историко-сравнительным анализом явлений распада общинного владения. Он убедился при этом, что вся наша литература об общинном владении в России была чужда сознанию единства процесса развития наших общинных порядков с общими мировыми. У наших теоретиков общинного владения чувство преобладало над «положительным знанием». По сентиментальным побуждениям они извели мировое явление, распад общинной собственности, «на стеньг частного факта». Подобные представления часто бывают связаны с отведением особей

¹ Г. В. Плеханов. Соч., т. IX, стр. 149.

творческой роли в создании общественных институтов «народному духу». Этой точке зрения нужно противопоставить учение о зависимости тех или иных форм поземельного владения от степени общественного развития народа.¹ Рассмотрение конкретной теории разложения общины, предложенной Ковалевским, не входит в нашу задачу.

Н. И. Зибер добросовестно пересказывал в своих статьях ряд книг о разложении общинного землевладения и должен считаться представителем той же историко-сравнительной школы, к которой принадлежал и Ковалевский, хотя между обоими этими авторами была та существенная разница, что Зибер являлся легальным марксистом и пытался по мере разумения следовать методу Маркса, тогда как Ковалевский сознательно причислял себя к сторонникам типично-буржуазного направления «позитивной социологии». Несколькими больше самостоятельности, чем в других своих работах, Зибер проявляет в статье «Общественная экономика и право». Одна из основных мыслей, которые здесь проводит Зибером, состоит в том, что формы земельной собственности в ходе истории меняются с характером «организации труда» в сельском хозяйстве. По мере того, как труд человека все теснее привязывается именно к данному, конкретному участку земли, возникает потребность в присвоении этого участка тем, кто затрачивает на нем больше количества труда. Поэтому неверна теория, будто раньше всего апроприируются наиболее плодородные земли. Дело не в качестве земли, а в хозяйственной системе, диктуемой формами организации труда. Самый процесс частного освоения земель идет постепенно, так что одновременно существуют и угодья, которые составляют общественную собственность потому, что на них выгоднее трудиться сообща, и выделяются частновладельческие участки, каковыми раньше всего становятся земли под усадьбами, а затем приусадебные земли. Ссылаясь на статистику В. И. Орлова, Зибер доказывает, что на приусадебных землях расходуется гораздо больше удобрений и индивидуального труда, чем на землях полевых. Здесь же сильнее оказывается личная инициатива, своеобразная предприимчивость отдельных домохозяев.² Отсюда и большие различия в ценности и доходности приусадебных участков, так как их хозяйственное использование определяется именно характером инициативы отдельных хозяев.

Впервые с марксистским анализом процесса расслоения деревни и разложения общины выступил в 1884 г. Г. В. Плеханов в книге

«Наши разногласия». Эта книга может поэтому рассматриваться, в известном смысле, как подготовительный этап к ленинской работе «Развитие капитализма в России», хотя по большинству вопросов Плеханов, в сущности, лишь намечает пути для дальнейшего углубленного исследования, выпавшего на долю Ленина. Плеханов дает предварительный набросок, но только у В. И. Ленина анализ вопроса достиг полной научной зрелости.

От абстрактных рассуждений об общине, господствовавших во всей предшествующей ему литературе, Плеханов переходит к конкретному изучению экономических процессов, происходящих внутри общины. Плеханов настаивает на том, что для России капитализм — не будущее, а настоящее. Он прекрасно чувствует пульс его развития и не боится сказать, что капитализм растет быстро. Община разрушается под влиянием гнета налогов, разлагается под воздействием денежного хозяйства и обнаружившегося в ней неравенства отдельных ее членов. Она превращается в «общину кулаков». Хлебопашество становится производством «хлебного товара». Дальнейший вопрос может идти лишь о торжестве крупной или мелкой буржуазии. Русский капитализм, правда, течет еще небольшим пока потоком. Но ни остановить, ни высушить его нельзя, так как он разбился на множество ручейков, ручьев и речек, питающихся огромной массой воды. Плеханов высмеивает точку зрения «искусственности» и «тепличности» русского капитализма. Вместе с тем, ему ясно, что свержение гнета абсолютизма, который проводит это поощрение и насаждение промышленных предприятий, приведет не к социализму, а к капитализму.

Тезис о разложении общины стоит в центре всего научного построения Плеханова. Община могла в течение столетий сохраняться в почти нетронutom виде лишь благодаря господству натурального хозяйства. Развитие денежного хозяйства и товарного производства подкапывает общинное землевладение. Другой стороной этого процесса является огромное расширение внутреннего рынка. «Переход всякой страны от натурального хозяйства к денежному необходимо сопровождается огромным расширением ее внутреннего рынка, и без всякого сомнения этот рынок всецело достанется у нас нашей буржуазии». Сомнения в том, не наткнется ли развитие рынка на узкие пределы, Плеханов, однако, вкладывает в уста капиталиста, который предвидит якобы переполнение рынка «и спешит приобрести рынки внешние». Связь с внешним миром была, по мнению Плеханова, одним из важнейших факторов, обусловивших подтачивание «устоев». Если бы Россия была изолирована от экономических и политических влия-

¹ По ходу изложения мы считаем целесообразным останавливаться на исследовании Плехановым хода разложения общины до общей характеристики его экономического мировоззрения.

² Г. В. Плеханов. Наши разногласия, 1922, стр. 132.

¹ См. предисловие и вступление к книге М. Ковалевского «Общинное землевладение, причины, ход и последствия его разложения», ч. I (М., 1879).

² Н. И. Зибер. Собр. соч., т. II, Право и политическая экономика. СПб., 1900, стр. 256.

ний западно-европейской жизни, экономический фундамент ее политического устройства мог бы продержаться еще гораздо дольше.

Быть может, в период расцвета общинных порядков община и могла явиться читальней, помогающей оборонять интересы трудового крестьянства. Со времени разложения ее положение радикально меняется: «во многих и многих местностях община настолько уже искажена неблагоприятными ей влияниями, что из средства защиты производителей против капиталистической эксплоатации она превращается уже в могучее орудие этой последней».¹ Община распадается, распадается на две непримиримые части, которые представлены «пустырянками» на одной стороне и «кулаками» на другой. Ссылаясь на уже знакомого нам В. И. Орлова, Плеханов доказывает, что связь между двумя указанными частями общины «чисто внешняя, искусственная, фискальная». Окончательное выделение этих групп неизбежно. Общим им уже невыгодно оставаться в общине. Пустырянки становятся как бы отверженными, изгнанными из мира. В глазах самих пустырянников, мир является «обзую, бичом, тормозом». Если крестьянин не в состоянии вести самостоятельного хозяйства, он становится неизбежно «кандидатом на звание пролетария». Подавленные бременем налогов, разоренные «мачехой»-землей, пустырянки, или как их еще называет Плеханов деревенская «чернота», попадают в «самое безвыходное положение». С другой стороны, «умственные, хозяйственные мужички», безжалостно обирающие своих обнищавших собратьев, только стеснены в своих действиях наличием общинной связи. Это распадение основ проявляется даже в войне. Плеханов заимствует у Н. Н. Златовратского яркую картину деления деревни на «красную сторону» и «холодную сторону». Тот же Златовратский констатирует с грустью, что «община дорога теперь лишь деревенским старичкам да городской интеллигенции». Классовая характеристика выделившихся из общины групп также не вызывает у Плеханова сомнений. Кулаки тяготеют к городской буржуазии и стремятся слиться с ней в один класс эксплуататоров. Бедняки, с другой стороны, «несет свои рабочие руки на рынок, а частью образует новую категорию общинников-париев».² Плеханов чрезвычайно удачно подмечает ряд экономических процессов, способствующих окончательному распаду общины. В этом на правлении действует, например, удлинение сроков переделов. Зажиточная часть деревни, естественно, не сочувствует частым переделам, стремится получить освоить захваченную ею львиную долю общинной земли. Пользуясь своим влиянием на беднейших членов общины, она оттягивает переделы. Между тем, самый факт удлинения сроков переделов только способствует усилению неравенства внутри общины. Не менее интересно то, что выкупная операция

сама по себе является фактором, разлагающим общину. «Взаимные отношения членов выкупившей свои земли общины только по названию напоминают собою деревенский „мир“ доброго, старого времени, времени натурального хозяйства, крепостного права и отсутствия всяких путей сообщения».¹ Выкупив землю, заплатив за нее кровные денежки, крестьянин приучается смотреть на нее, как на свою частную собственность. В прежнее время земля была царская, «божья», какая угодно, но только не купленная. Деньги, вырастающие из процесса обмена товаров, предполагают частного собственника. Раньше можно было делить землю по потребностям, по рабочим рукам или пропорционально раскладке налогов и повинностей. Теперь выдвигается новый принцип: земля становится «купленной», и кто ее купил, тот ей и хозяин.

Таков тяжелый кризис, переживаемый общиной. Плеханов предсказывает, что «этот кризис близится к концу, и первобытный аграрный коммунизм готовится уступить место личному или подворному владению». Нельзя, кстати, не отметить, что вслед за всеми своими предшественниками Плеханов заставляет капитализм непосредственно развиваться из «первобытного аграрного коммунизма», как-будто между ними нет промежуточных ступеней и как-будто можно власть помещика как-то сочетать с этим первобытным коммунизмом. Не от крестьянства нужно, в представлении Плеханова, ожидать сдвигов в общественной жизни. Деревня все больше и больше подчиняется городу. Ее роль и в революции должна быть, нужно думать, подчиненной. Город вносит в деревню свою «цивилизацию», свою погоню за наживой, свой антагонизм между богатыми и бедными; он возмущает одних, принижает других, создает «образованного» кулака и целую армию «возмущенного народа» игнорирует перемады деревенских старичков и безжалостно вырывает почву из-под ног наших реформаторов и революционеров, так сказать, физикратического пошиба. Деревне придется, таким образом, жить отраженным светом городской жизни. Община разрушается. Все пружины современной экономической жизни находятся в непримиримой вражде с нею. Но что произойдет с расставшимися новыми классовыми типами деревни? Не придется ли всему трудовому крестьянству переправиться в «фабричном котле». На эти вопросы книга Плеханова ответа не дает.

Интересные соображения о расхождении крестьянства в связи с развитием капитализма в русском сельском хозяйстве находим также в работе И. А. Гурвича «Переселение крестьян в Сибирь», изданной в 1888 г. В ней, правда, выдвинуты на первый план капиталистические хозяйства, создаваемые в деревне представителями купеческого капитала. Но и хозяйствам «разжившимся крестьян-кулаков» отведено известное место. Эта категория лиц, по характеристике Гурвича, является покупателем «средних участков».

¹ Г. В. Плеханов. Назв. соч., стр. 136.

² Там же, стр. 139.

¹ Г. В. Плеханов. Назв. соч., стр. 161.

Однако в результате «округления» своих владений, кулаки, в конце-концов, сумели «стать обладателями огромных имений, в качестве арендаторов и даже на правах собственности»¹. Гурвич отрицает преимущественно хищнический характер крупного недворянского землевладения: «мы далеко не замечаем, чтобы единственную провиденциальную миссию новых землевладельцев составляло одно только вандалское разрушение». В кажущихся разрушительными действиях кулака есть своя закономерность: «Разуваев — прежде всего человек расчета; если он начинает с разрушения, вырубает леса и сады на-своя, то потому только, что ему необходимо вернуть затраченный капитал и добыть средства для дальнейших операций». Разрушение — не сущность купеческого и кулацкого землевладения, а исторический, преходящий момент в его развитии. Однако на первых порах эти новые виды землевладения не вносят ничего нового в сельскохозяйственную культуру. Поля «обрабатываются большей частью крестьянским инвентарем, и только в некоторых имениях мы встречаем большое число постоянных рабочих». Объяснение этому «культурному консерватизму» нашего землевладельческого капитала следует искать в том, что наш сельскохозяйственный капитализм переживает «период производства абсолютной прибавочной стоимости», при котором задача для предпринимателя состоит в увеличении количества труда, выполняемого крестьянином «по прежним способам производства».² Это означает, что операции сосредоточиваются «на обработке мужика, а не земли». Лишь кое-где «купеческий капитал сумел создать и крупное хозяйство на западно-европейский манер, с наемными рабочими, собственным инвентарем и даже машинами». Гурвич правильно изображает русский сельскохозяйственный капитализм, медленно, с натугой пробивающий себе дорогу в обстановке, захлебнутой остатками феодализма. Отсюда сдача земли «из части или под работу», «кабальный труд», «вызвания за potravу деньгами и трудом», практикуемые как в помещичьих хозяйствах, так и в имениях нового, капиталистического типа.

В более поздней своей работе «Экономическое положение русской деревни» Гурвич все же отражает тот период развития капитализма в нашей деревне, когда он еще не приобрел четко выраженного лица. «В русской деревне границы между классами еще далеко не так резко обозначены, как в странах с развитым капиталистическим строем». В частности, батраки, которые, казалось бы, должны быть причислены «к разряду пролетариев», продолжают все же оставаться «хозяевами».³ По исчислению Гурвича, на деревню в 62 двора едва приходится от одной до пяти «пролетарийских семей европейского типа». «Отсюда, мне кажется,

следует, — заключает Гурвич, — что о развитии пролетарийского классового духа (proletarisches Klassenbewusstsein) в современной русской деревне не может быть и речи».¹

Несмотря на всю схематичность и незавершенность изысканий Плеханова и Гурвича о расслоении русской деревни, они явились важным прологом, облегчившим В. И. Ленину его гениальный анализ развития капитализма в России.

¹ И. А. Гурвич. Экономическое положение русской деревни, 1941, стр. 124.

² Там же, стр. 125.

³ Там же, стр. 170.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

ПЛЕХАНОВ И ПРОЛЕТАРСКИЙ СОЦИАЛИЗМ

С Плеханова начинается новая страница в истории русской экономической мысли, история пролетарского социализма. Идеология революционно-демократического крестьянства, получившая наиболее яркое выражение в трудах Чернышевского, вырождается, превращаясь в пошлый меланхолический радикализм народников 70-х и 80-х годов. Распространение марксизма в России («История ВКП(б) (Краткий курс)» связывает именно с разгромом народничества в этот период, в котором Плеханов был виднейшим застрельщиком. Для того чтобы русская марксистская политическая экономия могла превратиться в законченное и стройное целое, должна была осуществиться грандиозная критическая работа по очистке нашей экономической науки от следов народнического мировоззрения, представлявшего искажение экономической идеологии просветителей. Плеханов замечательно выполнил эту задачу, оставшись, вместе с тем, верен многим традициям просветительства, которое, как объяснено выше, воспитывалось и выросло на почве критики. Все труды Плеханова пронитаны острым духом критики. Плеханов сохранил традицию просветительства и в том смысле, что он не был узким экономистом и что его замечательная полемическая сила поражала противников и в философской, и в социально-политической, и в экономической, и даже в литературно-эстетической области. Удары плехановской критики были наиболее мощными в философии. Однако чрезвычайно много сделано им и в сфере политической экономии. Плеханову предстоял трудный подвиг творческой критики. Выше была дана характеристика тех течений, которые возникли в нашей экономической науке на почве неправильного понимания и применения учения Маркса в России. Борьба с такими псевдо-марксистскими направлениями, как, например, русское лассалейство или народничество Воронцова, представляла тем более сложную задачу, что до Плеханова у нас не было четкого разграничения классовых позиций пролетариата и крестьянства, пролетариата и мелкой буржуазии. Мы называем плехановскую критику творческой потому, что она толкала Плеханова — в борьбе с его оппонентами — на путь дальнейшего развития марксовской теории, применительно к условиям русской экономики.

Плеханову принадлежит видное место в истории русского марксизма благодаря тому, что он не только был выдающимся знатоком учения Маркса, но явился также передовым деятелем русской национальной культуры, будучи тесно связан историческими корнями своего мировоззрения с русской классической материалистической философией Белинского, Герцена, Добролюбова, Чернышевского.

В «Истории ВКП(б) (Краткий курс)» показана роль, которую сыграл Г. В. Плеханов в идейном разгроме народничества. Плеханов «уже в 80-х годах нанес основной удар народнической системе взглядов», но идейно разгромить народничество до конца сумел только В. И. Ленин. Руководимая Плехановым, «группа „Освобождение труда“ подняла знамя марксизма в русской общественной печати в тот момент, когда социал-демократического движения в России еще не было». Главным идейным препятствием, мешавшим распространению марксизма и росту социал-демократического движения, были в то время народнические взгляды. Народники не понимали передовой роли рабочего класса. Они считали, что главной революционной силой явится крестьянство. «... Плеханов показал, что взгляды народников ничего общего не имеют с научным социализмом, хотя народники и называли себя социалистами. Плеханов первый дал марксистскую критику ошибочных взглядов народников. Нанося меткие удары народническим взглядам, Плеханов одновременно развернул блестящую защиту марксистских взглядов». Он показал, что Россия вступила на путь капитализма и что выросший на почве появления капитализма рабочий класс, несмотря на свою относительную малочисленность, должен оказаться передовым отрядом в революционной борьбе. Это объясняется тем, что он «связан с наиболее передовой формой хозяйства — с крупным производством, и имеет в виду этого большую будущность». Крестьянство, наоборот, связано с наиболее отсталой формой хозяйства. В отношении крестьянской общины, согласно формулировке «Краткого курса», Плеханов показал, что она «была на самом деле удобной формой для прикрытия кулацкого засилья и дешёвым средством в руках царизма для сбора налогов с крестьян по принципу круговой поруки. Потому-то царизм не трогал крестьянскую общину. Смешно было бы считать такую общину зародышем или базой социализма». Мы не будем касаться других, указанных в «Кратком курсе», заслуг Плеханова в идейной борьбе с народничеством, потому что отчасти уже остановились на них в предыдущей главе, а также потому, что стремились выбрать то, что имеет непосредственное отношение к Плеханову как экономисту.

¹ История Всесоюзной Коммунистической Партии (большевиков) (Краткий курс), стр. 11.

² Там же, стр. 15.

Укажем еще, что И. В. Сталин в своей замечательной работе «О Ленине» приводит Плеханова в качестве примера пролетарского вождя мирного времени, сильного в теории, но слабого в делах организации и практической работы. Такие вожди популярны преимущественно «в верхнем слое пролетариата», да и то до наступления революционной эпохи.¹ Тов. Сталин подчеркивает также и то, что Плеханов был одно время, «самым популярным человеком в нашей партии», но отход Плеханова от пролетарской линии привел к его изоляции.² Таким образом сила Плеханова заключалась, главным образом, в его борьбе за марксистскую теорию. В этой области его заслуги являются неоспоримыми. И, в частности, Плехановым сделано очень много в той области, которая подвергается специальному исследованию в нашей работе, — в политической экономии. Острота плехановской критики экономических трудов современных ему авторов определялась тем, что Плеханов был в России первым ученым, постигнувшим смысл марксизма, как научного мировоззрения пролетарского социализма, как идеологии рабочего класса. В его руках оказался, таким образом, плодотворнейший критерий для оценки чужих теоретических взглядов. Еще в 1887 г. Плеханов писал П. Б. Аксельроду: «Маркс и Энгельс должны быть отомщены, наконец, и на русском языке».³

Плеханов действительно сделал все, что было в его силах для такого «отмщения». Направив марксистский прожектор на сочинения, пользовавшиеся большой популярностью как в России, так и за ее пределами, Плеханов быстро приобрел репутацию одного из последовательнейших учеников Маркса, блистателя ортодоксального марксизма. В конце прошлого века Плеханов несомненно был одним из образованнейших экономистов-марксистов, и такой авторитет надолго закрепился за ним в международной социал-демократии.

Первый этап экономической критики Плеханова, приходящийся на 80-е годы, ознаменовался стремлением размежеваться с теми течениями в экономической науке, которые демагогически пытались доказать свое родство с научным социализмом, хотя в действительности не имели с ним ничего или очень мало общего. Именно такой смысл имели работы Плеханова, направленные против Родбертуса и Лассалля. Увлечение этими авторами в то время было велико, а прочность научных убеждений самого Плеханова, еще недавно порвавшего со своим народническим (черно-перелеским) прошлым, далеко недостаточна, чтобы довести критику Родбертуса и Лассалля до конца. Нужно, однако, удивляться не тому, что

Плеханов кое в чем согрешил в ходе этой критики, а тому, что он так ясно выявил основные ошибки разбираемых им немецких ученых.

Статья о Родбертусе относится еще к 1882—1883 гг. О Родбертусе до Плеханова писал у нас Н. И. Зибер, но работа Плеханова гораздо глубже зиберовской. Плеханову, правда, не удалось предотвратить возникновение в России «родбертусианства». Его критика не помешала, например, А. Скворцову в своей известной работе «О влиянии парового транспорта на сельское хозяйство» 1890 г. выступить в неблагодарной роли защитника родбертусовской теории абсолютной ренты. Прибегая к туманным квазидемократическим, а подчас даже звучащим революционно-офразам, Родбертус привлекал на свою сторону известные слои мелкой буржуазии, стоявшие в оппозиции к крупному капиталу. Демагогия Родбертуса была принята всерьез даже русской цензурой, и, в результате, его труды оставались под запретом даже в те годы, когда «Капитал» Маркса беспрепятственно распространялся в русском обществе. Выпуская, например, в 1906 г. в свет «Четвертое социальное письмо» или «Капитал» Родбертуса, переводчик И. Давыдов сообщает, что этот труд уже однажды погиб «на цензурном ауто-да-фе».¹ Эти цензурные преследования сослужили трудам Родбертуса известную службу, и его имя нередко фигурировало рядом с Марксом. К чести Плеханова нужно сказать, что он в значительной мере раскусил смысл родбертусианства, а при внимательном чтении плехановских работ в исторической последовательности нетрудно убедиться в том, что Плеханов постепенно все более излечивался от всяких следов сочувствия Родбертусу.

Лицо Родбертуса, как одного из идеологов реакционного пруссачества и предшественника современного фашизма, вскрыто теперь с достаточной полнотой, так что можно не останавливаться здесь на этом вопросе. Родбертус был врагом рабочего класса и если иногда ридился в тогу защитника интересов пролетариата, то делал это с целью предотвратить революционный взрыв крохотными реформами в пользу рабочего, которые могли бы разрядить ненависть пролетариата к существующему строю. Тов. Д. Батуринский указывает, что «в целом Плеханов дал неверную трактовку учению Родбертуса и неверную оценку его личности». Плеханов представлял себе Родбертуса как ученого, который якобы сумел «возвыситься над классовыми предрасудками буржуазных экономистов». Однако нужно помнить, что Плеханов писал о Родбертусе до того, как он имел возможность познакомиться с трудами Маркса и Энгельса, в которых дана принципиальная оценка Родбертуса.²

¹ Родбертус. Капитал. Четвертое социальное письмо к фон Кирхману. СПб., 1906, стр. VI.

² Д. Батуринский. Карл Родбертус — один из идеологов реакционного пруссачества. Большевик. 1944, № 13—14, стр. 36.

¹ И. В. Сталин. О Ленине. 1939, стр. 10, 11.

² И. В. Сталин. Беседа с первой американской рабочей делегацией. Вопросы ленинизма, 9-е изд., стр. 271.

³ Переника Г. В. Плеханова и П. Б. Аксельрода, т. I. М., 1935, стр. 31.

Замечания тов. Батуриного вполне справедливы. Но в статье Плеханова можно найти и ряд суждений о Родбертусе, показывающих, как близко подходил Плеханов к пониманию классовой природы прусского реакционера и как трезво оценивал он родбертусовскую демагогию. Сам тов. Батуринский приводит из статьи Плеханова следующую цитату: «Родбертус был и до конца жизни остался землевладельцем не только по положению, но отчасти и по симпатиям». Можно сослаться и на другие, не менее убедительные высказывания Плеханова. Он говорит о Родбертусе, что рабочие «кажутся ему какими-то варварами, более грозными, чем „орды Алариха“». ¹ О практических предложениях Родбертуса Плеханов высказывается в том духе, что «он выступает перед нами в этих планах не столько в качестве беспристрастного ученого, сколько в качестве померанского помещика, никогда не теряющего из виду связи интересов земледельца с интересами капитала». ² Плеханов указывает далее, что Родбертус исключал политическую самостоятельность рабочего класса и «всего ожидал от великодушия и гения какого-нибудь государственного человека... Некоторое время он думал, что таким благодетельным гением явится князь фон-Бисмарк, которым он так восхищался в период франко-прусской войны». ³ Плеханов прекрасно понимал, что не Родбертусу «суждено было стать архитектором, заложившим фундамент новой науки». ⁴ Этими замечаниями мы отнюдь не собираемся поколебать правильность общей оценки отношения Плеханова к Родбертусу у тов. Батуриного. Мы хотели лишь показать, как чутко воспринимал Плеханов в отдельных своих суждениях общий смысл родбертусовских концепций. Но многому у Родбертуса он поверил и поэтому не сумел найти ему правильного места в истории экономических идей.

Плеханов очень подробно и как бы сочувственно излагает Родбертуса, и его обвиняют на этом основании в том, что критика отодвинута у него на задний план. Действительно, если судить по числу страниц, отведенных этой критике, то ее удельный вес пришлось бы признать незначительным. Однако критика эта всегда метко попадает в цель.

Прежде всего, Плеханов ставит Родбертусу в вину то, что «будущий период наступает у него не в силу диалектического развития внутренних противоречий, заложенных в капитализме, а в качестве „акта общественной справедливости“». Социалистическое общество «является у него скорее драгоценным подарком человечеству со стороны прихотливой истории, чем логическим выводом из посылок, коренящихся в современной жизни цивили-

зованных обществ». ¹ Большим минусом у Родбертуса он считает также непонимание того, что общественное развитие неизбежно ведет к «устранению современной профессиональной односторонности», т. е. преодолению противоположности между трудом умственным и физическим. Плеханов отмечает, далее, ничем не оправданные отступления Родбертуса от трудовой теории стоимости. Настаивая на том, что «все предметы потребления стоят труда и только труда», Родбертус все же запутывает свою теорию стоимости признанием основной категорией потребительной стоимости, да еще в форме «социальной потребительной стоимости», лежащей в основе меновой. Плеханов затем недоумевает по поводу того, зачем понадобилось Родбертусу оспаривать у Прудона первенство установления понятия «конституированной стоимости», когда он, в отличие от Прудона, предполагает упразднить товарное производство и обращение.

Плеханов доказывает полную неприемлемость родбертусовского деления на логические и исторические категории. На примере понятия капитала Плеханов прекрасно показывает, что самая суть экономических категорий заключается в общественных отношениях, а эти отношения далеко не одинаковы на различных ступенях общественного развития. Родбертусовская попытка установления различия между логическими и историческими категориями означает лишь неумение формулировать ту особенность товарного способа производства, благодаря которой «общественные отношения людей являются в виде общественного отношения вещей». ² Отвергая теорию кризисов Родбертуса, согласно которой причина кризисов коренится в постоянном падении доли рабочего класса в общественном доходе, Плеханов выдвигает свой тезис о том, что «крупная машинная промышленность до такой степени увеличила эти силы (производительные силы капитализма. — В. Ш.), что они стали в противоречие с данным способом производства и что соответствие между производительными силами и общественным производством может быть достигнуто лишь при планомерном «контроле общества». ³ Очень удачно Плеханов доказывает абсурдность теории ренты Родбертуса. Речь может идти не о наличии или отсутствии сырого материала в той или другой отрасли народного хозяйства, а о стоимости материала, так как в политической экономии все понятия должны выступать не в вещественной, а в стоимостной форме. Но тогда — это общая проблема органического строения капитала, и рента, если бы Родбертус был прав, должна бы возникать не только в земледелии, но во всех производствах с низким составом капитала. Очень критически относится Плеханов к практическим проектам Родбертуса зафиксировать навсегда постоянную долю рабочих в общественном доходе. Идея

¹ Плеханов. Экономическая теория Карла Родбертуса-Ягцева. Соч., т. 1, стр. 344.

² Там же, стр. 161.

³ Там же, стр. 327.

⁴ Там же, стр. 364.

¹ Плеханов. Назв. соч., стр. 344.

² Там же, стр. 351.

³ Там же, стр. 355.

«рабочих денег», которая играет у Родбертуса центральную роль при конкретном развитии этого проекта, была выдвинута Джоном Греем еще в 1831 г. и потеряла неудачу на практике. При товарном обращении неизбежно существование «всеобщего эквивалента». Родбертус хочет вместо этого, упразднив товарное обращение, поручить государству исчислять на основании опыта «среднюю производительность труда» в каждой из бесчисленных отраслей производства. Родбертус думает, следовательно, заменить рыночный регулятор «конституированной стоимостью». Однако весь смысл последнего — в упразднении различия между ценой и стоимостью производства. Это различие может быть устранено только вместе с товарным производством. Но при отсутствии товарного обращения «конституированная стоимость» теряет всякий смысл.¹ Нужно признать, что для России 80-х годов все эти рассуждения Плеханова представляли огромный шаг вперед.

Работа Плеханова о Лассале вышла отдельным изданием в 1887 г. в Женеве, в качестве выпуска «Библиотеки современного социализма». Она перепечатана в IV томе плехановских сочинений. Впоследствии было установлено, что иная версия той же работы печаталась еще в 1886 г. в журнале «Социальное обозрение» на польском языке. В «Литературном наследии» Плеханова воспроизведен наиболее полный текст труда Плеханова о Лассале. В отношении Лассалья Плеханову было еще труднее преодолеть в себе симпатии к разбираемому автору, чем в отношении Родбертуса. Культ Лассалья в те времена был слишком прочен и заразителен. Кроме того, Плеханов, повидимому, не знал, когда писал работу о Лассале, о его предательских переговорах с Бисмарком. Тем не менее, и статья о Лассале меньше всего представляет из себя извинение. Плеханов часто сопоставляет Лассалья с Марксом, чтобы решительно стать на сторону последнего. Особенно возмущается Плеханов лассалевским преклонением перед прусским государством и ожиданием от него «национального подвига» (в брошюре об итальянской войне). Это обращение к прусской монархии странно поражает, по словам Плеханова, в устах человека, выступавшего всегда в качестве «решительного сторонника социал-демократической республики». Он объясняет это противоречие у Лассалья тем, что для него высшей заповедью, заветной мечтой было объединение Германии. «Для ее осуществления он иногда готов был идти рядом с прусским правительством, соглашаясь несогласное, реакционную монархию с революционной демократией».²

Плеханов подробно останавливается также на обнаруживаемой Лассалем в последние годы его жизни склонности к политическим компромиссам и к сделке с реакцией. Позиция Лассалья заключа-

¹ Плеханов. Наза, соч., стр. 363.

² Г. В. Плеханов. Фердинанд Лассаль. Его жизнь и деятельность. Соч., т. IV, стр. 44.

лась в том, что, присутствуя при борьбе между реакцией и прогрессистами, рабочая партия должна «поддерживать слабейшую сторону». Плеханов замечает по этому поводу: «Такая постановка вопроса была крайне ошибочна и вредна. Не высказываясь принципиально против союза рабочего класса с реакцией, Лассаль тем самым допускал его возможность, — конечно при известных условиях». Неудивительно, если преемники Лассалья хотели осуществить то, что он лишь считал возможным, т. е. соглашение с Бисмарком. Под влиянием нападков со стороны прогрессистов «Лассаль вступал мало-помалу на путь недопустимых компромиссов с реакцией, из социал-демократа становился тем, что в настоящее время называют государственным социалистом. Грустно созерцать ошибки великого агитатора».¹ Таким образом Плеханов почувствовал в Лассале предтечу будущего ревизионизма и считал необходимым на этом этапе своей литературной деятельности пригвоздить к позорному столбу готовность к политическим компромиссам.

Разбирая «главный труд» Лассалья, его объемистую книгу «Система приобретенных прав», Плеханов с большой остротой подчеркивает его методологические недостатки. Лассаль «постоянно колеблется между идеализмом и материализмом, между Гегелем и Марксом». В правовой системе Лассаль ищет «саморазвития» понятий. Такой взгляд неуместен в мировоззрении человека, отказавшегося от гегелевской метафизики и удержавшего лишь гегелевский диалектический метод.²

Необходимо еще отметить общую оценку экономического труда Лассалья «Капитал и труд», даваемую Плехановым. Так как политическая экономия не была специальностью Лассалья, то ему пришлось использовать лучшее, что он мог найти в экономической литературе своего времени. По вопросам о товаре, меновой стоимости и деньгах он лишь повторил выводы Маркса из его сочинения «К критике политической экономии». В вопросах об «исторической эволюции капитала» он опирается на Родбертуса. «Подобный эклектизм повливал, разумеется, отрицательно на стройность и цельность экономических взглядов нашего автора; если же мы примем к тому же во внимание исторические ошибки, которые так часто делает сам Родбертус, то легко поймем, почему „Капитал и труд“ может в настоящее время считаться произведением во многих отношениях устаревшим».³ Отсюда видно, что Плеханов считал несоизмеримыми теоретические системы Маркса и Родбертуса и постепенно все более укреплялся в убеждении в «исторических ошибках» последнего.

Говоря о лассалевских производственных ассоциациях, Плеханов отвергает какое-либо практическое их значение для современ-

¹ Литературное наследие Г. В. Плеханова, сборник I. М., 1934, стр. 67.

² Там же, стр. 47.

³ Там же, стр. 68.

ного ему социал-демократического движения. Плеханов ссылается при этом на письмо Лассалья Родбертусу, в котором Лассаль, называя себя коммунистом, сам объясняет, что идею производственных ассоциаций он использовал лишь как агитационное средство.¹ Видимо, Плеханов хотел таким способом доказать, что производственные ассоциации не являются органической частью лассальянского мировоззрения. В этом Плеханов, конечно, ошибался.

В целом, плехановская критика Родбертуса и Лассалья была для своего времени значительным прогрессом не только для русской, но и мировой экономической мысли, так как, несмотря на серьезные промахи в частных вопросах, эта критика все же достигала главной цели: развенчания Родбертуса и Лассалья как претендентов на известное положение в системе научного социализма, рядом с Марксом. Конечно, Родбертус и Лассаль занимают разное положение в истории общественной идеологии своей страны. Но от научного социализма оба они достаточно далеки, и Плехановым было сделано много для доказательства этого положения (столь бесспорного теперь для нас) еще в 80-х годах, когда так важно было правильное размежевание теоретических позиций в политической экономии.

Для понимания взглядов Плеханова, как теоретика-экономиста, наибольшее значение имеют его полемические труды против Чернышевского и Воронцова (писавшего под псевдонимом В. В.). Конечно, трудно придумать больших антиподов, чем названные сейчас две общественных фигуры. Чернышевский — великий мыслитель, демократ и революционер, бывший справедливым кумиром русской молодежи в течение доброй четверти века. Плеханов относился к нему с таким благоговением, что ставил Маркса и Чернышевского рядом, как любимых писателей. Воронцов был наиболее ярким воплощением настроений позднейшего, разлагающегося народничества, — журналист мелкого пошиба, автор бесчисленных трудов, представлявших перепевы нескольких вульгарных мыслей. Плеханов презирал этого человека, считая невозможным ставить его даже на одну ступень с Н. Ф. Даниэльсоном. Воронцов был к тому же монархистом, ведшим политику заигрывания с самодержавием. Если, тем не менее, мы рассматриваем критику Чернышевского и Воронцова у Плеханова в одном разделе, то это только потому, что именно в критических сочинениях против Чернышевского и Воронцова Плеханов наиболее глубоко и подробно разбирает проблемы теоретической экономии: вопросы методологии политической экономии, стоимости и прибавочной стоимости, ренты и т. д.

Говоря о методе в политической экономии, Плеханов блестяще демонстрирует преимущества применяемого Марксом диалектического метода над методом гипотетическим, принятым Чернышев-

ским. Маркс смотрел на экономические явления с точки зрения их внутреннего развития. Поэтому он «держался конкретного, диалектического метода». Социалисты-утописты рассматривали общественную жизнь сквозь призму «здоровой теории». Другими словами, критерием при рассмотрении экономических понятий для них служили основы экономического устройства, которые они считали «нормальными». В своих построениях они, в сущности, сравнивали действительность с идеалом. Таков, в частности, и гипотетический метод Чернышевского. Чернышевский оперирует преимущественно над отвлеченными цифрами.¹ Этот метод он приписывает Давиду Рикардо. Однако возражает ему Плеханов, у Рикардо «гипотезы» были только приемом разъяснения понятий, а не методом изучения явлений.² В этом вопросе правда лишь до известной степени на стороне Плеханова. Он удачно передает сущность марксова диалектического метода в политической экономии и столь же правильно констатирует склонность Чернышевского к цифровым абстракциям. Однако справедливость требует признания того, что Чернышевский далеко не всегда ограничивался гипотетическими построениями. Образцом применения диалектики к процессам развития общественных явлений остается неоднократно упоминавшаяся статья Чернышевского «Критика философских предубеждений против общинного владения». Нельзя считать, будто Рикардо был менее отвлеченным мыслителем, чем Чернышевский. Рикардо, как известно, отрицал правомерность проверки теорий сравнением их с фактами. Чернышевский же, как представитель просветительской идеологии, выгодно отличался от английских классиков стремлением рассматривать экономические категории в их историческом становлении (об этом подробно сказано во второй главе) и считал высшим критерием всякой теории ее жизнеспособность, соответствие с фактами.

Категорию стоимости Плеханов справедливо считает краеугольным камнем всей системы политической экономии. Он показывает, что отход от правильного понимания трудовой теории стоимости приводит затем к ошибкам по всему теоретическому фронту. И у Чернышевского, и у Воронцова была одна и та же опасная тенденция в вопросе стоимости: пожертвовать Рикардо в пользу Д. Ст. Милля. Между тем, Милль проявляет себя при разборе проблемы стоимости, как типичный эклектик. «Уж лучше твердо держаться ошибочных взглядов, — замечает Плеханов, — чем стараться примирить ошибочные взгляды с верными». Милль подносит читателю невероятную смесь, в которой «делается попытка привести истину к одному знаменателю со вздором». У него «ложное возведено в квадрат незаконным сожигательством с истиной. Милль ничему научить не может».³ Плеханов прекрасно раз-

¹ Плеханов, Н. Г. Чернышевский. Соч., т. VI, стр. 76, 77.

² Там же, стр. 78.

³ Там же, стр. 87.

¹ Литературное наследие Г. В. Плеханова, сборник I. М., 1934, стр. 71.

ясняя и причину эклектизма в системе Милля, сбившего с пути многих русских экономистов. Для классиков категории капиталистического хозяйства были «естественными и в этом смысле независимыми от воли и сознания людей». Д. Ст. Милль признавал уже, что капитализм сам является продуктом «длинного исторического движения». Он допустил поэтому принципиальное разделение в политической экономии. Законы производства установлены самой природой. Они стоят над человеком, непреложны для него, вечны. Наоборот, категории распределения зависят от общественных установлений. В этом смысле «миром правят мнения», — в том же духе, как это представлялось французским просветителям XVIII в. Однако Милль не мог остановиться на таком чисто рационалистическом решении. Сами «мнения» представляют продукт исторического развития. Рассуждая подобным образом, Милль попадает в заколдованный круг. Таким образом Милль был далек от принципиальной ясности в вопросах теории. По замечанию Плеханова, «в шестидесяти годах даже и очень даровитому русскому писателю позволительно было не заметить, как много теоретически несостоятельно в приведенном взгляде Д. Ст. Милля.¹ Но теперь эта несостоятельность прямо бросается в глаза».²

В вопросе о стоимости Милль искал взгляды Рикардо. Последний понимал, что закон равенства прибылей противоречит закону стоимости. Он старался по-своему разрешить это противоречие, но при этом продолжал отстаивать свой взгляд на стоимость. Милль же, отпавшись от столкновения закона стоимости и закона равенства прибылей, «выкронил какой-то средний закон стоимости, который совершенно в ложном свете выставляет как природу стоимости, так и природу прибыли».³ Этот эклектизм побуждает Милля склониться к вульгарной теории издержек производства, т. е. изменить трудовому принципу.

Плеханов объясняет известную снисходительность Чернышевского к этому эклектизму Милля в вопросах стоимости тем, что его мало интересовали закономерности капитализма. Как у истинного революционера, его взгляд устремлен в будущее. Это помогло Чернышевскому разглядеть закон стоимости в его современном проявлении. «Если Адам Смит относил, по замечанию Маркса, определение стоимости трудом к до-адамовским временам, то Чернышевский, вместе с Прудоном, относит его ко временам лучшего будущего».⁴ Плеханов, таким образом, склонен приписать нашему великому просветителю нечто вроде «конституированной стоимости» в прудоновском стиле. При этом упускается из виду одно важнейшее обстоятельство. Прудон думал декретировать

«конституированную стоимость» при капитализме, при сохранении обмена товаров между частными их производителями. У Чернышевского эта стоимость вводится для социалистического общества. Следовательно, позиции Прудона и Чернышевского никоим образом нельзя смешивать. Что же касается понимания Чернышевским закона стоимости при капитализме, то нужно иметь в виду, что и Рикардо не справился до конца с проблемой согласования закона стоимости и закона равенства прибылей. Марксом указано, что Рикардо не сумел понять до конца неизбежность отклонения цен производства от стоимостей. Эта проблема разъяснена Марксом в III томе «Капитала». Плеханов высмеивает Воронцова, попытавшегося в своих «Очерках теоретической экономии» предвосхитить марксово решение. Воронцов ограничился тем, что постулировал неизбежность «распределения барышей» за счет отклонения меновых стоимостей от «внутренней ценности». Плеханов доказал, что воронцовское объяснение дано уже Рикардо, когда он принял в соображение влияние времени оборота на цены.¹ Воронцов «не разошелся» с решением проблемы, данной Марксом в III томе, только потому, что он попытался предугадать это решение, пользуясь трудами Рикардо и Родбергуса. Обобщая, можно сказать, что Плеханов удачно показывает несостоятельность движения от Рикардо к Миллю. Это совсем не значит, что он «призывает назад к Рикардо». Но он борется за чистоту рикардизанских построений потому, что к Марксу от Рикардо несравненно ближе, чем от Милля. Заслугой Плеханова при обсуждении проблемы стоимости является также ясное понимание общественных отношений, лежащих в основе этого центрального понятия всей политической экономии. Если искать ключ к пониманию меновой стоимости в свойствах обмениваемых вещей, неизбежны «самые нелепые выводы». А если из отношения людей к вещам нельзя вывести понятие стоимости, то она не может быть и «естественной» категорией, присущей всякому общественному строю.

Следует, однако, отметить эволюцию взглядов Плеханова на Чернышевского, обнаружившуюся по мере того, как он сам стал отходить от марксистских позиций (эта эволюция была подмечена В. И. Лениным). Первая работа Плеханова о Чернышевском написана в 1890—1892 гг., в связи со смертью Чернышевского, и была напечатана в журнале «Социал-демократ». Ленин в статье «Поятное движение в российской социал-демократии» указал, что Плеханов в этой работе «вполне оценил значение Чернышевского и выяснил его отношение к теории Маркса и Энгельса». Но в 1910 г. Плеханов опубликовал книгу о Чернышевском в издательстве «Штильникова», пропитанную совсем иным духом. Отношение к этой работе Плеханова В. И. Ленин лучше всего выразил замечанием на полях книги (см. XXV Ленинский сборник,

¹ Здесь Плеханов явственно намекает на Чернышевского.

² А. Волгин. Обоснование народничества в трудах г-на Воронцова (В. В.). Критический этюд, СПб., 1896, стр. 33, 34.

³ Плеханов. Соч., т. VI, стр. 89.

⁴ А. Волгин. Назв. соч., стр. 50.

¹ Плеханов. Соч., т. VI, стр. 118.

стр. 231), критикуя Плеханова за то, что тот просмотрел практически-политическое и классовое различие либерала и демократа. Плеханов не уловил революционного демократизма Чернышевского. В статье «Крестьянская реформа» и пролетарско-крестьянская революция», говоря о реформе 1861 г., Ленин дал блестящий анализ различия в отношении к реформе у либеральных болтунов, с одной стороны, и революционного демократа Чернышевского, с другой.

Говоря о Плеханове, как экономисте, нельзя забыть о роли, которую он сыграл в идейном разгроме ревизионизма. В конце XIX в. ревизионизм свил себе прочное гнездо в германской социал-демократической партии. К этому течению примыкали отчасти мелкобуржуазные элементы, только тяготевшие к партии, но не связанные с нею в классовом отношении, отчасти и рабочая аристократия, развращенная подачками со стола буржуазии. Застрельщиком ревизионизма выступил Эдуард Бернштейн. Вожди германских социал-демократов (Каутский, Бебель) медлили выступать против одного из руководителей своей партии, каким был Бернштейн. Инициаторами идейного похода против бернштейнианства оказались «иностранные» — Плеханов и Роза Люксембург. Борьба началась против немецких ревизионистов — Бернштейна, К. Шмидта, а потом была перенесена и на русскую почву, против отечественных их союзников, столпом которых был Петр Струве. Разгрому подверглись, прежде всего, философские позиции ревизионистов, и особенно их попытки повернуть «назад к Канту» в философской области. Однако большое внимание было уделено и социально-экономическим вопросам, которыми мы здесь и ограничимся.

Плеханов выступил против ревизионистов не без колебаний, но по мере углубления антибернштейновской кампании его критика приобретала все большую остроту и меткость. Его настроения этого периода лучше всего можно усмотреть из его переписки с П. Б. Аксельродом. Сначала Плеханов не обнаруживает большой склонности вступать в бой с ревизионистами. Еще в начале 1898 г. Плеханов пишет: «Третировать Бернштейна, подобно тому как я третировал Воронцова, я, разумеется, не стану». Причина та, что Бернштейн — «заслуженный товарищ». Плеханов собирается быть крайне осторожным и тактичным. «Было бы большой ошибкой с моей стороны начать играть роль Бакунина, обвиняющего Западную рабочую партию в отсталости, неревolutionности и т. п. Такая роль неблагодарна. Стало-быть, нужно ждать, что скажут сами немцы». ¹ К счастью, Плеханов не удержался на этой выжидательной позиции. Его статьи были несравненно принципиальнее и выдержаннее, чем выступления Каутского и других германских социал-демократов, и отличались большой полемической заостренностью. Эта острота перепугала Аксельрода, дорожившего сохра-

нением хороших отношений с вождями германской социал-демократической партии. Он осуждает поэтому в одном из своих писем «внешние формы» плехановской полемики и сожалеет, что «Жорж», т. е. Плеханов, не выпустил всей накопившейся в нем злости «против Зомбарта, как первоисточника всех ересей». ¹ Но Плеханов остается довольным, что он «ловко отделил эту шельму, Конрада Шмидта. Долго не очухается». ² В марте 1899 г. Плеханов в письме к Аксельроду высказывается в том духе, что «главный вред Бернштейна в той путанице понятий (теоретических), которую он вносит». ³ В том же 1899 г. Плеханов убеждает Аксельрода в том, что бернштейнизм «грозит самому существованию социальной демократии» и восклицает: «Мы должны противопоставить влияние наших *катедер-марксистов* свое влияние марксистов-революционеров». ⁴

Плеханов замечательно уловил самую суть ревизионизма: как он представлял себе, это направление стремилось путем «реалистических» поправок обезвредить Маркса для буржуазии, вырвать у марксизма «революционную страсть», противопоставить Марксу революционеру Маркса-реформатора, Маркса-«реалиста». ⁵ Ревизионисты являлись дюжинными сторонниками социальных реформ. Они хотели бы притти от капитализма к социализму путем постоянного и систематического «шопанья» общественной ткани капиталистического строя. Со свойственным ему остроумием Плеханов вышучивает эту теорию «шопанья». По его словам, «возникновение новой «общественной ткани», как следствие усиленного шопанья старой, есть единственный, признаваемый гг. «критиками» случай перехода количества в качество. Но это сомнительный случай. Если я шопаню чулки, то они останутся чулками и не превратятся в перчатки даже в том крайнем случае, когда вся их «ткань» подвернется сплошному обновлению». ⁶ Плеханов возводит социал-реформизм Бернштейна к воззрениям таких дюжинных буржуазных экономистов, как Гошен, Шульце-Геверниц, а теории этих последних считает лишь вариацией «гармонического» учения Кэри-Бастиа. Таким образом Бернштейн хочет сочетать теории основоположников марксизма с вульгарными догмами апологетов буржуазии. Неужели же «оставленное нам Марксом и Энгельсом великое наследие может что-нибудь выиграть от эклектической амальгамации с учениями буржуазных экономистов»? ⁷

Основная ошибка ревизионистов заключается в том, что они отказываются от самого понятия *социальной революции*. В их

¹ Переписка Г. В. Плеханова с П. Б. Аксельродом, т. I, М., 1925, стр. 208—209.

¹ Переписка Г. В. Плеханова с П. Б. Аксельродом, т. II, М., 1925, стр. 56.

² Там же, стр. 61.

³ Там же, стр. 75.

⁴ Там же, стр. 81.

⁵ Г. В. Плеханов. Статьи против Струве. Соч., т. XI, стр. 269.

⁶ Там же, стр. 256.

⁷ Г. В. Плеханов. За что нам его благодарить? Соч., т. XI, стр. 27.

изображения свойственные капитализму противоречия не обостряются, а притуляются с его историческим развитием. Ревизионистская апологетика направляет наиболее пристальное свое внимание на изучение динамики доходов в капиталистическом обществе. Ложное, некритическое использование источников приводит ревизионистов к выводу, что в современном обществе средние доходы имеют тенденцию увеличиваться. Гошен видит в этой тенденции развитие «автоматического социализма». Мельголл говорит в этом же смысле о «диффузии богатства». Экономические позиции «великого центра обитания» — среднего класса — таким путем укрепляются. Шульце-Геверниц и его верные ученики из лагеря ревизионистов, вроде Бернштейна или Струве, говорят также об увеличении доли труда в общем продукте национального производства. Всем этим апологетическим утверждениям Плеханов противопоставляет тезис об «увеличении расстояния между бедными и богатыми». ¹ Плеханов доказывает, что Струве «очень ошибается, приурочивая рост эксплуатации рабочего класса к начальной стадии капитализма». ² В действительности, обеспеченность рабочего с развитием капитализма понизилась, а степень его эксплуатации капиталистом повысилась. И понятно почему: высокая степень эксплуатации «возможна только при очень развитой производительности труда». Это повышение производительности тесно связано с изменением органического состава капитала. Уменьшение продолжительности рабочего дня, как показатель ослабления степени эксплуатации, является неубедительным: «сокращение рабочего дня с лихвой окупилось увеличением напряженности труда». Повышение заработной платы может сочетаться с понижением цены труда и с возрастанием степени эксплуатации рабочего. Рабочая сила бельгийского рабочего, например, «до сих пор продается гораздо ниже своей стоимости». Питание пролетария не восстанавливает его рабочей силы. Ссылая на то, что Маркс придавал большое значение фабричному законодательству, как средству улучшения положения рабочего класса, тоже ни в какой мере не решает дела. Нужно подсчитать *калгебраическую сумму* выгодных для пролетариата последствий фабричного законодательства, представляющих собою *положительную* величину, и той тенденции к ухудшению социального положения рабочего класса, которая свойственна капитализму и которая составляет величину отрицательную. ³

В борьбе против ревизионизма Плехановым прекрасно разъяснено соотношение явлений социальной революции и реформы в процессе исторического развития общества. Струве пробовал отрицать самое понятие социальной революции. Он утверждал, что «природа скачков не делает» и «интеллект их не терпит». Этот тезис Струве

сводится к идее непрерывности и плавной эволюционности исторического развития. Указанный тезис настолько противоречит всем данным истории, что Плеханов мог, раньше всего, напомнить Струве о той несомненной роли, которую социальные революции фактически сыграли в истории. «Если понятие *социальная революция* не выдерживает критики, то спрашивается, как же быть с теми социальными революциями, которые уже совершались в истории? Считать ли их *несовершившимися* или признать, что они не были революциями в том смысле, какой придает этому слову правоверные марксисты? Но если мы даже и скажем, что, например, Великая Французская революция на самом деле вовсе не имела места, то ведь этому вряд ли кто поверит». ¹ Плеханов доказывает, что «изменение всегда совершается скачками», и мелкие скачки, следующие один за другим, сливаются в общий «непрерывный» процесс. Скачки предполагают непрерывное изменение, а непрерывное изменение приводит к скачкам.

Противники марксизма, как мы видели, старались уверить, что самая потребность в социальной революции снимается благодаря реформам, которые притупляют классовые противоречия в обществе. Плеханов ссылается в опровержение этого положения на исторический опыт французского «старого режима», который подливал все более и более, несмотря на уступки, которых удавалось добиться буржуазии у господствующего класса. Эти реформы не только не притупляли противоречий между новаторскими устремлениями буржуазии и существующим порядком, но, наоборот, давая новый толчок росту сил буржуазии, еще более развивали эти стремления и тем еще более *обостряли* эти противоречия, постепенно подготавливая ту бурю, с началом которой речь пошла уже не о *реформе*, а о *революции*, не о *преобразованиях внутри старого порядка*, а о *полном его устранении*. ² Социальные реформы, осуществляемые при капитализме, также меньше всего способны предупредить революцию, направленную на уничтожение самых основ капиталистического строя. В частности, уже отмечалось, что относительная доля рабочего класса в общественном доходе уменьшается во всех передовых капиталистических странах». Следовательно, несмотря на реформы, противоречия не ослабевают, а обостряются. При таких условиях те, кто мечтает о «социализме на капиталистической основе», проявляют лишь свой «консервативный инстинкт буржуазии». Хотя они и говорят о реформах, но на деле оказываются консерваторами, так как мечтают о сохранении основ капиталистического способа производства. ³ Плеханов замечает язвительно по адресу Струве, что, может быть, действительно не терпит скачков не интеллект вообще, а только интеллект самого

¹ Г. В. Плеханов. Статьи против Струве. Соч., т. XI, стр. 195.

² Там же, стр. 212.

³ Там же, стр. 219.

¹ Г. В. Плеханов. Назв. соч., стр. 241.

² Там же, стр. 173.

³ Там же, стр. 263.

Струве «по той простой причине, что он — как говорится „терпеть не может диктатуры пролетариата“».¹

В результате всей критики ревизионизма, Плеханов справедливо объявляет его «буржуазной пародией на марксизм».² Он ставит вопрос очень резко: «кому кем быть похороненным: социал-демократии Бернштейном или Бернштейну социал-демократией».³ При той терпимости, которую международная социал-демократия обнаруживала в отношении ревизионизма, четкость Плеханова в определении социальной природы бернштейнианства и струвизма представлялась важным достижением.

Наибольший интерес в разрезе разбираемой нами темы представляет эволюция взглядов Плеханова на аграрный вопрос и роль крестьянства в русской революции. В этой области Плеханов прошел сложный путь, приведший его из одной крайности в другую: от пародической веры в социалистическую общину до сказывающегося у него в более поздние времена отрицания значения крестьянства в международном революционном движении. Казалось бы, этот путь представляет собой сплошное нагромождение ошибок. На деле это не так. В процессе изменения своих взглядов Плеханов выполнил важнейшую *критическую* работу, которая помогла русской общественной мысли избавиться от упрощенной концепции 70-х и 80-х годов, объединявшей рабочего и крестьянина в одной социальной категории. Пролетаризация Плехановым эволюция была плодотворной еще и в том отношении, что она как бы сама толкала к новому синтезу — к признанию крестьянина естественным союзником рабочего. В самом деле, первоначальная позиция, получившая такое яркое выражение в книге Флеровского, заключалась в провозглашении крестьянина тем же рабочим. Впоследствии Плеханов (в тот период, когда он находился под наиболее сильным воздействием концепций международной социал-демократии) трактует крестьянина как мелкого земельного собственника и тем самым противопоставляет его рабочему, воздвигая между этими двумя общественными классами непроницаемую перегородку. Рабочий и крестьянин противопоставят друг другу, как две совершенно чуждые социальные категории. Такова была психологически понятная реакция против крайностей позиции Флеровского. Но анализ социально-экономического положения крестьянства у Плеханова был двойственным: видя в крестьянине собственника, Плеханов усматривал между рабочим и крестьянином наличие промежуточных ступеней, разрушавших самое представление о непроницаемой перегородке. Дialeктика развития взглядов самого Плеханова заключалась в том, что первоначально эти промежуточные категории изображались, как увидим ниже, в духе зарисовки рабочих в крестьянские цвета, так что рабочий обезли-

чивался, растворялся в крестьянской массе. А впоследствии те же промежуточные категории, превращаясь в полупролетариев, обеспечивают крестьянам возможность восприятия пролетарской идеологии. Таким образом пока Плеханов рассматривал рабочего и крестьянина в их четком теоретическом понимании, без всяких «примесей», ему казалось, что это совершенно разные в социальном смысле фигуры. Но как только он обращался к действительности, строгие линии этого теоретического чертежа сплывались и, вместо отталкивания, получалось притягивание. Плеханов представлял антитезу в отношении крестьянских писателей 70-х и 80-х годов, но он сам подготовлял и синтез. Этот синтез пришел с Лениным и Сталиным. Попробуем же показать на немногих примерах, как изменялись позиции Плеханова в крестьянском вопросе.

Выступая в 1879 г. в «Земле и Воле», Плеханов еще несколько неуверенно признает рабочих «драгоценными союзниками крестьян в момент социального переворота». Вопрос ставится именно так: не крестьянин является союзником рабочего, а наоборот. Причина такой постановки вопроса определяется тем, что земледельцы представляют «огромное большинство» населения, а из небольшой кучки рабочих преобладающая часть все еще остается теми же земледельцами «по симпатиям и положению».¹ Для этих рабочих фабрика «является только видом отхожего промысла». Попадая в город, такой превратившийся в рабочего крестьянин сохраняет все свои связи с деревней. Поэтому «вопрос аграрный, вопрос общинной самостоятельности, земля и воля, одинаково близки сердцу рабочего, как и крестьянам. Словом, это не оторванная от крестьянства масса, а часть того же самого крестьянства».² От этой точки зрения, что называется, рукой подать до позиции Флеровского. Крестьянство составляет ядро трудящегося населения, «рабочего класса». И революция у нас должна быть крестьянская. Фабричные рабочие могут оказать ей лишь некоторое содействие. Говоря словами Плеханова, «городская революция должна и может отвлечь силы правительств и дать крестьянскому восстанию время окрепнуть и развиться до степени непобедимости».³ Таким образом в 1879 г. у Плеханова нет еще ни ясного представления о пролетариате, как общественном классе, ни о его роли в социалистической революции.

Однако в конце 80-х годов, когда Плеханов стал марксистом и познакомился довольно близко с рабочей средой, он разбирается уже довольно отчетливо в том, что крестьянина и рабочего нельзя объединять в общей социальной категории. В известной своей работе «Русский рабочий в революционном движении» Плеханов, оглядываясь назад, на период своего увлечения народническими

¹ Плеханов. Закон экономического развития общества. Соч., т. I, стр. 64, 65.

² Там же, стр. 69.

³ Там же, стр. 70.

¹ Г. В. Плеханов. Наза, соч., стр. 243.

² Плеханов. Сопр. против Канта. Соч., т. XI, стр. 65.

³ Плеханов. За что нам его благодарить? Соч., т. XI, стр. 35.

идеями, вспоминает о первых своих встречах с рабочими и о тогдашних попытках вовлечь рабочих в революционную пропаганду в деревне. Эти стремления оказались тогда бесплодными. Рабочим, говорит Плеханов, было еще труднее сойтись с крестьянами, чем интеллигентам. Петербургские рабочие смотрели на «деревенского человека» сверху вниз. «Они называли его *серым* и в душе всегда несколько презирали его, хотя совершенно искренно сочувствовали его бедствиям».¹ Плеханов очень ярко изображает теперь психологический перелом, происходивший в крестьянине, перебравшемся в город. Раньше Плеханову казалось, что русский рабочий, сохраняя связи с деревней, остается по существу крестьянином. Теперь все это воспринимается по-иному. «Только что пришедший из деревни фабричный, разумеется, оставался в течение некоторого времени настоящим крестьянином. Он и жаловался не на хозяйскую прижимку, а на тяжелые подати, да крестьянское малоземелье». Но постепенно он подчинялся влиянию городской жизни. Теперь он «уже плохо чувствовал себя в деревне». Если ему приходилось уезжать на время домой, он ехал туда, как в ссылку. По возвращении в город такие рабочие становились недругами «деревенщины». Плеханов не скрывает и причин этого перерождения: «деревенские нравы и порядки становились невыносимыми для человека, личность которого начинала хоть немного развиваться. И чем даровитее был рабочий, чем больше думал и учился он в городе, тем скорее и решительней разрывал он с деревней».²

В зрелой форме воззрения Плеханова на пролетариат и крестьянство, как социальные категории, выражены в его статьях на эту тему, печатавшихся в «Искре» 1903 г., почему мы и остановимся на этой работе Плеханова поподробнее. Дав обычное определение пролетария, Плеханов переходит затем к рассмотрению вопроса, что такое крестьянин. В его глазах это — «прежде всего землевладелец». На этом определении, однако, трудно остановиться, так как ведь и прусский юнкер — землевладелец, а поставить знак равенства в каком-либо смысле между юнкером и крестьянином было бы несправедливо. Как же, по каким признакам выделить крестьянина среди других типов землевладельцев? Плеханов приходит к выводу, что граница может быть только количественная: по размерам землевладения. Однако, если даже определить для крестьянского землевладения какой-то верхний лимит, то все же окажется, что и среди самих крестьян различия так велики, что приходится противопоставить хотя бы две группы: живущих трудом своих рук и, во-вторых, ведущих хозяйство при помощи наемной рабочей силы, т. е. предпринимателей, эксплуататоров. Эти две категории крестьян, отмечает Плеханов, «соединяются между собою множеством промежуточных степеней,

¹ Плеханов. Русский рабочий в революционном движении. Соч., т. III, стр. 133.

² Там же, стр. 130.

делающих почти незаметным переход от одной из них к другой».¹ Перекинув, таким образом, мостик между кулаком и трудящимся крестьянином, Плеханов затрудняется затем признать целесообразным с научной точки зрения включение «крестьянина, собственного трудом возделывающего свое поле», в один социальный разряд производителей, неположенных в эксплуатации своих граждан, вместе с рабочими и ремесленниками, не имеющими наемных рабочих. Во времена утопического социализма можно было довольствоваться разграничениями, построенными на морали. Но в период научного социализма могут быть признаны правильными только научные классификации явлений. «Мы можем сколько угодно почитать волка и хвалить собаку. Это не помогает зоологу отнестись к тому и другому к одному роду *canis*».² Решать подобные вопросы можно отнюдь не на основании нравственных оценок, а путем анализа производственных отношений. С этой точки зрения «пролетарий» совсем не то, что мелкий самостоятельный производитель. Один трудится для себя, другой — для хозяина. В этом существенная разница. Поэтому готовность растворить понятие «пролетарий» в более широком понятии «трудящийся» изобличает человека, который «или ничего не понимает в современном социализме, или умышленно насаждает теоретическую путаницу ради какой-нибудь практической цели». Производственные отношения при капитализме таковы, что освобождение пролетариата от ига капитала возможно лишь через социальную революцию. Иное положение у мелких производителей. Их жизненный интерес требует сохранения частной собственности на средства производства. «Если производственные отношения делают из пролетария революционера, то из мелкого производителя они делают консерватора». Даже если он недоволен, его недовольство пропитано духом консерватизма или реакции. Его недовольство направляется «не против частной собственности на средства производства, а против того, что мешает ему воспользоваться выгодами такой собственности».³ Это не значит, впрочем, что крестьянина нельзя привлечь на сторону социализма. Рост капитализма делает позицию мелкого производителя все более неустойчивой. Таким путем создается почва для присоединения мелкого производителя к революционному движению. Но психологическим условием такого присоединения является осознание того, что частная собственность должна уступить место общественной. А до тех пор, пока он ограничивается требованием таких мер, которые укрепили бы его положение как мелкого производителя, «пока он стремится не к социальной революции, а лишь к некоторым социальным реформам, которые задержали бы победоносное шествие крупного капитала или ограничили бы область его вторжения, до тех пор он не социалист, и ему нечего делать

¹ Плеханов. Пролетариат и крестьянство. Соч., т. XII, стр. 287, 288.

² Там же, стр. 289.

³ Там же, стр. 292.

между социалистами». ¹ Нужно, чтобы разобраться в этом вопросе, детально исследовать социальную природу той или другой группы мелких производителей. Какова, например, программа германских ремесленников? Они стараются замедлить ход экономического развития. От их программы «несет средними веками». Иное положение венгерских владельцев мелких парцелл. Они «полупролетарии по своему экономическому положению». Поскольку такой парцеллярный собственник продает рабочую силу, он перестает быть мелким производителем и становится пролетарием. Чтобы целиком перейти на точку зрения пролетариата, владельцу парцеллы нужно «потерять надежду на улучшение своего положения в качестве собственника микроскопических средств производства и сосредоточить свои усилия на защите своих интересов как продавца рабочей силы». ² На своих съездах эти венгерские парцеллярные крестьяне-полупролетарии предъявляют требования, идущие в ногу с венгерской социал-демократией. Таким образом теперь уже Плеханов видит в социальном слое, занимающем промежуточное положение между пролетариатом и крестьянством, категорию, которая естественно тяготеет к идеологии рабочего класса. Какой сдвиг произошел в сознании Плеханова с 1879 г., когда он охотнее всего видел в рабочем лишь своеобразную разновидность крестьянина!

Разбирая влияние на развитие классовой борьбы в деревне возникновения различных форм крестьянской кооперации, Плеханов удачно показывает, что кооперация не может быть средством насаждения социализма и минования капиталистической фазы. Кооперация может помочь парализовать в деревне дотошные формы эксплуатации, исходящие от ростовщика и скупщика-торговца. Если эти категории исчезнут, то, с другой стороны, вырастет благосостояние некоторой части крестьянства, которая «перейдет в ряды средней буржуазии». Это будет прологом к усиленному расслоению крестьянской массы. Что касается специально производственных товариществ в деревне, то наемному труду в них нечего делать: сельские батраки в них не идут. В случае удачи эти товарищества сами становятся капиталистическими предприятиями и эксплуатируют наемную рабочую силу. ³

Работа Плеханова, содержание которой только что разобрано нами, осталась незаконченной. Плеханов собирался специально рассмотреть вопрос о соотношении пролетариата и крестьянства в России. Поэтому нам остается лишь гадать, думал ли Плеханов прямолинейно применить свои воззрения на крестьянина как, прежде всего, земледельца и врожденного консерватора, к нашей стране. Известное предубеждение против крестьянства как участника революционного движения, несомненно, было у Плеханова с тех пор, как он сделался марксистом. Однако нельзя ска-

зывать, что он готов был совсем игнорировать особенности социальных условий России, связанных с сохранившимися у нас в таком обилии крепостническими отношениями. Плеханов далеко не всегда был склонен непременно укладывать нашего крестьянина в прокрустово ложе западно-европейских экономических категорий. В этом отношении характерна, например, статья «Ортодоксальное» ⁴ буквоеды. Плеханов поддерживает в ней взгляды В. И. Ленина по аграрному вопросу, которые он интерпретирует так: «Товарищ Ленин, в своей статье об аграрной программе русской социал-демократии, заметил, что там, где дело касается движения промышленных рабочих, мы многое возьмем готовым у немцев», а в аграрной области нам, может быть, удастся выработать нечто новое». Из текста статьи видно, что Плеханов солидаризируется с такой постановкой вопроса. Но «ортодоксальные» буквоеды сразу настаивают против приведенной формулировки. «Чего не было в сочинениях Маркса и Энгельса, не может быть ортодоксально. Значит, Ленин еретик и его надо третировать как такового». Ленин (опять-таки в передаче Плеханова) утверждал, что в аграрной области «не все, справедливое на Западе, справедливо на Востоке». Буквоеды иронизируют и по этому поводу: на Западе программа, ставящая целью умножать мелкое хозяйство и мелкую собственность, является, как известно, нарушением принципов социал-демократии. А у нас готовы умножать мелкую собственность во имя устранения остатков крепостничества и свободного развития классовой борьбы в деревне! Принимая вызов, скрытый в этих иронических замечаниях, Плеханов напоминает, что западно-европейская аграрная программа имеет в виду современное буржуазное общество с соответствующим ему экономическим и правовым положением крестьянина. У нас общественные отношения, замечает Плеханов, совсем иные. Капитализму еще предстоит окончательно утвердиться и ликвидировать остатки крепостничества. Это не значит, конечно, что при всех условиях нужно стоять за умножение частной собственности. Подобное требование уместно там, где оно может привести к укреплению хозяйства крестьянина за счет помещика и, следовательно, оказать содействие экономическому развитию общества. Так, знаменитые «отрезки» тормозят развитие нашего сельского хозяйства. Поэтому возвращение крестьянам отрезков подкапывается интересами социалистической революции. Оно идет в ногу с развитием производительных сил. Плеханов считает также возможным отстаивать ликвидацию общины, несмотря на то, что это должно привести к расширению частной земельной собственности. Однако, развивая эту мысль, Плеханов сворачивает, так сказать, в сторону и неожиданно связывает разрушение общины с борьбой против самодержавия. Он исходит от того, что земля и привязанный к ней крестьянин всегда принадлежали в России «казне». Поэтому «чтобы повалить царизм, надо разрушить его экономическую основ-

¹ Плеханов. Изв. соч., стр. 293.

² Там же, стр. 299.

³ Там же, стр. 311.

а для этого необходимо поставить крестьянина в условия современного частного землевладения и устранить фактически установившуюся у нас азиатскую форму государственного землевладения. Как известно, именно эта мысль, основанная на превратной исторической концепции, побуждала Плеханова выступать против национализации земли, как якобы реакционной, вопреки своей революционной внешности, меры.¹

В борьбе против плехановской позиции по аграрному вопросу на IV съезде партии Ленин показал, что корень разногласий заключался в действительности в страхе Плеханова перед аграрной, крестьянской революцией, и вместе с тем в его недоверии к ее силам. В период III съезда Ленин и Плеханов не расходились существенно в формулировке аграрной программы. Ленин писал: «И Плеханов и я в печати указывали, что с.-д. партия никогда не станет удерживать крестьян от революционных мер аграрного преобразования вплоть до „черного передела“». ² III съезд партии состоялся весной 1905 г. Размах движения 1905 г. поставил вопрос об аграрной революции и о захвате власти крестьянством. Тут-то и проявилась у Плеханова боязнь крестьянской революции. О генезисе этой боязни Ленин писал следующее: «Не прав ли был Воинов, говоря, что Плеханова до того в молодости напугали народолюбцы, что они ему мерещатся даже тогда, когда он сам признает неизбежность крестьянской революции и когда иллюзий насчет крестьянского социализма нет ни у кого среди с.-д.?» ³ Ошибка Плеханова состояла в том, что он действительно смешал ленинскую идею захвата власти революционным крестьянством с народолюбческой идеей захвата власти. У народолюбцев 70-х и 80-х годов, как справедливо указывал Ленин, идея захвата власти культивировалась в надежде, что основной революционной силой окажется небольшая группа интеллигентов-революционеров. Массового революционного движения тогда не было. Но после того, как «широкие массы рабочего класса, полупролетарских элементов и крестьянства показали миру невиданные давно уже формы революционного движения», сводить идею захвата власти революционным крестьянством к народолюбчеству, значит «запаздывать на целых 25 лет, значит вычеркивать из истории России целый громадный период». Ленин признавал аграрную революцию пустой фразой, если ее победа не предполагает захвата власти революционным народом. «Без этого последнего условия это будет не аграрная революция, а крестьянский бунт или кадетские аграрные реформы». ⁴

Но как же у Плеханова боязнь или недоверие к крестьянской революции увязывались с отрицанием национализации земли? Опираясь на исторические прецеденты, Плеханов считал вполне возможным, что за широким революционным размахом последует реставрация. Поэтому социал-демократическая программа должна быть сформулирована так, чтобы свести к минимуму вред, возможный при реставрации. Эта программа должна быть рассчитана на то, чтобы разбить экономическую основу царизма. Национализация земли, наоборот, должна привести к сосредоточению в руках правительства огромной экономической силы. При отсутствии «гарантий от реставрации» такая аграрная программа представлялась опасной.¹

Таким образом под влиянием событий 1905 г. у Плеханова окончательно сложилось неправильное убеждение, что крестьянство не может быть прочной опорой пролетариата в революционном движении. В этом сказалась общая тенденция его «скидывать со счета» крестьянство, о которой говорится в «Кратком курсе истории ВКП(б)». Хотя Плеханов был и выдающимся пропагандистом марксизма, но он не сумел до конца творчески применить его к русским условиям. Его коренным грехом была недооценка крестьянства как революционной силы.

¹ Плеханов. «Ортодоксальное» букввоедство, Соч., т. XI, стр. 402—408.

² В. И. Ленин. III съезд Р.С.-Д.Р.П. Соч., т. VII, стр. 278.

³ В. И. Ленин. Доклад об объединительном съезде, Соч., т. IX, стр. 194, 195.

⁴ Там же, стр. 152.

¹ В. И. Ленин. Аграрная программа с.-д. в период русской революции. Соч., т. XI, стр. 417—418.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

ЛЕНИН И СТАЛИН — ВЕРШИНА РУССКОЙ И МИРОВОЙ
ОБЩЕСТВЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МЫСЛИ

Период, лишь немногим превышающий полвека, отделяет нас от первых выступлений В. И. Ленина в качестве экономиста-теоретика. Эти полвека создали величайшую мировую славу нашей отечественной политической экономии. Труды русских классиков марксизма — Ленина и Сталина — представляют собой вершину русской и одновременно и мировой общественно-экономической мысли. Они не только блестяще завершают начатую Марксом и Энгельсом критику капиталистического строя, подымая на непревзойденную высоту политическую экономию капитализма в ее пролетарском понимании, но и закладывают основы новой науки: политической экономии социализма. Последней мы будем иметь возможность коснуться здесь лишь мимоходом. Вклад, внесенный в экономическую науку Лениным и Сталиным, так грандиозен, что даже и теоретические построения наших величайших корифеев науки в области политической экономии капитализма удастся осветить лишь в самых общих контурах.

Мы знаем, что ленинизм есть явление интернациональное и что он является дальнейшим развитием марксизма. Лучшее всего о том новом, что ленинизм внес в мировую сокровищницу знаний, сказал И. В. Сталин в беседе с первой американской рабочей делегацией 9 сентября 1927 г. Делегаты американских рабочих хотели выяснить, выдвинуты ли Лениным и нашей коммунистической партией какие-нибудь «новые принципы» и можно ли утверждать, что Ленин «верил в творческую революцию», тогда как Маркс «был более склонен ожидать кульминационного развития экономических сил?» Отвечая на этот вопрос, И. В. Сталин указал, что Ленин не вносил в марксизм «новых принципов»; он был и остается «самым верным и последовательным учеником Маркса и Энгельса, целиком и полностью опирающимся на принципы марксизма». Но это обстоятельство ни в коей мере не мешает нам признавать ленинизм дальнейшим развитием учения Маркса. При этом, однако, то новое, что внесено Лениным в сокровищницу марксизма «базируется целиком и полностью на принципах, дан-

ных Марксом и Энгельсом»¹. Это замечательное указание Сталина дополняется анализом теоретических особенностей ленинизма, данным в «Кратком курсе истории ВКП(б)». Здесь отношение Ленина к учению Маркса—Энгельса противопоставляется позиции оппортунистов. «Оппортунизм проявляется иногда в попытках уцепиться за отдельные положения марксизма, ставшие уже устаревшими, и превратить их в догмы, чтобы задержать тем самым дальнейшее развитие марксизма, — следовательно, — задержать также развитие революционного движения пролетариата»². Ленин же, не пугаясь обвинений в отходе от марксизма со стороны оппортунистов, совершенствовал марксистскую теорию на базе изучения новейшей капиталистической действительности, мешал превращению учения Маркса в «мумию», как того хотели оппортунисты. В результате, констатирует Краткий курс, «можно сказать без преувеличения, что после смерти Энгельса величайший теоретик Ленин, а после Ленина — Сталин и другие ученики Ленина — были единственными марксистами, которые двигали вперед марксистскую теорию и обогатили ее новым опытом в новых условиях классовой борьбы пролетариата»³. Таким образом Ленин и Сталин, хотя и не внесли новых принципов в марксистскую теорию, но способствовали развитию и усовершенствованию марксизма.

И. В. Сталин указал также ряд конкретных вопросов, в которые Ленин внес новое содержание. В частности, для нашей темы особенно важно отметить, что он являлся теоретиком новой фазы в развитии капитализма — империализма, «когда главное эволюционирование капитализма сменилось скачкообразным, катастрофическим развитием капитализма, когда неравномерность развития и противоречия капитализма выступили с особой силой, когда борьба за рынки сбыта и вывоза капитала в условиях крайней неравномерности развития сделала неизбежными периодические империалистические войны на предмет периодических переделов мира и сфер влияния». При этом Ленин, мастерски применяя основные положения «Капитала», вскрыл противоречия империализма и доказал неизбежность его гибели. Он впервые построил теорию возможности победы социализма в отдельных капиталистических странах в эпоху империализма.

Лениным внесено также новое в вопрос о диктатуре пролетариата. По словам И. В. Сталина, Ленин «открыл советскую власть как государственную форму диктатуры пролетариата, используя для этого опыт Парижской Коммуны и русской революции».

¹ И. В. Сталин. Беседа с первой американской рабочей делегацией 9 сентября 1927 г. «Вопросы ленинизма», изд. 9-е, стр. 263.

² История Всесоюзной Коммунистической партии большевиков. Краткий курс, стр. 341—342.

³ Там же, стр. 342.

В этом вопросе Ленин внес исправление в ту доктрину, на почве которой еще стоял Энгельс. Как указано в Кратком курсе, Энгельс до конца дней своих считал парламентскую республику наиболее правильной и целесообразной формой диктатуры пролетариата после победы пролетарской революции. Ленин не спасовал перед буквой марксизма и, анализируя советы, которые были созданы в 1905 г. и получили классическое завершение в 1917 г., признал их наиболее рациональной формой государственного строя, соответствующей диктатуре пролетариата.

Не будем останавливаться на других, отмеченных И. В. Сталиным, вопросах марксистской теории, в которые Лениным были внесены новые элементы: на вопросе о формах и способах успешного строительства социализма в переходный период от капитализма к социализму, на вопросе о гегемонии пролетариата в революции, на национально-колониальном вопросе. В целом можно констатировать, что ленинизм представляет собой замечательную и плодотворнейшую эпоху в развитии марксистской доктрины. Возникновение ленинизма явилось следствием того, что русская революция родилась в борьбе против царизма, уничтожила его, но вместе с тем подняла знамя борьбы и против империализма. Совершенно естественно, нужно было дать пролетариату в руки теоретическое оружие, которое помогло бы испровержению империализма. Таким учением и явился ленинизм. Творцом этого учения был В. И. Ленин.

В развитии теоретических экономических взглядов Ленина можно выделить три важнейших этапа: с 1893 г. и по весну 1899 г. Ленин вел активнейшую теоретическую борьбу против народничества и в процессе борьбы пришел к необходимости подробнейшего рассмотрения вопроса об общественном воспроизводстве в капиталистическом хозяйстве как теоретически, так и применительно к русским условиям. В годы, непосредственно предшествовавшие революции 1905 г., Ленин высказывался преимущественно как теоретик аграрного вопроса. Наконец, в период первой мировой войны, когда ему пришлось выступить с большой резкостью против ревизионизма и шовинизма западно-европейских социал-демократических партий, Ленин в процессе этой борьбы выдвинул и развил свою теорию империализма.

Обращаемся к рассмотрению первого периода. Он начинается с прочтения В. И. Лениным известного реферата: «По поводу так называемого вопроса о рынках» в 1893 г. в Петербурге, причем реферат этот был записан Лениным, очень долго распространялся в виде рукописи, затем был утерян и только впервые, через 44 года после его прочтения, в 1937 г. напечатан в журнале «Большевик», а затем отдельным изданием и, наконец, вошел в первый том сочинений Ленина в 4-м издании. Конец этого периода знаменуется выходом в свет в марте 1899 г. выдающегося труда Ленина «Развитие капитализма в России». Нужно сказать,

что если в 1880-х годах Плеханов нанес сокрушительный удар по народничеству, то все же полный идейный его разгром был делом В. И. Ленина, и венцом его работы в этом отношении как раз является книга «Развитие капитализма в России».

Здесь невозможно, конечно, проанализировать каждое из написанных Лениным сочинений этого времени в отдельности. Придется отметить лишь некоторые важнейшие в теоретическом отношении пункты. Первый реферат Ленина был направлен против Германа Красина, выступившего с якобы марксистским анализом вопроса о рынках. В Красине мы видим как бы прообраз будущего легального марксиста. Ленин в своем докладе разбирает одновременно и народнические концепции и точку зрения Красина. Основной вопрос, поставленный здесь, формулируется автором следующим образом: «*Может ли у нас в России развиваться и вполне развиться капитализм, когда масса народа бедна и беднеет все больше?*»¹ Формулируя в таких словах сомнение, выдвигавшееся народниками относительно перспектив развития русского капитализма, Ленин указывает, что соображение об отсутствии рынка является одним из главных доводов против применимости теории Маркса в России. Отсюда видно, какое огромное значение приобрел в то время вопрос о рынке. Однако для Ленина он был только «так называемым вопросом о рынках», т. е. как бы мнимой величиной!

Почему для Ленина вопрос о рынках не существует как самостоятельная экономическая проблема? Потому что он всецело растворяется в анализе воспроизводства. Как указывает В. И. Ленин в своей работе «К характеристике экономического романтизма», «самое разрешение проблемы у Маркса состояло в анализе воспроизводства общественного капитала. Ни о потреблении, ни о распределении автор и не ставил особого вопроса; но и то и другое выяснилось вполне само собой после того, как доведен был до конца анализ производства».² Ленин хочет сказать, что вопрос о рынках сам собой разрешается при рассмотрении условий реализации общественного продукта при капитализме. Он считает, что рынок при капитализме создается сам собой. Нельзя противопоставлять капитализм, с одной стороны, и рынок, с другой стороны. Это две стороны одного вопроса. При этом Ленин показывает, что разложение крестьянства, связанное с развитием капитализма, неизбежно порождает появление спроса и со стороны сельской буржуазии и со стороны сельского пролетариата, и рост этого спроса по существу бесконечен.

Ленин считал необходимым проанализировать исторически две стадии развития рынка: во-первых, переход от натурального

¹ В. И. Ленин. По поводу так называемого вопроса о рынках. Соч., изд. 4-е, т. I, стр. 63.

² В. И. Ленин. К характеристике экономического романтизма. Соч., т. II, стр. 65.

к простому товарному хозяйству и затем переход от простого товарного к капиталистическому хозяйству. Первый этап характеризуется тем, что на основе общественного разделения труда выделяются отдельные специализированные отрасли промышленности. Что касается перехода от простого товарного к капиталистическому хозяйству, то именно для него характерно разложение крестьянства, под которым Ленин разумел «раскол» его на буржуазию и пролетариат, или (как он любил называть этот процесс) «раскрестьянивание». Таким образом в процессе этого «раскрестьянивания» неизбежно выделение двух полюсов, в результате которого усиливается проникновение капитализма в деревню.

Стоя на такой точке зрения, Ленин не соглашался признать, вместе с народниками, капитализм болезненным явлением. «Неумение объяснить капитализм и предположение утопий изучению и выяснению действительности ведет к тому, что отрицается значение и сила капитализма. Это — точно какой-то безнадежно больной, которому неоткуда почерпнуть сил для развития».¹

По сравнению с феодальным строем, находящимся в стадии разложения, капитализм, наоборот, представлялся Ленину в то время полнокровной, обладающей потенциальными возможностями роста экономической системой.

Но если перед капитализмом открывались в тот период, по мнению Ленина, перспективы широчайшего распространения, то его, разумеется, интересовало не развитие производительных сил, как таковое, а те специфические противоречия, которые рождались этим ростом. Так, говоря о влиянии машинной индустрии на прогресс в капиталистическом обществе, Ленин отмечал, что машинная техника способствует в громадной степени повышению производительности труда и его обществу, разрушает мануфактурное разделение труда, приводит к необходимости перехода рабочих от одних занятий к другим, ликвидирует окончательно старые патриархальные отношения и т. д. Весь этот прогресс, происходящий в структуре социальных отношений, сопровождается также обострением и расширением капиталистических противоречий.² Нельзя не привести замечательных слов В. И. Ленина о том, «что выше всего ценит в капитализме научная теория: присущее ему стремление к развитию, неукротимое стремление вперед, невозможность остановиться или воспроизводить хозяйственные процессы в прежних неизменных размерах».³ Капитализм, естественно, сам собой порождает «неустойчивость» вследствие ускоре-

ния темпов общественной жизни, вовлечения все увеличивающихся масс населения в социальный водоворот.

Народников пугала эта «неустойчивость» капитализма. Наоборот, замечательным прозрением Ленина было то, что он видел в этой «неустойчивости» прогрессивный фактор. Как говорил Ленин по адресу Сисмонди и Прудона: «Непонимание того, что эта «неустойчивость» есть необходимая черта всякого капитализма и товарного хозяйства вообще, приводит их к утопии. Непонимание элементов прогресса, присущих этой неустойчивости, делает их теории реакционными».⁴

Обсуждение этой перспективы развития капитализма в России и привело Ленина к его замечательному анализу процесса реализации. В спорах о марксовой теории, которые в то время велись весьма оживленно и в которых принимали участие наиболее видные тогдашние легальные марксисты — Туган-Барановский, Булгаков, Петр Струве и др., — Ленин был единственным экономистом, который сумел занять правильную позицию. Он показал, что весь смысл теории реализации у Маркса построен на признании неизбежно присущих капиталистической реализации противоречий и в то же время на полном допущении возможности реализации продукции, созданной капиталистической промышленностью целиком. Эти два положения марксистской науки никоим образом не оспаривают друг друга. Ленин категорически возражал против попыток Струве связать марксову схему реализации с теорией рынков Рикардо, которая учит, что «продукты обмениваются на продукты», и выводит из этого анализа «гармонию производства с потреблением».⁵ Ленин показал, что теория Маркса, наоборот, исходит из анализа внутренних противоречий капиталистической реализации. Так как гигантский рост производства сопровождается крайне слабым расширением, а иногда застою и ухудшением народного потребления, то в результате оказывается, что эта реализация покоится на все более узком основании. Маркс только в таком смысле, — подчеркивает В. И. Ленин, — и понимал противоречие между производством и потреблением. Это противоречие проистекает из самой сущности капитализма, и от него нельзя отделаться «чувствительными фразами».⁶ Нет ничего бессмысленного утверждений, будто Маркс не допускал возможности, реализации прибавочной стоимости при капитализме, будто он объяснял кризисы недостаточным потреблением в духе Сисмонди и т. д.⁷ Понимание в указанном смысле противоречий капиталистической реализации не означает невозможности капитализма,

¹ В. И. Ленин. К характеристике экономического романтизма. Соч., т. II, стр. 76.

² В. И. Ленин. Еще к вопросу о теории реализации. Соч., т. II, стр. 405.

³ В. И. Ленин. К характеристике экономического романтизма. Соч., т. II, стр. 30.

⁴ В. И. Ленин. Развитие капитализма в России. Соч., т. III, стр. 32.

¹ В. И. Ленин. По поводу так называемого вопроса о рынках. Соч., т. I, изд. 4-е, стр. 91.

² В. И. Ленин. К характеристике экономического романтизма. Соч., т. II, стр. 92.

³ Там же, стр. 74.

но оно «означает необходимость превращения в высшую форму: чем сильнее становится это противоречие, тем дальше развиваются как объективные условия этого превращения, так и субъективные условия, т. е. сознание противоречия работниками».¹

Противопоставляя позицию Маркса точке зрения мелкобуржуазных экономистов, Ленин показывает, что эти экономисты считали связь между производством и потреблением непосредственной и полагали, что производство следует за потреблением. По теории же Маркса эта связь проявляется лишь в посредственном виде, сказывается лишь в конечном счете, так как в капиталистическом обществе потребление идет за производством.

Вся схема реализации, как ее рисует Ленин, показывает, что капитализм сам создает себе рынок и не нуждается в качестве отдушины ни в «третьих лицах», ни во внешней торговле. Ленин прекрасно показал, что (особенно применительно к России) традиционное деление рынка на внутренний и внешний при разборе вопроса о реализации оказывается непригодным. Вместо него Ленин предлагает изучить рост капитализма в новых направлениях, различая: «1) образование и развитие капиталистических отношений в пределах данной вполне заселенной и занятой территории; 2) расширение капитализма на другие территории...»² Это-то Ленин и называл развитием капитализма вглубь, с одной стороны, ивширь — с другой. (Как известно, эту мысль он повторил также в заключительной части своей книги «Развитие капитализма в России».) Особенно Ленин подчеркнул «могучее стремление развитого капитализма расширяться на другие территории, заселить и распахать новые части света, образовать колонии, втянуть дикие племена в водоворот мирового капитализма».³

Большое место было уделено Лениным «прогрессивной миссии» капитализма. Он показал, насколько капитализм раскрепощает, обновляет и освобождает непосредственного производителя и экономически, и политически и культурно, если его сравнивать с феодальными производственными отношениями. Особенно ярко выразил это Ленин в книге «Развитие капитализма в России» на примере земледельческого капитализма. По словам Ленина, до капитализма земледелие было в России барской затеей для одних, тяглом для других. В частности, отработочная система особенно ярко демонстрировала отрицательные стороны прежнего строя, основанного на внеэкономическом принуждении. Капитализм впервые уничтожил прежнюю оторванность одичалого земледельца от остального мира. Возникли многообразные общественные отношения, связывающие потребителя со всемирным рынком. Земледельческий капитализм ликвидировал также вековой застой сельского хозяйства, привел к расширенному развитию производитель-

ные силы общественного труда. Однообразие рутинного, натурального хозяйства сменялось разнообразием форм торгового земледелия. Капитализм привел также впервые к созданию крупного земледельческого производства, основанного на применении машин и широкой кооперации рабочих. Он впервые сломал чисто средневековые перегородки, отделявшие одни категории крестьян от других. Он устранил личную зависимость земледельца. Разнообразные формы кабалы заменились безличными сделками по купле и продаже рабочей силы.⁴ Однако каждый раз, говоря об этом прогрессивном значении русского капитализма, Ленин не забывал отметить также исторически преходящий характер этого экономического режима и присущие ему глубокие общественные противоречия.

Ленин возражал также против попытки народников доказать, что капитализм разрушает связи, существующие между крестьянами данной общины или между ремесленниками, и заменяет их конкурентной. Ленин показал, что народники неправильно делали «заключение от противоречий капитализма к отрицанию в нем высшей формы общественности». Не отрицая того, что капитализм разрушает средневековые общинные, пеховые, артельные и другие связи, Ленин настаивал на том, что при капитализме на их месте появляются новые связи. «Антагонистический, полный колебаний и противоречий характер этой связи не дает права отрицать ее существование».⁵

Необходимо специально остановиться на том, какое значение Ленин придавал принципу развития производительных сил. Из того, что нами сейчас сказано, видно, что по Ленину рост капиталистического производства с присущими ему внутренними противоречиями и антагонизмами представлялся ему прогрессивным явлением. Но была глубочайшая разница в понимании этого прогресса В. И. Лениным и легальными марксистами. Об этой разнице лучше всего сказал сам Ленин в полемической работе против Петра Струве. Ленин обвинял Струве в том, что он проповедует объективизм, ограничивающийся «доказательством неизбежности и необходимости процесса и не стремящийся вскрывать в каждой конкретной стадии этого процесса присущую ему форму классового антагонизма».⁶ Иллюстрируя свою мысль конкретным примером, Ленин упрекает Струве в том, что он лишь показывает, «как паровой транспорт заменяет нерациональное производство рациональным, натуральное товарным», но не замечает «новой формы классового антагонизма»,⁷ которая при этом складывается.

¹ В. И. Ленин. Развитие капитализма в России. Соч., т. III, стр. 238—242.

² В. И. Ленин. К характеристике экономического романтизма. Соч., т. II, стр. 73.

³ В. И. Ленин. Экономическое содержание народничества и критика его в книге господина Струве. Соч., т. I, стр. 356.

⁴ Там же, стр. 301.

⁵ Там же, стр. 301.

⁶ Там же, стр. 301.

⁷ Там же, стр. 301.

¹ В. И. Ленин. Ответ г. П. Нежданову. Соч., т. II, стр. 424.

² В. И. Ленин. К вопросу о теории реализации. Соч., т. II, стр. 419.

³ Там же, стр. 419.

Ленин противопоставляет друг другу язык объективиста и язык марксиста. «Объективист говорит о необходимости данного исторического процесса; материалист констатирует с точностью данную общественно-экономическую формацию и порождаемые ею antagonистические отношения. Особенно рельефно видна узость кругозора объективиста Петра Струве из его собственного признания, что ему безразлично, мыслить ли развитие производительных сил по Фридриху Листу или по Марксу. Для него было важно лишь обеспечить условия безостановочного роста капитализма. Для Ленина развитие производительных сил при капитализме было лишь симптомом расширения и углубления заложенных в капитализме противоречий. Этот рост должен рано или поздно привести капиталистическую формацию к внутреннему взрыву, и именно этим он ченен.

Ленин первый сумел разоблачить до конца розовые утопии и слащавый оптимизм народников в отношении так называемого «народного производства» и кустарной промышленности. Ему удалось с исключительной убедительностью показать, что «народное производство» представляет собой не что иное, как наиболее отсталую форму капиталистического развития. Особенно жестокой критике Ленин подверг самое понятие кустарничества. Он показал, что под это понятие подводились самые разнообразнейшие формы производственных отношений: «почти все формы промышленности, какие только знает наука». ¹ Легко представить себе, к какой путанице приводил в таких условиях анализ социальных условий в области кустарной промышленности.

Величайшей заслугой Ленина является также анализ форм вовлечения непосредственного производителя в домашнюю систему капиталистической промышленности. Народники изображали скупщика как какой-то внешний придаток к работящим на него ремесленникам. Они связывали его с «капитализацией менового процесса», а не производства. В отличие от этого Ленин показал, что «работа на скупщика есть именно особая форма производства, особая организация экономических отношений в производстве, — организация, которая непосредственно выросла из мелкого товарного производства (мелкого народного производства», как принято говорить в нашей прекраснотушной литературе) и по сейчас связана с ним тысячами нитей, ибо наиболее зажиточные хозяйчики, наиболее передовые «кустары» и кладут начало этой системе, расширяя свои обороты посредством раздачи работы на дома». ² Отсюда вывод, что крупный капитализм в России относится к «народному производству», как высшая ступень

¹ В. И. Ленин. Экономическое содержание народничества и критика его в книге господина Струве, стр. 275.

² В. И. Ленин. Кустарная перепись в Пермской губ. Соч., т. II, стр. 253.

³ Там же, стр. 257.

развития капиталистической формации к низшей ее ступени. Поэтому, естественно, переход к новой фазе, более высокой по сравнению с предыдущей, должен считаться прогрессом. Ленин в связи с этим даже готов был признать, что «все отличие народничества от марксизма состоит в характере критики русского капитализма». ¹ Эта критика должна основываться не на моральных суждениях, а на «точной формулировке действительно происходящего общественного процесса». ² Дело не в том, симпатична ли тому или иному исследователю домашняя система капиталистической промышленности, претворяющаяся в сознании народников как «народное производство», а какое место она занимает в истории развития русского капитализма. Конкретную характеристику этого процесса развития русского фабричного капитализма из домашней системы капиталистической промышленности Ленин дал в книге «Развитие капитализма в России». Какое значение он придавал сам этой стороне работы, видно из следующего его замечания в антикритике по поводу статьи Скворцова «Товарный фетишизм». «Попытка представить целый ряд так называемых „кустарных“ промыслов, — говорит Ленин, — как мануфактурную стадию русского капитализма делается в моей книге, если я не ошибаюсь, в первый раз». ³

Таким образом рассмотрение работ В. И. Ленина, посвященных анализу условий реализации и воспроизводства в отношении русского капитализма, показывает, насколько был прав великий Ленин, когда он утверждал, что «марксизм не основывается ни на чем другом, кроме как на фактах русской истории и действительности». ⁴

Переходим к рассмотрению указанного выше второго этапа в развитии ленинских концепций по политической экономии. Едва ли нужно подробно упоминать о том, что так блестяще разъяснено И. В. Сталиным, а именно, что В. И. Ленин был «величайшим пролетарским идеологом», а не «крестьянским философом». ⁵ Крестьянский вопрос, как вопрос о союзнике пролетариата в его борьбе за власть, является, конечно, вопросом производным. Но все же именно перед революцией 1905 г. среди русских марксистов явилась потребность окончательно выяснить основы аграрного строя России, и началась серьезная разработка крестьянского вопроса ⁶ в связи с перспективами революции.

¹ В. И. Ленин. Экономическое содержание народничества. Соч., т. I, стр. 311.

² Там же.

³ В. И. Ленин. Некритическая критика. Соч., т. III, стр. 490.

⁴ В. И. Ленин. Экономическое содержание народничества. Соч., т. I, стр. 270.

⁵ И. Сталин. К вопросам ленинизма. Вопросы ленинизма. Изд. 11-е, стр. 103, 102.

⁶ И. Сталин. Об основах ленинизма. Вопросы ленинизма. Изд. 11-е, стр. 35.

Гению Ленина дано было раз навсегда повернуть обсуждение этого вопроса на единственно правильный путь. «Ленин был знатоком аграрного вопроса». Говоря о проведении национализации земли в нашей стране, И. В. Сталин подчеркивает: «мы исходили, между прочим, из теоретических предпосылок, данных в третьем томе «Капитала», в известной книге Маркса «Теории прибавочной ценности» и в аграрных трудах Ленина, представляющих богатейшую сокровищницу теоретической мысли. Я имею в виду теорию земельной ренты вообще, теорию абсолютной земельной ренты в особенности». Из приведенных слов тов. Сталина видно, что аграрные труды В. И. Ленина должны рассматриваться как непосредственное развитие теоретических предпосылок Маркса в аграрном вопросе и сами они представляют поистине богатейшую сокровищницу теоретической мысли. Так как ленинские идеи в аграрном вопросе у нас достаточно хорошо известны, мы попробуем выделить в них лишь то, что непосредственно завершает изображенный в предшествующем изложении идеологический процесс развития русской политической экономии.

Ленин отнюдь не отрицал, что Россия имеет «особенную статью» в аграрном вопросе. Более того, он считал совершенно необходимым резко противопоставлять аграрный строй России и Западной Европы. Однако кардинальное различие он усматривал совсем не в наличии общины, а в специфических чертах перерастания феодализма в капитализм в русской деревне. Отличительным свойством России является густая насыщенность земельных отношений самыми отратительными пережитками крепостничества, чего давно нет на Западе. «В государствах Западной Европы, — говорил Ленин, — последние остатки крепостного права были уничтожены революциями 1789 года во Франции, 1848-го в большинстве остальных стран». В другом месте он указывает на то, что на Западе «аграрно-буржуазный строй уже вполне сложился, крепостничество давно сметено, остатки его ничтожны и не играют серьезной роли». Отсюда понятно, что главным общественным отношением в сельскохозяйственной Европе является отношение *наемного рабочего* к предпринимателю, т. е. фермеру или собственнику земли. Точно так же и И. В. Сталин настаивает на *недопустимости смещения сельскохозяйственных условий* Западной Европы с дореволюционной Россией. На Западе «развитие сельского хозяйства идет по обычной линии капитализма, в обстановке глубокой дифференциации крестьянства, с крупными именными и частью-капиталистическими латифундиями на одном

полосе, с пауперизмом, нищетой и наемным рабством — на другом». Поэтому мелкий земельный собственник и не мог быть в какой-либо мере видной политической фигурой, участвующей в революционном движении Западной Европы. Этот социальный тип прекрасно изображен Марксом для Франции в аналогии с мешком картофеля. Крестьян ничто не связывает общими интересами. Они рассыпаются при первой возможности, как картофельные вываливаемые из мешка. Международная социал-демократия была склонна трактовать мелкого землевладельца как политического реакционера, которого исключительно трудно втянуть в революционную борьбу в орбите пролетариата. Россия решительно расходится в этом отношении с Европой. Ленин отмечал, что «ни в одной цивилизованной капиталистической стране нет сколько-нибудь широкого демократического движения мелких землевладельцев за переход к ним земель крупного землевладения. В России такое движение есть. И, соответственно этому, ни в одной европейской стране, кроме России, марксисты не выставляют и не поддерживают требования о переходе земли к мелким землевладельцам». Конечно, эта особенность России отнюдь не связана с особыми чертами народной, крестьянской психологии, воспитанной пребыванием в общине. Ленин совершенно точно оценил значение общинных форм землевладения в русской аграрной истории. Огромнейшая историческая полоса существования нашей деревни окрашена в мрачные цвета средневековой эксплуатации, и на этом отрезке истории именно община была в руках господствующих классов орудием, помогавшим средневековому угнетению. В стране, где развивается капитализм в деревне, средневековые отношения являются на каждом шагу тормозом и помехой, и именно община, отнюдь не спасая крестьянина от пролетаризации, «на деле играет роль средневековой перегородки, разобщающей крестьян, точно прикованных к мелким союзам и к потерявшим всякий „смысл существования“ разрядам».

Община, как объяснено Лениным, уживается с любыми производственными отношениями. Ленин подчеркивает, что во всей обширнейшей литературе по общине смешиваются два совершенно различных вопроса: агрикультурный и бытовой, с одной стороны, политико-экономический, с другой. Писатели по этим вопросам придали слишком большое значение изучению разнообразия переделов, техники и пр., тогда как корень проблемы заключается в том, какие *«типы хозяйств»* складываются *внутри* общины, как развиваются эти типы, как складываются отношения

¹ И. Сталин. Об основах ленинизма. Вопросы ленинизма. Изд. 11-е, стр. 43.

² В. И. Ленин. Сущность «аграрного вопроса в России». Соч., т. XV, стр. 502.

³ В. И. Ленин. Аграрный вопрос в России к концу XIX века. Соч., т. XII, стр. 222.

¹ И. Сталин. К вопросам аграрной политики в СССР. Вопросы ленинизма. Изд. 11-е, стр. 281, 282.

² В. И. Ленин. Пятидесятилетие падения крепостного права. Соч., т. XV, стр. 108.

³ В. И. Ленин. Сущность «аграрного вопроса в России». Соч., т. XV, стр. 502.

между нанятыми рабочими и нанимающимися на черную работу, между зажиточными и беднотой, между улучшающими хозяйство и вводящими усовершенствования в технике и разоряющимися, забрасывающими хозяйство, бегущими из деревни». ¹ Ленин показал, насколько относительно была при существовании общины «уравнительность землепользования». Аппарат переделов земли создавал ее фактически лишь внутри этих «небольших замкнутых союзов», а между всеми общинами в целом, на территории всего государства, эта уравнительность отнюдь не достигалась. Испытывать на себе всю тяжесть крепостнических элементов аренды приходилось, главным образом, беднейшим крестьянам, зажиточная же часть крестьянства умела при помощи денег высвободиться из средневекового ярма. Связь между зажиточностью и возможностью избавиться от крепостнической зависимости — самая непосредственная. «Нет денег — идешь в кабалу, платишь втридорога за землю в виде ли исполщины или в виде отработков». ² Самые условия аренды становятся строго дифференцированными: «есть аренда и аренда. Есть крепостническая кабала, есть ирландская аренда, и есть торговля землей, капиталистическое фермерство». ³ Наличие общины несколько не служит препятствием для распространения капиталистической аренды. Втягивание земли в коммерческий оборот, выделение в общине зажиточных дворов, ведущих капиталистическое земледелие при помощи предпринимательской аренды, ⁴ означает не что иное, как «уменьшение роли наделной земли в крестьянском хозяйстве». ⁵

Перебивание арендованной земли богатыми общинниками, распространение наемного труда, возникновение ярко выраженных классовых группировок показывают, как выглядят действительная, а не «выдуманная» община. Вопрос о значении общины в деле направления действительного хозяйственного развития России «решается бесспорно этими данными». ⁶ В таком же духе резюмирует итоги дискуссии о поземельной общине между народниками и марксистами «Краткий курс истории ВКП (б)»: «община не была и не могла быть ни базой, ни зародышем социализма, так как в общине господствовали кулаки, «мироды», эксплуатировавшие бедняков, батраков, маломощных середняков». Несмотря на переделы, «землей пользовались те члены общины, у которых были рабочий скот, инвентарь, семена, то-есть зажиточные середняки и кулаки». Маломощному крестьянству приходилось идти в кабалу к кулакам, т. е. наниматься в батраки,

¹ В. И. Ленин. Аграрный вопрос в России к концу XIX века. Соч., т. XII, стр. 234.

² Там же, стр. 237.

³ Там же, стр. 240.

⁴ Там же, стр. 239.

⁵ Там же, стр. 244.

⁶ Там же, стр. 261.

отдавая им землю. Таким образом в результате «крестьянская община была на самом деле удобной формой для прикрытия кулацкого засилья и дешевым средством в руках царизма для сбора налогов с крестьян по принципу круговой поруки. Поэтому царизм не трогал крестьянскую общину. Смешно было бы считать такую общину зародышем или базой социализма». ¹

Было бы, однако, неверно думать, что, считая общину оружием классовой политики буржуазии перед революцией, наши классики марксизма одобряли принудительное ее уничтожение. Правда, Ленин был глубоко убежден в несовместимости общины «со всем общественно-экономическим развитием капитализма». Но, тем не менее, он декларировал, что «общину, как демократическую организацию местного управления, как товарищеский или соседский союз, мы безусловно будем защищать от всякого посяательства бюрократов». ² Было бы нелепо помогать разрушению общины. Но нужно добиваться отмены всех учреждений, связанных с общинным земледелием, противоречащих демократизму. Это свое положение Ленин толкует ограничительно. Он всячески отстает от той мысли, что проведение демократических принципов в ущерб общинным порядкам должно проводиться так, чтобы наносить общинному строю, как таковому, минимальный урон. Так, нужно, по возможности, устранить нормы, стесняющие право распоряжения землей отдельных, входящих в общину, крестьян. Но отсюда вовсе не вытекает, что крестьянин может требовать выделения ему отдельного участка. Достаточно возгласить начало свободы продажи земли, «причем и этой свободе не противоречит право предположительной покупки продаваемой земли сообщниками». ³ Ленин отнюдь не сочувствовал «фельдфебельскому разрушению общины», проводившемуся Столыпиным. Он прекрасно понимал, что перемена правительственного фронта в вопросе об общине диктовалась тем, что прежнее убеждение, насаждавшееся победоносцевыми, будто община является оплотом царизма, рухнуло и правительство убедилось в революционных настроениях крестьянства. Поэтому поддерживать столыпинскую политику Ленин не считал возможным, хотя она объективно была, в его представлении, прогрессивнее в научно-экономическом смысле, будучи насквозь проникнута чисто буржуазным духом. ⁴ Ленин все же подчеркивал желательность использования общины в той степени, в какой внутри нее можно

¹ История ВКП(б). Краткий курс, стр. 15.

² В. И. Ленин. Аграрная программа русской социал-демократии. Соч., т. V, стр. 119.

³ В. И. Ленин. Аграрная программа русской социал-демократии. Соч., т. V, стр. 119.

⁴ В. И. Ленин. Аграрная программа с-д в первой русской революции. Соч., т. XI, стр. 351, 352.

было сохранить традиции самоуправления и в какой это не стесняло развития производительных сил. Мы видели, что община не была фетишем и для Герцена и Чернышевского. Но только Ленин окончательно определял ее историческое место в процессе перерастания русского феодализма в капитализм.

Однако, если Ленин сумел вскрыть мелкобуржуазный утопизм учения о сельской общине, как зародыше социализма, то это далеко не значит, что он относился отрицательно во всех отношениях к представителям народничества, как ветви русского революционного движения, из-за того, что они хотели сделать общину, т. е. крестьянство, орудием «черного передела» во имя уравнилельной справедливости. Именно Ленин научил нас различать в народничестве его теоретическую несостоятельность и в то же время революционное значение в борьбе с крепостничеством. Для понимания истории развития русской экономической мысли эти указания Ленина особенно ценны. «Ошибка некоторых марксистов — говорит Ленин — состоит в том, что, критикуя теорию народников, просматривают ее исторически-реальное и исторически-правомерное содержание в борьбе с крепостничеством». ¹ Одновременно с отсталым, реакционным, мелкобуржуазным социализмом, эти теории выражают передовой, революционный мелкобуржуазный демократизм. Как отмечает В. И. Ленин, идея равенства — «самая революционная идея в борьбе с старым порядком абсолютизма вообще».

Стремление к уничтожению помещичьего землевладения и переделу земли между крестьянами и являлось подлинной исторической «правдой» этой идеологии.

Раздел земли поровну между всеми при капитализме является нелепостью. Он не мог бы удержаться и на год. И все же его результаты были бы огромным плюсом потому, что в результате подобного раздела «различия» между теперешними сословными и разрядными формами землевладения были бы сломаны». Ленин вспоминает левого народника, который предлагал «разгородить землю» и думал, что от этого выйдет «уравнилельное землепользование». Он ошибался. «Но его устами» — такова ирония истории — говорил наиболее последовательный и бесстрашный буржуа...» ²

Ленин охотно ищет аналогии между этим русским мелкобуржуазным демократизмом и такими же передовыми течениями в других странах. Освещая позицию Маркса в отношении американского «черного передела», Ленин показывает, как далек был Маркс «от боязни, свойственной многим начебникам, запячатать себе руки прикосновением к революционной мелко-буржуазной

¹ В. И. Ленин. *Аграрная программа русской социал-демократии*. Соч., т. V, стр. 347.

² В. И. Ленин. *Сравнение столыпинской и народнической аграрной программ*. Соч., т. XVI, стр. 14.

демократии». Будучи диалектиком, Маркс «отмечает революционную сторону нападения на земельную собственность, Маркс признает мелко-буржуазное движение за первоначальную своеобразную форму пролетарского, коммунистического движения». Для нас, русских социал-демократов, добавляет Ленин, такая постановка должна служить образцом. ¹ Не означает ли это, что крестьянский социализм по его революционному эффекту заслуживает того, чтобы рассматривать его, как «первоначальную своеобразную форму пролетарского, коммунистического движения». Ведь удар по земельной собственности влечет за собой впоследствии удары по собственности вообще. Точно так же китайский революционер Сунь Ят-сэнь, проникнутый боевым демократическим духом, ставит, по выражению В. И. Ленина, «чисто русские вопросы». Он мечтает о национализации земли, т. е. хочет передать ренту государству. Результатом должен был бы явиться «наиболее чистый, максимально-последовательный, идеально-совершенный капитализм». Ленин несомненно относился к Сунь Ят-сэню с известной симпатией. Поэтому он высказывает надежду, что пролетарская партия Китая, критикуя мелкобуржуазные утопии Сунь Ят-сэня, «будет, наверное, заботливо выделять, охранять и развивать революционно-демократическое ядро его политической и аграрной программы». ²

Можно было бы и не останавливаться с такой подробностью на ленинских взглядах в отношении народничества, если бы в нашей литературе не делалась иногда попытка совсем иного освещения. Так, П. И. Ляпенко, правильно отмечая реакционность народничества, как экономического направления, уверяет, вместе с тем, что оно, рассуждая о «народном духе», «всеобщем равенстве» и пр., «фактически тянуло назад, к крепостничеству». ³ Ленин видит в уравнилельных идеях народничества боевой, революционный демократизм, а Ляпенко готов признать народников чуть не крепостниками. Едва ли нужно оговариваться, что, вслед за Лениным, мы говорим здесь о первоначальном революционном народничестве, а не его либеральных эпигонах. Ведь позднейшее распространение народничества ширило было куплено ценой «опошления народничества, ценой превращения социально-революционного народничества, резко оппозиционного напему либерализму, в культурнический оппортунизм, сливавшийся с этим либерализмом, выражающий только интересы мелкой буржуазии». ⁴

Одной из наиболее замечательных составных частей экономической теории ленинизма является учение Ленина о двух путях

¹ В. И. Ленин. *Маркс об американском «черном переделе»*. Соч., т. VII, стр. 223.

² В. И. Ленин. *Демократия и народничество в Китае*. Соч., т. XVI, стр. 31.

³ П. Ляпенко. *История народного хозяйства СССР*, 1939, стр. 353.

⁴ В. И. Ленин. *Что такое «дружа народа?»* Соч., т. I, стр. 173.

развития капитализма в земледелии. Весь смысл этого учения заключается в том, что при прусском пути происходит лишь «внутреннее преобразование крепостнического помещичьего хозяйства» и остатки феодального строя надолго сохраняются и задерживают развитие производительных сил, тогда как при американском пути «на-рост» крепостнических латифундий ликвидируется одним ударом и расчищается прямая дорога для развития капитализма. Возникают фермерские капиталистические хозяйства. Победа помещика означает развитие на тормозах, победа крестьянина знаменует беспрепятственный, свободный рост. Ленин доказал, что, чем больше получили бы земли крестьяне при реформе в 1861 г., тем быстрее шло бы развитие капитализма в России. Только карикатурные марксисты могли воображать, будто обезземеление крестьян является лучшим залогом торжества капитализма. Оно могло бы лишь вызвать возрождение наиболее кабальных форм аренды и барщинного хозяйства.¹ Таким образом, чтобы обеспечить быстрое развитие капитализма в русской деревне, нужно было очистить ее в максимальной степени от пережитков феодализма.

Замечательно, что Ленин сумел блестяще использовать свой глубоко продуманный анализ теоретической природы абсолютной земельной ренты для подтверждения этого тезиса. Тем самым Ленин показал, как нужно развивать экономическую теорию Маркса. Но творческое использование теории заключается как раз в том, что в руках Ленина она становится *новым*, по существу, средством решения русского аграрного вопроса. Она теснейшим образом связывается с проблемой двух путей развития капитализма в сельском хозяйстве.

В споре против Булгакова Ленин показал, что земельная рента покоится на двойкой монополии: одна монополия связана с «ограниченностью земли» и поэтому «необходима при всяком капиталистическом обществе»; другая — логически, ни исторически с первой не связана и основывается только на частной монополии земельной собственности. «Ничего *необходимого* для капиталистического общества и для капиталистической организации земледелия эта монополия из себя не представляет». ² Другими словами, дифференциальная рента является *необходимой* категорией капиталистического хозяйства, тогда как абсолютную ренту можно с успехом для развития производительных сил ликвидировать, так как это будет означать «отмену монополии, стесняющей все развитие капитализма вообще». ³ Пока существует

¹ В. И. Ленин. Аграрная программа с-д. в первой русской революции. Соч., т. XI, стр. 349, 350.

² В. И. Ленин. Аграрный вопрос и «критики Маркса». Соч., т. IV, стр. 194.

³ В. И. Ленин. Аграрная программа с-д. в первой русской революции. Соч., т. XI, стр. 396.

абсолютная рента, замечает Ленин, речь идет о «капиталистическом земледелии, стесненном некапиталистической частной собственностью на землю». ¹ Национализация земли, имеющая целью полное упразднение крепостнических пережитков в русской деревне, потому и приветствовалась Лениным, что она должна была привести к вытеснению «некапиталистической», т. е. сохранившейся от феодализма земельной собственности. При отпущении абсолютной ренты устраняются помехи свободному приложению капиталов к земле, освобождаются средства, затрачивавшиеся ранее на оплату вздутых монопольных цен на землю, и поэтому эти ресурсы могут получить применение для усовершенствования техники земледелия и т. д. История капитализма дала наиболее совершенный, классический образец аграрного устройства в Англии. Но даже это устройство представляет сочетание «старого землевладения, лендлордизма», с новой, чисто капиталистической арендой. Если бы земля перешла от лендлордов к государству, если бы лендлордизм был упразднен, это «было бы *еще более* совершенное, с точки зрения капитализма, аграрное устройство». ²

Россия больше всего страдала от проявления той формы земельной монополии, которая приводит к выкачиванию помещиками абсолютной ренты у непосредственного производителя. «Рассуждая с чисто-экономической точки зрения, мы безусловно должны признать максимум остатков феодализма в русском земледелии, и помещицм и крестьянском надельном. При таких условиях противоречие между сравнительно развитым капитализмом в промышленности и чудовищной отсталостью деревни становится вопиющим и толкает, в силу объективных причин, к наиболее глубине буржуазной революции, к созданию условий наиболее быстрого агрикультурного прогресса». ³ Анализируя конкретные условия «освобождения» крестьян в 1861 г., Ленин не-преложно доказывал, что все это «хозяйство посредством *отрез-ных земель*» было не чем иным, как сохранением чистой воды крепостничества в нашей деревне. ⁴ Он даже неоднократно заявлял, что пореформенное русское помещичье хозяйство «больше держится крепостнически-кабальной, чем капиталистической системы хозяйства». ⁵ Формальный признак наделения землею не играл в его глазах существенного роли. В этом отношении Ленин продолжал линию Чернышевского. Мы видели, что наш великий

¹ В. И. Ленин. Аграрная программа с-д. в первой русской революции. Соч., т. XI, стр. 399.

² В. И. Ленин. Сравнение столыпинской и народнической аграрной программ Соч., т. XVI, стр. 12.

³ В. И. Ленин. Соч., т. XI, стр. 414.

⁴ В. И. Ленин. Аграрный вопрос в России к концу XIX века. Соч., т. XII, стр. 222.

⁵ В. И. Ленин. Пересмотр аграрной программы рабочей партии. Соч., т. IX, стр. 61.

просветитель пришел, в конце-концов, к выводу, что владение землей является пустым звуком, если фактически земледелец лишен ренты или если рента обременена финансовыми обязательствами, погдошающими львиную ее долю. Чернышевский с горечью предчувствовал неизбежность такого исторического пути для России при сохранении власти крепостников, при котором именно они будут получателями абсолютной ренты. Ленин показал на исторических фактах, как этот путь, приведший к новому закабалению крестьянства, претворился в жизнь. После крестьянской «реформы» на передний план земледельческого хозяйства выдвигаются отработки, представляющие переходную ступень от барщины к капитализму. Преобладающая крепостническая форма современного русского земледелия, — говорит Ленин, — «есть кабала и отработки».¹ Однако власть земли осложняется властью денег. Аренда приобретает при отсутствии средств у крестьян явно кабальный характер. Надел превращается в форму заработной платы.² Дело осложняется налогами и повинностями, которые у крестьян сохраняют явные следы средневековья.³ Наконец, выкуп представляет собой не что иное, как дань в пользу помещика; — дань, возлагаемую на общественное развитие и поступающую владельцам латифундий. «Выкуп есть бюрократически, полицейски обеспеченная реализация крепостнических приемов эксплуатации в виде буржуазного „всеобщего эквивалента“».⁴ Вся эта конкретная обстановка привела к тому, что средневековые отработки и кабала слитком «зажились» у нас: «новому организму потребовались насильственные способы быстрого очищения от крепостничества». Реформа 1861 г. не сумела этого обеспечить. Новый строй должен был окончательно вылиться из крепостнической скорлупы. Крепостники сделали еще одну попытку приспособить хозяйственное развитие к своим интересам. Это была столыпинская реформа, которую Ленин называет «аграрным бонапартизмом».

Ленин с удивительной ясностью определяет классовую сущность столыпинщины. Столыпинна нельзя рассматривать только как представителя диктатуры крепостников-помещиков. Он — министр такой эпохи, когда крепостники кизо всех сил, самым успешным темпом повели по отношению к крестьянскому аграрному быту буржуазную политику, распространивши со всеми романтическими иллюзиями и надеждами на «патриархальность» мужика, ища себе союзников из новых, буржуазных элементов России вообще и деревенской России в частности. Столыпин

потытался превратить старое самодержавие в буржуазную монархию.¹ Крах иллюзий, о которых сейчас сказано, был убедительно продемонстрирован 1905 годом. Ленин не без удовольствия цитировал слова нововременского публициста Меньшикова, относящиеся к 50-летию крестьянской реформы: «61-ый год не сумел предупредить девятсот пятого, — стало быть, что же кричать о величии реформы, столь жалко провадившейся?»² Ленин ставит тот же вопрос по-своему, и поэтому он звучит резко и убедительно: «1861 год породил 1905-й. Крепостнический характер первой „великой“ буржуазной реформы затруднил развитие, обрек крестьян на тысячи худших и горших мучений, но не изменил направления развития, не предотвратил буржуазной революции 1905 года». Реформа 1861 г. дала на некоторое время «прирост» капитализму, она отсрочила развязку, открыв известный клапан. 1905 г. показал приближение взрыва. Крепостники позаботились о новом средстве предотвращения взрыва. Они открыли «последний клапан», по выражению В. И. Ленина.³ «Третья дума и столыпинская аграрная политика есть вторая буржуазная реформа, проводимая крепостниками».⁴ Но она не может уничтожить ни отработок, ни кабалы, и она стало быть несколько не устраивает причин, вызывающих революционное движение на стороне крестьян. Совет объединенного дворянства ищет союзников среди «ничтожного меньшинства зажиточного крестьянства», среди «кулаков» и «миродедов».⁵ С этой целью создается «ничтожное число хороших, отрубных хозяйств крестьянской буржуазии».⁶ Таким способом «открыт клапан и выпущен несколько пар», — говорит Ленин. В этом образе звучит прогноз, что взрыв снова отсрочен, но не предотвращен. Он последовал в 1917 г. и привел к созданию социализма впервые на земном шаре.

Как сказано, Ленин усматривал в столыпинщине глубочайший «сдвиг» в аграрной политике царизма в сторону аграрного бонапартизма. Ленин отмечает, что основоположники марксизма уже до него продемонстрировали на ряде исторических примеров объективную неизбежность зарождения бонапартизма в связи с эволюцией монархии в каждой буржуазной стране. Ленин определяет бонапартизм, как «завлаживание монархией, потерявшей свою старую, патриархальную или феодальную, простую и сплошную, опору». В такой обстановке приходится браться с подонками общества, с прямыми ворами и жуликами. Но аграрный бонапартизм в России «не мог бы даже родиться, а не то что про-

¹ В. И. Ленин. Последний клапан. Соч., т. XVI, стр. 88.

² В. И. Ленин. Аграрный вопрос в России к концу XIX века. Соч., т. XII, стр. 226.

³ Там же, стр. 245.

⁴ В. И. Ленин. Аграрная программа с-д в первой русской революции. Соч., т. XI, стр. 352, 353.

¹ В. И. Ленин. Столыпин и революция. Соч., т. XV, стр. 224, 225.

² В. И. Ленин. По поводу юбилея. Соч., т. XVI, стр. 97.

³ В. И. Ленин. Последний клапан. Соч., т. XVI, стр. 87—91.

⁴ В. И. Ленин. Крестьянская реформа. Соч., т. XV, стр. 146.

⁵ В. И. Ленин. Сравнение столыпинской и народнической аграрной программ. Соч., т. XVI, стр. 11.

⁶ В. И. Ленин. Последний клапан. Соч., т. XVI, стр. 91.

держаться вот уже два года, если бы сама община в России не развивалась капиталистически, если бы внутри общины не складывалось постоянно элементов, с которыми самодержавие могло начать заигрывать, которым оно могло сказать: „обогащайтесь!“, „грабь общину, но поддержи меня!“.¹

Мы привели эти сравнительно многочисленные высказывания В. И. Ленина по аграрному вопросу, чтобы на примере величайшего корифея русской экономической мысли показать единственно *правильный тип* теоретико-экономического построения. Ленин строит свой анализ всецело на категориях марксовской политической экономии, но одевает их в национальный костюм, полказанный особенностями русского исторического развития. И благодаря этому экономические понятия оживают, приобретают яркие краски, обогащают политическую экономию новым содержанием. Все такие экономические категории, как хозяйство отрезных земель, крепостническая кабала, отработки, аграрный бонапартизм и пр., были необходимы Ленину, чтобы проанализировать русскую версию прусского пути развития капитализма в земледелии не в абстрактной постановке этого вопроса, а в реальной исторической форме. Сделав это, Ленин блестяще выполнял задачу, оставленную Марксом в наследство русской политической экономии, т. е. изучение капитализма в земледелии не в его чистой «английской» форме, а в русской разновидности, характеризующейся наличием максимума феодальных пережитков. Маркс не успел переработать III том «Капитала» в том направлении, чтобы Россия играла в нем такую роль при рассмотрении аграрного вопроса, как Англия в I томе, при анализе условий производства на капиталистической фабрике Ленин дополнил в этом отношении Маркса, и теперь нельзя быть грамотным марксистом в аграрной теории, если не восполнить марксовы построения ленинскими. Но корни ленинских высказываний о русском варианте прусского пути уходят и в русскую общественную мысль середины XIX в. Ленинское учение о пережитках крепостничества в русской деревне, о разложении русской общины, о формах проникновения товарного хозяйства в деревню было подготовлено десятилетиями развития русской политической экономии и, прежде всего, Чернышевским и Плехановым.

Скажем еще несколько слов о том, как Ленин отверг учение Чернышевского о некапиталистическом пути развития и вместе с тем, сам выдвинул принцип некапиталистического развития вновь, но с совершенно иным содержанием, чем это было у Чернышевского. Извращенная Михайловским и К^о теория Чернышевского превратилась в 90-х годах прошлого столетия в трафаретную веру в возможность «минования Россией фазы капитализма», которую лелеяли, в сущности, лишь добрые хозяйчики, по выра-

жению Ленина,¹ мечтавшие об избавлении от классовой борьбы. Вопрос о некапиталистическом пути практически встал гораздо позднее, когда в нашей стране победил социализм и она смогла выступить в роли, которую Маркс и Энгельс резервировали для передовых государств Европы. СССР сумел стать рычагом для некапиталистического пути развития отсталых народов. Эта проблема естественно раньше всего выдвинулась в отношении бывших колониальных окраин царской России, — вообще всех районов, где прежде царила «патриархальщина, обломовщина, полудикость». Мыслимо ли осуществление непосредственного перехода² от этого, преобладающего в России состояния к социализму, спрашивал себя Ленин³ и ответил на этот вопрос положительно. История вполне оправдала, как известно, его оптимизм. Далее, выступая на II Конгрессе Коммунистического Интернационала, В. И. Ленин выдвинул и общее — положение, согласно которому «с помощью пролетариата наиболее передовых стран остальные страны могут перейти к советскому строю и через определенные ступени развития — к коммунизму, минуя капиталистическую стадию развития».³

Работы Ленина по вопросам империализма знаменуют собою целую эпоху в развитии политической экономии. Главнейший его труд в этой области марксистско-ленинской теории: «Империализм как высшая стадия капитализма», который вышел в свет летом 1916 г. и который он в издании 1917 г. назвал «Империализм, как новейший этап капитализма», был написан в полцензурных условиях. Поэтому Ленину пришлось пользоваться, по его собственным словам, проклятым эзоповским языком. Мысль его несомненно заключалась в том, что империализм является последней стадией капитализма, что он заменит канун социалистической революции.

Эта книга В. И. Ленина, несомненно, является одним из драгоценнейших памятников общественно-экономической мысли во всей мировой литературе. Когда Р. Гильфердинг выступил в 1910 г. своей «Финансовый капитал», Каутский выступил с нелепыми притязаниями, будто можно это оппортунистическое произведение рассматривать как «четвертый том» «Капитала» Маркса. Эти претензии ревизионистов, пытавшихся извратить учение Маркса, были, конечно, совершенно беспочвенными. Совсем другое мы должны сказать о ленинском «популярном очерке» об империализме, как он назвал свою гениальную книгу: она именно представляет собой, бесспорно, непосредственное продолжение «Капитала». Если «Капитал» ставил своей задачей дать анализ

¹ В. И. Ленин. Народничество и класс наемных рабочих. Соч., т. XVII, стр. 214.

² В. И. Ленин. О продолжительном налоге. Соч., т. XXVI, стр. 338.

³ В. И. Ленин. II Конгресс Коммунистического Интернационала. Соч., т. XXV, стр. 354.

¹ В. И. Ленин. Об оценке текущего момента. Соч., т. XII, стр. 377.

экономических закономерностей, развивающегося промышленного капитализма, то Ленин берет в основу новую, высшую и, вместе с тем, последнюю фазу капитализма — империализм. Именно Ленину принадлежит величайшая заслуга определения империализма как особой фазы капитализма. Представители западно-европейской социал-демократии предпочитали рассматривать империализм как известное направление капиталистической политики, и только Ленину удалось доказать, что империализм — стадия капиталистического развития.

Идеи Ленина, изложенные в его работе об империализме, настолько стали у нас общим достоянием, что здесь можно ограничиться выделением немногих существующих пунктов. Прежде всего, скажем о хронологических границах империалистического эпохи. Ленин совершенно точно устанавливает даты, отделяющие разные периоды в развитии капитализма. Время с 1789 г. по 1871 г. он называет эпохой «прогрессивного капитализма, тогда когда на порядке дня истории стояло низвержение феодализма, абсолютизма, освобождение от чужеземного ига». Совсем иной характер имеет эпоха капиталистического империализма, которую Ленин определяет как эпоху «зрелого и перезрелого капитализма, стоящего накануне своего крушения, назревшего настолько, чтобы уступить место социализму». Превращение капитализма в империализм Ленин связывает с подъемом конца XIX века и кризисом 1900—1903 гг., когда «картели становятся одной из основ всей хозяйственной жизни». При всем многообразии отдельных показателей империализма, все же основным признаком перехода к империализму Ленин, как видно из приведенных его слов, считал монополию. «Монополия есть переход от капитализма к более высокому строю», — говорит он в другом месте.³ Для Ленина империализм — это строй, прежде всего основанный не на свободе, а на насилии, и это насилие теснейшим образом связано с господством крупнейших монополий. В эпоху наивысшего развития капитализма, говорит Ленин, «огорбление горсткой великих держав около миллиарда населения земли» является неизбежным результатом господства монополий. При империализме невозможна иная основа для дележа, кроме силы. «Проведывать „справедливый“ раздел дохода на такой базе есть прудонизм, тупоумие мешанки и филлистера. Нельзя делить иначе, как „по силе“». А сила изменится с ходом экономического развития.⁴ Так как сила отдельных капиталистических государств

подвергается существенным изменениям, то проверять действительную силу своих противников отдельные государства могут только при помощи войны. Таким образом война становится неизбежным явлением при капитализме: «При капитализме невозможны иные средства восстановления, время-от-времени, нарушенного равновесия, как кризисы в промышленности, войны в политике».¹

В работе Ленина об империализме следует особо отметить замечательную «критику империализма», как озаглавлен в ней особый (девятый) раздел. Ленин признает «коренными вопросами критики империализма» вопросы о том, «возможно ли реформистское изменение основ империализма, вперед ли идти, к дальнейшему обострению и углублению противоречий, порождаемых им, или назад, к притуплению их».² Можно думать, что империализм представляет такую эпоху в развитии капитализма, когда присутствующие ему внутренние противоречия ослабевают. Такая точка зрения является глубоко оппортунистической и неверной. Другая же, правильная позиция, которую занимает сам Ленин, сводится к тому, что при империализме все временные противоречия капитализма доходят до крайней степени остроты и могут разрешиться только с гибелью самого капитализма и заменой его социалистическим строем. Суть этой ленинской критики империализма заключается в том, чтобы не слиться, не солидаризироваться с мелкобуржуазной, реформистской и, по своему экономическому содержанию, реакционной оппозицией империализму, вызванной усилением гнета финансовой олигархии и устранением свободной конкуренции, а показав неизбежность революционного взрыва.

Затягивание и парализация сущность империалистического строя ярко вскрываются В. И. Лениным в обоих основных типах империализма: английском — колониальном — и французском — ростовщическом империализме. Английскому колониальному империализму предшествовала та стадия в истории английского капитализма, когда Англия претендовала на роль «мастерской всего мира», импортируя сырье в обмен на вывоз фабрикатов. «Но эта монополия»³ Англии уже в последней четверти XIX века была подорвана. Английский капитализм «перезрел», и так как внутри страны капитал не находил достаточного поприща, то он стал переливаться за границу. Возник грандиозный экспорт капитала, тесно связанный с колониальным господством, вследствие того, что нигде капитал не находил такого прибыльного помещения, как в колониях: «гигантский вывоз капитала теснее всего связан

¹ В. И. Ленин. Оппортунизм и крах II Интернационала. Соч., т. XIX, стр. 6.

² В. И. Ленин. Империализм, как высшая стадия капитализма. Соч., т. XIX, стр. 86.

³ Там же, стр. 142.

⁴ В. И. Ленин. О лозунге Соединенных Штатов Европы, т. XVIII, стр. 231—232.

¹ В. И. Ленин. О лозунге Соединенных Штатов Европы, т. XVIII, стр. 231—232.

² В. И. Ленин. Империализм, как высшая стадия капитализма. Соч., т. XIX, стр. 150.

³ Там же, стр. 120.

22 Проф. Штепа

здесь с гигантскими колониями». ¹ Колониальная политика эпохи империализма имеет при этом свои отчетливые особенности: «даже капиталистическая колониальная политика прежних стадий капитализма существенно отличается от колониальной политики финансового капитала». ² Современная колониальная монополия ведет (по крайней мере, в тенденции) к превращению капиталистических стран в «государство-рантье» или «государство-ростовщика». «Мир разделился на горстку государств-ростовщиков и гигантское большинство государств-должников». ³ Таким образом капитализм окончательно потерял свою былую динамическую силу, превращавшую его в двигателя развития производительных сил. В империалистической стадии капитализм непосредственно подходит к полному застою и даже прекращению производственной жизни. «Государство-рантье есть государство паразитического, гнивающего капитализма». ⁴ Это государство в своем законченном виде должно выглядеть так, как выглядят в настоящее время юг Англии, Ривьера, наиболее посещаемые богачами места Италии и Швейцарии. Главные отрасли промышленности должны исчезнуть. Сохранятся лишь те виды производства, которые заняты окончательной отделкой фабрикатов. Высшие классы при этом получают громадную дань с Азии и Африки и содержат за ее счет армию непродовольственных работников, занятых личным услужением или промышленной работой второстепенного значения под контролем финансовой аристократии. В Англии и теперь значительная часть земли «идет под спорт, под забаву для богачей». ⁵ Стрижка купонов становится преобладающим занятием: «доход рантье влется в страну превышает доход от внешней торговли в самой «торговой» стране мира! Вот сущность империализма и империалистического паразитизма». ⁶ Колоссальные доходы империалистов дают им возможность покупать верхушку рабочего класса, принимать на свое содержание оппортунистических вождей части рабочего движения. Таковы глубочайшие социальные сдвиги, связанные с империалистической эпохой. Однако изложенные тенденции развития империализма привели бы к своему логическому пределу «если бы силы империализма не встретили противодействия». Нельзя забывать «противодействующих империализму вообще и оппортунизму в частности сил». ⁷ Этими словами В. И. Ленин явственно намекает на социалистическую революцию, которая должна похоронить империализм вместе со всеми присущими ему тенденциями.

¹ В. И. Ленин. Империализм, как высшая стадия капитализма. Соч., т. XIX, стр. 122.

² Там же, стр. 137.

³ Там же, стр. 152.

⁴ Там же, стр. 153.

⁵ Там же, стр. 156.

⁶ Там же, стр. 152.

⁷ Там же, стр. 155.

Остановимся еще на замечательном открытии Ленина: теории неравномерности капиталистического развития. Нужно сказать, что у Ленина тезис о том, что при империализме капиталистические противоречия обостряются, как раз вытекает непосредственно из закона неравномерности экономического и политического развития отдельных стран при империализме. По Ленину развитие капитализма в эпоху империализма носит особенно ярко выраженный скачкообразный характер — так, что одни страны выдвигаются вперед, другие далеко отстают. В итоге те страны, которые сделали особенно крупный скачок вперед, требуют себе нового «места под солнцем»: происходит перераспределение сфер влияния той или иной страны, но оно происходит не на основе мирного соглашения, а базируется на насилии, а так как сила постоянно переходит от одних к другим, то совершенно неизбежно, что не может быть мирных соглашений между капиталистическими монополиями, которые были бы длительными и устойчивыми. Таким образом войны возникают именно на основе конфликтов из-за распределения, из-за дележа. Это означает, вместе с тем, что война рождается в результате монополий и в свою очередь усиливает тенденцию к концентрации и к монополии в капиталистическом хозяйстве. Острая полемика Ленина против оппортунистической теории «ультраимпериализма» Каутского, ожидавшего упразднения войн в результате международного соглашения монополистических организаций, приобретает особую силу и звучание в свете событий второй мировой войны, порожденной фашистской агрессией.

С установлением закона неравномерности капиталистического развития при империализме связано и дальнейшее выдающееся открытие, сделанное Лениным в 1915—1916 гг., а именно: провозглашение им возможности победы социализма в одной стране. Эта мысль впервые была высказана Лениным в законченной форме в двух работах: первая из них — «О лозунге Соединенных Штатов в Европе» — появилась в 1915 г., вторая, носящая имя — «Военная программа пролетарской революции», вышла в свет осенью 1916 г. Основная мысль обеих работ и заключается в том, что в силу неравномерности капиталистического развития при империализме возможно, что социализм победит не сразу по всему фронту, как это раньше представляли себе марксисты (т. е. что пролетарская революция сразу произойдет в большинстве и даже во всех государствах). Возможно, что в силу неравномерности развития одна страна выдвинется вперед, и именно здесь созреют условия для пролетарской революции, начнется процесс социалистического строительства, и именно эта страна затем вынуждена будет выдержать натиск со стороны капиталистического окружения. Ей придется, следовательно, вести оборонительную войну за социалистическое отечество, которая явится войной законной и справедливой.

Работы И. В. Сталина являются завершением и апофеозом развития русской и мировой общественно-экономической мысли. В задачу настоящей работы, рассматривающей историческое развитие отечественной экономической идеологии, не входят изложение и анализ всей системы экономических взглядов И. В. Сталина. Эта грандиозная задача, пока не выполненная в нашей литературе, должна быть, естественно, предметом специального исследования. Уже было отмечено, что и И. В. Сталине, как и в В. И. Ленине, воплотилась линия дальнейшего развития марксистской доктрины, предпосылкой которого является отрешение от догматизма и чуткое преломление в экономической теории конкретных черт изменяющейся действительности. Здесь придется ограничиться немногими примерами.

Мы видели, какие сдвиги произошли в понимании принципа развития производительных сил на протяжении XIX и начала XX века. Ленин гениально показал, что развитие производительных сил является при капитализме мощным революционизирующим фактором, подготавливающим торжество социализма. И. В. Сталин, как мы сейчас попытаемся показать, обращается к вопросу о развитии производительных сил неоднократно. Для него, как и для В. И. Ленина, этот принцип важен, разумеется, не сам по себе, а в связи с огромными социальными сдвигами, им обуславливаемыми. Исключительный рост производительности труда при социализме по сравнению с капитализмом является символом огромного преимущества социалистической системы над капиталистической. С другой стороны, это важнейшее оружие приобретает первенствующее значение при капиталистическом окружении: возможность форсировать рост производительных сил в процессе социалистического строительства является драгоценной предпосылкой усиления обороноспособности нашей родины перед лицом внешней опасности. Говоря на первом всесоюзном совещании стахановцев о неизмеримо более высокой производительности труда, которую может дать социализм сравнительно с капитализмом, И. В. Сталин объяснил и причины этого преимущества: «Почему капитализм развил и преодолел феодализм? Потому, что он создал более высокие нормы производительности труда, он дал возможность обществу получать несравненно больше продуктов, чем это имело место при феодальных порядках. Потому, что он сделал общество более богатым. Почему может, должен и обязательно победит социализм капиталистическую систему хозяйства? Потому, что он может дать более высокие образцы труда, более высокую производительность труда, чем капиталистическая система хозяйства. Потому, что он может дать обществу больше продуктов и может сделать общество более богатым, чем капиталистическая система хозяйства».¹

¹ И. Сталин. Речь на первом всесоюзном совещании стахановцев. «Вопросы ленинизма», изд. 11-е, стр. 494.

В своей речи в конце 1929 г. на конференции аграрников-марксистов И. В. Сталин отметил имевшее тогда место отставание теории и ярко показал на конкретном примере, как принцип развития производительных сил и теория воспроизводства должны применяться к конкретной действительности. Развивая пресловутую «теорию равновесия», которую И. В. Сталин изображал в виде теории движения двух ящиков-секторов — социалистического и капиталистического, катящихся бесконечно по параллельным линиям, он противопоставил этой «теории» анализ расширенного воспроизводства в СССР на основании схемы Маркса. Благодаря индустриализации страны, крупная промышленность развивалась уже в те годы по пути расширенного воспроизводства. Не то было с мелким крестьянским хозяйством, представлявшим тогда еще преобладающую величину в нашей стране. «Наше мелкокрестьянское хозяйство, — указал И. В. Сталин, — не только не осуществляет в своей массе ежегодно расширенного воспроизводства, но, наоборот, оно не всегда имеет возможность осуществлять даже простое воспроизводство. Можно ли двигать дальше ускоренным темпом нашу социализированную индустрию, имея такую сельскохозяйственную базу, как мелкокрестьянское хозяйство, неспособное на расширенное воспроизводство и представляющее к тому же преобладающую силу в нашем народном хозяйстве? Нет, нельзя».¹ Так программа коллективизации нашего сельского хозяйства получила, помимо других, политических аргументов, и теоретико-экономическую опору. Как бы продолжением этого научного анализа, приводящего к необходимости замены мелкого производства крупным в земледелии, являются замечательные высказывания И. В. Сталина в работе «Год великого перелома». И. В. Сталин ставит здесь вопрос о том, почему в капиталистическом мире организации предприятий гигантов в 50—100 тысяч гектаров является невозможной. Главнейшим препятствием являются частная земельная собственность и базирование на ней абсолютная земельная рента. Крупнейшим стеснением там является также необходимость извлечения максимум прибыли из предприятия. У нас все эти и многие другие препятствия исчезают.² Таким образом именно в СССР были созданы на социалистической основе исключительно благоприятные предпосылки для скорейшего перехода к расширенному воспроизводству и в сельском хозяйстве.

В отчетном докладе XVII съезду коммунистической партии И. В. Сталин с особенной силой подчеркнул значение принципа развития производительных сил для социалистического общества в следующих знаменательных словах: «Социализм может быть построен лишь на базе бурного роста производительных сил

¹ И. Сталин. К вопросам аграрной политики в СССР. «Вопросы ленинизма», стр. 277.

² И. Сталин. Год великого перелома. «Вопросы ленинизма», стр. 271.

общества, на базе обилия продуктов и товаров, на базе зажиточной жизни трудящихся, на базе бурного роста культуры. Ибо социализм, марксистский социализм, означает не сокращение личных потребностей, а всемерное их расширение и расцвет, не ограничение или отказ от удовлетворения этих потребностей, а все-стороннее и полное удовлетворение всех потребностей культурно-развитых трудящихся людей.¹

Известно, что эти замечательные высказывания И. В. Сталина были связаны с обсуждением вопроса о том, нужно ли предопределять на нынешнем этапе социалистического строительства для деревни артель или коммуны. Этот вопрос всецело решается И. В. Сталиным применительно к уровню развития производительных сил. Прежвременные попытки осуществления коммуны исходили по необходимости из «уравниловки в области потребностей и личного быта», и эта уравниловка шла не от богатства, а от бедности. Нынешняя коммуна «возникла на базе неразвитой техники и недостатка продуктов».² Чтобы перейти от артели к коммуне, недостаточно провозгласить принцип коммуны, а нужно добиться огромного роста производительных сил. Почему? Потому что уравниловка, построенная на мелкобуржуазной утопии, стремящейся к тому, чтобы всем было «одинаково хорошо», это — принцип далекий от марксизма. Как говорит И. В. Сталин, этот принцип больше пристал бы к лицу какой-нибудь первобытной секте аскетов, а не социалистическому строю. Общество, построенное на марксистских началах, должно стремиться не к равенству потребления, а к максимальному развитию производительных сил, которое могло бы обеспечить удовлетворение потребностей людей (как материальных, так и духовных) на достаточно высоком уровне. Равенство в понимании марксистов, говорит И. В. Сталин, ссылаясь на известные слова Энгельса, означает лишь уничтожение классов. Коммуна возникает в надлежащий момент времени из развитой и зажиточной артели, которая будет опираться на передовую технику. Это произойдет тогда, когда «при артелях заведутся механизированные прачечные, современные кухни-столовые, хлебозаводы и т. д.»³

В выступлении И. В. Сталина на первом всесоюзном совещании стахановцев он показал, что и стахановское движение, в сущности, имеет огромное принципиальное значение именно потому, что оно вносит в социалистическое хозяйство совершенно новый принцип, настолько повышающий производительность труда, что это приводит к серьезнейшим социальным последствиям. Стахановское движение внесло новый революционный принцип в нашу социалистическую промышленность. Этот принцип заклю-

чается в том, что старые технические нормы производительности труда сломаны и заменены гораздо более высокими, на базе двух основных начал: во-первых, осуществления новой техники на наших социалистических предприятиях и, во-вторых, появления новых культурных кадров, способных перевернуть старые технические нормы и заменить их более высокими. Преодоление противоположности между физическим и умственным трудом должно опираться на подлинную техническую и культурную революцию, которая не может не привести к огромному повышению производительности общественного труда. Стахановское движение является первым шагом в этом направлении. Существует совершенно неверное мнение, будто уничтожения противоположности между физическим и умственным трудом можно добиться «на базе знания культуры культурно-технического уровня инженеров и техников, работников умственного труда, до уровня средние-квалифицированных рабочих». Однако, по словам И. В. Сталина, «так может думать о коммунизме только мелкобуржуазные болтуны».¹ Наоборот, правильный принцип заключается в том, что рабочих нужно подтянуть «до уровня работников инженерно-технического труда». Стахановское движение знаменует собой «первые начатки, правда, еще слабые, но все же начатки такого именно культурно-технического подъема рабочего класса нашей страны».² В этом построении И. В. Сталина опять-таки замечательно связывается идея развития производительных сил с перспективами социальных сдвигов.

Представляется несомненным, что И. В. Сталин придает такое исключительное значение росту производительных сил еще и потому, что наше социалистическое строительство происходит в сложных условиях вражеского, капиталистического окружения, и поэтому, согласно гениальному предугаданию Ленина, наша страна должна была или сделать в течение нескольких лет гигантский прыжок вперед или погибнуть. И. В. Сталин подчеркивает, что «партия как бы подхлестывала страну, ускоряя ее бег вперед». Иначе ведь и быть не могло. «Нельзя не подгонять страну, которая отстала на сто лет и которой угрожает из-за ее отсталости смертельная опасность». В таких условиях не приходится ждать или маневрировать. Партия «должна была проводить политику наиболее ускоренных темпов».³ Другими словами, речь идет о том, что индустриализация страны и притом индустриализация, идущая мощными темпами, является необходимой предпосылкой повышения обороноспособности нашего государства. Опыт второй мировой войны, в которой разгром фашистского лагеря

¹ И. Сталин. Ответный доклад XVII съезду партии. «Вопросы ленинизма», стр. 473.

² Там же, стр. 476.

³ Там же, стр. 469.

¹ И. Сталин. Речь на первом всесоюзном совещании стахановцев. «Вопросы ленинизма», стр. 495.

² Там же, стр. 496.

³ И. Сталин. Итоги первой пятилетки. «Вопросы ленинизма», стр. 376, 377.

явился главным образом делом рук замечательно оснащенной героической Красной Армии, показывает, насколько правильна была ставка на максимальное повышение производительных сил у Ленина и Сталина. Напомним известные всем слова И. В. Сталина: «Современная война есть война моторов. Войну выигрывает тот, у кого будет подавляющее преобладание в производстве моторов». Таким образом, как видно из приведенных многочисленных высказываний И. В. Сталина, он неизменно остается верен принципу развития производительных сил нашего народного хозяйства, как одному из важнейших показателей торжества социалистической системы. В. И. Ленин был сторонником максимального развития производительных сил при капитализме, так как видел в нем сигнал приближающейся победы социализма. И. В. Сталин с удовлетворением отмечает рост производительных сил после великой социалистической революции, так как видит в нем залог полного разворачивания заложенных в социалистическом строе производительных потенций.

Одним из наиболее блестящих образцов сталинского теоретико-экономического анализа можно признать общую концепцию И. В. Сталина относительно экономического развития СССР на плановой основе в результате осуществления пятилеток. Это развитие происходило в условиях растущего торжества социалистического строя над элементами капитализма в нашей стране. С исключительной яркостью И. В. Сталин определил экономические задачи первой пятилетки. Нашей родине предстояло превратиться из отсталого, аграрного государства «в страну индустриальную и могучую, вполне самостоятельную и независимую от капризов мирового капитализма». 2 Осуществление этого принципа требовало, прежде всего, создания «основного звена пятилетнего плана» — тяжелой промышленности — «с ее сердцевинной — машиностроением». В капиталистических странах тяжелая индустрия была создана путем крупных внешних займов и ограбления других стран. Мы должны были решить эту задачу «внутренними силами нашей страны, без кабальных кредитов и займов извне». Ставка на внутренние силы означала в данном случае установление строжайшего режима экономии и накопление средств для финансирования индустриализации за счет внутренних ресурсов нашей страны.

Не менее важная основная задача первой пятилетки состояла в вытеснении до конца капиталистических элементов и создании экономической базы для уничтожения классов в СССР. Для обеспечения такой базы социализма в деревне с целью окончательно ликвидировать возможность восстановления капитализма в нашей

стране, нужно было «перевести мелкое и раздробленное сельское хозяйство на рельсы крупного коллективного хозяйства». 1 Пятилетка в области сельского хозяйства была «пятилеткой коллективизации». Она одновременно выполняла функцию и технического перевооружения, и коренного изменения социальной базы. Генуальное предельное И. В. Сталина выразилось в том, что он уже в январе 1933 г. провозгласил колхозы и совхозы «более жизнеспособной формой хозяйства, чем единоличные и капиталистические хозяйства». И. В. Сталин показал, что нельзя сулить об этой жизнеспособности по финансовым результатам, достигнутым в первые годы существования коллективных хозяйств. «На рентабельность нельзя смотреть торгашески, с точки зрения данной минуты. Рентабельность надо брать с точки зрения общенародного хозяйства в разрезе нескольких лет. Только такая точка зрения может быть названа действительно ленинской, действительно марксистской». 2

Как полная победа коллективного хозяйства над мелкотоварным индивидуальным хозяйством нашла выражение в подъеме материального положения и культуры трудящегося, лучше всего показано в ярких, незабываемых образах, олицетворяющих, вместе с тем, теоретические принципы. И. В. Сталиным в отчетном докладе XVII съезду партии. Наша страна добилась того, что «труд рабочего и крестьянина освобожден от эксплуатации». Это отразилось, в частности, на внешнем облике наших городов и деревень. Так, городские трущобы «заменены вновь отстроенными хорошими и светлыми рабочими кварталами, причем во многих случаях рабочие кварталы выглядят у нас лучше, чем центры города». Совершенно преобразилась и деревенская обстановка. «Старая деревня с ее церковью на самом видном месте, с ее лучшими домами урядника, попа, кулака на первом плане, с ее полуразваленными избами крестьян на заднем плане — начинает исчезать. На ее место выступает новая деревня с ее общественно-хозяйственными постройками, с ее клубами, радио, кино, школами, библиотеками и яслями, с ее тракторами, комбайнами, молотилками, автомобилями». В результате происшедших сдвигов исчезает противоположность между городом и деревней. Смычка между городом и деревней получает выражение в том, что город, обладая мощной технической базой, помогает деревне присылкой средств производства, а также людей. К этому следует прибавить, что «и сама деревня имеет теперь свою промышленность в виде машинно-тракторных станций, ремонтных мастерских, всякого рода промышленных предприятий колхозов, небольших электро-

¹ И. Сталин. О великой Отечественной войне Советского Союза. Цит. по Саратовскому изданию, 1943, стр. 30.

² И. Сталин. Итоги первой пятилетки. «Вопросы ленинизма», стр. 369.

¹ И. Сталин. Итоги первой пятилетки. «Вопросы ленинизма», стр. 369.

² Там же, стр. 383.

станций и т. п. Культурная пропасть между городом и деревней заполняется».¹

Совершенно изменяется и характер использования рабочей силы в деревне. Выбрасывание избытков рабочей силы деревни в город, столь характерное для капитализма, давно прекратилось. «Теперь уже нет у нас таких случаев, чтобы сотни тысяч и миллионы крестьян разорались и обивали пороги фабрик и заводов».² Процесс социалистического строительства может поглотить любое количество рабочих рук, и нужда в них так велика, что городской промышленности приходится обращаться к колхозам с просьбой отпускать нам для растущей промышленности ежегодно хотя бы около полутора миллионов молодых колхозников. Колхозы, ставшие зажиточными, сами заинтересованы в том, чтобы развивать городскую промышленность, обеспечивающую их товарами массового потребления. Кроме того, обилие техники в колхозах высвобождает часть работников в деревне. Таким образом взаимоотношения между городом и деревней строятся на основе обоюдной помощи и поддержки.

Производительные силы являются «основой формы смычки» между городом и деревней, восполняемой «смычкой товарной для того, чтобы связь между городом и деревней стала прочной и неразрывной».³ (О помощи, которую город оказывает крестьянскому хозяйству, см. также ниже, стр. 350—351.) Укрепление в нашей стране развитой государственной промышленности, с одной стороны, и целой системы колхозов и совхозов — с другой, приводит к тому, что государству обеспечиваются огромные резервы сельскохозяйственных и промышленных товаров, служащих залогом широкого разворота торговли. Товарооборот между городом и деревней приобретает надежную, прочную базу.

Как показано И. В. Сталиным, наличие в нашей стране этих громадных товарных фондов выбивает из-под ног почву у экономистов капиталистических стран, утверждающих, будто предельным условием развития советской торговли является оздоровление нашей валюты. Утверждая это, иностранные экономисты доказывают, что они «понимают в политической экономии не больше, чем, скажем, архиепископ Кентерберийский в антирелигиозной пропаганде». И. В. Сталин дал замечательное разъяснение особенностей нашей валюты, для которой обеспечением в первую очередь являются именно колоссальные товарные фонды, имеющиеся в распоряжении государственного аппарата. «Разве это не факт, что на эту валюту строили мы Магнитострой, Днепрострой, Кузнецкстрой, Сталинградский и Харьковский тракторные заводы, Горьковский и Московский автомобильные заводы,

сотни тысяч колхозов и тысячи совхозов?.. Устойчивость советской валюты обеспечивается прежде всего громадным количеством товарных масс в руках государства, пускаемых в оборот по устойчивым ценам. Кто из экономистов может отрицать, что такое обеспечение, имеющее место только в СССР, является более реальным обеспечением устойчивости валюты, чем любой золотой запас?»¹

Отметим далее, что И. В. Сталин, как и В. И. Ленин, уделил большое внимание вопросам крестьянской экономики в связи с вопросом о роли крестьянства в русской революции. В статье «Октябрьская революция и вопрос о средних слоях» (1923 г.) И. В. Сталин показал значение средних слоев для рабочей революции. Эта статья замечательна тем, что в ней подводится под понятие резерва пролетарской революции и крестьянство, и угнетенные массы колониальной мира, в качестве именно средних слоев. «Средние слои, т. е. крестьянство, мелкий городской трудовой люд», — разъясняет И. В. Сталин. «Сюда же нужно отнести угнетенные национальности, состоящие на девять десятых из средних слоев».² Борьба за средние слои, борьба за крестьянство пронизывает всю историю нашей революции с 1905 по 1917 г. Русские коммунисты были в этом вопросе верными учениками Маркса, «этого наиболее принципиального марксиста из всех марксистов», и стремились заручиться поддержкой крестьянства в пролетарской революции. В революционной борьбе решался вопрос и о ближайших, и о наиболее глубоких резервах капитала. «Если борьба за средние слои данной господствующей национальности является борьбой за ближайшие резервы капитала, то борьба за освобождение угнетенных национальностей не могла не превратиться в борьбу за завоевание отдельных, наиболее глубоких резервов капитала, в борьбу за освобождение колониальных и неполноправных народов от гнета капитала».³ Это завоевание крестьянства на сторону пролетариата происходило под флагом социализма: «Октябрьская революция расчистила дорогу для идей социализма к средним, непролетарским, крестьянским слоям всех национальностей и племен».

Последнее слово в разрешении вопроса о революционных возможностях крестьянства, столь занимавшего нашу общественную мысль с середины XIX века, также сказано И. В. Сталиным, который для периода общественного развития, характеризуемого им, как канун пролетарской революции, ставит вопрос так: *«исчерпаны ли уже революционные возможности, тающиеся в нед-*

¹ И. Сталин. Отчетный доклад XVII съезду партии. «Вопросы ленинизма», стр. 458.

² И. Сталин. Итоги первой пятилетки. «Вопросы ленинизма», стр. 387.

³ Там же, стр. 389.

¹ И. Сталин. Итоги первой пятилетки. «Вопросы ленинизма», стр. 391.

² И. Сталин. Марксизм и национально-колониальный вопрос. Сборник статей и речей. 1934, стр. 140.

³ Там же, стр. 142.

рах крестьянства, в силу известных условий его существования, или нет, и если не исчерпаны, *есть ли надежда, основание использовать эти возможности для пролетарской революции, превратить крестьянство, его эксплуатируемое большинство, из резерва буржуазии, каким оно было во время буржуазных революций Запада и каким оно остается и теперь, — в резерв пролетариата, в его союзника?*¹ Ответ, как известно, заключается в признании за большинством крестьянства революционных способностей.² Революционность крестьянства явилась одним из весьма важных факторов способствовавших победе Октябрьской революции. «Революции 48 г. и 71 г. во Франции погибли, главным образом, потому, что крестьянские резервы оказались на стороне буржуазии. Октябрьская революция победила потому, что она сумела отобрать у буржуазии ее крестьянские резервы, она сумела завоевать эти резервы на сторону пролетариата и пролетариат оказался в этой революции единственной руководящей силой миллионов масс трудового люда города и деревни».³ В Европе буржуазные революции происходили при гораздо меньшей степени общественной зрелости, когда пролетариат еще не мог стать руководящей политической силой. Поэтому ликвидацией крепостничества руководила либеральная буржуазия, так что у крестьян создавалось впечатление, что они получают раскрепощение из рук буржуазии. В России буржуазная революция развернулась при гораздо более зрелых условиях классовой борьбы. Крестьянство совершило массовый «отход от буржуазии». Этому способствовало то, что именно в России, как нигде, к моменту нашей социалистической революции сохранились самые безобразные, самые нестерпимые пережитки крепостнических порядков в деревне, дополняемые всевластием помещика. Все это бросило крестьянство «в объятия революции». Естественно, что «крестьянство, прошедшее школу трех революций, боровшееся против царя и буржуазной власти вместе с пролетариатом и во главе с пролетариатом, крестьянство, получившее землю и мир из рук пролетарской революции и ставшее ввиду этого резервом пролетариата, — это крестьянство не может не отличаться от крестьянства, боровшегося во время буржуазной революции во главе с либеральной буржуазией, получившего землю из рук этой буржуазии и ставшего ввиду этого резервом буржуазии».⁴

Таким образом корень революционных способностей кре-

¹ И. Сталин. Об основах ленинизма. «Вопросы ленинизма». Изд. 11-е, 1939, стр. 36.

² И. Сталин. Об основах ленинизма. «Вопросы ленинизма». Изд. 11-е, стр. 36.

³ И. Сталин. Октябрьская революция и тактика русских коммунистов. «Вопросы ленинизма». Изд. 11-е, стр. 81.

⁴ И. Сталин. Об основах ленинизма. «Вопросы ленинизма». Изд. 11-е, стр. 41, 42.

стьянства нужно искать не в природных «инстинктах» и не в особенностях общего быта, а в социально-экономической и политической обстановке, определяющейся характером классовой борьбы в каждой стране. Но приобрета при благоприятных общественных условиях революционную закалку, крестьянство становится надежнейшим союзником пролетариата.

И. В. Сталин дает также замечательную характеристику природы крестьянского хозяйства. Вспомним, как отвечал на вопрос о сущности крестьянства Плеханов. Он выдвигал на первый план то обстоятельство, что крестьянин является земледельцем. Для отграничения крестьян от других категорий земельных собственников Плеханов пользуется таким механистическим, чисто количественным критерием, как размер земельного владения. Совсем по-иному подходит к крестьянину И. В. Сталин. По его словам: «крестьянское хозяйство не есть капиталистическое хозяйство. Крестьянское хозяйство, если взять подавляющее большинство крестьянских хозяйств, есть хозяйство мелкотоварное. А что такое мелкотоварное крестьянское хозяйство? Это есть хозяйство, стоящее на распутии между капитализмом и социализмом».¹ В этих словах выражена самая суть нашего дореволюционного аграрного вопроса, которой в течение ряда десятилетий доискивались представители русской общественной мысли. Было бы неверно выводить из социального положения крестьянства неизбежно присущий ему консерватизм, как это делал тот же Плеханов. Правда, тов. Сталин неоднократно подчеркивает что «крестьянство не социалистично по своему положению».² Но это далеко еще не определяет его политической позиции. Крестьянское хозяйство отличается *неустойчивостью, несамостоятельностью*. Оно зависит от города. И сложившиеся у него взаимоотношения с общественными классами городского населения оказывают огромное давление на крестьянскую психику. Крестьянство отнюдь не состоит из капиталистов, хотя Ленин правильно называет его «последним капиталистическим классом». Его нужно признать «особым классом», который, правда, постоянно «выделяет из своей среды, порождает и питает капитализм, кулаков и вообще разного рода эксплуататоров».³ но сам в массе не принадлежит к этим категориям. Правильно определить классовое содержание крестьянства можно, только исходя от этой его внутренней противоречивой, двойственной природы. Крестьянство представляет именно промежуточный слой. Оно «на распутии между капитализмом и социализмом». И в силу этой своей двойственности оно расщепляется, легко

¹ И. Сталин. К вопросам ленинизма. «Вопросы ленинизма». Изд. 11-е, стр. 148.

² Там же, стр. 149.

³ И. Сталин. Об основах ленинизма. «Вопросы ленинизма». Изд. 11-е, стр. 192.

поддается расслоению на отдельные группы, противостоящие друг другу. «Союз пролетариата с крестьянством является союзом рабочего класса с трудящимися массами крестьянства. Такой союз не может быть осуществлен без борьбы с капиталистическими элементами крестьянства, без борьбы с кулачеством». ¹ Отсюда вытекает также положение, что «союз рабочих и крестьян в условиях диктатуры пролетариата не есть простой союз. Это есть особая форма классового союза рабочего класса и трудящихся масс крестьянства, ставшая своей целью: а) усиление позиций рабочего класса, б) обеспечение руководящей роли рабочего класса внутри этого союза, в) уничтожение классов и классового общества. Всякое иное понимание союза рабочих и крестьян есть оппортунизм, меньшевизм, эсерство, — все что угодно, только не марксизм, только не ленинизм». ²

Приведенные соображения тов. Сталина завершают, ставят последнюю точку в процессе развития нашей общественной мысли в аграрном вопросе с середины XIX в. В такой стране с подавляющим преобладанием земледелия, какою была на протяжении огромного исторического периода Россия, важно было понять, разгадать до конца социальный смысл такой важнейшей категории общественной и политической жизни, как крестьянство.

Извилистый путь вел к решению этой задачи, и мы постарались проследить за всеми его этапами. Каждый из них был по-своему закономерен и каждый представлял звено единой цепи. И. В. Сталин представляет заключительный этап в этом идеологическом развитии. Решение задачи было найдено.

Переход от индивидуального крестьянского хозяйства к коллективному, к общественному хозяйству в земледелии означает огромный переворот и в социальном, и в технико-производственном отношениях. «Сила крупного хозяйства в земледелии является ли оно помещичьим, кулацким или коллективным хозяйством, состоит в том, что оно, это крупное хозяйство, имеет возможность применять машины, использовать данные науки, применять удобрения, подымать производительность труда и давать, таким образом, наибольшее количество товарного хлеба». ³ Параллельный рост крупного производства и в сельском хозяйстве и в промышленности в советских условиях приводит к совсем новым взаимоотношениям между городом и деревней, к уничтожению противоположности между ними. От вековой вражды крестьянина к городу не остается и следа. Крестьянин получает теперь в городе машину, трактор, агронома, организатора, прямую помощь

¹ И. Сталин. На хлебном фронте. «Вопросы ленинизма». Изд. 11-е, стр. 192, 193.

² Там же, стр. 192.

³ И. Сталин. На хлебном фронте. «Вопросы ленинизма». Изд. 11-е, стр. 185.

для преодоления кулачества. «Крестьянин старого типа с его эверским недоверием к городу, как к грабителю, отходит на задний план. Его сменяет новый крестьянин, крестьянин-колхозник, смотрящий на город с надеждой на получение оттуда реальной производственной помощи». ¹ Меняется таким образом самая психология крестьянина. Из этого видно, что И. В. Сталин рассматривает колхоз, как своего рода школу социалистического воспитания крестьян. Бакунии и Ткачев готовы были видеть в крестьянине коммуниста по инстинкту. Они связывали определенный тип крестьянской психологии с его природными данными. Даже те, кто, подобно Гершену, усматривали известное воздействие на крестьянскую психологию со стороны быта, придавая значение мирским сходкам, переделам земли, выборам старост и т. д., забывали о том, что для воспитания крестьянства в социалистическом духе в старой России не хватало важнейшего элемента, а именно коллективного производства. Поэтому так легко и изменялась психология крестьян, когда они переходили к индивидуальной собственности на землю. Русский кулак чертами своего сознания едва ли отличался особенно от своего западно-европейского собрата. Только у Сталина вопрос о переводе крестьянства получил, наконец, надлежащую базу. Крестьянство проходит в колхозе замечательную школу социализма благодаря коллективному производству на машинизированной основе. И. В. Сталин сочувственно цитирует слова Ленина о том, что «дело переработки мелкого земледельца, переработки всей его психологии и навыков есть дело, требующее поколений». Он анализирует также в одной из своих работ причины известной осторожности Энгельса в вопросе о переводе мелких крестьян в Европе на путь коллективного хозяйства и приходит к выводу, что там у каждого крестьянина имеется «свой» клочок земли, с которым ему трудно будет расстаться. «Таково крестьянство на Западе. Таково оно в капиталистических странах, где существует частная собственность на землю». После национализации земли у нас нет частной собственности на землю, приковывающей крестьянина к его индивидуальному хозяйству. «Досадно, — замечает тов. Сталин, — что наши теоретики-аграрники не попытались еще вскрыть с должной ясностью эту разницу между положением крестьянина у нас и на Западе». ² Таким образом, разница в психологии между рабочим и крестьянином должна, повидному, рано или поздно стертись, но этот процесс социального воспитания потребует длительного времени: «придется еще много поработать над тем, чтобы переделать крестья-

¹ И. Сталин. К вопросам аграрной политики в СССР. «Вопросы ленинизма». Изд. 11-е, стр. 287.

² Там же, стр. 282, 283.

нина-колхозника, выправить его индивидуалистическую психологию и сделать из него настоящего труженика социалистического общества».¹

В беседе с первой американской рабочей делегацией И. В. Сталин, отмечая то новое, что внесено в марксизм Лениным, указал, в качестве одного из пунктов, то, что «он наметил конкретные пути постепенного подвода и вовлечения основных масс крестьянства в русло социалистического строительства через кооперацию, представляющую в руках пролетарской диктатуры величайшее средство переделки мелкого крестьянского хозяйства и перевоспитания основных масс крестьянства в духе социализма».² Все это показывает, что к моменту Великой Октябрьской социалистической революции в нашей стране крестьянство пришло к индивидуалистической психологии, которую предстояло изживать методами колхозного воспитания. Иные представления о крестьянской психике, господствовавшие в нашей передовой литературе, до возникновения русского марксизма питались убеждением, что Россия не вышла из стадии первобытно-общинного хозяйства и сохраняет в деревенском быту в нетронутом виде основы коллективизма. Этой концепции, изживавшейся с поразительной медленностью, нанес решительный удар, как мы видели, только Ленин, показав, что Россия развивается к капитализму не от первобытно-общинного строя, а от феодализма, от крепостнической эксплуатации в деревне.

Превращение крестьянства из резерва буржуазии в резерв пролетариата создало в России предпосылки для того, чтобы стать первым в мире очагом социализма. Нужно было смело признать, что социализм не обязательно должен был восторжествовать в самой передовой в смысле капиталистического развития стране. Выше были приведены слова Энгельса о том, что время избранных народов миновало безвозвратно. Эти слова можно, конечно, признать за непреклемую истину, но они ни в какой мере не уstraляют вопроса о том, какая же страна должна была завоевать почетную роль пионера социализма. Этот вопрос не мог быть решен механически, сопоставлением степени накопления «производительных сил». Этому критерию, который, разумеется, сохраняет свое значение, но в условиях империализма не может быть решающим, противопоставляется идея слабого звена в цепи капиталистических стран. В империалистическую эпоху нужно говорить не об отдельной стране, а всей совокупности капиталистического мира, учитывая наличие объективных условий революции во всей системе мирового империалистического хозяйства, нужно говорить о подготовленности ми-

ровой пролетарской революции и т. д. Тов. Сталин отверг идею одновременного вызревания элементов социализма в более развитых странах. Он объявил универсальную теорию одновременной победы революции в основных странах Европы «нежизнеспособной теорией», ссылаясь на то, что еще Ленин признавал «одновременную революцию в ряде стран» лишь «редким исключением».¹ В другом месте тов. Сталин говорит: «цепь империалистического фронта, как правило, должна порваться там, где звенья цепи слабее, и уж, во всяком случае, не обязательно там, где капитализм более развит, где пролетариат столько-то процентов, а крестьян столько-то и так далее».² Тов. Сталин предостерегает от прямолинейного подхода к анализу предпосылок пролетарской революции «с точки зрения экономического состояния той или иной отдельной страны». В России «цепь оказалась слабее, хотя Россия была менее развита в капиталистическом отношении, чем, скажем, Франция или Германия, Англия или Америка».³

Подведем итоги замечательному столетию в истории русской экономической мысли. Наша политическая экономия этого периода не похожа на европейскую. Она глубоко проникнута революционным духом. Оригинальность ее выразилась в том, что она сумела на широкой гуманистической основе развить теорию, отражающую интересы трудовых масс — сначала крестьян, затем рабочих, проанализировала вопрос о социальной природе и революционных возможностях крестьянства, подвергла жесточайшей критике крепостнические порядки в деревне, разработала проблему перерастания феодального способа производства в капиталистический в сельском хозяйстве. Несмотря на все зигзаги мысли, в целом это был нарастающий подъем. Интересно в этом отношении сравнить историю экономической мысли в России и Германии. Неоспоримые преимущества окажутся на стороне нашей родины. Энгельс в своей рецензии на книгу Маркса «К критике политической экономии» (рецензия написана в 1859 г.) беспощадно разоблачает убожество немецкой политической экономии до Маркса. Среди руководящих представителей экономической науки не было, по словам Энгельса, ни одного немецкого имени. Причина заключалась в отсталости Германии. Пока застарелые пережитки средневековья сковывали до 1830 г. материальное буржуазное развитие Германии, немецкой политической экономии вообще не могло и быть. После организа-

¹ И. Сталин. К вопросам аграрной политики в СССР. «Вопросы ленинизма», изд. 11-е, стр. 289, 290.

² И. В. Сталин. Беседа с первой американской делегацией. «Вопросы ленинизма», изд. 9-е, стр. 265.

¹ И. Сталин. Октябрьская революция и тактика русских коммунистов. «Вопросы ленинизма», изд. 11-е, стр. 102.

² И. Сталин. Об основах ленинизма. «Вопросы ленинизма», изд. 11-е, стр. 20.

³ И. Сталин. Об основах ленинизма. «Вопросы ленинизма», изд. 11-е, стр. 19.

ции Таможенного союза у немцев впервые появилась возможность хотя бы *поймать* политическую экономию. С этого времени начинается «импорт» английской и французской экономической теории в Германию.¹ Об этом импорте говорит также, потешаясь над немецкими экономистами, Маркс: «Немцы в период упадка буржуазной политической экономии, как и в классический ее период, остались простыми учениками, поклонниками и подражателями границы, мелкими разносчиками продуктов крупных заграничных фирм». ² Обработка немецкими учеными и чиновниками чужого идеологического материала не делала им чести, пишет далее Энгельс. «Немецкая политическая экономия, — выносит он суровый, но справедливый приговор, — ... по своей пошлости, поверхностности, скудоумию, многословности и краже чужих мыслей может быть сравнима только с немецким романом». Получившаяся в конце-концов в качестве результата этого духовного процесса камералистика представляет собой лишь «кашу из всякой всячины, политуку эклектически-экономическим соусом». ³ Казалось бы, на этом тупиком, безнадежном фоне трудно ожидать в дальнейшем ярких пятен. Тем не менее, новая заря загорается с возникновением пролетарской партии. С момента ее зарождения ведет существование научная, самостоятельная политическая экономия.

Бросается в глаза аналогия с положением вещей в России, как оно изображено в начале этой работы. Экономическая отсталость задерживает развитие мысли. Академики и бюрократы ошибаются по мере сил привезенную из-за границы не соответствующую местным условиям и поэтому непонятную политическую экономию. Это застойное состояние мысли продолжается до возникновения подлинного революционного движения. И тут совершается чудо в Германии и у нас. Революционная мысль порождает новую науку. И что является самым замечательным в этом идейном процессе — это то, что, несмотря на продолжающуюся экономическую отсталость, именно обе эти страны выдвигают самых выдающихся представителей экономической мысли, каких не было и в передовых капиталистических странах. Политическая экономия оставалась английской и французской наукой до тех пор, пока в ней отражалась потребность в развитии производственных сил капитализма. Научный социализм избирает для себя иную территориальную базу. Он дает наиболее замечательные плоды в странах, которые одновременно страдают и от развития капитализма и от недостаточности этого развития. Поэтому в пылу острой идейной борьбы, вызванной

мощным взрывом революционного движения, угрожающего самому существованию капитализма, и рождается научный социализм. С тех пор и до наших дней передовые по капиталистическому развитию страны не могут похвалиться ни одним именем, которое украсило бы историю научного социализма. Невольно напрашивается мысль, нет ли в этом территориальном размещении идей какой-то закономерности.

На этот вопрос уже дал ответ И. В. Сталин. Он вспоминает указание Маркса на то, что в середине XIX в. центр тяжести революционного движения переносится в Германию, так как там буржуазная революция подготовлялась при более развитом состоянии пролетариата, чем в других странах. Именно поэтому Германия должна была стать родиной научного социализма. Но в начале XX в. центр революционного движения вновь переместился в Россию, и здесь были поставлены и разрешены революционные задачи гораздо большего масштаба, чем в Германии 1848 г. «Мудрено ли после этого, что страна, претерпевшая такую революцию и имеющая такой пролетариат, послужила родиной теории и практики пролетарской революции?»¹

Однако аналогия между Германией и Россией в известном пункте прерывается. Экономическая мысль Германии поднялась, благодаря Марксу и Энгельсу, на недостижимую высоту, но не сумела удержаться на ней. Маркс и Энгельс были к тому же до известной степени «экстерриториальным» явлением в Германии. Своим рождением они связаны с солнечными рейнскими провинциями, стоявшими в оппозиции к пруссачеству, задыхавшимся под прусским ярмом, бывшими в известном смысле центром свободомыслия в Германии. В прирейнских областях еще царили традиции волюнтаризма, завещанные французской революцией конца XVIII в. По уровню экономического развития прирейнские провинции были одним из наиболее передовых районов Германии. Аахенский, Дюссельдорфский и Кельнский округа далеко выдавались в промышленном отношении над ничтожными прусскими масштабами. Большую часть сознательной жизни Маркс был скитальцем-эмигрантом, прожившим несколько лет в Париже и Брюсселе и окончательно обосновавшимся в Лондоне. Развитой английский капитализм и послужил для Маркса главнейшей основой для анализа и критики капиталистической системы. Будучи руководителями мирового революционного движения, Маркс и Энгельс воплотили в себе интернациональную экономическую и политическую революционную мысль, противопоставлявшую им оппортунизму. Маркс и Энгельс принадлежат всему миру, а не Германии. Их учение не имеет корней в немецкой политической экономии. Они вкладывали, вместе с тем, в ре-

¹ Карл Маркс. К критике политической экономии. М. 1932 (В приложение: рецензия Энгельса), стр. 201, 202.

² Маркс и Энгельс. Соч., т. XVII, стр. 14.

³ Цитированная рецензия Энгельса, стр. 202.

¹ И. Сталин. Об основах ленинизма. «Вопросы ленинизма». Изд. 11-ое, стр. 7.

шение русских вопросов столько революционного пыла, что их мысли об экономическом развитии России как бы становятся органическим эпизодом в истории русской экономической мысли. С другой стороны, история германской социал-демократии дала им, как известно, немало поводов для уничтожающей критики и негодования. Жалуясь в письме к Бебелю в 1875 г., что его и Маркса делают ответственными за политику германской социал-демократии, Энгельс пишет: «Люди воображают, что мы командуем отсюда всем движением, тогда как Вы знаете не хуже меня, что мы почти никогда не вмешивались ни в малейшей мере во внутренние дела партии, а если и вмешивались, то только для того, чтобы по возможности исправить допущенные, на наш взгляд, ошибки, да и то лишь теоретические». ¹ Маркс и Энгельс так и остались в истории германской социал-демократии одинокими вехами на унылой равнине духовного бесплодия. У нас в России мы наблюдаем, наоборот, с середины XIX в. восходящую волну экономической мысли. Ленин и Сталин, будучи замечательными представителями того же типа революционеро-интернационалистов, что и Маркс и Энгельс, глубоко проникнуты одновременно подлинным патриотизмом и воплощают в себе лучшие традиции русской общественно-экономической мысли. Творческое развитие учения Маркса и Энгельса, исходившее от них, шло рука об руку с широким использованием замечательных богатств русской общественно-экономической идеологии. Эта особенность развития русской экономической мысли дала возможность Ленину и Сталину поднять международный социализм на новую, высшую ступень, превратить его в подлинную вершину научного творчества. Этот исключительный творческий подъем сделался возможным благодаря тому, что в отличие от Германии, где политическая экономия марксова времени воплощалась в рошерах и листах, у нас к Ленину и Сталину вели десятилетия развития революционно-демократической, а затем и пролетарской социалистической идеологии.

Нельзя не отметить, что этот творческий порыв, начавшийся у нас с середины XIX в., обратил на себя внимание Маркса. Каждому, кто изучал внимательно послесловие ко второму изданию I тома «Капитала», бросается в глаза, что в Западной Европе и особенно в Германии Маркс видел лишь признаки разложения и торжества вульгаризации, тогда как русская политическая экономия оказывается родственной ему по духу. Отзыв о Чернышевском уже приведен выше. Маркс хвалит также ценную книгу Зибера, исследовавшего основные положения марксовской теории денег и капитала. Пристрастным воплем своих немецких и французских рецензентов Маркс противопоставляет объективную оценку

И. И. Кауфмана, давшего удачную характеристику диалектического метода Маркса. В письме к Беккеру от 14 июня 1872 г. Энгельс выбрав (отчасти не по заслугам) русских революционеров из дворян, которым он не доверял, противопоставляет им новейшую русскую эмиграцию «из народа», резко отличающуюся от прежней. «Среди них есть люди, — пишет Энгельс, — которые по своим способностям и характеру бесспорно принадлежат к лучшим людям нашей партии; люди, у которых выдержка, твердость характера и в то же время теоретическое понимание прямо поразительны». ¹ Таким образом Энгельс отчетливо подчеркнул теоретические способности русских революционеров.

Сейчас, после величайшей схватки нашей родины с фашистскими выродками, закончившейся блестящей победой героической Красной Армии, мы должны быть особенно горды тем, что Маркс и Энгельс, родившись в Германии и будучи воспитаны на немецкой культуре, так возвеличили экономическую мысль отсталой России своего времени. Ведь именно в этом далеком прошлом нужно искать корней и фашистского скудумия в социально-экономической области и перехода наследства марксистской политической экономии в СССР.

¹ Маркс и Энгельс. Соч., т. XXVI, стр. 387.

¹ Маркс и Энгельс. Соч., т. XXVI, стр. 287.

ОГЛАВЛЕНИЕ

	Стр.
<i>Глава первая.</i> Постановка проблемы	3
<i>Глава вторая.</i> Экономические взгляды русских реформаторов начала XIX века	21
<i>Глава третья.</i> Общая характеристика экономического мировоззрения русских просветителей	63
1. Гуманитарная основа идеологии экономистов-просветителей	76
2. Идея смены хозяйственных форм	85
3. Критика просветителями буржуазной политической экономии и крепостничества	98
<i>Глава четвертая.</i> Происхождение и содержание учения славянофилов о сельской общине	110
<i>Глава пятая.</i> Место Герцена и Огарева в развитии русской просветительской политической экономии	147
<i>Глава шестая.</i> Чернышевский — великий русский экономист	188
<i>Глава седьмая.</i> Взаимодействие концепций Маркса и Энгельса о России с русской экономической мыслью	224
<i>Глава восьмая.</i> Кризис просветительской политической экономии и первые попытки освоения марксизма	244
<i>Глава девятая.</i> Возникновение учения о разложении общины	273
<i>Глава десятая.</i> Плеханов и пролетарский социализм	290
<i>Глава одиннадцатая.</i> Ленин и Сталин — вершина русской и мировой общественно-экономической мысли	314

Отв. редактор проф. В. В. Рейхардт.

Подписано к печати 31-X-1947 г. МО-1183. Тираж 10 000 экз.
Печ. л. 22 ¹/₈. Уч.-изд. л. 25. Заказ № 70.

Отпечатано с матрицы в типографии ЛЕОТУ.
Ленинград. Университетская наб. 7/9.